90 коп.

Индекс 70331

ISSN 0130-1616 Знамя 1990 № 12. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1990

Декабрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

Содержание

12

ДЕКАБРЬ 1990

Москва
Издательство «Правда»

Инна Лиснянская

НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА

●

Заметелило, завьюжило,
Да по всей стране.
Я, по счастью, занедужила —
Вот и жарко мне,
В голове событья сдвинуты,
Жизнь, чего ты ждешь? —
И перо из песни вынуто,
Как из сердца нож.
Что со спущенными петлями
Бродишь вдоль окон?
— Под снегами да под пеплами
На Руси — огонь!

1989

●

Я пишу никому, потому что сама я никто,
Я пишу никуда, потому что сама я нигде,
А как вспомню про страх и про совесть, про это и то, —
Пузыри по воде, пузыри, пузыри по воде...

И в смятенье терзаю видавшую виды тетрадь:
Неужели опять кто-то трубку закурит в Кремле,
Ну, а мы в табачок да и в дым превратимся опять,
И пойдут пузыри по земле, пузыри по земле...

Что ответит бумага на этот вопрос непростой?
Ничего. Ей не ведом ответчик, не ведом истец,
Не поймет, почему, как невесту под белой фатой,
Мы сегодня старуху-идею ведем под венец.

А как станет вникать — удивительно, черт побери! —
Пузыри в небесах, пузыри в небесах, пузыри...

1989

Зимняя охота

Держава-охотница в заячьих шкурках зимы
Пьет солнечный мед из дырявой космической чаши, —
И снова охота, и я с наступлением тьмы
Все чаще роняю горящие слезы, все чаще.

Куда ты пойдешь и куда за тобою пойду?
В смятении сосны — бессильная наша охрана, —
И к ночи шумят, что нельзя не иметь нам в виду
Лесного шоссе и нацеленных фар и тумана.

И все ж меня держит земля, как подсвечник свечу,
Вернее, почти что дотла изведенный огарок,
А ты, для которого света и славы хочу,
Стихи про охоту при мне написал без помарок.

1981

Лампада

Всё, что на мне и предо мной, — стандартное:
Дешевый крестик, образ без оклада,
Тахта и стол, и зеркало квадратное,
И синяя серийная лампада.

Она и нынче вечером засвечена,
Фитиль не хитрый — скрученная вата.
Я тоже вещь. Но я очеловечена
Молитвою за суетного брата.

В моем быту, где все — обыкновенное,
Трагичны дни мои, но беспечальны,
Поскольку даже чувство сокровенное
И мысли, и дела мои банальны,

Как свет и тьма, как щедрость и стяжательство,
Как листопад — предвестник снегопада.
Да, вот еще! — как братство и предательство...
Не гнись, мой крест, светись, моя лампада.

1986

Собеседники

Замерев над книгою Чухонцева,
Прозевала я платформу Солнцево
И очнулась в радостном испуге
На конечной станции в Калуге.

— Когда это было? — ты спросишь, — когда это было? —
— Не происходило меж нами такого разрыва,
Какой исчислялся невстречами в несколько лет.
Тебе ль не известно — в общении нет перерыва
Во времени тесном, когда собеседник поэт?
Мгновенья мелькали — всё те же читали мы книги,
Года пролетали — всё те же жевали ковриги
И перекликались то в близких, то в чуждых стихах.
Мы б не разлучались и в той вероятности даже,
Коль жили бы в разных веках.
— Когда это было, чтоб не было споров, когда же,
Когда же случалось всё то, чего быть не могло?
Иль время с обеих сторон словно слезы текло,
Когда между нами вставало пространства стекло?

●

А. М.

К сомненьям моим приуроченные,
Темны наши редкие встречи,
И Ваши глаза заболоченные,
И полубезумные речи.

В них что-то болезненно-тлеющее,
Как чертов огонь на болоте,
Себя самое не жалеющее
На самой пронзительной ноте.

До ночи за чаем сумерничаем
И курим, и в обручах дыма
Мы спорим, как будто соперничаем,
Кто бо́льшая жертва режима.

И я забываю о сдержанности,
И Вы мне твердите в задоре:
Как чудно живется в отверженности
И как неуютно в фаворе.

И тут, то ли вспомнив божественное,
То ль бабочку на маргаритке,
Со скукой почти что торжественною
Я Вас довожу до калитки.

1981

●

Умейте домолчаться до стихов...
Мария Петровых

Мария Сергеевна! Я домолчалась,
И я до того домолчаться сумела,
Что время былое во мне скончалось,
Как может скончаться больное тело.
Прошедшее я схоронила бесслезно,
Безречно, беспамятно и бессвечно,
Вполне вероятно, оно было грозно,
Но не исключаю, что было беспечно.
И Вас бы не вспомнила, если б не книжка
В черной обложке с белым портретом,
Похожим на облако. Даже с излишком
Воспользовалась я полезным советом.
И вот до чего я теперь домолчалась:
Меня занимает лишь день текущий,
Переходящий в небесную жалость
Не ведать, что было в день предыдущий.
Мария Сергеевна! Вот и письмо Вам,
Не зная, где рай и о чем там поете,
Пишу я в своем состоянии новом,
В котором нет места трагической ноте.

1987

Сороковины

Светлане Кузнецовой

Провод заменил лучину,
Повод подменил причину,
А для повода — все любо...
Ты права, моя голуба.

Повод был пить самогонку,
Повод был вопить вдогонку:
Нежен терн, а лавры грубы!
Ты права, моя голуба.

Голос — вымогатель эха,
Слезы — попрошайки смеха,
Горе слепо, счастье глупо...
Ты права, моя голуба.

1989

●

А. Л.

Закружилась земля, закружилось и небо, и ах, —
Что-то падает сладко из самой подложечки в пятки.
Колесо это чертово — отдых и праздничный страх —
Населенья игра с повседневными страхами в прятки.

Никогда не каталась на чертовом том колесе,
Никогда ты не висла на первой подножке трамвая,
Ты боялась того лишь, чего не боялись мы все,
Потому что росла, общий ужас в себе убивая.

Ты по шпалам кралась — по следам арестантских колес,
Подбирала бумажки с фамильями и адресами,
Чтоб никто не засек, чтобы ветер степной не унес,
Чтоб дошли «доплатные» — с живыми еще голосами.

Ты конверт украшала картинкою переводной,
Чтобы было письмо на девчоночьи письма похоже,
И что даже меж строк эти вести не дышат виной,
Не умишком дошла, а всей детской гусиною кожей.

Второгодница третьего «Б»,
Ты твердила себе: не робей, —
Пряча письма с неволи меж книжек в потертом портфеле,
И не в щели меж туч запускала своих голубей,
А на разных углах опускала в почтовые щели.

Отчего же теперь, когда мертвых звучат голоса
Из раздвинутой толщи полувекового тумана,
Ты боишься любых перемен, как того колеса,
Того чертова, чертова, чертова самообмана?

А в ответ — то ли вьюга шуршит в подмосковной трубе,
То ли снится в ответ мне прокуренный твой хрипоточек?
Ну какой еще спрос с второгодницы третьего «Б»?
Я во всем отстаю и теперь... Я застряла меж строчек.

1988

●

Всем, кто нынче в пути, всем, кто завтра в пути,
Да и звуку, который не почат,
Я хотела бы в жертву себя принести,
Но никто этой жертвы не хочет,

Даже те, с чьих подметок счищала я грязь,
На кого втихомолку молилась,
Даже тот, к чьим стопам припадаю, смеясь,
Чью вину воспеваю, как милость.

Помогли бы отечественные жрецы,
Да алтарь моей крови не алчет,
Потому что я хуже последней овцы —
И никто обо мне не заплачет.

1982

●

Опять ужаснусь, мой надменный и кроткий,
Что больше тебя не увижу,
И черные слезы, как черные четки,
На ниточку лиры нанижу.

И брошу в окно то ли четки, то ль строки,
То ль слезы — бросок будет меток,
И станет их перебирать синеокий
Октябрь всеми пальцами веток,

И черные слезы отмоются светом
Небес високосного года,
И значит, по всем заоконным приметам
Дождусь твоего прихода.

1988

Случай

Мне в ближайшую церковь ходить негоже —
И стыдно, и не хочу.
Я свечку поставила Матери Божьей —
Задули мою свечу.

Задули за то, что черна глазами,
За то, что лицом смугла,
Задули свечу, а меж тем во храме
Престольная служба шла.

То мимо пройду, то помнусь у порога —
А вдруг опять кто-нибудь,
Жестоко печаля родившую Бога,
Нагнется свечу задуть?

1981

●

А моя судьба —
Вся как есть татьба:
Музыку украла
Я у тишины,
Мужика украла
У скупой жены,
У зимы украла
Снежный посошок,
У сумы украла
Тонкий ремешок,
Я украла кошку
У чужих ворот,
Я чужою ложкой
Обжигаю рот
И в чужой кастрюле
Слезы кипячу,
Может быть, — и пулю
Сдуру отхвачу.

1989

Чернорубашечникам

Оттого, что чернь пьяна,
Дурью отягченная,
Оттого, что ночь черна,
Как рубашка черная,

Оттого, что остро жаль
Дня великопостного,
Сам себя извел февраль
Года девяностого.

Блещут лужи, льется дождь,
Льются слюни бешенства...
Я благословляю дочь
В эту ночь на беженство,

Ну а мне не надо бечь,—
И погибнуть легче мне,
Потому что моя речь
Крови долговечнее,

И слова моей любви
На заре на розовой
Станут храмом на крови
Со свечой березовой.

1990

●

Ветер дует и свет задувает,
Задувает и сердце мое,
Но не верьте мне, так не бывает!
Это нас, как табак, набивает
Время в трубку и курит ее,

И выкуривает из таможни
В сний воздух чужих и друзей.
С каждым часом на сердце тревожней,
С каждым разом мне все невозможней
Дожидаться минуты своей.

Ветер дует и речь задувает...
Но не верьте мне, так не бывает,
Я порю несусветную чушь!
Это время, куря, затевает
Мировую миграцию душ.

1977

Эрнст Неизвестный

ЛИК — ЛИЦО — ЛИЧИНА

КРАСНЕНЬКИЕ И ЗЕЛЕНЕНЬКИЕ

Как-то мой приятель — не маленький аппаратчик ЦК — выручил меня, взяв билет на самолет в своей кассе, что в обычной сделать было невозможно в этот день. Он просил прийти к концу работы на Старую площадь, к зданию ЦК, и подождать его, поскольку он может задержаться.

Так и случилось. Кончился рабочий день, и из дверей посыпались люди. Моего приятеля среди них не было, и, поскольку приходилось ждать и, по возможности, не скучать, я начал рассматривать единый мозг страны, вываливавшийся из ячеек кабинетов и рассыпавшийся в отдельных особей.

Но неожиданно для себя я заметил, что это множество людей не воспринимается мной как обычная толпа, имеющая персонализированное многообразие. Это сытое стадо было единообразным. Передо мной проходили инкубаторные близнецы с абсолютно стертыми индивидуальными чертами. Разница в весе и размере не имела значения.

Такое огромное количество внеиндивидуальных масок, костюмов, жестов буквально ошеломило меня. Но постепенно я начал их дифференцировать. Я увидел, что эти люди, отпущенные с работы и вываливаемые лифтами с этажей на улицу, различаются — но не персонально, а группово, как две породы одного вида. И для себя я обозначил их как «красненьких» и «зелененьких».

«Красненькие» — как правило, крестьянский тип людей (тип грубого крестьянина, а не ладного и аристократического мужика). Хорошие костюмы сидят на них нелепо; пенсне, очки — все как будто маскарадное, украденное, чужое. Они как-то странно и неестественно откормлены. Это не просто толстые люди, что нормально,— нет, эти люди явно отожрались несвойственной им пищей. Они как бы предали свой генотип. Видно, что стенически они призваны работать на свежем воздухе и что их предки из поколения в поколение занимались физическим трудом. Вырванные из своего нормального предназначения, посаженные в кабинеты, они стали столь же нелепыми, как комнатная борзая. Эти люди — красненькие в прямом смысле слова. Их полнокровие неестественно и не ощущается как здоровье. На щеках у них играет утрированный багровый румянец. Они не знают, что делать со своими странными, отвыкшими от работы руками, распухшими, мертвыми, напоминающими ласты. Плоть, раскормленная сверхкалорийной пищей и не усмиряемая полезной деятельностью, разрослась: всего у них много — щек, бровей, ушей, животов, ляжек, ягодиц. Они садятся в машину так, как будто их мужские гениталии мешают им, но при этом не теряют карикатурного достоинства. По всему видно, что они-то и есть — начальство.

А вот и «зелененькие». Поначалу их трудно отличить в этой однорожей толпе. Но, присмотревшись, ты замечаешь, что часть близнецов обладает бóльшим воображением в жестах и поведении, и уже по одному этому видно, что это какие-то затруханные интеллигенты, которым никак не удается достичь стенического совершенства «красненьких». И как ни скрывай — видно, что ты из университета, из журналистов, из философов или из каких-то там историков,— в общем, оттуда, откуда настоящий человек появиться никак не может. И даже если они достаточно красны, то гармонию нарушают красные *от работы* глаза, что резко отличает их от

не замутненных никакой мечтой, прозрачных глаз «красненьких». Даже и не заглядывая в секретные списки, понятно, что «зелененькие» — референтский аппарат. У них, у «зелененьких», явно испитый вид (что, конечно, не свидетельствует о том, что «красненькие» пьют меньше).

Они, «зелененькие», в сравнении с каменной повадкой «красненьких» — юрки, нервны. И против киновари «красненьких» они бледноваты, красны недостаточно, хотя едят ту же пищу; но эта пища не идет им впрок.

«Красненький» потому так победно красен и спокоен, что он создан для того, чтобы принимать всегда безупречное решение. Он принадлежит к той породе советских ненаказуемых, которая может все: сгноить урожай, закупить никому не нужную продукцию, проиграть всюду и везде, — но они всегда невозмутимы, ибо они — не ошибаются. Они просто по социальным законам не могут ошибаться. Эта беспрецедентная в истории безответственность целого социального слоя есть самое крупное его завоевание, и совершенно ясно, что они скорее пустят под откос всю землю, чем поступятся хоть долей этой удивительной и сладостной безответственности.

Они безнаказанно могут заплевать и испакостить нужнейшие стране научные тенденции и открытия, произведения литературы и искусства, составляющие гордость нации.

И они же — даже лица все те же, не другие, — как только жизнь докажет их неправоту и правоту затравленных ими людей и идей, — будут присутствовать и произносить речи на юбилеях и похоронах мучеников культуры и искусства.

Они присвоят себе заслуги замученных и наградят друг друга за дела тех, кого они убили.

Они украшают друг друга орденскими побрякушками и регалиями.

Они поздравляют друг друга с наградами.

Они восхищаются друг другом.

Они косноязычны — но они говорят не переставая. Только они говорят, остальные молчат. У них — радио и телевидение, у них — газеты, у них — кино.

У всех остальных есть одно только занятие: вкалывать за них и благодарить их за то, что они пока не отняли хотя бы воздух.

Они требуют, чтобы все без исключения восхищались ими.

Они довольны — и правы в своем довольстве: когда они говорят «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи» — они не врут. Где, когда, в какую эпоху люди, обладающие такими качествами, могли получить так много? И не поплатиться при этом за глупость и хамство, нерадивость и расточительность — да просто за общее и несомненное безобразие собственной личности?

История — не невинная девица, было в ней много злодеев и садистов, но столь тотально-бездарных победителей, я думаю, не было никогда.

Поскольку «красненький» от природы безгрешен, никакой намек на компетентность ему в принципе не нужен. Кроме того, если ему и приходится выбирать, то из двух простейших вариантов: ДА и НЕТ. И ДА и НЕТ разработны референтским аппаратом, и ДА и НЕТ одинаково научно обоснованы. Кроме того, по законам групповой безответственности, по законам аппарата, частью которого они являются, «красненькие» функционируют не индивидуально, и как только некое определенное количество «красненьких» зажглось как ДА или как НЕТ — принимается решение.

Единство и равнобездарность «красненьких» гарантирует их стабильность, что бы ни происходило со страной по их групповой воле или групповой летаргии. Любое движение такого огромного тела, такой огромной массы, как СССР, порождает событие, называемое или кажущееся историческим, и наделяется часто смыслом, о котором многочисленные виновники этого события даже и не помышляли.

Уже в силу реакции мира на любой их полудремотный, полуосознанный поступок, у «красненьких» возникает реальное чувство значительности и безошибочности принимаемых решений. «Красненький», пока не снят, всегда в выигрыше. Время идет, события развиваются, и само сидение «красненького» в своей ячейке-кресле уже есть победа. А победителей не судят.

Представьте себе, что генерал А выиграл бой по своей схеме. Этим

как бы механически подчеркивается, что схема генерала Б была порочна и неверна. Но почему же? Ведь схемы генерала Б никто не пробовал — может быть, она была целесообразней, может быть, она была оптимальной! Но историю не переиграешь, и генерал А навсегда остается победителем, а генерал Б — неудачником.

Итак, «красненькие» никогда не ошибаются, ошибаются только «зелененькие». «Зелененькие» — это те, кто мычание «красненьких» должен превратить в членораздельную речь. Те, кто должен угадать их желания, но сформулировать их так, чтобы коллективный мозг признал формулировки своими, как если бы «красненькие» сами их создали. Чудовищная работа, неблагодарная, бессонная, — и, ко всему, по тем же муравьиным законам аппарата, она перестает быть творческой.

Один «зелененький», бросив свою собственную фразу в ворох фраз других «зелененьких», теряет ее; потом они все вместе все это мусолят, и в этом общем вареве никто уже не знает, где начало, где хвост его мысли и фразы. Я не знаю, есть ли действительный смысл в их работе, но когда я слушаю выступления главных «красненьких», то для меня совершенно очевидно, что слова, которых «главкрас» не может выговорить, вписаны его «зелененькими», но общий смысл, конечно, соответствует интересам «красненьких».

«Зелененькие» страдают множеством аппаратных комплексов. Им всегда кажется, что они лучше, чем «красненькие», знают, что нужно делать для успеха и благополучия «красненьких», — что, разумеется, неверно, ибо именно «красненькие» — величайшие мастера знать собственные выгоды!

«Зелененькие», даже обладая иногда серьезным влиянием, тем не менее остаются париями партии, хотя для постороннего взгляда это может быть и незаметно. «Красненькие», даже провинциальные, даже находящиеся ниже по официальному рангу, относятся к «зелененьким» высокомерно, потому что способ их красненькой жизни, их карьеры строится по законам нормальным: от первичной партячейки до заоблачных партвысот. Они, «красненькие», — и есть внутренняя партия. Им свыше предназначено править всеми людьми, животными, лесами, реками, горами, прошлым и будущим страны. И, конечно же, внешней партией. И если «зелененькие» и дорастают до уровня «красненьких», то путем гигантских нервных издержек, путем отказа от многих своих личных привязанностей и интеллектуальных претензий.

«Красненькие» же спокойны. В отличие от «зелененьких», они неспособны к анализу общественных условий, элементом которых они являются. Им не приходится сомневаться и нет нужды от чего бы то ни было отказываться, они просто живут и делают карьеру по праву «красненьких». Конечно, нельзя считать, что «красненькие» всегда и обязательно глупее «зелененьких». Рефлексия, связанная с многознанием, — еще не ум. Но в силу многих причин «зелененькому», прежде чем совершить то, что он считает подлостью, нужно оправдать это теоретически. Исторический детерминизм, диалектика и обветшалые догмы уже не дают ему возможности вычислить эффективность жертв, принесенных на алтарь прогресса, — он ищет новых догм, но — увы! — упирается в старые: государство, нация, империя и т. д. и т. п. Он грустен, потому что пессимист — всего только хорошо информированный оптимист. Информация порождает ворох мыслей, которые, даже быстро проходя, все-таки оставляют след в душе. Либеральная поза, застольное ухарство и цинизм — не спасение. Конечно, в свободное от работы время можно пить, что и делается.

«Красненькому» же для спокойствия и самоуверенности не нужен даже простой бытовой цинизм. Он поступает безо всяких там теорий — только так, как ему лучше. Он всегда уходит от дискомфортной ситуации. Амеба убегает от капли серной кислоты не потому, что она что-то о ней знает. Не разбирается в химии амеба. «Красненькие» исходят из самых простых предпосылок. Вся их философия укладывается в поговорку: «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». Они делают карьеру, потому что знают: чем выше — тем лучше живешь, меньше работаешь и меньше несешь ответственности.

«Зелененькому» же, особенно с претензиями на какие-то остатки иллюзий или своей личности, — трудно. И они находятся внутри аппарата,

как сложное существо внутри примитивного, но могучего и огромного одноклеточного, которое до поры до времени по своим биологическим нуждам терпит некоторые качества «зелененьких». Но рано или поздно эта гигантская амеба превратит их в состав своей ткани или просто выплюнет. Как сейчас общество, для того чтобы скорей превратиться в гомогенную недифференцированную массу, выплевывает в тюрьму, эмиграцию или катакомбную культуру все, что отличается от повседневной и обязательной, законами предписанной серости. «Зелененькие» и прыткие циники-интеллектуалы — просто временное отклонение, вынужденная тактика. В сложившейся ситуации ясно, что простейшее этой системе свойственней.

Самым неправдоподобным для нормального человеческого сознания является элементарность множества личных желаний, становящихся социальным явлением, которое приводит в движение эту машину. Масштаб последствий порождает иллюзию сложности и накручивает научные и псевдонаучные теории и термины, анализы и аргументы, навязывающие миру столь изощренную картину, что просто диву даешься. Почему любого насильника, который умудрился изнасиловать мир самым грубым и вульгарным способом, армия интеллектуалов непременно пытается изобразить великаном? Видимо, очень не хочется сознаваться в том, что нас часто насилуют пошлые и тупые карлики. Низ народного тела побеждает верх, но не в положительном смысле карнавала, а в самом прямом смысле. Задница разрослась и, оставаясь задницей, заняла место всего остального, поэтому питекантроп неминуемо победит человека, крыса — питекантропа, а вошь — крысу...

Так я стоял и фантазировал у дверей самой огромной конторы мира, и мне стало жалко «зелененьких людей», тратящих свой, часто незаурядный ум и талант на эту страшную игру в бисер, и я почти увидел, как они вот-вот все начнут похрюкивать и встанут на четвереньки; я почти физически почувствовал, как их рассасывает это серое-серое здание, незаметно, день за днем, отнимая ум, инициативу, талант и в первую очередь — главное: человеческое достоинство.

От безликой толпы отделился человек с очень красным, полнокровным лицом, я сперва не узнал своего приятеля — он был такой же, как все; но уже издалека я понял: это «зелененький».

«ВЕСЕЛЫЕ ПОРОСЯТА»

Очень часто западных людей — да и не только западных — вводит в заблуждение человекообразие современных советских деятелей государства, идеологии и культуры. Эти функционеры, если и не находятся на самом верху лестницы, часто занимают достаточно высокое официальное положение. Благожелательных западных партнеров по диалогу очень обнадеживает знание языков, литературы и приятное домашнее свободомыслие их относительно нестарых собеседников (как правило, это люди среднего поколения). Многие западные наблюдатели видят в этом знамение изменений, якобы происходящих в самом управленческом аппарате.

Не находясь в плену подобной иллюзии, но и безо всякой предвзятости, я дружил с некоторыми людьми этой категории. Мне очень скоро стало понятно, что связывать надежды на изменение структуры управленческого аппарата с наличием там таких личностей — часто незаурядных — беспочвенно. Скорее, эти личности меняются в сторону, нужную аппарату, чем наоборот. Да и странно было бы думать, что можно изменить ход машины, находясь внутри нее и выполняя частную функцию, подобную функции крохотной, автоматически заменяемой детали кибернетической машины.

А система представляет собой машину, отлаженную машину. И места, занимаемые человеками, являются ячейками, лунками внутри машины, так что работает место, а не человек, находящийся там. Человек может

создать микроколорит внутри этой камеры, но сама система работает по законам машинерии, и всякий, кто пытается персонально на нее повлиять, вылетает из машины или уничтожается ею.

Сейчас, я думаю, машина еще более отлажена, чем во времена Сталина и Хрущева. Поэтому она и так некрасочна, и стабильна, и удивительно скучна. Действия этой машины могут поражать воображение, но если ее проанализировать — она окажется элементарной. Для ясности можно привести такой пример. Представьте себе очередь. Стоят в этой очереди генерал и поэт, стоят ребенок и слесарь, художник и красавица, стоят профессор и домработница. Но ведь не личные качества, биографии, судьбы и характеры составляют очередь. Очередь деперсональна; то, что составляет ее, происходит в промежутке между людьми — пространство, воздух между впереди и сзади стоящими содержит общественный договор, скрепляющий очередь.

Примерно такая же ситуация возникла в сегодняшнем советском обществе. Никто ничего персонально не решает, все «утрясается». Вопрос поднимается наверх, уходит вбок, спускается вниз — то есть решение проходит все так называемые заинтересованные инстанции, вентилируется, утрясается, снова вентилируется, — и, по законам некой комбинаторики, устанавливается порядок, принимается решение, родившееся в промежутке.

Но олигархия функционеров — конечно, не движение к демократии, как многим хотелось бы. Ведь сталинизм — это не просто прихоть или ошибка Сталина. Это исторически сложившаяся ситуация, при которой функция управления такова, что кардинальные изменения изнутри аппарата невозможны. Конечно, сейчас один функционер не может схватить и бросить в застенок другого, но все вместе они могут это сделать с кем угодно; и если не всегда посадить, то затравить, заплевать, заставить эмигрировать или умереть. Терроризм продолжается, просто личный терроризм Сталина заменен терроризмом машины, создателем которой он считается. Конечно, работа советологов, пытающихся угадать развитие событий, исходя из оценок личных качеств руководителей, интересна, но навряд ли существенна без понимания того, что не это — главное. Главная же загадка лежит в принципах этой небывалой машины, где, по существу, нет личностей и даже нет мозгового центра в том смысле, как принято об этом думать. Таким способом согласуются единство и безопасность, мечта современного аппарата власти. Поэтому так стабильна, так неизменяема эта система. Амеба, у которой жизненные центры — везде и нигде.

И так как люди с цивилизованными манерами являются частями машины террора, то, видимо, надо рассматривать их функцию внутри управленческого аппарата. Это неизбежно приведет нас к выводу, что поскольку они пока не отстранены от дел и выступают в качестве умных, элегантных и якобы свободомыслящих собеседников, то это означает лишь, что именно в этом качестве они сегодня и нужны машине; но ни о каких существенных изменениях это не свидетельствует и свидетельствовать не может. Реальная суть их действий не отклоняется от целей их грубоватых учителей, ходивших в пиджаках первых сталинских пятилеток и не умевших говорить не то что «по-иностранному», но и на родненьком русском.

Эти мешковатые старики, с масками добродушных обывателей, эти людоеды, боявшиеся собственных жен, до сих пор не научились словам «коммунизм» и «социализм» (видимо, в силу этого они и пережили сталинские чистки), но их «коммунизьмов» и «социализьмов» оказалось достаточно, чтобы держать мир за глотку. И их элегантные ученики, переводящие «социализьму» и «коммунизьму» на все языки мира, щелкающие всеми красотами герметической культуры, всеми новейшими геополитическими терминами, так старающиеся выглядеть либералами, — служат (да иначе и быть не может) «коммунизьме» и «социализьме» в незамысловато-полицейском варианте своих учителей и наставников. Но при этом они искренне хотят выглядеть либералами. Они с наслаждением ведут культурные, свободомысленные разговоры, они хотят быть тонкими ценителями искусств — особенно они любят подарки от проклятых художников, они коллекционируют проклятую литературу и музыку. (Я сам с удивлением слушал песни запрещенного Галича на квартире у одного из помощников Брежнева. Но все это проделывается, разумеется, при полном отсутствии свободомыслия в их реальных делах.)

Гений лицемерия широко и вольно распахивает здесь крылья. Как и у всякого достаточно широко распространенного явления, у него много причин. Пока отметим одну *психологическую*, и далеко не самую пустую. Вся эта публика находится в плену двойственной внутренней ситуации. С одной стороны, онн получили права и привилегии русского дворянства и купечества (разумеется, в своеобразном, партийном, варианте). У них невероятно (по современным масштабам, а сейчас, я думаю, и по мировым) высокий жизненный уровень: пайки, дачи, услуги; относительно высокая свобода передвижения (во всяком случае, в порядке культурного обмена с заграницей они предлагают только себя), информации. Но, в отличие от «законных» привилегий дворянства и купечества, их привилегии — в прямом смысле противозаконны, поэтому они законспирированы, скрыты от народа. И ни одна из них не имеет конституционного оправдания. Это создает, хотя бы на первых порах, некоторую психологическую неловкость перед интеллигентским кругом, из которого очень часто эти люди выходят. Ведь преподавание в школе и институте построено на уважении к традициям декабристов, Чаадаева — Радищева — Герцена, на традиции русского свободолюбия. И пока Молох революции пускал кровь, пока проходила борьба с оппозициями и врагами народа, в чаду смертей и войн могло показаться, что все, в том числе и имущественное (разумеется, временное), неравенство, оправдывается диалектикой истории.

Но сейчас всем ясно, что *Бог революционных свобод в России умер*. И советская верхушка стала замкнутой суперсектой, окончательно оторвавшейся от задач, ее породивших, и имеющей одну цель: удовлетворение собственных, постоянно растущих потребностей и бесконечное продление своего существования. И людям достаточно грамотным ясно, что сама непроницаемость, окостенение, невозможность творчества в рамках этой секты, невозможность ее изменения изнутри, ибо общественная функция ее такова, что она не может измениться, не разрушившись, — свидетельствуют о реакционности развития общественного процесса.

Но — нувориши партийной элиты, дети XX съезда, положившего, в основном, начало их карьере, — они привыкли пусть к куцей, но либеральной позе, столь привлекательной для нежных сердец. Эта поза вызвала к жизни либеральную гримасу в поэзии, литературе, кино и наложила несмываемую печать двойственности на целое поколение так называемых деятелей культуры.

Особенно культивировала эту двойственность творческая интеллигенция. После смерти Сталина кое-что всплыло и выяснилось. Победнтели — хуже побежденных, убитые и проклятые постепенно становятся классиками, а убийцы из официально назначенных гениев превращаются в общественном сознании в то, чем они были с самого начала: в дерьмо. И поскольку страдание, как выяснилось, удел гениев, а успех в делах — удел дерьма, то стало модно страдать. В России, по словам Пушкнна, любить умеют только мертвых. И потому весьма ангажированные советские интеллигенты, сидя за черной икрой и настоящей русской водкой (доступной только иностранцам, правительству и им) в прекрасных квартирах и дачах, плачут крокодиловыми слезами — так, как будто именно они и есть оскорбленные и угнетенные, а не оскорбители и угнетатели. Они хотят быть страдальцами, не будучи таковыми. Они хотят славы повешенных декабристов и одновременно — комфортабельно и вкусно прожить свою жизнь. И если переполненный доброжелательной благоглупостью иностранный гость попадет в эту среду, ему может показаться, что он присутствует на конспиративной сходке действительных борцов и диссидентов. А если заглянуть в души рассматриваемых персонажей, то заветная мечта их откроется, как на ладони: быть главой КГБ, но иметь международную славу и престиж Сахарова и Солженицына.

Естественно, в большой реальности им это уже не удается, но в рамках домашнего театра, щедро оплачиваемого государством, они подменяют ряд действительных проблем мнимыми и при помощи заруобежных наивняков создают видимость социальной жизни, видимость относительной свободы высказываний, — и фиктивной постановкой проблем создают красочную вуаль, прикрывающую старческое безобразие системы, стремящейся к уничтожению любой творческой индивидуальности.

Но в свое время, во времена хрущевской оттепели, борцам «справа» и «слева» их борьба казалась социально содержательной. Еще бы! — как колыхались серые либеральные знамена, как противостояли им чугунные лбы старых, но еще стойких птеродактилей! Нет слов, чтоб описать кипение чувств и размах битвы, например, уродцев из Союза художников с уродами из Академии художеств! Как бились разгоряченные сердца (а сердце у уродцев и уродов находится, как известно из древней литературы, у самого заднего прохода)! Вы и представить себе не можете атмосферу этих битв!

Да, история издала неприличный звук, как некогда Пантагрюэль, и породила уродов и уродцев. И время сейчас играет роль Панурга и заключает браки между ними, в результате чего народилось такое количество насекомых. Та историческая битва велась за святое святых — за ключ от сейфа, где деньги лежат. И выяснялось, кто важней для государственной казны — серые из черных или серые из белых. Кто более достоин стать палачом духа, пребывающего в искусстве. Спор приобрел и теоретический размах. «Что такое социалистический реализм» — «сопли с сахаром» или «сопли с солью»? Решался научный вопрос, как должен выглядеть убийца в наши дни — страшно или сладко. Некоторое время художественная, творческая среда выглядела, как смешанный ансамбль дрессированных хищников: птеродактили, гиены и м........и. Но в конце концов всех временно победили либеральные «веселые поросята». Почему временно? — потому что, по естественным социальным законам, они сами очень скоро превратились в птеродактилей. Они доказали, что заплечных дел мастер может и подсезанивать, и подхемингуэивать, и подкафкивать — без ущерба для идеологии. Они доказали, что могут лизать задницу власть имущим более квалифицированно и за меньшую плату; они доказали, что у них более острый нюх на врага и более быстрый бег за врагом. Как говаривал один из них: «Что-то эта работа мне нравится, надо нам к ней присмотреться, скорей всего в ней есть что-то антисоветское». Горький цинизм. Жалкий цинизм.

Я думаю, что круг таких людей уже составил стихийно сложившийся институт, взятый на вооружение государством. Совсем как валютные магазины, валютные б...и; как комфортабельные лепрозории для приемов и обольщения иностранцев, где грудастым переводчицам разрешено имитировать не только свободу взглядов, но и нравов — перед радостно удивленными гостями; где национальные меньшинства на всех языках страны говорят о свободе, пляшут и поют за иностранную валюту, которая так необходима государству, — делают то, что они давно уже перестали делать в собственных своих деревнях; где есть даже еврейский журнал.

В атмосфере лжи и камуфляжа появилось некое циническое братство, где простяга-душитель, сталинский птеродактиль в хромовых сапогах, уже не подходит: он нецелесообразен в сложившейся ситуации. Ему может найтись место в провинции, но никак не на фасаде, обращенном на европейскую и мировую арену. Люди этого братства вездесущи — от политика до исполнителя эстрадных куплетов. Это «ученые», «журналисты», «врачи», «киноработники», «художники», непременные участники многочисленных международных конгрессов, гости посольств, несменяемые «львы» всех раутов и вернисажей, где присутствуют иностранцы. Они узнают друг друга по какому-то чутью, по цинизму — «мы одной крови, ты и я»; и чем более ты двойственен, чем быстрее ты меняешь маску — тем более ты свой, тем больше тебе цена в этой теплой компании.

Эти люди делают карьеру внешне *вопреки* старым советским законам. Именно благодаря своей двойственности. Но никто не должен обманываться: они сейчас нужны. Такова реальная международная обстановка, она обязывает.

Некоторые из них, возможно, при определенной социальной ситуации займут действительную позицию свободомыслящих либералов — когда общество поощрит их к этому и если им самим это будет выгодно. Но время работает против них. И циническое братство двоемысленных, как плесень, возникшая в атмосфере оттепелей и детанта, — есть некое испытание, всего только половое созревание советского функционера. Это юношеский онанизм. Такое баловство допускается только до определенного уровня. Но если начинается подлинная карьера — не на вторых, а на первых ролях, — то тут уж двоемыслие невозможно. И хоть делай ло-

ботомию, но будь, как все старшие, искренне смейся, когда все смеются; пой и пей, что поют и пьют все; ешь все, что все едят, и хрюкай, когда все хрюкают. И тогда либеральные юношеские черты окостенеют, пышные губы рта-хохотальничка сложатся в жесткую и надменную щель, и подлинное, неподвижное социальное выражение, а не юркая меняющаяся маска, украсит твою отвердевшую, заматеревшую физиономию. Ты покинешь «референтский аппарат» и войдешь в святая святых. Из «зелененького» ты превратишься в «красненького».

ДВОР

Проспект Мира, 41. Обыкновенный день. Утро.

Нинка украла у матери дорогую брошку и выменяла на пол-литра.

Ее брат Николай пригнал огромную машину-грузовик. Ему парк, где он работает шофером, разрешил стоянку во дворе по причине его болезни: он пьяница.

Сварщики с соседнего завода попытались продать мне вынесенный с родного государственного предприятия тяжеленный сварочный аппарат. Не продав, они, чтоб далеко не ходить, бросили его тут же, у меня во дворе, и начали клянчить пять рублей. Убедившись, что у меня их нет, они попросили бутылки, стоявшие у окна, в надежде сдать их, получить деньги и опохмелиться.

Бутылки, бутылочки, пузырьки, шкалики, мерзавчики, баночки, сосуднки... Московский двор начинает свою жизнь с мыслью о бутылке. Граждане и товарищи ищут деньги, чтобы опохмелиться. Без привычной утренней дозы алкоголя нельзя — невозможно трясущимися руками начать работать. Двор умирал от жажды — его томил похмельный синдром. Этот синдром порождал массу историй — забавных и трагических. Собственно, вся история двора и вся биография его обитателей покоилась на событиях, связанных с опьянением или мучительным желанием опохмелиться. Все разговоры вертелись только вокруг бутылки. Время сплющилось и остановилось в алкогольном бреду: не было ни «вчера», ни «завтра», а было только — «сперва взяли банку на троих, я, правда, до этого — грамм двести, было, для почину, но, однако, не двести, а почитай, триста, ну, значит, раздавили еще по одной — ты считай, значит, приятель, уже по восемьсот на рыло будет, а тут Васька говорит — давай солнцедар, а по мне хоть мочу, лишь бы забирало...

...смеху полные штаны, я ему и говорю, а он мне — молоко на губах не обсохло...

...Нинка, впрочем, тоже стерва — тихонькая, а как где — она тут, а как у самой — днем с огнем не найдешь...

...Бог с ней...

...живем однова...

...мой дядя самых честных правил...

...Семен, может еще сообразим?

...а нам что — обос... и в стойло!

...орлы, взмахнем крылами...

...а сам с копыт?

...нет, брат, нет, брат, некультурно: отойди и блюй культурно, имей понятие, а то — на людей: культура, мля...

...говорят, повара уволили с работы. За что, ребята? Горячую кашу х... мешал. — Ух, ох, гы, га-га, бррр, — смеху-то, смеху — полные штаны...

...тут Сенька со спиртягой, его козырь всегда старше, а я не против и денатуратику, только гнуть его, братцы, так — должен отстояться, няша уходит вниз, в стаканчик — сухарик, выпьешь — нектар, сухариком заешь, во рту так чистенько-чистенько...

...как на улице Донской меня е... доской...

...приняли по одной, дают — бери, бьют — беги...

...теща у меня, ребята, теща — «мимо тещиного дома я без дела не хожу, то ей х... в окно просуну, то ей ж... покажу»...

...однако, я вам скажу, не правы вы...

...у нас завсегда так...

...далеко еще, братцы, до коммунизма...

...ты меня уважаешь — я тебя уважаю...

...они — нас, я — его, мы тебя — ты нас...

...подрались маленько, потом я, он и даже...

...какая свадьба без стакана, какой еврей без «Жигулей», какая пьянка без Ивана, какой Иван без п...ей...

...эх, твоя татарская морда! — что? армянин? по мне, хоть китаец, лишь бы с бутылкой...

...эх, летали, как голуби, смеялись, аж ус...лись — ну хватит, робя, сачковать, на работу пора...

И я, со своими своеобычными интересами, скульптурой, Данте, Библией, и музыкой, и поэзией, был погружен в размягченное, не доброе и не злое, а полуидиотическое общество улицы, где находилась моя мастерская. Не окраина и не трущоба — всего восемь минут от Кремля.

Я пытался создать непроницаемость, отдельность, своего рода батисферу, но это было возможно только внутри себя самого. Я нуждался во многом — бронза, гвозди, доски, гипс, глина, камень и т. д., и т. п. Многие годы я — отторгнутый от официальных заказов скульптор — не имел возможности получать это у государства, единственного хозяина всех этих благ. Поэтому я был потенциальным покупателем неофициального рынка — и я стал центром притяжения и жертвой похмельных интриг, и поэтому вся алчущая масса населения тащила к моим ногам все, что могла, — большей частью ненужные мне предметы и механизмы.

Чего только не предлагало в обмен на бутылку население, состоявшее вовсе не из уголовников, а из рабочих и служащих, не имевших возможности на свою скудную зарплату удовлетворить жажду и поэтому тянувшее из предприятий и контор все, что возможно! Мне предлагали женские дефицитные лифчики и трусы; чешские магнитофонные пленки; мясной фарш для пирожков; сложные электронные механизмы; ручного зайца; японские презервативы с усиками; лодочные моторы; золотую фольгу, украденную реставраторами кремлевских церквей; полуботинки хорошей кожи без подметок; ремни без пряжек и пряжки без ремней; дефицитный растворимый кофе; электронные лампы для телевизоров; иконы; типографский шрифт; драгоценный металл гарт; целлофановую пленку; туалетную бумагу; треножники для киноаппаратуры; значки, предназначенные только для иностранцев; всяческую рухлядь, украденную из дому: занавески, табуретки, этажерки, дамские чулки, платки, фотоаппараты, золотые монеты, корень женьшень, морфий из аптек, шприцы, бинты, йод — и все за бутылку...

Иногда — бутылку дорогого и, видимо, краденого коньяку в обмен на большее количество водки. Причем интересно, что незадачливые купцы могли часами уговаривать меня купить ненужный мне товар, но мое предложение чем-либо помочь мне и за то же время заработать больше, чем выторговал бы, воспринималось как оскорбление, и умирающий от жажды купец, не жалея ни своего, ни моего времени, вместо того, чтобы за двадцать минут заработать нужную на бутылку сумму, будет час тебя уговаривать, что тебе остро, жизненно необходимы, скажем, консервные ножи в количестве шестидесяти штук.

Торг сводится к следующему:

Я. Убирайся, мне этого не нужно.

ОН. Нет, Эрнст, ты не понимаешь, ключи — первый сорт, и все шестьдесят — за одну бутылку...

Я. Убирайся, ты мне надоел.

ОН. Нет, ты посмотри, какие ключи, абсолютно новые!

Доходило до рукопашной, очень часто назойливых купцов приходилось выбрасывать за дверь, но — увы! — все это снова лезло в окно. Обитатели двора поняли, что есть моменты, когда я не могу сопротивляться и отказать. Увидят, например, иностранную машину — значит, важный гость, ну и ломиться в дверь с шумом и грохотом: «Эрнст, дай на бутылку!» Ну и откупаешься, даешь — а что же делать? Ведь иностранец не поймет, если перед его глазами кому-нибудь морду начнешь бить! Сколько выдумки, сколько бесстрашия, сколько остроумия и нелепости порож-

дало желание немедленно заполучить бутылочку — именно немедленно, а не через час, не через полчаса — сейчас, сию секунду; как говорится, вынь да положь!

Женька по пьянке прижал знакомую девчонку в телефонной будке и снял с бедняги часы — ясно, не затем, чтобы следить за быстротекущим временем, а выменять их на бутылку. К сожалению, он так и не успел совершить товарообмен и выпить, потому что через десять шагов его остановил милиционер, прибежавший на вопли огорченной девчонки. Не опохмелившийся Женька, как говорят, отделался легким испутом: за него хлопотал коллектив, он иногда красовался на доске почета как ударник коммунистического труда. Получил всего три года, но во дворе все уверены, что он освободится досрочно, да и в лагере Женька не пропадет — он хороший слесарь, так что и в лагере насчет бутылки все будет в порядке: там начальству хорошие работники очень даже нужны, потому что начальство там на свою бутылку имеет именно с них.

Вот приходит пенсионер и приносит тюк копировальной бумаги и канцелярских скрепок — все это для хорошей канцелярии на год работы, и все это за бутылку. А если поторговаться — продаст и за рубль. У меня нет пишущей машинки, и мне нечего скреплять, но мне жаль старика, и я предлагаю ему сделку: если он уйдет сейчас же со своим товаром и перестанет мне надоедать, я дам ему три рубля. Он согласен, но ему хочется срочно выпить, поэтому он просит о любезности: пусть товар полежит у меня, а потом он его заберет. Бросив огромный тюк, загромоздивший мне прихожую, он уж потом не стал утруждать себя и тюк не забрал, пришлось его выбросить на помойку. Бедный он бедный — жена его работает в канцелярии, а там, кроме канцелярских принадлежностей, украсть нечего, вот она ежедневно и таскает домой копировальную бумагу и скрепки, чтобы откупаться от мужа, но, увы, это неходовой товар!

И действительно, все говорят, что «Сергеичу с женой не повезло», у других-то товар куда более ходовой! Например, одно время очень процветал негоциант, выносивший с государственного предприятия вкуснейшее варенье. Но дела его несколько испортились после того, как он по пьянке и благодушию выдал тайну транспортировки: оказывается, он сшил себе целлофановые кальсоны с завязками внизу, так что варенье, залитое внутрь кальсон на ноги и на интимные, скрытые от взоров охраны, места не вытекало. Многие, в том числе и я, по причине излишней брезгливости перестали покупать у него товар, а многие — нет, ели так или кипятили и этим убивали микробов, которые могли выпрыгнуть в варенье из разных срамных мест предпринимателя.

За окном мастерской шум. Это сыновья моего помощника, милого и непьющего инженера, опять объявили войну своей престарелой и больной мамаше. Два обалдуя, по тридцать пять — тридцать восемь лет, вынесли ее во двор, на снег, на матраце, и голую держат в одной рубашке, требуя, чтобы старуха выдала бутылку портвейна, где-то от них спрятанную. Соседи не вмешиваются, боясь огромных бугаев, я тоже — потому что понял: это бесполезно. Я уже как-то вызывал милицию, но, как только наряд приезжает, мамаша отрицает, что избита сыновьями,— боится их посадить. Впрочем, мне и моей помощнице кажется, что зря старуха боится: между всей этой публикой и столь же жаждущей бутылки милицией есть некое взаимопонимание, даже сговор. Но это уже другой разговор.

Но посмотрите, посмотрите! — сегодня стойкая и упрямая старуха победила мощных сыновей исключительно силой своего духа: несмотря на температуру и пытки, учиненные сыновьями, не сдалась; и прильнувшие к окнам болельщики увидели, как угнетенные неудачей и усталые обалдуи, которым надоело трудиться безрезультатно, бросили мамашу посреди двора и пошли, ссутулясь, искать счастья в другом месте.

Двор провожал их взглядом, в котором было двойное чувство: их жалели, так как вполне понимали, как трудно им с похмелья, но вместе с тем жалко было и избитую мамашу. Правда, некоторые — в основном мужчины — говорили: «Ну что упрямится старая? Все равно наліжутся в другом месте. Отдала бы — и дело с концом, жалко ей, что ли, бутылки?»

О, бутылка, бутылка — символ жизни, вокруг которого крутится все, о, бутылка — мера всего: это стоит столько-то бутылок, а это — столько-

то... Как возненавидел бы двор какого-нибудь арабского шейха, если бы узнал, сколько он может купить бутылок за продаваемую им нефть! К сожалению, нефть в чистом виде, как известно, пить нельзя.

Вот ватага рабочих, ломавших соседний дом, обнаружила в подвале огромную бутыль чего-то — но чего? И как к местному интеллигенту, да к тому же еще пьющему, ко мне двинулась делегация, чтобы я их облагодетельствовал и определил — можно это пить или нельзя. Но, хоть у меня и высшее образование, хоть я и попиваю иногда, этого сказать я им всетаки не мог и посоветовал обратиться в аптеку. Но был найден гораздо более простой и совершенный способ: пошли к пивнушке и нашли добровольца, обладавшего смелостью камикадзе, прямо и честно все ему рассказали и предложили продегустировать, пообещав, что если он от первой не умрет, то разделит общую пьянку до конца, наравне со всей компанией. Сказано — сделано. Прямо перед окнами моей мастерской расположилась алчущая ватага во главе со смелым дегустатором, хватившим залпом стакан подозрительной жидкости, пахнувшей, однако же, вкусно — спиртом. Нетерпеливые собутыльники с радостью констатировали, что немедленной смерти не последовало, и выпитое, что называется, «прижилось» или «легло на кристалл». Просто и весело.

Чего только не пили в этом дворе! И денатурат под названием «голубой огонек», и политуру, в которую бросали соль, чтобы самое клейкое ушло на дно; и тройной одеколон, и зубную пасту, разведенную с водой, и валерьянку, и зубной эликсир невкусного фиолетового цвета — и ничего, сходило. Правда, не всегда.

На тех же ящиках перед моим окном умерли два человека, опохмелившиеся чем-то, не очень полезным для здоровья, и весь двор обсуждал, почему Петька погиб сразу, а повар, Петькин друг, не из нашего двора — из соседнего, еще несколько часов мучился. И пришли к выводу, что повар как-никак всегда ест и поэтому в желудке есть что-то, что помешало его сразу сжечь, а бедняга Петька, в общем, ничего не жрет, а когда пьет — то и вовсе, поэтому жидкость «вытекла сразу через живот».

То же случилось и со стариком Дюбаниным, отцом моего форматора Степана Дюбанина. Выпить у них, правда, было что, но старик попутал с похмелья бутылку,— да прямо из горлышка, да такого крепкого препарата, что как в глотку попало, так и ахнуть не успел — вылилось снизу наружу и потекло по полу.

Много, чересчур много можно рассказать по этому поводу. Вот так же погиб брат Дюбанина, но не оттого, что выпил плохого, а просто, выпив, разгорячился и похвастался, что поднимет столько, сколько и десяти человекам не под силу (был он грузчиком). Взвалили на него — ну, его и раздавило.

Ох, много можно рассказать на эту тему! И все это было — проспект Мира, 41, строение 4.

Мои соотечественники знают, что я не говорю ни слова лжи — и с ними такое бывало, а если не с ними, то с их знакомыми, а уж недоверчивый иностранец, если не верит, пусть попросит своих корреспондентов сходить по этому адресу и спросить, было ли все это или не было, и как там сынки Владимира Петрова живут, и что с Нинкой и ее братом, шофером Колькой, и что произошло с группой моих друзей-сварщиков во главе с бригадиром Папаней, принимавшей с утра, как обязательный школьный завтрак, по семьсот грамм портвейна на нос,— им еще и не такое расскажут. И, возможно, расскажут о двух старухах — удивительную русскую сказку...

О том, как жили-были две сестры. Обе не красные девицы, а пенсионерки. Одна — парализованная, а другая — относительно бодрая. И вот эта, другая,— относительно бодрая — хозяйничала, ходила за пенсией, в магазины, а первая, по причине паралича, лежала неподвижно. Жили они нелюдимо, к ним никто не ходил — смысла не было, ясно, что на опохмелку они все равно не дадут.

Жили они не тужили на своих пяти метрах и забыли уж, когда подали заявление на очередь на квартиру. Неожиданно привалило им счастье — дали им квартиру, которой они тридцать лет ждали. Но старухи заартачились, по каким-то соображениям не захотели уезжать. И инспектора к

себе та, подвижная, не пускала — под предлогом, чтобы не беспокоили ее парализованную сестру. Дом опустел, уже выбили стекла в соседних квартирах, уже начали отключать газ и электричество, а старухи все не съезжают. Воинственная ходячая так просто и сказала: расцарапаю лицо, кто войдет на нашу территорию,— хошь дворнику, хошь милиционеру.

Но в конце концов пришло время сносить дом, и тогда, несмотря на вопли старухи, ворвались все-таки туда милиционер и дворник с одним еще очень важным гражданином из райсовета. Запах больно нехороший был в комнате, не проветривалось, видно, тридцать лет — ровно столько, сколько квартиры ждали. Не проветривали — думали, наверное: вот новую получим — надышимся.

Но оказалось — дело не в этом. Оказалось, что на постели уже много лет лежала иссохшая мумия. Оказалось, что ходячая сестра, как умерла ее родимая, боясь лишиться пенсии на двоих, мумифицировала ее и много лет проспала с ней рядом. Удивительна научная хватка этой старухи: до сих пор ученые гадают тайну мумификации; говорят, что и Ленин-то — не мумия, а кукла, а вот у ней не сгнила сестренка! И удивительна выдержка этой старухи — жить с трупом, спать с трупом столько лет!..

Даже меня — привычного, тертого — эта история несколько подкосила. Завидуй, Хичкок!

Но обитатели двора отнеслись к делу просто: на пенсию-то одну не проживешь — помрешь, так что же лучше — с трупом жить или самой мертвой быть? Вот так-то... Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет...

МОСХ (МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ)

Партбюро МОСХа. Почти все они калеки. Ансамбль хромых, косых, глухих, конечно, косноязыких. Эти дефекты — не трагический результат войны. Они таковы с детства. Еще в утробе их обидела неосторожная мать или не подчинившаяся Лысенко генетика. Кому ушко прижала, кому ножку защемила, третьего талантика да и умишка лишила. А этот, хоть и выглядит почти нормальным, но по выгибу хребта, по чрезмерной важности видно, что где-то, не то спереди, не то сзади в штанах хранит он навсегда уязвившую его тайну. Почти невозможно представить себе где-либо увидеть такое количество некрасивых, убогих, плохо одетых людей, собравшихся вместе. Это люди разных национальностей: русские, украинцы, евреи, татары, армяне. Но национальные черты стерты. И не в том смысле, когда культура сглаживает наиболее вульгарные, низкие национальные проявления. Нет. Природная убогость, серость, антиперсональность — сделала их одинаковыми и собрала в этой организации. В Центральный ресторан, где бывают туристы, швейцар их вместе не пустит, потому что они неопрятны и выглядят, будто ханурики от пивной или спекулянты-старички с толкучки. Но они власть; от них зависит почти все. Как же так получилось, что в среде художников, людей, как правило, одаренных и в массе физически полноценных и даже красивых, эти провинциальные уродцы, каждый из которых не только не умен, но даже не хитер, эти люди, которых в России называли рванью, эти самые неспособные и самые неудачливые, есть наиболее зловещая власть? Неужели величайшие умы истории, благородные и прекрасные люди шли в тюрьмы и на виселицы, революционно взбудораженные массы самоотверженно гибли только для того, чтобы эти издержки статистики от полноценно рожденных стали властью? Как так получилось, что из домов для калек, с папертей, из пивных — их, лишившихся единственного достоинства таких персонажей, смирения, жизнь привела к власти?

В таких областях, как философия, идеология, наука, производство, при относительно высокой организованности и полной включенности людей в структуру государства, продвижение по лестнице карьеры без формального присутствия в партийной организации невозможно. Поэтому в партию вступают все, претендующие на активную научно-административную роль. По причине же большого количества относительных «свобод» или, вернее, случайностей, ради заработка художнику вступать в партию не совсем обязательно. Если человек самонадеян, а нормальные художники в юности почти все гении, то связывать себя пока с партбюро не хочется. Во всяком случае, до поры, до времени. Наиболее циничные, считающие себя сильными, думают: никогда не поздно. Для них это действительно так. Юные же неудачники рано поняли возможность компенсировать все, все свои недостатки: отсутствие таланта, блеска, личного обаяния, отсутствие любви женщин, уважения товарищей или просто, что изо рта плохо пахнет,— приобщением к тайне власти. Комично и страшно смотреть на эту шеренгу ничтожеств, с важным и таинственным видом заговорщиков ковыляющих на закрытое заседание, в партийную комнату, в комнату Партии, где они минимум четыре часа будут сплетничать, сводить счеты и вырабатывать способы защиты от конкуренции более талантливых, ярких и хитрых коллег или выслушивать тайные письма и циркуляры вышестоящих инстанций, которые через двадцать минут после самого наизакрытейшего партсобрания становятся общеизвестными. Потому что приобщенные к тайне власти тщеславны и болтливы. В большинстве случаев они боятся своих жен, как огня, и поэтому компенсируют свои неудачи на семейном фронте, посвящая их для пущей важности и поднятия собственного престижа в партийные тайны.

Наиболее квалифицированные карьеристы, более пробивные из них, уже заседают в такой же партийной организации — Академии художеств. Там тоже не очень высокие стандарты, тоже не очень высокие типажи, но все же там их отмыли и приодели. Каждый в отдельности из них достоин жалости, но вместе они страшная и неодолимая сила.

В творческих союзах, как нигде, карикатурно проявляется отбор на худшесть, даже из самих членов партии. Что это — пренебрежение властей? Думаю, что нет. Сознательно или подсознательно, власти именно в искусстве видят опасность, таинственность, неуправляемость. Сложившийся веками тип художника, при всей его социальной униженности, всегда враждебен и опасен любой власти. Но власти, стремящейся к тотальному управлению, художник смертельно опасен именно тем, что он, по сути своей, неуправляем. Поэтому партбюро, за самым редким исключением, не подпускает к себе даже сколько-то одаренных художников — членов партии. Поэтому оно — сточная яма для неудачников в искусстве. Но именно из этой ямы фильтруются они в руководители, в законодатели; идут дальше и выше. Именно из этой ямы поползут они, чтобы весь мир организовать в огромный Союз художников; чтобы иметь возможность длинноволосых мальчиков сделать лысыми, шумных — тихими, темпераментных — сонными, поющих — заиками, стройных — горбатыми, молодых — старыми; прикажут умным прикинуться или стать глупыми, чтобы был порядок, чтобы все, чего не могут придурки, уродцы или старички, считалось плохим, чтобы никто и ничто не оскорбило их, хитрожопых. Уже ясно, что после завоевания Космоса они проползут и туда, чтобы выяснить: не находится ли там что-либо их оскорбляющее. А если найдут, то заорганизуют, укоротят, превратят в контру. Они не могут ждать милости от природы. Она уже их обделила. Поэтому переделать ее — их задача. Ибо они вши, претендующие на роль Бога, и хотят перекроить мир и человека по своему образу и подобию.

ПОРТРЕТИКИ

Корочки их партknижиц одинаковы, но если заглянуть внутрь — не всем это можно, мне удавалось,— мы увидим разные номера и даже имена, что свидетельствует о нелишенности их пока до конца некоторых признаков личного начала. Это-то и не дает нам права отмахнуться от рас-

смотрения, как это ни противно, их портретиков. А поскольку они абсолютно одинаковы и рознятся только дефектами, то скажем так: портретиков-дефектиков.

Я закрываю глаза и вспоминаю их. Вот они чинно и важно ползут в полуоткрытую дверь парткомнаты. Я сижу у дверей и терпеливо жду своей участи, я осознаю смертельное ничтожество и скуку происходящего. Но сквозь полудремотную тягомотину ожидания из-за дверей комнаты партбюро слышится:

стук стук костыли
коси нога коси нога
клак клак вставной клык
хи-хи-хи-хи
и что-то булькает булькает
вжиг вжиг
скрипит скрипит
шорохи
пауза бр...
неприличный звук
и опять булькает булькает

Сама, как заколдованная, открывается дверь, и внезапно все стихает. Ниже дверной ручки высовывается человеческий носик и внимательно обнюхивает меня. Тихо-тихо, как заколдованная, дверь сама закрывается. И тут же снова что-то булькает, булькает.

О Боже! Что это такое? Кто там? Что там? И, чтобы стряхнуть наваждение, я вспоминаю их, и передо мной возникают портретики-крохи моих судей, вершителей моей судьбы, моих властителей. Это они могут благосклонно сказать: «Ну, что же, живешь — живи, мы не возражаем!». Это самое лучшее, что до конца дней со мной под их водительством может быть. А худшее, бр-р-р, не хочу даже лучшего. Кто же все-таки они?

Вот этот — театрально опирающийся на палку. Очень важная персона. Героический апокриф его жития повествует, что он потерял пальцы правой ноги в Ленинградскую блокаду. Его маме нечем было согреть ему ножки, и нежные детские пальчики отмерзли... Отмерзли они очень кстати. И культя попала в хорошие руки.

Потрясая своей героической культей, он выбил из Союза художников такое количество разнообразных благ, что никакому инвалиду — герою войны и не снилось. Но те, кто его знает с детства, утверждают, что он родился таким. Я тоже склоняюсь к этому. Сын хирурга, да еще сам инвалид войны, насмотревшись в армейских госпиталях различных ампутаций, я не очень-то верю в его, без единого шрама, гладкую, как задница, культю. Я не верю, что она свидетельство его младенческого патриотизма в героическом Ленинграде. Но именно влекомый ею, он прямо из люльки попал в вожди. Сперва в пионерские, потом в комсомольские, потом в партийные. Культя вела его все дальше и дальше, все выше и выше. Он только поспевал за ней. И, видимо, эта трижды благословенная культя скоро приведет его туда, куда самому быстроногому спринтеру карьеры никогда не добежать...

А вот и другой. У него один глаз. Но, в отличие от глаза циклопа, он расположен не над носом, а как у всех остальных простых смертных. Но это удивительный глаз. Клеветники, не знакомые лично с хозяином этого глаза и исходя только из изучения его скульптуры, утверждают, что он якобы вообще слеп. Да не только слеп, но и осязания лишен. Мы-то, столкнувшиеся с ним на узкой дорожке, знаем, что его единственный глаз уникален. Он видит сразу во всех измерениях, как глаз стрекозы. Кроме того, его глаз проникает сквозь стены, видит в темноте и как раз то, что от него стараются скрыть. Но именно этот талант делает его весьма приятным. Его зрячий глаз светится неподдельным весельем. Это веселье я встречал и у двуглазых такой породы. Нет-нет, да и столкнешься, то ли в гостях, то ли на улице или на каком-нибудь приеме, с бесконечно веселым взором, обращенным на тебя. Взор, излучающий радость узнавания, снисходительность, — взгляд любви, как бы говорящий: я о тебе все, все знаю... Но этот взгляд одновременно содержит тонкую иронию, так как ты об обладателе ласкового взгляда ничего не знаешь. А он-то о тебе — все. О незабвенный взор стукача!..

А этот — просто глухой, никаких талантов. Глух — и все тут. Ничего не слышит. И даже не прикидывается, что слышит. Бросил, надоело, устал. Устал. Трудно. И карьеру, по-моему, делать не хочет. Тоже устал. Все время все говорят, говорят, особенно на партийных собраниях. А он ничего не слышит. И страшно из-за этого расстроен. Вдруг о нем? И вид у него от этого, как у мужичка из робких, который сам о себе в частушке поет:

Меня на танцы приглашали,
А я чтой-то не пошел,
Пиджачишко на мне рваный,
Да и членик небольшой.

Но наш-то, хоть и помимо своей воли, ходит на партийные танцы и все танцует и танцует, хоть и не слышит музыки. И уже какой год... В чем же дело? Почему его, бедненького, все переизбирают и переизбирают в партбюро? Тайна? Да нет! Когда кого-нибудь прорабатывают или пытают, он время от времени прикладывает руку к уху и робко просит: «Ничего не слышу... Погромче, пожалуйста... Что?.. Чего?.. Ась?.. Не слышу...» Сами понимаете, человек волнуется. И так трудно. С одной стороны, как рентген, светится глаз, с другой стороны героическая культя жмет; ленинский зародыш угрожающе пишет; спаситель интеллигенции задумчиво вздыхает; трипперный Жорик твоей семьей озабочен; у дрожащего еврея появляется выражение фокстерьера — вот-вот укусит. А тут еще ори, как зарезанный. Ну вот, видимо, за это нашему глухонькому время от времени партбюро заказы подкидывает. Впрочем, какие там заказы? Крошечки, так, с барского стола, чтобы с голоду не помер, бедненький.

Не знаю, понимает ли он, за что его благодетельствуют. Думаю, что нет. Ведь он же совершенно глухой...

Красавец Жора действительно высок, статен и красив, но на лице его широком постоянно видна злоба и смятение. Жора исключительно бездарен и неудачлив. Это-то его и толкнуло в партию в самое развеселое время, во время борьбы стареющего Сталина со своими врачами. Юному Жорику трудно давались изобразительные искусства и науки. Несмотря на внешнюю ладность, у него все валилось из рук. И не только с похмелья. То, что средний студент делал в час, Жора, изнемогая, производил в восемь или десять. Уже в этом Жоре виделся некий подвох и заговор.

В те времена, когда любой признак незаурядности рассматривался с позиций: «Ха, незауряден, уж не космополит ли?», — Жоре был прямой резон вступать в партию. Жора решил не учиться, а учить. Кроме того, Жора, как и Сталин, не любил врачей и подозревал их в кознях. Дело в том, что эти евреи никак не могли вылечить его от запущенного триппера. В данном случае Жора был несправедлив к врачам, так как современной науке известно: триппер возбуждается от водки. А поскольку Жора не просыхал, то и триппер не высыхал. Но и партийный билет не защитил Жору от надоевших ему трипперов и увечий, получаемых по пьянке. Жоре явно и тотально не везло. Как-то с одним евреем он взял на пару проститутку. Жора вообще-то евреев терпеть не мог, но в данном случае выхода не было. У этого еврея были деньги, хотя бы на одну, а у Жоры их никак не могло быть. И надо же, Жора, русак, хозяин страны, от нее заболел триппером, а обрезанный, безродный — нет. Это окончательно добило Жору. Еще больше укрепило в ненависти к космополитам и навсегда бесповоротно сблизило с вождем всех времен и народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Через много-много лет после смерти любимого вождя постоянный член партбюро МОСХа Жора, заняв нужную сумму у одного беспартийного большевика, взял проститутку. Утром он начал выгонять ее, не заплатив денег, даже побил. За то, что, как он утверждал, она недостаточно обеспечила ему прилив крови к главной из конечностей.

Отчаянная и озверевшая от побоев баба, пользуясь тем, что он был изрядно пьян, вытащила у него партбилет и сдала в милицию, где все рассказала, аргументируя тем, что пусть ее накажут, как б..., но таких грязных б... она в своей практике еще не встречала. Ее просто выгнали. Видимо, работники милиции были связаны с милым Жорой. Он был членом группы содействия милиции и, естественно, их собутыльником. Так или иначе, милиция не составила протокола и не дала знать вышестоящим инстанциям, а передала документы и обстоятельства в партийную организацию МОСХа, членом которой являлся неудачливый партийный Дон Жуан. Историю — по каким-то внутренним партийным соображениям и, вероятно, по идее глобальной безопасности, а также сохранения и упрочения мира во всем мире — замяли. Жора отделался легким испугом. Но именно с этого момента фортуна повернулась к нему лицом, и он начал делать активную карьеру. Его бурсацкая лихость импонировала менее прытким партсотоварищам. Его профессией при рассмотрении характеристик для поездки за границу стала нравственность. Он стал почти непререкаемым авторитетом в этой тонкой области. Весь беспартийный МОСХ недоумевал: что это — наглость, вызов? Возможно. Не пугайте нас, мы сами кого хошь напугаем. Им плюнь в глаза — все Божья роса. Может быть, поэтому Жора и запроцветал. Я помню, что именно он пытал всех подозреваемых в безнравственности. Именно ему поручали читать лекции о коммунистической морали. Именно он страшно бдительно следил и выпытывал о семейных взаимоотношениях, о любовных связях претендентов на заграничную поездку. Именно он, обычно полупьяный, с распахнутой ширинкой, с немытой шеей поучал прелестных молодых художников: учыца, учыца, учыца, как сказал Ленин.

Видимо, ему действительно открылась большая карьера. Если все сложится, как надо, он со временем будет направлен в Америку, учить несколько подраспустившихся детей пуритан нравственности. Абсурд? Нет, эта запрограммированная циническая рациональность несет в себе практический элемент; в обществе, формально проповедующем коммунистическую мораль, не удивительно, если сухой коммунист, аскет поучает тебя нравственности. Пусть он ограничен, пусть он несимпатичен, но он не сможет внушить такого ужаса, как пьяный, разнузданный подонок, безнаказанно измывающийся.

Внешне все может выглядеть случайностью. Но не зря начальство попустительствует Жоре, создавая обморочную атмосферу полной безнадежности, и этим по-настоящему пугает и повергает в ужас. Больше, чем самыми грозными приказами о послушании. Потому что с таким бесцветным, но беспредельным, все разъедающим цинизмом бороться нельзя.

Что за планида такая? Ну, пусть бы тиранил тиран, властвовал властитель, тонуть — так в крови, но не в моче. Нестерпимо стыдно. Хромой, глухой, слепой, дрожащий, трипперный коллектив — Крошка Цахес — мой хозяин. Противно и просто. Просто? А все-таки что там, за дверьми парткомнаты, булькает, булькает, булькает?

ХЕПС

Иногда мои друзья, находившиеся на различных уровнях партийно-государственной иерархической лестницы, пытались мне помочь. Но никогда у них ничего не получалось. Временные успехи только подчеркивали общее безобразие моей ситуации. Существовала физиологическая несовместимость между мной и окружающей меня действительностью, и она была непреодолима. Как бы ни пытались меня иногда заглотнуть в официальное искусство — а такие попытки были, — с отвращением отрыгивали. Я не переваривался в этом желудке.

Бывало, я сам, подначитавшись Макиавелли и призывая на помощь исторические аналогии — история же искусств красочно повествует о сговорчивости разного рода талантов с вельможными ничтожествами всех времен и народов, — пытался изменить себе и шел на сближение, понимая, что скульптор — не поэт, не свободный философ и, увы, зависит от государства. Будучи монументалистом, я не хотел всю жизнь просидеть в подвале, не хотел быть генералом без армии. Соображения побеждали отвращение — я сам тащил себя за шиворот. Но при личной встрече с современными Медичами забывались практические аргументы. Кто-то, кто был сильнее меня, превращал претендента на роль государственного скульптора, советского Скопоса, в разнузданного анархиста. Как будто внутри моего взрослого тела, одетого во взрослый, подчеркнуто респектабельный на такие случаи пиджак (пиджак имени ЦК — прозвали его мои друзья), находился некто, некое существо, скорее всего мальчишка, который не хотел, не хотел, просто не хотел быть ни у кого на поводу. А почему? Да нипочему. Просто так — я такой! Пусть нехороший, но это я.

Как-то раз мои друзья-аппаратчики пришли к выводу, что меня нужно познакомить с человеком, который у Косыгина ворочает культурой. Мы долго готовились. Меня учили, как с ним разговаривать, мне объясняли, что он не очень далек, но зато склонен меценатствовать. Мне говорили, что я должен говорить и чего говорить не должен. В общем, был большой тренаж. Он же приезжал тихонечко и таинственно. Потому что не очень-то гоже ему в ресторане встречаться с неофициальным художником, да еще с таким. В то же время он, видимо, умирал от любопытства, так как обо мне в этой среде ходила масса взаимоисключающих слухов и легенд.

Итак, в ресторане «Арбат» мы сняли в кабинете столик. Я тогда уже имел много денег. Поэтому стол ломился от яств: балыков, черной икры, от разных вин, коньяков, от всего, что только можно было купить. Первая половина вечера началась превосходно. Я ему рассказывал о своем патриотизме, о войне, о том, как был добровольцем в армии. Я говорил, что хочу служить родине, хоть моя форма в искусстве и отличается от общепринятой. Он знал, что Косыгин, его шеф, подарил мою работу Кекконену и, значит, в какой-то степени понимал мою проблему. Друзья упивались моими успехами и гордились мной. Они переглядывались и посматривали на этого человека, кличка которого была «Хепс», словно говоря ему: «Ты видишь, видишь, он же свой, свой! Он наш! Мы же тебе говорили...» И я изо всех сил старался быть своим.

Желание служить, желание приобщиться делает нас снисходительными. Я старался найти в нем симпатичные черты. И находил. Доброе лицо, несколько близорукие глаза, смешные десять — пятнадцать волосков, торчащие клоком на лысине. Нормальный человек. Чего же еще надо нам, чтобы терпеть начальство? Мало надо. В тайниках души мы так презираем власть, что если ее представитель не сразу укусит, пырнет или хрюкнет — уже хорошо. Ведь и Косыгина уважают за то, что он нормально, то есть средне-грамотно, говорит. Единственный из всех руководителей своего поколения. Но, Боже мой, мой сосед — жалкий инженеришко — говорит лучше и литературнее Косыгина. А его-то никто не уважает за это. И ясно, почему. Он не власть. Итак, я пытался зауважать человека из аппарата нормально говорящего Косыгина. Я не только устно и мимически демонстрировал ему, что я свой, — я пытался слушать его, что, правду говоря, было трудно.

Он обладал вязкостью сознания, все время спотыкался на несущественных деталях, увязал в них. Внешний, предметный мир уводил его от сюжета рассказа. Он помнил, что, где, когда съел на протяжении многих лет, кто в чем был одет, кто кому что подарил, сколько что стоило и так далее и тому подобное. Если же ему казалось, что он что-то спутал, как то: у французского посла лет этак двадцать пять тому назад он ел говядину или телятину?.. — он прерывал рассказ, накрывал голову ленинским жестом руки и долго и упорно думал. На это время мы все затихали, чтобы не мешать титанической работе его мозга. Наконец он радостно вспоминал: «Да, это была говядина!» Но сюжету мешало еще то, что он никак не мог вспомнить, из какой части Франции добыт этот скот. И снова ленинский жест, лысый лоб покрывается испариной, и почти слышно, как в мозгу шелестит картотека. В чем-чем, но в стремлении к точности деталей ему отказать было нельзя.

А вот выжимки из его беседы:

— Моя жена,— (Сообщаются все анкетные данные: происхождение, возраст, не судима, образование; конечно, включая рост, цвет волос, глаз и другие физические признаки),— не верила, что я сделаю карьеру.— (Из анкетной части рассказа видно, что она из более интеллигентной семьи, чем Хепс.) — И несколько презирала мою рабочую косточку. Но как приятно иногда доказать. Вдруг звонок...— (Сообщается, как ему вне очереди поставили телефон. Как в таких случаях ставятся телефоны вообще. Какой формы и цвета у него телефон. И чем его телефон лучше других.) — Тебя вызывают...— К кому бы вы думали? К Молотову! — (Тут никаких комментариев. Только сияние чела Хепса и вставшие по стойке смирно десять волосков на заблестевшей от восторга лысине. Долгая пауза.) — К самому Молотову! А жена — я замечаю — недоуменно смотрит из-за занавески...— (Сведения об этой занавеске и занавесках вообще.)— Черная машина рычит у подъезда.— (Естественно, все о машинах и табель о рангах: то есть кому, в каких случаях и какая положена.) — И по белой линии, без знаков движения: у-у-у... Знай наших! — (Действительно, какой русский не любит быстрой езды...)

Но торопился он зря, так как его просили подождать и, если он не успел позавтракать (а он не успел), откушать в столовой Совмина. (Подробнейшее и необычайно квалифицированное изложение: как и что он в этой святейшей из святых кормушек кушал.)

— И вдруг репродуктор: «Такого-то к Вячеславу Михайловичу, к Молотову!» Я хватаю папочку,— (Отступление о папочках, о тесемочках, застежечках, цвете и размере; важности папочек вообще, а его в особенности),— все на меня смотрят: кто таков? К Молотову?! К самому Молотову! Приятно. У-у-у, как приятно! Видела бы жена! Вводят в кабинет.— (Длиннющее описание всех предметов, находящихся в кабинете.) — Товарищ Молотов в сером костюме и в таком оранжевом галстуке. Нет, нет, простите, он был в сером костюме и в коричневом галстуке. В оранжеватом он был в другой раз. Я потом расскажу о том, что было, когда он был в оранжеватом галстуке... Я прошу у него прощения: извините, товарищ Молотов! Я кушал...

(Тут нужно объяснить. Хепс не сидел в приемной, а сидел в столовой. И поэтому был вызван по радио, и это его смущало: не рассердился ли Молотов.)

— А Вячеслав Михайлович, как сейчас помню, мне говорит: «Кушать у нас в Совете Министров, а также в ЦК не возбраняется». Понимаете, мне, мне, прямо так простецки говорит: «Кушать не возбраняется!» — И в интонации Хепса прозвучало что-то надмирное. На мгновение, как мне показалось, чело его озарилось ореолом. Расплывчатое, добродушное лицо приобрело значительное выражение, все превратившись в свиной пятак, из дырок которого, как из священных репродукторов, неслись слова новой религии: кушать, кушать, ку... И я вдруг увидел горы и небеса, моря и луга, на которых гигантскими буквами начертано: КУШАТЬ НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ! Хепс же, опустившись на землю, широким жестом пригласил меня разделить его восторг. Закис от радостного смеха и, подавившись черной икрой, запил армянским коньяком, но никак не мог успокоиться, все время хихикая и повторяя многозначительно: «Вот так-то, Эрнст. Кушать не возбраняется! Понял, Эрнст, *не возбраняется!*» И поднимал беленький пальчик, чтобы подчеркнуть важность и ритуальный смысл: КУШАТЬ, КУШАТЬ, КУШАТЬ! А поскольку не возбраняется, он и кушал. Пил и кушал. Кушал и пил. И рассказывал, и рассказывал. А так как мы слушали, он был убежден, что мы упиваемся содержательностью его рассказов и радуемся вместе с ним всем разудалым радостям чиновничьего бытия-жития. И кушанию. И, конечно, он говорил о семье, и, конечно, как все они, когда подопьют:

— Для меня семья — все. Но с вами, и между нами, ах, художники, эх, натурщицы, эх, цыганочки... тра-тра-тру-ля-ля... Мастерскую тебе отгрохаю, построю хорошую. Мастерскую за государственный счет. Построил же я Кобелю. Мы здесь все свои... Но тебе, но тебе поэтому скажу без балды. Тебе — другую. У нас же ты не такой официальный. Тебе мастерскую с интимными уголками. Как говорят французы, гран мэрси. А один

уголок мастерской — и для меня. Знаешь, почему я люблю большую м...? Между нами... В ней можно найти свой интимный уголочек. Хи-хи-хи...

Все бы ничего. И не такого я за свою жизнь наслушался. Но он както незаметно перешел на «ты». В его интонациях появилось нечто дружески поощрительное, но с начальственным оттенком. Вообще-то в неофициальном протоколе, если начальство переходит с подчиненным на «ты», то есть начальство говорит подчиненному «ты», подчиненный же начальству «вы» — до особого разрешения,— это уже поощрение со стороны начальства. Это уже выделение тебя из стада, это уже некое приобщение. Я никогда не терпел такого рода панибратства. Оно действовало всегда на меня, как красная тряпка на быка. Может быть, не тыкай мне Хепс, я бы стерпел его занудность и безобразие. Но тут уже было выше моих сил. И меня понесло:

— Вы что мне тыкаете. Я с вами свиней не пас...

Много я ему сообщил. И что у моего деда дворник был культурнее начальничка косыгинской культуры, и что я таких сявок, как он, у параши на четыре кости ставил. Много, ох, много было высказано ему на сочном и отборном слэнге. Почему в напряженные моменты при общении с хулиганами, бандитами, милиционерами, функционерами, я переходил на уголовный язык? Выросший в весьма интеллигентной семье, я, естественно, грамотно и, как многие считают, культурно говорю на литературном русском. Но жизнь взрастила меня не только в литературных интеллектуальных салонах. И я скоро понял, что на строительной площадке, в армии, в милиции или даже у начальства в определенных обстоятельствах слэнг звучит как язык силы. А интеллигентный русский — как признак слабости. И при встречах с Хрущевым, возможно, умение нахамить Шелепину на слэнге частично защитило меня. Литературный русский сегодня — это иностранный язык. Нормальный же язык — это смесь заблатненного языка с канцелярскими клише.— Итак, выпоров «феней» ни в чем не повинного Хепса, я бросил официантам пачку денег и ушел, в основном недовольный собой, проклиная и кляня себя за подхалимаж, хамство и несдержанность.

Но эта история кончилась совершенно неожиданно. Естественно, мои друзья очень обиделись на меня. Один из них мне позвонил на следующий день:

— Эрнст, ты не был настолько пьян, чтобы тебя простить. А если даже ты был и пьян, это все равно непростительно. Мы сделали для тебя большое дело. Если тебе на него плевать, не надо было встречаться. А если ты встретился, то хотя бы не о себе, ты должен был подумать о нас, нам с ним работать.

Я сказал:

— Ребята, я приношу извинения. Больше никогда ничего подобного для меня не делайте. Потому что я понял себя. Я могу поддерживать взаимоотношения с человеком, который мне даже если и полезен, то одновременно должен быть и приятен. Тогда хоть что-то получится. Если же он только полезен и отвратителен, у меня ничегошеньки не выйдет.

— Ну, это твое дело. Мы тебя простить не можем, потому что ты себя повел не по-мужски.

Они были правы, и я очень, очень переживал.

Неожиданно, примерно через неделю, мне снова позвонил мой друг:

— Эрнст, я не разделяю веру в твой гений. Но, во всяком случае, гений интуиции у тебя есть, это точно.

— В чем дело?

— Хепс от тебя без ума. Каким-то образом он съел твое хамство. Он хочет, чтобы ты перед ним извинился, и хочет снова встретиться. Поверь, Эрнст, это делает ему честь, и не задирайся снова.

— Ребята, только я очень не хочу... Я не могу с ним поддерживать отношения.

— Ради нас.

— Ну, только ради вас.

Я позвонил Хепсу:

— Я приношу вам извинения. Я был патологически пьян. Я инвалид Отечественной войны. На меня водка действует ужасно. Приношу

вам извинения. Я очень часто в таком состоянии разговариваю с людьми неправильно...

Он очень сухо ответил:

— Ну, хорошо, хорошо, я это понимаю. Но я хотел бы с вами увидеться.

— Зачем?

— Когда мы увидимся, я объясню вам, зачем.

Дело в том, что ребята попросили меня подарить ему какой-нибудь рисунок или какую-нибудь гравюру, чтобы сгладить инцидент. Испытывая горячее чувство вины, я на это пошел. Мы с ним встретились у ворот Кремля, где он работал, в его обеденный перерыв.

— Вот вам рисунок. Здесь я вам сделал дарственную надпись.

Он смягчился и пожелал меня пригласить домой, что было уже, с точки зрения протокола, высшей честью. А если учесть, что он встретился со мной, пожертвовав обедом, то надо считать, что он меня больше чем простил. И вот у него дома я снова хлебнул горюшка. Но, слава Богу, это была последняя наша встреча. И с гордостью могу сказать, что в этот раз я был сдержаннее, никого не оскорбил и ничего не сломал. Описывать его дом, забитый роскошью, нет сил. Кроме мебели всех сортов и стилей, всюду тяжеленные бронзовые скульптуры, совершенно не для домашнего пользования: огромнейшие марксы и энгельсы, стыдливо носом в угол повернут бюст Сталина в маршальской форме. Различные герои, сеющие разумное, доброе, вечное, кующие что-то железное, не то мечи на орала, не то орала на мечи, знакомые мне натурщики и натурщицы в балетных позах, устремленные в космос — к мирам иным, — чтобы доказать, что и там нет Бога. Ясно, что это взятки-подарки от опекаемых им скульпторов. А вот и парадный гипсовый бюст самого хозяина.

— Пока еще не переведен в вечный материал, — сообщил мне таинственно Хепс, указывая на монумент, расположенный на хрупкой чайной горке, набитой бездарнейшим немецким трофейным фарфором времен Гитлера: томные купальщицы, кокетливые национал-социалистические младенцы-супермены, порочная Гретхен, танцующие крестьяне и крестьянки, собачки, кошечки в бантиках и просто розочки и бантики из фарфора. И над всем этим героический бюст Хепса, взглядом устремленный в светлое коммунистическое будущее, где будет что кушать. Он во всех орденах, а их у него, оказывается, немало, и даже десять волосков есть, но только они не торчат, а заботливо выложены скульптором на римской плеши Хепса. И каждый любовно выделен, отполирован и значителен сам по себе. А над его челом по стенам расположены головы различных животных: с рогами и без рогов, с клыками и без клыков. Возможно, трофеи его лихой охоты, возможно, подарки. Но ясно, что это тотемы, символы того, что вышеперечисленные животные действительно были убиты и скушаны. Между мордами с укоризной смотрящих на плешь Хепса зверей расположены дары всех стран и народов, покоренных Хепсом: вымпелы, кокосовые орехи с революционными надписями, сделанные золотом, пейзажи далекой Индонезии, написанные лаком, цветные полотенца, грузинская чеканка, изображающая «Витязя в тигровой шкуре», болгарские сценки из социалистического быта деревни, набранные в драгоценных сортах дерева. Естественно, гербы, серпы, молоты, звезды, Эйфелева башня, пальмы, значки олимпиад и конгрессов, арабские мечети и верблюды, бочоночки и открывалки для бутылок и, конечно, ленины, ленины — всех национальностей и рас; ленины всех континентов и широт; ленины черные и желтые, красные и белые, раскосые и большеглазые, курносые, прямоносые и горбоносые; ленины скуластые и удлиненные; ленины с большими лбами и маленькими; ленины, выполненные во всех материалах, которые породила земля и химия: ленины из бронзы и ракушек, ленины из нержавеющей стали и пенопласта, ленины из пивных пробок и слоновой кости, ленины из различных пород дерева и из смолы. И среди всего этого хлама, как окошко в другой мир, цветы, прекрасные цветы, вышитые его женой. А под этим великолепием паркетный пол, натертый его женой. Каждая паркетина занятно блестит. Потому что его жена, по приказу Хепса, одну паркетину трет справа налево, а другую слева направо, о чем с гордостью нам сообщил Хепс. В отличие от большинства советских чиновников, которые в основном под башмаком жен, Хепс властвует.

И, возможно, мстит за ее интеллигентное прошлое и недоверие к его способностям. Так или иначе, она только раз выглянула из-за занавески, знакомой нам уже по предыдущим рассказам, чтобы дать нам выпить.

Когда я был в капелле Медичи, я понял многое. Я понял, почему гении Возрождения так преклонялись перед Медичи. В атмосфере искусства, которую он создал, мог жить только Медичи. Потребность концентрировать различные шедевры с такой силой мог именно только гений. Гений Медичи своей любовью к искусству и потребностью в нем стал равным его создавшим. Да, Медичи равен Микеланджело, Рафаэлю и другим. То же и Хепс. Он абсолютно адекватен художникам, набившим его капеллу своим хламом. Если бы я мог привезти его квартиру сюда в Америку, крупнейшие галереи дрались бы, чтобы экспонировать ее. Это самый китч из китчей в мире. Уважаемое товарищ правительство, умоляю сохранить эту квартиру как музей. Ах, да, я не указал адреса. Ну, пошукайте, таких квартир не одна. Но делать вам это надо скорее, так как волна либерализма и тлетворное влияние Запад скоро размоет такие квартиры-заповедники. Прошу прощения за отступление... Видимо, воспоминание о Хепсе заразило меня тоже вязкостью мысли.

Итак, жена дала нам выпить. Довольно жалкой водочки и закусочки. Обидно нам было хлебать эту теплую водочку, так как в квартире стояло несколько стеклянных шкафов, набитых различными коньяками. Боже мой, я и не подозревал, что в мире так много различных сортов коньяка. И как вкусно выглядит! Но на шкафах были суровые надписи: что пить это нельзя, так как сие — коллекция. И мы пили водку, как говорят, вприглядку, жадно поглядывая на недоступную роскошь.

— Таких коллекционеров убивать мало, — шепнул на ухо мой партийный друг.

— Вот ты и созрел и понял меня, — ехидно шепнул я ему в ответ.

Хепс немножко подвыпил водки и снова начал нудить. Но в этот раз он не хамил и еще больше раскрылся. И нам стала ясна причина его желания общаться со мной. Оказывается, в один период своей карьеры он был помощником Ворошилова.

— Эх, Эрнст, Эрнст, вы человек крупного помола. Такие сейчас перевелись. Вы мне очень напоминаете Ворошилова. Он тоже был вспыльчив, но отходчив...

Видимо, он решил, что мое хамство есть право. И раз я такой хам по отношению к нему, то я и есть природное начальство. Кроме того, он, похоже, заподозревал, что я имею естественное право на это хамство еще и потому, что у меня есть какая-то рука повыше его. У него была рабья натура. Он остался рабом. И, работая у сухого Косыгина, который не склонен топтать никого ногами, он, наверное, скучал о мате Ворошилова и о прежних счастливых временах. И во мне он увидел хозяина, свою молодость. Самое интересное, что в связи с этим Хепсом я вспомнил другую историю. Я вспомнил его более молодым, но не менее противным.

МЕРКУРОВ

Приехав в Москву поступать в институт, не имея ни жилья, ни денег, я обратился к Меркурову, одному из трех ведущих в то время скульпторов страны, с просьбой взять меня на работу. Меркуров во время войны был в эвакуации в городе, где я родился, — в Свердловске. Там он близко познакомился с моей мамой, которая тогда была оргсекретарем Союза писателей Урала. И вот теперь, хоть я еще не был скульптором, он, видимо, из-за знакомства с мамой, взял меня на роль «мальчика за все»... То есть я должен бы делать все, что прикажут: от подметания полов и беганья за водкой до помощи в лепке и в рубке камня.

Огромный, бородатый, красивый и громкий Меркуров сразу понравился мне. Его театральная импозантность, его шикарность, размах и красочность жеста импонировали моему романтическому сознанию. Возможно, родись я во времена Шаляпина, во времена купеческих загулов

моего деда, мне бы все это показалось мишурой. Но на фоне серых будней, серой, как солдатская шинель, действительности он был яркой фигурой. Жил он барином. За стол садились иной раз до шестидесяти человек. Скульптор он был бесспорно талантливый. Его дореволюционные работы явно говорят об этом. Его гранитный Достоевский, Толстой, да и Тимирязев, вырубленные в молодости, конечно, выше всего того, что он потом делал при советской власти. Он был бесконечно циничен и даже как бы гордился этим. Я подозреваю, что в тайниках души он был трагичен и сломлен. Внутренне он уже был выдрессирован советской властью, но внешне — прекрасен, как свободное животное на фоне всеобщей запуганности.

Поражала воображение скульптура голого Ленина. Модель фигуры, которая должна была венчать Дворец Советов, спроектированный архитектором Иофаном (кстати сказать, единственным моим родственником, сумевшим завоевать любовь тов. Сталина). Голый Ленин?! Но Иофан в том, что Ленин остался даже без кальсон, нисколечко не виноват. Меркуров, как серьезный профессионал, штудировал ленинскую плоть и вживался в анатомический образ Гения. Ильича пришлось в конце концов приодеть в портки и пиджак.

Но совсем становилось жутковато, когда Сергей Дмитриевич торжественно сообщал, что в голове тов. Ленина будет кабинет тов. Сталина. И что, когда этот монумент увенчает Дворец Советов, тов. Сталин, комфортабельно расположившийся в плеши тов. Ленина, воспарит над облаками.

Пошучивал он и такие шутки. Когда к нему приезжало все Политбюро, он театрально говорил:

— Ну, друзья-господа, вот там,— широкий жест с показом за ворота,— кончается советская власть. А здесь начинается Запорожская Сечь...

(Сечь. Где огромная армия каменщиков высекала бесконечные серии фигур Сталина. Своеобразный комбинат, мануфактура. Сталинская Сечь.)

Господа только улыбались. А господа-то всего только Берия, Маленков, Каганович, Ворошилов. Но ему было можно. Он был в те времена любим Сталиным. Но и он все-таки заигрался. На 70-летие Сталина он преподнес ему в подарок гранитную скульптуру, изображающую группу скорбных людей, несущих на плечах тело Ленина, под названием «Похороны вождя». И имел бестактность в дарственном письме указать ее стоимость. Ответ Сталина был краток: «Такой дорогой подарок принять не могу!» С этого начался его закат.

Но в то время Меркуров был на коне и резвился. И его двор для него, не для нас, конечно, был вольницей и Запорожской Сечью.

Я вместе с рабочими рублю камень во дворе. Вдруг женский вопль. Из дома выскакивает в полуразодранном платье известнейшая балерина страны. Женщина-кумир. Женщина-монумент. А за ней, лауреаткой Сталинских премий, народной артисткой СССР, обладательницей огромной коллекции многих званий и орденов, несется тоже лауреат Сталинских премий, народный художник СССР, член президиума Академии художеств СССР, обладатель огромной коллекции многих званий и орденов товарищ Меркуров Сергей Дмитриевич. Голый, огромный, волосатый, гориллообразный, с дымящимся от возбуждения членом. А за ним его жена с чем-то тяжелым в руках. Как в ускоренном кинофильме, они пролетают мимо привыкшей к подобным сценам бригады каменщиков. Мы все целомудренно опускаем очи долу. Группа исчезает, и только слышен истошный крик члена президиума Академии художеств СССР:

— В моем доме, да и всласть пое....ся не дадут!..

Но это так, пустячок, милая семейная сценка. Что они делали с Алексеем Толстым, закрывшись с бабами в деревенской баньке, нам неведомо, но по количеству сожранного и выпитого можно было судить о гигантской и энергичной работе, проделанной там. Он любил вспоминать, что он грек. Возможно. Другие говорили, что он армянин. А сам-то он враль был отменный. Так или иначе, темперамент у него был. И в этом плане ни греков, ни армян он не подвел и не опозорил. Кроме того, обе эти нации отличаются, как принято думать в Одессе, торговой сметкой. Отличался ею и Меркуров. В Свердловске мне рассказывали, что, эвакуировавшись на Урал во время войны, Меркуров снял — конечно, за счет государства — для своего коллектива гостиницу «Большой Урал». Но, поскольку номеров было гораздо больше, чем нужно, лишние он сдавал различным приезжим, а деньги клал себе в карман, по существу, на время превратив государственную гостиницу в свою собственность. Таких купеческих проделок числилось за Меркуровым много. Но он не был скуп, и мы, работавшие у него, это знали. Он хорошо понимал характер русского мастерового и поэтому действовал в традиционной русско-купеческой манере. Об этой традиции я много слышал от своего деда — богатого уральского купца. За самую малую провинность мог выпороть. А то вдруг, увидев, что рабочий приуныл, спросит:

— Что морда кислая?

— Да корова у меня подохла, Сергей Дмитриевич.

Все понятно, корова — главная кормилица в пригородном хозяйстве каменщика, у которого детей и внуков целая рота.

Отчитав за кислую рожу матом и обозвав всех дармоедами, на следующее утро Сергей Дмитриевич дарит мужику корову. А корова по тем временам стоила целое состояние. Драл он с государства и с рабочих три шкуры, но все и тратил. А когда помер — оказалось, что действительно ничего не скопил и, кроме долгов и заказов, ничего не оставил. Кстати, он организовал такой скульптурный комбинат и имел такого талантливого менеджера, что и после его смерти коллектив, созданный им, продолжал выпускать продукцию от его имени без него. Да, впрочем, и при жизни многое уже делалось без него.

В один прекрасный день Сергей Дмитриевич сказал, что он уезжает отдохнуть на юг и что к такому-то числу должен быть готов портрет Кутузова, по-моему, две с половиной натуры или три. Он дал своим помощникам в качестве модели абсолютно невразумительную лепешечку, в которой было еле видно, что это голова человека и какие-то погоны. Зачем эта модель была сделана — непонятно. Лучше бы кукиш показал в виде модели.

— Ну, вы знаете, как и что делать, ребята. Задание не хитрое, но кровь из носу, чтобы было готово и блестело, как яйца у кота, к такому-то числу...— потом наклонился и заговорщически сказал: — Клим приедет принимать. Так что для Клима сделайте. Как говорят советские мастеровые-скульптора, в нашем деле брака не бывает. Сказано — сделано.

В день сдачи заказа стоял на подставке готовый и новенький, как сапог, бюст: гладок, одноглаз, в орденах, в эполетах — все в порядке. Соцреалистический фельдмаршал Кутузов готов был к сдаче соцреалистическому маршалу Ворошилову. А вот и шеф. Прямо с самолета. Веселый, загорелый, пыша здоровьем и дыша вином и барашком, даже и не взглянул почти на результаты собственных творческих усилий. Махнул большой рукой, дескать, знаю, сойдет, и побежал на кухню, потому что надо было принимать большого гостя. «Путь к сердцу солдата лежит через желудок»,— кажется, сказал Наполеон. А Ворошилов хоть и маршал, но в смысле сердца и желудка остался, естественно, солдатом. И забегали холуи — как их называет советская знать, обслуга. Закрутилось все. А из кухни доносились фантастически вкусные запахи. И зычный голос хозяина:

— Да сациви, в сациви орешков да чесночку побольше... Где «Хванчкара»?.. Это что? Персик? Яйца это твои, мудак, а не персик! Настоящий персик с кулак должен быть...

Наконец затихло все. Только от возбуждения подвывают многочисленные дворовые собаки, сбежавшиеся на упоительный запах кухни. (Выли и мы — в стране царил голод.) Приближалось время, когда должен был приехать величайший партийный меценат.

Вышел раскрасневшийся от жара кухни Меркуров. Я в это время подметал пол в мастерской и стоял со шлангом. Дело в том, что в моих обязанностях было следующее: при появлении высокопоставленных гостей у дверей должен был стоять форматор Дюбанин, который впоследствии работал и у меня форматором. Как только появлялся гость, он махал мне рукой, и я обрызгивал скульптуру водой. Это всегда входило в мои обязанности, потому что Меркуров точно знал вкус советского начальства: то, что не блестит, не блестяще. Меркуров посмотрел на меня, а он ко мне хорошо относился и доверял:

— Слушай, тебе надо быть скульптором. Ты же все-таки не всю

жизнь будешь здесь подметалой. А ведь самое важное в нашей ситуации — не как лепить, а как сдавать... Так вот, польешь и брысь за занавеску... Оттуда будешь выглядывать. Я кое-что тебе покажу...

Так и поступили мы с Дюбаниным. Дюбанин, стоявший у дверей, махнул рукой, я быстро обрызгал водой бюст Кутузова, бросил шланг, закрыл кран, и мы спрятались за занавеску. Едва мы успели задернуть ее, выглядывая из-за щели, как увидели, что появился кривоногий меценат, поразивший меня невзрачностью своего вида. Человек-Легенда, о котором слагались песни, Человек-Монумент оказался небольшого ростика, довольно спортивным, с лицом пуговкой и чаплинскими усиками, человечком. Так что мой Хепс, который плелся за ним в качестве помощника, вполне был на месте. Да и вкусы у них, как я потом выяснил, были абсолютно одинаковые. Что у героя-монумента Ворошилова, то и у чиновника Хепса. Итак, вошли эти люди. А за ними следовали еще, но было видно, что это не люди, а так, охрана. Из другой двери синхронно вышел громадный барственный Меркуров. Но что это? Вся голова его от макушки до шеи забинтована. Трагический вид. Только из-под повязки торчит веселый пиратский глаз, нос и клок бороды. Тут уж не до Кутузова. Ворошилов и не смотрит на него. Эх, зря я поливал...

— Сергей Дмитриевич, да что с вами?..

— Ох-хо-хо, — отвечает болезненный Сергей Дмитриевич. — Вот, Климент Ефремович, некоторые непонимающие говорят, что нам, скульпторам, много платят. А нам надо бы еще и на молочко подбросить за вредность производства. Знаете, сколько нервов да сил тратишь?! Вот я лепил этого Кутузова, а он — одноглазый... А то, что он одноглазый, создает определенную мимику, определенное выражение лица. Надо было вжиться в образ. Вот я и щурился. Я морщился. Представлял себя одноглазым. Ночами вскакиваю — не спится... А тут еще сверхзадача, как говорит Станиславский, хоть Кутузов и одноглаз, он символ — с воинским зрением орла. Как совместить конкретную правду с исторической?! Вот, Климент Ефремович, соцреалистическая задача!.. Что-то сейчас болею, все лицо свело. Все лицо, и глаз не смотрит, резь. — Естественно, сердобольному маршалу здесь уж не до Кутузова. Он так, бросил взгляд — уже принято.

— Сергей Дмитриевич, да что же это такое? Что с вами? Вы должны себя беречь, неугомонный. Вы нам нужны... — Скупые мужские объятия.

И пошли пить «Хванчкару» — любимое вино Сталина — и кушать сациви. Мы выползли из-за занавески, переглянувшись. В общем-то все было понятно. Непонятно мне было тогда одно: зачем Меркуров разыграл комедию? Ведь и так было бы принято. Сейчас я это понимаю. Он презирал этих людей. Он все-таки работал с Лениным и с Дзержинским. Поэтому новые партийные вожди-нувориши вызывали у него только отвращение, и он иногда разрешал себе покуражиться, побезобразничать, хоть так компенсируя свое положение: высокооплачиваемого государственного раба.

Прошло некоторое довольно длительное время. Мы сидели и ждали дальнейших приказов. А... маршал кушал, кушал, и Хепс кушал, кушал. Накушавшись, высокопоставленные гости уехали. Вышел веселый и пьяный Меркуров. Указал на повязку и сказал:

— Вот б...., — так иногда он любовно называл свою жену, — замотала, так замотала... Слава Богу, едальную щель хоть оставила. А ну, разматывай меня, ребята... — И мы сняли с его глаза повязку, в этот момент поняв, что и глаз-то был забинтован не тот, который надо было щурить, чтобы вжиться в образ Кутузова.

Да это и неважно. До подробностей ли тут? Такие частности не имеют отношения к истории советского искусства, в которой мы, возможно, когда-нибудь прочтем, что серия бюстов одноглазых полководцев: Моше Даяна и Кутузова, Нельсона и Голенищева — работы скульптора Меркурова Сергея Дмитриевича является вершиной соцреалистического портрета. Именно потому их автор удостоен всех возможных государственных премий и отличий за не им вылепленную работу, но им проведенную интермедию. Верно сказал мне через много лет менее талантливый, но не менее циничный Вучетич, сменивший Меркурова на посту государственного любимца. Он показал мне на Сталина, которого я лепил для него, и изрек:

— Неважно, как ты мне его вылепишь. Важно, как я ему его сдам...

Андрей Сахаров

ВОСПОМИНАНИЯ

1953 ГОД

Для всех людей на земле это был год смерти Сталина и последовавших за ней важных событий, приведших к большим изменениям в нашей стране и во всем мире. Для нас на объекте это также был год завершения подготовки к первому термоядерному испытанию и самого испытания.

Последние месяцы жизни и власти Сталина были очень тревожными, зловещими. Одним из трагических событий того времени стало так называемое дело «врачей-убийц», сообщения о котором в начале 1953 года появились на страницах всех советских газет. Речь шла о группе врачей Кремлевской больницы, почти все они были евреями, которые якобы совершили ряд хорошо замаскированных врачебных убийств партийных и государственных деятелей — Щербакова, Жданова и других — и готовились к убийству Сталина. Дело якобы началось с письма врача Лидии Тимашук (конечно, сексотки). Фактически же все, имевшие за плечами опыт кампаний 30-х годов, понимали, что это — широко задуманная антиеврейская провокация, развитие антисемитской и антизападной шовинистической «борьбы с космополитизмом», продолжение антиеврейских акций — убийства Михоэлса, расстрела Маркиша и др. Потом мы узнали, что в начале марта были подготовлены эшелоны для депортации евреев и напечатаны оправдывающие эту акцию пропагандистские материалы, в том числе номер «Правды» с передовой «Русский народ спасает еврейский народ» (автор якобы некто Чесноков, незадолго до смерти Сталина введенный им в расширенный состав Президиума ЦК КПСС. Сталин тогда уже не доверял старому составу). По всей стране прошли митинги с осуждением «врачей-убийц» и их пособников; начались массовые увольнения врачей-евреев. (На объекте кампания увольнений была немного приглушена, но я знаю один случай увольнения доктора-глазника Кацнельсона, мужа моей однокурсницы Лены Фельдман; возможно, были и другие, о которых я не знаю.)

С каждым днем атмосфера накалялась все больше, и в недалеком будущем можно было опасаться погромов (говорят, они были запланированы). В это время в Москву приехал за получением Премии Мира французский общественный деятель Ив Фарж. Он выразил желание встретиться с подследственными врачами и, когда встреча состоялась, спросил, хорошо ли с ними обращаются. Они, естественно, ответили, что очень хорошо, но один из них незаметно оттянул рукав и молча показал Иву Фаржу следы истязаний. Тот, потрясенный, бросился к Сталину. По-видимому, Сталин отдал приказ не выпускать слишком любопытного из СССР. Во всяком случае, Ив Фарж вскоре погиб на Кавказе при очень подозрительных обстоятельствах. (Я не мог проверить достоверность этого, но не получил при этих попытках и опровержения — я рассказал через несколько лет эту историю в обществе начальства, включая Славского, и все промолчали.)

В январе или начале февраля я был свидетелем многозначительной сцены.

Я обедал за столиком в «генералке». Через проход от меня сидели Н. И. Павлов и Курчатов. По радио передали сообщение о том, что в Тель-Авиве неизвестные лица бросили бомбу в советское представительство.

Продолжение. Начало см. «Знамя» №№ 10, 11 за 1990 г.

И тут я увидел, что красивое лицо Н. И. Павлова вдруг осветилось каким-то торжеством.

— Вот какие они — евреи! — воскликнул он. — И здесь, и там нам вредят. Но теперь мы им покажем.

Курчатов промолчал. Борода и усы полностью скрывали выражение его лица.

Некоторые считают, что дело врачей должно было стать также началом общего широкого террора, подобного террору 1937 года, во всех звеньях государственной машины, включая высший партийный уровень, и что соратники Сталина почувствовали нависшую над ними опасность. В таком случае, возможно, что смерть Сталина не была естественной — ему помогли. Эта версия развита в одной из книг Авторханова.

У меня нет своего собственного мнения о том, как умер Сталин. Тональность известного рассказа Хрущева скорей свидетельствует в пользу естественной смерти.

О смерти Сталина было объявлено 5 марта. Однако, по-видимому, общепризнано, что смерть Сталина наступила раньше и скрывалась несколько дней. Это было потрясающее событие. Все понимали, что что-то вскоре изменится, но никто не знал — в какую сторону. Опасались худшего (хотя что могло быть хуже?..). Но люди, среди них многие, не имеющие никаких иллюзий относительно Сталина и строя, — боялись общего развала, междуусобицы, новой волны массовых репрессий, даже — гражданской войны. Игорь Евгеньевич приехал с женой на объект, считая, что в такое время лучше находиться подальше от Москвы. Известно, что в эти дни в Москве возникла стихийная давка. Сотни тысяч людей устремились в центр Москвы, чтобы увидеть тело Сталина, выставленное в Колонном зале. Власти, видимо, не предугадали масштаба этого человеческого потока и в обстановке непривычного отсутствия команд свыше не приняли вовремя необходимых мер безопасности. Погибли сотни людей, может, тысячи. За несколько дней, однако, в верхних коридорах власти кое-что утряслось (как потом выяснилось — временно), и мы узнали, что теперь нашим Председателем Совета Министров будет Г. М. Маленков. Яков Борисович Зельдович сказал мне по этому поводу:

— Такие решения принимаются не на один год: лет на 30...

Он, конечно, ошибался.

По улицам ходили какие-то взволнованные, растерянные люди, все время играла траурная музыка. Меня в эти дни, что называется, «занесло». В письме Клаве (предназначенном, естественно, для нее одной) я писал: «Я под впечатлением смерти великого человека. Думаю об его человечности». За последнее слово не ручаюсь, но было что-то в этом роде. Очень скоро я стал вспоминать эти слова с краской на щеках. Как объяснить их появление? До конца я сейчас этого не понимаю. Ведь я уже много знал об ужасных преступлениях — арестах безвинных, пытках, голоде, насилии. Я не мог думать об их виновниках иначе, чем с негодованием и отвращением. Конечно, я знал далеко не все и не соединял в одну картину. Где-то в подсознании была также внушенная пропагандой мысль, что жестокости неизбежны при больших исторических событиях («лес рубят — щепки летят»). Еще на меня, конечно, действовала общая траурная, похоронная обстановка — где-то на эмоциональном уровне ощущения всеобщей подвластности смерти. В общем, получается, что я был более внушаем, чем мне это хотелось бы о себе думать. И все же главное, как мне кажется, было не в этом. Я чувствовал себя причастным к тому же делу, которое, как мне казалось, делал также Сталин — создавал мощь страны, чтобы обеспечить для нее мир после ужасной войны. Именно потому, что я уже много отдал этому и многого достиг, я невольно, как всякий, вероятно, человек, создавал иллюзорный мир себе в оправдание (я, конечно, чуть-чуть утрирую, чтобы была ясней моя мысль). Очень скоро я изгнал из этого мира Сталина (возможно, я впустил его туда совсем ненадолго и не полностью, больше для красного словца, в те несколько эмоционально искаженные дни после его смерти). Но оставалось государство, страна, коммунистические идеалы. Мне потребовались годы, чтобы понять и почувствовать, как много в этих понятиях подмены, спекуляции, обмана, несоответствия реальности. Сначала я считал, несмотря ни на что, вопреки тому, что видел в жизни, что советское государство — это прорыв в будущее, некий (хотя еще несовершенный) прообраз для всех стран (так сильно действует массовая идеология). Потом я уже рассматривал наше государство на равных с остальными — дескать, у всех есть недостатки — бюрократия, социальное неравенство, тайная полиция, преступность и ответная жестокость судов, полиции и тюремщиков; армии и военные стратеги, разведки и контрразведки, стремление к расширению сферы влияния под предлогом обеспечения безопасности, недоверие к действиям и намерениям других государств. Это — то, что можно назвать теорией симметрии. Все правительства и режимы в первом приближении плохи, все народы угнетены, всем угрожают общие опасности. Мне кажется, что это наиболее распространенная точка зрения. И, наконец, уже в свой диссидентский период я пришел к выводу, что теория симметрии тоже требует уточнения. Нельзя говорить о симметрии между раковой и нормальной клеткой. А наше государство подобно именно раковой клетке с его мессианством и экспансионизмом, тоталитарным подавлением инакомыслия, авторитарным строем власти, при котором полностью отсутствует контроль общественности над принятием важнейших решений в области внутренней и внешней политики; государство закрытое — без информирования граждан о чем-либо существенном, закрытое для внешнего мира, без свободы передвижения и информационного обмена. Я все ж не хочу, чтобы эти характеристики понимались догматически. Я отталкиваюсь от «теории симметрии». Но какая-то (и большая) доля истины есть и в ней. Истина всегда неоднозначна. Какие выводы из всего этого следуют? Что надо делать нам здесь (т. е. в СССР) или там (т. е. на Западе)? На такие вопросы нельзя ответить в двух словах, да и кто знает ответ?.. Надеюсь, что никто — пророки до добра не доводят. Но, не давая окончательного ответа, надо все же неотступно думать об этом и советовать другим, как подсказывают разум и совесть. И Бог вам судья — сказали бы наши деды и бабушки.

В конце марта 1953 г. была объявлена широкая амнистия (ее называли неофициально «ворошиловская», так как под Указом стояла подпись Председателя Президиума Верховного Совета Ворошилова; но, конечно, решение о ней было принято коллективно). Амнистия имела огромное значение, так как уменьшала базу рабской системы принудительного труда. У нее были и отрицательные последствия — временное увеличение в некоторых местах преступности. Но главный ее недостаток был тот, что из нее были исключены политические статьи*. Миллионы безвинных, миллионы жертв сталинского террора продолжали оставаться за колючей проволокой бесчисленных каторжных лагерей, в тюрьмах, в ссылках и на бессрочном поселении. Лишь через несколько лет большинство из них, тех, кто еще был жив, вышли на свободу. Это стало возможным только в результате постепенного освобождения страны от пут сталинского кошмара, при оттеснении из высшего руководства многих трусливых, циничных и жестоких соучастников сталинских преступлений. Как известно, это в значительной мере заслуга Хрущева и его советников в 50-х годах (среди которых, говорят, важную роль играл Снегов — в прошлом тоже узник сталинских лагерей).

Примерно через неделю после объявления об амнистии произошло еще одно важное событие — прекращение дела врачей. Первым среди нас узнал об этом Игорь Евгеньевич — он всегда слушал по утрам иностранные радиопередачи на коротких волнах, чаще всего на английском языке. Я помню, как Игорь Евгеньевич, запыхавшись, прибежал в этот день в отдел и еще от порога крикнул:

— Врачей освободили!

Через несколько часов мы уже читали об этом в советских газетах: «Всех обвиняемых освободить за отсутствием состава преступления. Виновных в нарушении социалистической законности, в применении строжайше запрещенных законом приемов следствия (читай — пыток, подлогов, фальсификаций. — **А. С.**) — привлечь к строгой ответственности».

Игорь Евгеньевич был совершенно потрясен и счастлив и только и мог повторять:

— Неужели дожили? Неужели, наконец, дождались?

Казалось, начинается новая эра. Конечно, как это часто бывает, Игорь

* Политзаключенные, осужденные на срок до 5 лет, подпадали под эту амнистию. (**Прим. ред.**)

Евгеньевич (и все мы) не только радовались действительно великому событию, но и делали из него очень далеко идущие выводы, которые оправдались не полностью и — некоторые — далеко не сразу. И все же самое страшное было позади. В эти дни, наряду с официальным сообщением, мы также с восторгом читали передовые «Правды»: «Нерушимость дружбы народов», «Социалистическая законность». Кажется, такое было в первый и последний раз. Очень счастлив был и Яков Борисович. Он мне тогда сказал:

— А ведь это наш Лаврентий Павлович разобрался!

Меня несколько покоробило, но я только заметил:

— Разобраться не так трудно, было бы желание.

Пора было составлять последний итоговый отчет — с ожидаемыми характеристиками и описанием изделия, представляемого на испытание. Завенягин просил написать отчет так, чтобы его можно было показать не только специалистам, но и «архитектору», и «инженеру-электротехнику». Архитектором по образованию был Берия, а электротехником — Маленков. Но архитектору скоро стало не до наших отчетов.

В один из летних дней жители объекта увидели, что табличка с обозначением «улица Берии» снята, и на ее место повешена картонка с надписью «улица Круглова» (Круглов — тогда министр МВД. Потом эта улица была переименована как-то еще). Через час мы услышали по радио сообщение о снятии, разоблачении и аресте Берии и его сообщников. В деталях ход этих событий остался мне неизвестен. Но я слышал, что Берия был арестован в Кремле, на заседании Президиума ЦК КПСС. Офицеры одной из частей армии за час до приезда Берии сменили по приказу Жукова охрану в Кремле, они пропустили машину Берии и «отсекли» машину с охраной. В это же время в Москву вошли армейские части, блокировали здание ГБ и места дислокации частей ГБ и МВД. Берию арестовали Жуков и Москаленко, неожиданно для него вошедшие в зал заседаний Президиума. Его поместили под арест в подвале здания Министерства обороны, где он находился вплоть до суда (под председательством маршала Конева) и расстрела. Я слышал, что Берия обращался в Президиум с просьбой о помиловании, писал, что честным трудом искупит свои ошибки, ссылался на большой опыт руководства хозяйством и новыми разработками, на заслуги во время войны. Берия был расстрелян вместе со своими основными помощниками, среди них были Меркулов, Деканозов, Кобулов, Мешик.

Через несколько дней (через две недели?) после ареста Берии меня пригласили в Горком КПСС и дали для ознакомления Письмо ЦК КПСС по делу Берии. Письмо рассылалось по партийным организациям (я не знаю, по всем ли, и если нет, то по какому принципу делался выбор) и было предназначено для разъяснения причин ареста Берии. Хотя я не член КПСС, но мое положение было достаточно высоким, и, очевидно, поэтому решили ознакомить и меня с этим документом. В 1956 году в таком же порядке меня ознакомили с текстом секретного выступления Хрущева на XX съезде.

Письмо ЦК КПСС было в красной обложке, поэтому я мысленно называл его «Красной книгой». Здесь я тоже буду называть его этим словом, ассоциирующимся с цветом крови. Это очень интересный документ, я постараюсь вспомнить и изложить его содержание.

Письмо начиналось с утверждения, что Берия — буржуазный перерожденец, старый агент мусаватистской разведки, что он злоупотребил доверием народа и совершил тягчайшие преступления. Однако приводимые в письме потрясающие факты свидетельствовали не только о личных, действительно ужасных преступлениях Берии, но и о том, что он был одним из соучастников Сталина, и более того — всей репрессивной системы в целом. При чем тут буржуазное перерождение — совершенно непонятно, а если оно имело место, то относилось оно не только к Берии. Начиналось письмо с описаний действий Берии и его сообщников в Грузии — массовых арестов и казней, чудовищных пыток. Несколько страниц было уделено делу Лакобы — секретаря ЦК ВКП(б) Абхазии — и его жены. Она была арестована уже после гибели мужа в застенках НКВД и подвергнута пыткам, чтобы добиться признания виновности мужа. Тогда схватили четырнадцатилетне-

го сына и стали мучать на глазах у матери, а мать на глазах у сына, вынуждая оговорить покойного. Но оба отказывались и были убиты. Подробно описывалось также убийство лично Берией Первого секретаря ЦК Армении Агаси Ханджяна и некоторые другие. Из дел, относящихся к московскому периоду деятельности Берии и его сообщников, запомнилась цитата из письма Эйхе, которого пытал «гражданин Мешик» — тот самый, который возглавлял секретный отдел в нашем Управлении и столь мирно играл в шахматы с некоторыми научными сотрудниками. У Эйхе был перелом позвонков еще при допросах в царской охранке, и, зная это, Мешик бил его палкой по этим чувствительным местам.

В 1941 году, как указывалось в документе, через несколько дней после начала войны Берия представил Сталину на подпись большой список политзаключенных на расстрел. Все эти люди ранее были приговорены к различным срокам заключения, среди них приблизительно 40 известных партийных и государственных деятелей, многие — герои революции и гражданской войны, содержавшиеся в секретных тюрьмах в Куйбышеве и под Москвой, а всего, если мне не изменяет память, около 400 человек. Сталин подписал этот список, и все перечисленные в нем были расстреляны. В то время упоминание Сталина в таком контексте было потрясающим (мне рассказывали, что при чтении документа на партийном собрании на одном большом заводе в этом месте по залу прошел какой-то общий вздох, похожий на стон). Теперь мы знаем, что таких «превентивных», абсолютно беззаконных массовых расстрелов было много в военные и предвоенные годы. Один из них — расстрел польских офицеров в Катыни.

Запомнился заместитель Берии Деканозов, посол в Германии, который любил ездить на машине по улицам Москвы, высматривая женщин, и тут же насиловал их прямо в своей огромной машине в присутствии охраны и шофера. Сам Берия был интеллигентней. Он любил ходить пешком около своего дома на углу Малой Никитской и Вспольного и указывал на женщин охране («секретарям»), потом их приводили к нему, и он понуждал их к сожительству. После попытки самоубийства одной его четырнадцатилетней жертвы Берия провел всю ночь около ее постели (но девушка погибла).

Допросы политзаключенных часто проводились в его служебном кабинете. Он требовал, чтобы все присутствующие поочередно били допрашиваемого (гангстерский прием круговой поруки); и издевался над «теоретиком» Меркуловым, который отказывался от личного участия в избиениях (но зато в своих инструкциях теоретически обосновывал массовые репрессии и слежку — систему «сит» и «сетей»: я не помню деталей, но помню эти слова). После ареста Берии в его письменном столе (в той самой комнате 13, где несколько раз бывал и я) нашли две дубинки для избивания заключенных. В замечательной книге Евгения Гнедина рассказывается, как его профессионально избивал в присутствии Берии Кобулов (впоследствии осуществлявший по приказу Сталина — Берии депортацию крымских татар и другие страшные акции), быть может, этими самыми дубинками. У Берии в его ведомстве, согласно «Красной книге», была «лаборатория по проблеме откровенности» (вероятно, там занимались химическими средствами растормаживания психики, а, может, и технологией пыток). Руководитель лаборатории, некий врач (фамилию забыл) по совместительству выполнял весьма деликатные поручения. У него была тайная явочная квартира в Ульяновске. Туда вызывались люди, которых Берии необходимо было тайно уничтожить, не прибегая к аресту. Врач наносил своим жертвам смертельный укол тросточкой, на конце которой была ампула с ядом. Таким образом он убил более 300 человек.

Слыша по радио недавно об убийствах при помощи тросточки политэмигрантов из Болгарии, я невольно вспомнил эту старую историю.

Далее в «Красной книге» рассказывалось об инсценированном Берией ложном покушении на Сталина, которое было Берии необходимо для поднятия собственной значимости. Берии ставились в вину некоторые его ошибки (например, одновременный вызов на какой-то конгресс в защиту мира сразу всех советских резидентов, что привело к целой серии провалов) и некоторые его действия, за которые он, вероятно, должен бы был отвечать вместе с другими.

После падения Берии у нас появился новый «шеф» — Вячеслав Александрович Малышев, назначенный на пост заместителя Председателя Совета Министров СССР и начальника Первого Главного Управления, вскоре (а быть может, и сразу — я не помню) переименованного в Министерство среднего Машиностроения; Малышев, кроме «наших», т. е. атомных, дел осуществлял общее руководство и другими областями новой военной техники (ракетной и другими).

Во второй половине нашего коттеджа было общежитие девушек из вычислительного отдела. Но тут их всех спешно куда-то выселили и оборудовали там помещение для Малышева. От калитки до двери дома проложили настил, и вскоре я увидел, как по нему из подъехавшего ЗИСа быстро идет, почти бежит невысокий краснолицый мужчина, за которым еле поспевает объектовское начальство. Малышев был «человеком Маленкова». Он рассказал потом в более или менее узком кругу, что сам Маленков, уже будучи Председателем Совета Министров, до падения Берии ничего не знал о работах по термоядерному оружию — никакие сведения о них не выходили за рамки аппарата Берии. Я и раньше знал, что относящиеся к нашим делам «Постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС» фактически представляют собой решения Берии и его аппарата, но не предполагал, что они засекречены даже от Председателя Совета Министров. Биография Малышева, которую он сам рассказал при каком-то моем (кажется, с Ю. Б. Харитоном) визите к нему, очень примечательна. Он сын паровозного машиниста, учился в каком-то железнодорожно-инженерном вузе, по окончании в 1937 году направлен работать на Коломенский паровозостроительный завод. Но оказалось, что на всем огромном заводе нет ни одного инженера — все они арестованы как «вредители». Прибывшего молодого человека назначают главным инженером. Он, как ни странно, справляется с этим. Во время войны Малышев занимает очень ответственные посты по руководству военной промышленностью, становится ближайшим помощником Маленкова. И наконец — в 1953 году вершина его карьеры. Я спросил Зельдовича:

— Интересно, сознает ли он высоту и исключительность своего положения?

— О да, в полной мере.

В июле 1953 года все работы по подготовке изделия были закончены, пора было ехать на испытания на полигон, расположенный в Казахстанской степи, недалеко от Семипалатинска. Мне запрещено лететь на самолете, я еду в вагоне Ю. Б. Харитона вместе с М. В. Келдышем, М. А. Лаврентьевым и моим знакомым с объекта В. А. Давиденко (он тогда был начальником отдела ядерных исследований. Несколько месяцев Давиденко жил в нашем доме; сейчас мы ехали с ним в одном купе, он все время мастерил свои удочки и спиннинги, не так из любви к рыбной ловле, как из привычки мастерить. Виктор Александрович несколько раз говорил мне, что наибольшее удовлетворение от работы он получал в молодости, когда был слесарем-универсалом на заводе, и из его рук выходили реальные вещи). С Келдышем и Лаврентьевым мы встречались в салоне. Они даже в нашем присутствии говорили в основном между собой — часто о совсем мне непонятных академических и организационных делах, о предстоящих выборах, о неизвестных мне людях; гораздо более интересны были разговоры о возможностях электронно-вычислительных машин, о ракетной технике и ее будущем в военных и гражданских делах — тут я мог принимать участие в разговорах.

С Лаврентьевым у меня было мало общих дел, я его почти не знаю. Что же касается Мстислава Всеволодовича Келдыша, то наши пути много раз пересекались.

Келдыш производил на меня сильное впечатление деловой хваткой и живостью ума, умением ясно сформулировать сложные научные, инженерные и организационные вопросы, мгновенно находить какие-то новые их аспекты, не замечаемые другими. Потом мне передавали, что и я произвел на него впечатление (еще при первой встрече в 1952 году), и он в разных кругах говорил обо мне в восторженном тоне, как о восходящей звезде на научно-техническом небосклоне. Келдыш возглавлял то специальное математическое отделение, которое занималось нашими расчетами, он очень

много и по-деловому помогал нам. О моих отношениях с ним, когда я стал «по другую сторону черты», я рассказываю во второй части воспоминаний.

Ехали мы долго, дней пять-шесть. Несколько часов провели в Новосибирске, успели посмотреть этот сибирский город, в котором еще сохранилось много старых деревянных домов из толстых бревен, и искупаться в теплой, текущей с юга Оби. Дальше мы ехали по Турксибу, а последние 100—150 километров до полигона летели на присланном за нами маленьком самолетике ЯК-15. Летели мы на бреющем полете, поднимаясь на 20—30 метров только там, где путь пересекали линии электропередач. Было очень интересно наблюдать сверху ровную казахстанскую степь — стада овец и коров, озерки с плавающими утками, которые с криком взлетали при нашем появлении.

Приехав на полигон, мы узнали о неожиданно возникшей очень сложной ситуации. Испытание было намечено в наземном варианте. Изделие в момент взрыва должно было находиться на специальной башне, построенной в центре испытательного поля. Было известно, что при наземных взрывах возникают явления радиоактивного «следа» (полосы выпадения радиоактивных осадков); но никто не подумал, что при очень мощном взрыве, который мы ожидали, этот «след» выйдет далеко за пределы полигона и создаст опасность для здоровья и жизни многих тысяч людей, не имеющих никакого отношения к нашим делам и не знающих о нависшей над ними угрозе.

Занятые кто подготовкой и расчетами самого изделия, кто организационными вопросами, все мы упустили все это из вида — лишний пример тому, что в самых важных вопросах недосмотры бывают не реже, а пожалуй, даже чаще, чем в менее существенных! На опасность указал Виктор Юлианович Гаврилов, бывший сотрудник Зельдовича, о котором я писал. Теперь он работал в ПГУ, в Москве.

Начальство было очень встревожено. Малышев, в своей экспансивной манере, рассказывал: «Мы были готовы к испытаниям, все шло отлично. И вдруг, как злой гений, явился Гаврилов, и все смешалось». Мы не раз потом называли В. Ю. этим прозвищем, оно отражало что-то в его острокритической натуре.

Для прояснения ситуации было создано несколько групп. Мы работали параллельно (в номерах гостиницы, где нас поселили, конечно, без отдыха, почти круглосуточно), и через пару дней с помощью американской книги о действии атомного оружия — «Черной книги» — как мы ее называли не только по цвету обложки — имели необходимые оценки применительно к нашим условиям: мощности взрыва, метеорологической обстановке, характеру почвы и высоте башни.

Несколько слов о «Черной книге». Она долго была у нас настольной во время испытаний и при обсуждении вопросов военного использования ядерного оружия и вопросов защиты. В конце 50-х годов появился русский перевод, но он не поступил в продажу, а распространялся для служебного пользования, так же как написанные потом аналогичные советские справочные издания. Одной из причин, конечно, являлся специальный характер предмета. Но мне кажется, что не менее важно другое. В книге много ужасного, такого, что может посеять в людях чувство безнадежности. А у нас оберегают народ от искушений слишком горького знания. Это, вероятно, входит в общую стратегию психологической мобилизации. (Не сообщают населению и многие другие неприятные вещи; по советскому телевидению не увидишь трупов жертв произошедших у нас катастроф или преступлений — только зарубежных.)

Механизм образования «следа» следующий. Наземный или низкий взрыв втягивает в огненное облако, содержащее радиоактивные продукты деления ядер урана и плутония, огромное количество пылинок почвы. Пылинки оплавляются с поверхности и при этом поглощают (растворяют) радиоактивные вещества. Атомное облако, имеющее более высокую температуру, чем окружающий воздух, всплывает вверх, перемешиваясь с ним и охлаждаясь благодаря расширению. Затем облако движется в ту или иную сторону под действием господствующих верховых (стратосферных) ветров. Пылинки же постепенно выпадают на землю — сначала более крупные, потом все более и более мелкие. Образуется длинная радиоактивная

полоса — «след», который по мере удаления от точки взрыва расширяется, хотя и довольно медленно.

Явление «следа» может оказаться необычайно важным в случае большой термоядерной войны, если воюющие стороны будут осуществлять наземные или низкие взрывы, в частности, можно предположить, что воюющие стороны будут применять их для разрушения подземных стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет противника и других особо прочных целей. При этом именно радиоактивные «следы», которые покроют огромную площадь, явятся одной из главных причин гибели людей, болезней и генетических повреждений (наряду с гибелью миллионов людей непосредственно от поражения ударными волнами и тепловым излучением и наряду с общим глобальным отравлением атмосферы в качестве причины отдаленных последствий). Я много думал об этом в последующие годы.

Мы оценили, на каком расстоянии от точки взрыва нашего заряда можно было ждать суммарной радиоактивной дозы облучения 200 рентген — эта цифра была выбрана в качестве предельной. Мы исходили из того, что (как тогда считалось) доза облучения 100 рентген приводит иногда к серьезным поражениям у детей и ослабленных людей, а доза 600 рентген приводит к смерти в 50% случаев для здоровых взрослых. Мы сочли возможным считать, что никто в зоне выпадения осадков не получит полной дозы облучения, так как людей можно будет оттуда дополнительно эвакуировать, и они не будут все время находиться на открытом воздухе. Все же людей, проживающих в подветренном секторе, ближе определенной нами границы 200 рентген, мы считали совершенно необходимым эвакуировать! Это были десятки тысяч людей!

С этим выводом мы пошли к начальству — Курчатову, Малышеву и военному руководителю испытаний маршалу Василевскому, заместителю Министра обороны Жукова. Они очень серьезно, с большой тревогой отнеслись к нашим выводам. Приняв их, следовало сделать одно из двух: либо отменить наземное испытание, перейти к воздушному варианту со сбрасыванием изделия с самолета в виде авиабомбы; либо осуществить эвакуацию населения в указанном нами угрожаемом секторе. Переход к воздушному испытанию означал большую отсрочку, быть может, на полгода или даже на год — но и гораздо меньшая отсрочка считалась недопустимой. Был принят вариант эвакуации, но руководители испытаний хотели до конца убедиться в надежности наших выводов, в твердости позиции. Было много совещаний и обсуждений. Одно из них, особенно мне запомнившееся, происходило за 10—12 дней до испытания, ночью. Малышев, открывая его, в драматическом тоне указал нам на ответственность, которую мы на себя принимаем, обрекая десятки тысяч людей на тяготы и опасности срочной эвакуации на грузовиках по бездорожью, среди них — больных, стариков, детей; на неизбежные жертвы при этом. Каждый из специалистов, включая Курчатова, должен был лично подтвердить свою убежденность в необходимости эвакуации. Малышев вызывал нас поименно; вызванный вставал и высказывал свое мнение. Оно было единодушным. Василевский сообщил, что он уже отдал приказ (он был готов его отменить в случае, если совещание решит иначе) о присылке 700 армейских грузовиков — операция может начаться немедленно. В более узком кругу Василевский сказал нам: «Напрасно вы так убиваетесь, мучаетесь. Каждые армейские маневры сопровождаются человеческими жертвами, погибает 20—30 человек, это считается неизбежным. Ваши испытания гораздо важней для страны, для ее оборонной мощи». Но мы не могли стать на такую точку зрения.

Конечно, наши волнения относились не только к проблеме радиоактивности, но и к успеху испытания; однако, если говорить обо мне, то эти заботы отошли на второй план по сравнению с тревогой за людей. Посмотрев в эти дни на себя случайно в зеркало, я был поражен, как я изменился, посерел лицом, постарел... Я помню тогда же сказанные слова Зельдовича:

— Ничего, все будет хорошо. Все обойдется. Наши волнения о казахчатах разрешатся благополучно, уйдут в прошлое. Все будет хорошо.

Забегая вперед, скажу, что дальнейшие события очень наглядно подтвердили необходимость предложенного нами плана эвакуации. В пределах сектора эвакуации находился довольно большой поселок Кара-аул.

Случилось так, что через него прошел радиоактивный «след». При эвакуации жителям говорили, что они вернутся через месяц. Но жителей Кара-аула мы обманули — они смогли вернуться лишь весной 1954 года!

В марте 1954 года японское рыболовное судно «Фуку-Мару» попало в зону выпадения осадков американского термоядерного взрыва. Весь улов тунца оказался радиоактивным. Один из членов экипажа радист Кубояма получил тяжелые радиационные поражения, которые привели его к смерти. Этот случай стал широко известен и использовался в борьбе за запрещение ядерных испытаний. А ведь все население Кара-аула могло оказаться в положении команды «Фуку-Мару»!

5 августа открылась сессия Верховного Совета СССР. С очень важным докладом на ней выступил Председатель Совета Министров Г. М. Маленков. В его докладе содержались новые положения, относящиеся к внешней и внутренней политике — разрешение колхозникам иметь большие участки земли в личном пользовании, изменение системы оплаты их труда — вместо приведшей деревню к полной нищете сталинской системы «символической» оплаты; перераспределение капиталовложений в пользу потребления; поворот в международных отношениях к тому, что потом было названо разрядкой. Еще не осудив в явной форме Сталина, мы уже отходили от многих особенностей его наследия. Я не знаю, какова личная роль тут самого Маленкова, какова Хрущева и других бывших сталинских «соратников», но несомненно, что это было исторически неизбежно.

Заканчивая выступление, Маленков сделал еще одно заявление, особенно близко касавшееся нас. Он сказал (при аплодисментах зала), что у СССР есть все для обороны, есть своя водородная бомба! Это его заявление стало большой сенсацией, было немедленно перепечатано всеми газетами мира. Оно было сделано 5 августа, ровно за неделю до фактического испытания! Мы слушали выступление Маленкова в полутемном холле маленькой гостиницы. Изделие еще не было установлено на башне; по бездорожью казахстанской степи на сотнях грузовиков везли на юг, восток и запад семьи эвакуированных с их наспех собранным скарбом...

Заявление Маленкова могло бы прибавить нам волнений. Но мы уже не могли волноваться сильней, мы находились у последней черты.

В первых числах августа было проведено испытание обычного изделия («обычным» изделием мы называем атомное). В другое время это было бы для меня событием, но тут я его почти «не заметил», поглощенный ожиданием термоядерного. Наконец, наступил день испытания — 12 августа. Накануне по совету Зельдовича я лег спать рано, приняв снотворное (чего я обычно не делаю). В 4 часа ночи всех, живущих в гостинице, разбудили тревожные звонки. Я подошел к окну. Было еще темно. Я увидел, как вдоль всей линии горизонта движутся грузовики с включенными фарами, развозящие по рабочим местам участников испытаний. Через два с половиной часа я приехал на наблюдательный пункт в 35 км от точки взрыва, где уже собрались молодые теоретики нашей группы и группы Зельдовича, а вскоре приехали руководители испытаний, начальники оперативных групп, также Игорь Евгеньевич. Я должен был наблюдать взрыв вместе с теоретиками. Игоря Евгеньевича пригласили пройти в блиндаж начальства. Я подошел обменяться с ним несколькими словами взаимного ободрения. Но не только мы, но и начальники заметно нервничали. Малышев, обращаясь к Борису Львовичу Ванникову, попросил, стоя на первой ступеньке блиндажа:

— Борис Львович, экспресс-анекдот.

Тот тут же «выдал»:

— Почему ты такой грустный?

— Презервативы плохие.

— Что, рвутся?

— Нет, гнутся.

Малышев коротко засмеялся:

— Молодец, пошли.

Я вернулся на поле. Согласно инструкции, мы все легли на живот на землю, лицом к точке взрыва. Потянулось томительное ожидание. Громкоговоритель рядом с нами давал команды.

Осталось 10 минут.

Осталось 5 минут.

Осталось 2 минуты.

Всем надеть предохранительные очки (эти черные очки были у нас в карманах).

Осталось 60 секунд.

50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

В этот момент над горизонтом что-то сверкнуло, затем появился стремительно расширяющийся белый шар — его отсвет охватил всю линию горизонта. Я сорвал очки и, хотя меня ослепила смена темноты на свет, успел увидеть расширяющееся огромное облако, под которым растекалась багровая пыль. Затем облако, ставшее серым, стало быстро отделяться от земли и подыматься вверх, клубясь и сверкая оранжевыми проблесками. Постепенно оно образовало как бы «шляпку» гриба. С землей его соединяла «ножка гриба», неправдоподобно толстая по сравнению с тем, что мы привыкли видеть на фотографиях обычных атомных взрывов. У основания ножки продолжала подниматься пыль, быстро растекаясь по поверхности земли. В этот момент до нас дошла ударная волна — оглушительный удар по ушам и толчок по всему телу, затем продолжительный грозный гул, медленно замирающий несколько десятков секунд. Через несколько минут облако стало черно-синим, зловещим и растянулось на полгоризонта. Стало заметно, что его постепенно сносит верховым ветром на юг, в сторону очищенных от людей гор, степей и казахских поселков. Через полчаса облако исчезло из виду. Еще раньше в ту же сторону полетели самолеты полевой дозиметрической службы. Из блиндажа вышел Малышев, поздравил с успехом (уже было ясно, что мощность взрыва приблизительно соответствует расчетной). Затем он торжественно сказал:

— Только что звонил Председатель Совета Министров СССР Георгий Максимилианович Маленков. Он поздравляет всех участников создания водородной бомбы — ученых, инженеров, рабочих — с огромным успехом. Георгий Максимилианович особо просил меня поздравить, обнять и поцеловать Сахарова за его огромный вклад в дело мира.

Малышев обнял меня и поцеловал. Тут же он предложил мне вместе с другими руководителями испытаний поехать на поле, посмотреть, «что там получилось». Я, конечно, согласился, и вскоре на нескольких открытых «газиках» мы подъехали к контрольно-пропускному пункту, где нам выдали пылезащитные комбинезоны с дозиметрами в нагрудных карманах. В этом облачении мы проехали мимо разрушенных взрывом подопытных зданий. Вдруг машины резко затормозили около орла с обожженными крыльями. Он пытался взлететь, но у него ничего не получилось. Глаза его были мутными, возможно, он был слепой. Один из офицеров вышел из машины и сильным ударом ноги убил его, прекратив мучения несчастной птицы. Как мне рассказывали, при каждом испытании гибнут тысячи птиц, они взлетают при вспышке, но потом падают, обожженные и ослепленные. Машины поехали дальше и остановились в нескольких десятках метров от остатков испытательной башни. Почва в этом месте была покрыта черной стекловидной оплавленной корочкой, хрустящей под ногами. Малышев вышел и пошел к башне. Я сидел рядом с ним и тоже вышел. Остальные остались в машине. От башни остались только бетонные основания опор, из одной опоры торчал обломанный кусок стальной балки. Через полминуты мы вернулись в машины, проехали (в обратном направлении) линии желтых запретительных флажков и сдали свои комбинезоны (вместе с дозиметрами, которые при этом перепутались). Ночью у Курчатова состоялось совещание, на котором руководители служб полигона докладывали первые (предварительные) результаты испытаний. Перед началом совещания Курчатов сказал:

— Я поздравляю всех присутствующих. Особо я хочу поздравить и от имени руководства выразить благодарность Сахарову за его патриотический подвиг.

Я встал со своего места и поклонился (а что я думал при этом — не помню).

Испытание 12 августа вызвало огромный интерес и волнение во всем мире. В США его окрестили «Джо-4» (4 — порядковый номер советских испытаний, Джо — соответствует Иосифу — имя Сталина).

Обработка и обсуждение результатов испытания заняли около 2—3 недель. Мощность взрыва и другие параметры оказались близкими к расчетным, начальство было в восторге. Мы же (работники объекта) понимали, что еще предстоит колоссальная и не тривиальная работа — на самом деле и мы недооценивали ее масштабы.

В один из вечеров после испытания Зельдович спросил меня:

— Какие у вас планы, чем вы собираетесь заниматься в основном в будущем?

И, предваряя мой ответ, как бы наталкивая на него:

— Вероятно, вы теперь сосредоточитесь на МТР?

Я ответил:

— Нет, я должен «довести» до дела изделие.

Как будет видно из дальнейшего изложения, я при этой «доводке» сначала наделал глупостей, но в целом мой вклад оказался вновь очень существенным.

После основного испытания у меня и у других теоретиков появилось свободное время. Мы стали гулять, ходить в кино (правда, иногда во время сеанса в дверях зала появлялся посыльный от начальства и громко объявлял: «Сахарова на выход» или «Зельдовича на выход»).

С Игорем Евгеньевичем я несколько раз гулял по берегу Иртыша, собирал в протянувшихся на десятки километров зарослях южного шиповника его сладко-терпкие ягоды. Однажды мы разговорились со стариком казахом, пасшим небольшое стадо коров. Он пожаловался, что очень тяжелы государственные молокопоставки, даже детям молока не остается (!). В другой раз мы повстречали девочку-казашку, лет 14-ти.

— Как тебя зовут?

— Мадриза.

— Кем ты хочешь быть?

— Учительницей.

(Очевидно, для нее учительница была высшим образцом.)

В этих двух крошечных эпизодах, мне кажется, отразилось то, что принесла людям советская власть, две стороны медали. Обе было бы неправильно игнорировать. Но на самом деле действительность еще сложней и противоречивей и не стоит на месте с 1953 года.

Однажды мне предложил погулять с ним Завенягин. Он, как и Павлов, был «бериевский кадр», и потребовалось некоторое время после падения Берии, прежде чем они восстановили утраченные позиции. Завенягин расспрашивал меня на прогулке о перспективах МТР, о планах в отношении усовершенствования изделия. Я мало что мог ему сказать, так как не знал и сам; но, видимо, мои сообщения, даже такие, были важны ему, чтобы как-то ориентироваться в перспективах, о которых он раньше узнавал первым. На прощание он подарил мне книгу австралийского писателя Фрэнка Харди «Власть без славы» с теплой надписью. Был ли в названии книги какой-то намек — не знаю.

Малышев считал, что мы — научное руководство объекта, основной состав научных работников — должны быть в курсе не только в своей отрасли, но и в смежных отраслях новейшей военной техники. Это, конечно, было ломкой сложившейся в секретной работе традиции, согласно которой каждый знает только тот минимум, который необходим для его конкретной задачи; но на самом деле расширение кругозора очень полезно для творческой работы. Что же касается возможной утечки секретной информации, то, насколько я знаю, она обычно происходит не через изобретателей и научных работников. Пожалуй, единственное исключение — дело Фукса. Но это совсем особый случай... (Как известно, Клаус Фукс, эмигрант из Германии, сотрудник теоретического отдела Лос-Аламоса во время войны, по собственной инициативе из идейных соображений передавал СССР в 1943—1945 гг. исключительно важную информацию о работах по атомной бомбе.)

После отставки Малышева его наследникам не осталось ничего другого, как продолжать его нововведения. Однако они постарались оградить ученых и технических специалистов от всей информации политического и общественного характера. Впрочем, не все тут было в их власти — время было не то.

Уже на полигоне мы, наряду с фильмами, снятыми на предыдущих атомных испытаниях, увидели несколько секретных фильмов по другим

отраслям военной техники. Некоторые эпизоды в них производили сильное впечатление...

Вскоре после возвращения с полигона Малышев организовал для нас ряд «экскурсий», в том числе поездку на завод, на котором изготовлялись баллистические ракеты. Мы считали, что у нас большие масштабы, но там увидели нечто, на порядок большее. Поразила огромная, видная невооруженным глазом, техническая культура, согласованная работа сотен людей высокой квалификации и их почти будничное, но очень деловое отношение к тем фантастическим вещам, с которыми они имели дело. Во время экскурсии, перемежавшейся демонстрацией фильмов, пояснения давал главный конструктор Сергей Павлович Королев, тогда я его увидел впервые. Теперь (после смерти) его имя часто упоминается в советской печати, окружено романтическим ореолом. Тогда же он был фигурой совершенно секретной, лица не имел, почти как поручик Киже. Но и сейчас не пишут, что Королев в 30-е годы был арестован, осужден и находился на Колыме, на «общих» работах, что в тех условиях означало рано или поздно неминуемую гибель, от которой он был спасен вызовом от Туполева для работы в его знаменитой «шарашке» (той самой, при посещении которой Берией состоялся его разговор с заключенным профессором; тот пытался доказывать, что ни в чем не виноват, но Берия его перебил:

— Я сам знаю, дорогой, что ты ни в чем не виноват; вот самолет взлетит в воздух, а ты — на свободу).

Я потом несколько раз встречался с Королевым. Он, несомненно, был не только замечательным инженером и организатором, но и яркой личностью. Много в нем было общего с Курчатовым. У Курчатова очень важной чертой была любовь к большой науке. У Королева — мечта о космосе, которую он сохранил с юности, с работы в ГИРД (Группа Изучения Реактивного Движения). Циолковский не был для него, я думаю, фантазером, как для некоторых. Как и у Курчатова, был у него грубоватый юмор, забота о подчиненных и товарищах по работе, огромная практическая хватка, быть может, чуть больше хитрости, жесткости и житейского цинизма.

Оба они были военно-промышленными «деятелями» — и энтузиастами одновременно.

Экскурсии к Королеву повторялись несколько раз. В 1957 г. мы были у него вскоре после испытания межконтинентальной баллистической ракеты и накануне запуска спутника. Сергей Павлович показал нам его (тот самый, проходивший последние проверки), шутил, но при этом чувствовалось, что он находится в состоянии большого внутреннего возбуждения. Я спрятал себе в карман (на память) оплавленный кусочек металла, найденный на месте падения ракеты (там их было тысячи, так что я никого не обокрал).

Последняя моя встреча с Сергеем Павловичем произошла на общем собрании Академии, незадолго до его смерти. Накануне из зарубежных радиопередач я узнал, что американцы запустили с помощью гигантской ракеты «Сатурн» орбитальную станцию весом 19 тонн (это был этап полета на Луну). Я не удержался и спросил Королева, слышал ли он об этом — я знал, конечно, что ничего подобного у нас нет. Сергей Павлович улыбнулся, обнял меня одной рукой за плечи и, обращаясь на «ты», сказал:

— Не огорчайся, и мы еще себя покажем...

Неожиданная эмоциональность его обращения меня поразила.

Умер Королев на операционном столе, через несколько недель после нашего разговора.

Королев, я думаю, никогда не забывал о своем лагерном прошлом. Когда в члены-корреспонденты Академии наук баллотировался Юрий Борисович Румер — физик-теоретик, тоже работник туполевской «шарашки» — Королев пытался организовать кампанию в его поддержку, правда, безуспешно. В некоторых других случаях его усилия были более результативными.

Незадолго до окончания нашего пребывания на полигоне начальство устроило нечто вроде прощального пикника для «старших». Пригласили Игоря Евгеньевича, Юлия Борисовича. Зельдович и я под категорию «старших» не подходили. На этом пикнике Игорь Евгеньевич обратился к Малышеву с просьбой считать его миссию на объекте законченной и отпустить

в Москву. Малышев согласился. Игорь Евгеньевич вернулся в ФИАН, в созданный им Теоретический отдел. В ближайшие годы его сотрудниками и им самим были выполнены значительные работы, о некоторых из них я уже писал. В частности, именно тогда И. Е. указал, что резонансы следует рассматривать как полноправные частицы.

Я принял на себя руководство отделом на объекте. И. Е. приезжал потом на объект несколько раз на короткое время, чаще мы виделись во время моих приездов в Москву, причем темы объекта занимали все меньше места в наших разговорах. МТР продолжал, однако, его интересовать. Последний раз Игорь Евгеньевич приехал на объект в 1964 году, на юбилей Ю. Б. Харитона. И. Е. был все так же обаятелен, но очень сдал физически. У него уже появились первые признаки той болезни, от которой он умер через 7 лет.

Игорь Евгеньевич рассказал об эпизодах во время пикника, в том числе о Василевском. Василевский вспоминал: «Меня вызвал к себе маршал Жуков (тогда Министр обороны. — **А. С.**). Он сказал: «Поедешь на испытания водородной бомбы». Если бы это сказал не Георгий Константинович, я бы принял эти слова за дурную шутку».

Потом Василевский, разговорившись, вспоминал, как они вместе с Жуковым работали в Сталинграде, заметив с усмешкой при этом:

— Тогда я был не тот, что сейчас; голова много лучше действовала.

В конце августа (или в начале сентября) я вернулся с полигона. Приобретенный там опыт не только открыл (всем нам) путь к дальнейшим разработкам оружия, но и заставил меня глубже, острее осознать человеческие, моральные проблемы того дела, которым мы занимались. Это, конечно, еще было самое начало. Но дальнейшие толчки не замедлили последовать, а размышления на эти темы уже не покидали меня.

В октябре состоялись выборы в Академию наук. Еще весной я подал, по указанию Курчатова, документы в качестве кандидата на выборы членов-корреспондентов (обычный порядок — сначала ученые выбираются в члены-корреспонденты, а потом часть из них становится академиками). Но осенью, после испытания, Курчатов переиграл свой план, и я баллотировался сразу в академики. Выбираемые в Академию должны иметь ученую степень доктора наук. Летом на объекте был собран срочный Ученый Совет, на котором мне по представленному реферату была присвоена докторская степень (а Коле Дмитриеву — кандидатская). Таня, моя восьмилетняя дочь, очень обрадовалась, что я доктор, — она думала, что я теперь смогу лечить детей, а потом огорчилась, поняв, что я какой-то не настоящий доктор.

После того, как я был выбран на Отделении, Игорь Васильевич позвонил мне домой, уже поздно вечером, и сказал:

— Только что престарелые академики единогласно проголосовали за ваше избрание. Поздравляю. Отдыхайте. (Это было его любимое словечко.)

К слову, потом я не знаю ни одного случая единогласного избрания в академики. 23 октября всех избранных на Отделении утвердило Общее собрание. Формально именно с этого дня я числюсь академиком. Но еще накануне Общего собрания я впервые присутствовал на собрании Отделения, увидел многих известных физиков и математиков, которых до тех пор знал только заочно, по их работам или рассказам, и глубоко уважал. Тогда же я впервые имел возможность наблюдать академическую выборную кухню; страсти, которые при этом разгораются.

Одновременно «из нашего круга» (т. е. работавших по «нашей» тематике) были избраны И. Е. Тамм, Ю. Б. Харитон, Н. Н. Боголюбов, И. К. Кикоин, А. П. Александров (нынешний президент), Л. А. Арцимович и другие ученые.

К сожалению, не был избран Яков Борисович Зельдович, это было совершенно несправедливо, очень меня огорчало и ставило в ложное положение.

В ноябре Харитон и Зельдович одновременно уехали в отпуск. Через несколько дней меня вызвал к себе Малышев и попросил представить ему докладную записку, в которой написать, как мне рисуется изделие следующего поколения, его принцип действия и примерные характеристики. Конечно, мне следовало отказаться; сказать, что подобные вещи не делаются с ходу и одним человеком; что необходимо осмотреться, подумать. Но у

меня была некоторая идея, не слишком оригинальная и удачная, но в тот момент она казалась мне многообещающей. Посоветоваться мне было не с кем. Я написал требуемую докладную, кажется, не выходя из здания Министерства, и отдал ее Малышеву. Действовали такие факторы: моя самонадеянность, находившаяся на максимуме после испытания; некое «головокружение» (быстро прошедшее, но было поздно); вера Малышева в меня, в мой талант, внушенная ему Курчатовым, Келдышем и многими другими, подкрепленная успешным испытанием и моей тогдашней манерой держаться — внешне скромной, а на самом деле совсем наоборот.

Через две недели я был приглашен на заседание Президиума ЦК КПСС (в 1952 году так было переименовано Политбюро ЦК, а в 1966 году — восстановлено старое название).

Председательствовал Маленков. Накануне Малышев говорил мне:

— Не волнуйтесь. Теперь, при Георгии Маскимилиановиче, все совсем не так, как раньше. Он хорошо, с уважением относится к людям.

Маленков действительно вел заседание очень спокойно, ровно, ни разу не прервав докладчиков. Это был плотный, круглолицый человек в серой куртке. Он сидел во главе стола почти все время молча. Говорят, когда заседания проходили при Сталине, Маленков председательствовал стоя.

Основное сообщение сделал Малышев, мне остались только некоторые пояснения. Я старался говорить как можно осторожней, с максимальными оговорками. Но меня не воспринимали с этой стороны всерьез, считая, видимо, что я перестраховываюсь, тем более что все опасные обещания уже были даны Малышевым. Единственный, кто задавал мне конкретные вопросы, был Молотов. Меня поразил его облик, так не похожий на портреты — пергаментно-желтое лицо, выражение какой-то постоянной настороженности; как будто каждый момент ему угрожает смертельная ловушка. С трудом я узнал по висевшим когда-то повсюду портретам Кагановича. Он все время молчал, не произнес ни слова. Остальных членов Президиума я просто не запомнил.

Результатом заседания Президиума — той его части, на которой я присутствовал, и другой, проходившей с другими приглашенными, ракетчиками — были два Постановления, вскоре принятые Советом Министров и ЦК КПСС. Одно из них обязывало наше Министерство в 1954—1955 гг. разработать и испытать то изделие, которое я так неосторожно анонсировал. (Я употребляю тут термин «Министерство», но, кажется, наше Первое Главное Управление было переименовано в Министерство среднего машиностроения — сокращенно МСМ — лишь в середине 1954 года.)

Другое постановление обязывало ракетчиков разработать под этот заряд межконтинентальную баллистическую ракету. Существенно, что вес заряда, а следовательно, и весь масштаб ракеты был принят на основе моей докладной записки. Это предопределило работу всей огромной конструкторско-производственной организации на многие годы. Именно эта ракета вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли в 1957 году и космический корабль с Юрием Гагариным на борту в 1961 году. Тот заряд, под который все это делалось, много раньше, однако, успел «испариться», и на его место пришло нечто совсем иное... Об этом я пишу в следующих главах.

В первых числах ноября я серьезно заболел. Я так и не знаю, что это была за болезнь. Первоначально врачи Академии поставили мне диагноз «свинка» и поместили в инфекционное отделение Кремлевской больницы. Но это не была свинка, скорей очень тяжелая ангина — с температурой 41,3⁰, с бредом, сильнейшими носовыми кровотечениями, изменениями крови. Когда температура спала, я «сбежал» из больницы, несмотря на плохие анализы. Через несколько месяцев болезнь повторилась, уже в более слабой форме. Быть может, это было последствие переоблучения при неосторожной прогулке с Малышевым по полю. Не знаю.

В конце 1953 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о присуждении И. Е. Тамму и мне звания Героя Социалистического Труда, а Совет Министров СССР — о награждении каждого из нас Сталинской премией в сумме 500 тыс. рублей (по старому курсу, конечно. Это были колоссальные деньги, значительно превышающие открытые Сталинские премии). Впоследствии Сталинские премии были переименованы в Государственные. Я плохо распорядился своим неожиданным богатством, как я пишу дальше. Тогда же было принято решение о строительстве для каждого из нас дачи в подмосковном поселке Жуковка. Я об этом узнал много поздней. Одновременно с нами было награждено много других работников объекта, других организаций МСМ, работников Министерства и Главка, работников привлеченных организаций. Второй медалью Героя Социалистического Труда были награждены Курчатов, Харитон, Зельдович, заместитель Харитона Щелкин.

Награжденные медалью Героя Социалистического Труда и часть других награжденных были вызваны (кажется, в феврале) на заседание Президиума Верховного Совета в Кремль, награды вручал Председатель Президиума маршал К. Е. Ворошилов. В это время Ворошилов был уже очень не молод, он был невысокого роста, «сухонький», но явно еще крепкий. Когда дошла очередь до меня, Ворошилов сказал:

— Мне сказали, что Сахаров особенно отличился. Дай-ка я тебя расцелую.

Он обнял меня и расцеловал, а один из его помощников прикрепил мне «звезду».

ТРЕТЬЯ ИДЕЯ

Уже в первые месяцы нового, 1954 года нам, теоретикам объекта, стало ясно, что мои предложения, легшие в основу докладной, не обещают ничего хорошего. Первоначально я возлагал особые надежды на некоторые «экзотические» (назовем их условно так) особенности предложенной конструкции. Но первые же оценки показали, что даже в завышающих предположениях эти особенности лишь очень немного увеличивают мощность. При этом они были крайне неудобны конструктивно и очень ограничивали возможности применения изделий этого типа. Мы приняли решение ликвидировать всю эту экзотику. После этой операции стало окончательно ясно, что изделие — малообещающее! Расчеты нескольких вариантов, проведенные в Москве по нашим заданиям, неизменно приводили к близким между собой и низким, по сравнению с желаемыми, значениям мощности.

Между тем, у нас возникла новая идея принципиального характера, назовем ее условно третья идея (имея в виду под первой и второй идеями высказанные мной и Гинзбургом в 1948 году). В некоторой форме, скорей в качестве пожелания, третья идея обсуждалась и раньше, но в 1954 году пожелания превратились в реальную возможность.

По-видимому, к «третьей идее» одновременно пришли несколько сотрудников наших теоретических отделов. Одним из них был и я. Мне кажется, что я уже на ранней стадии понимал основные физические и математические аспекты «третьей идеи». В силу этого, а также благодаря моему ранее приобретенному авторитету, моя роль в принятии и осуществлении «третьей идеи», возможно, была одной из решающих. Но также, несомненно, очень велика была роль Зельдовича, Трутнева и некоторых других и, быть может, они понимали и предугадывали перспективы и трудности «третьей идеи» не меньше, чем я. В то время нам (мне, во всяком случае) некогда было думать о вопросах приоритета, тем более, что это было бы «дележкой шкуры неубитого медведя», а задним числом восстановить все детали обсуждений невозможно, да и надо ли?..

Так или иначе, с весны 1954 года основное место в работе теоретических отделов — Зельдовича и (после отъезда Тамма) моего — заняла «третья идея». Работы же по «классическому» изделию велись с гораздо меньшей затратой сил и, особенно, интеллекта. Мы были убеждены в том, что в конце концов такая стратегия будет оправдана, хотя понимали, что вступаем в область, полную опасностей и неожиданностей. Вести работы по «классическому» изделию в полную силу и одновременно быстро двигаться в новом направлении было невозможно, силы наши были ограничены, да мы и не видели в старом направлении «точки приложения сил». Вскоре аналогичный крен возник и в других секторах объекта — у конструкторов, газодинамиков и некоторых других.

В это время, в частности, важную работу по нашему заданию выполнила со своими сотрудниками Феоктистова.

Юлий Борисович Харитон, доверяя теоретикам и уверовав сам в новое направление, принял на себя большую ответственность, санкционировав переориентацию работы объекта и ведущихся по его заданию расчетных работ в Москве. В курсе событий был также Курчатов.

Вскоре в министерстве поняли, что происходит. Формально то, что мы делали (хотя и не афишировали), было вопиющим самоуправством. Ведь постановление правительства обязывало нас делать классическое изделие и ничего более. На объект приехал Малышев. Положение его в особенности оказалось трудным, ведь именно он, по моей докладной, был инициатором постановления и главным ответственным лицом за его выполнение, так же, как и за ракетное постановление.

Сразу по приезде, едва сойдя с самолета, Малышев созвал ученый совет объекта и потребовал доложить ему о ходе работ по классическому изделию. Он сразу заявил, что мы, конечно, вправе вести «поисковые» работы, какими бы фантастическими они ни были, но только — без какого-либо ущерба для классического изделия,— вспомнив поговорку о синице в руках и журавле в небе. Он сначала рассчитывал на мою поддержку, считая меня, так же как и себя самого, ответственным за постановление, но я не оправдал его надежд и говорил то же самое, что Зельдович и Харитон: что перспективной является только «третья идея», что с нею связан огромный риск, но мы обязаны в первую очередь выяснить именно ее возможности, а классическое изделие следует иметь в виду в качестве запасного варианта, не тратя на него слишком много усилий. Малышев не мог с нами согласиться. Он произнес страстную речь, которую можно было бы назвать блестящей, если бы только мы не были правы по существу. При этом Малышев все больше и больше терял самообладание, начал кричать, что мы авантюристы, играем судьбой страны и т. п. Речь его была длинной — и совершенно безрезультатной. Мы все остались при своем мнении. Полностью запретить работы по «третьей идее» Малышев не мог и не хотел, а то, с каким энтузиазмом или, верней, его отсутствием мы относимся к классическому изделию, было вне его контроля. Потом подобные совещания, растягивающиеся на полдня, повторялись еще несколько раз, они становились все более безрезультатными и утомительными.

На нашу сторону решительно встал Курчатов. Это особенно мешало Малышеву, связывало ему руки. Малышев, наконец, добился того, что Курчатову за антигосударственное поведение (не знаю точной формулировки) был вынесен строгий партийный выговор (снятый только через год, после отставки Малышева и удачного испытания «третьей идеи»).

Я хочу подчеркнуть, что Малышев вовсе не был «консерватором», не принимающим новое. Наоборот, в большом числе случаев он очень активно и умно его поддерживал. В частности, приоритет ракетной техники в значительной степени в его активе. Преимущество «третьей идеи» он тоже вполне был способен понять, но в данном случае он оказался связанным по рукам и ногам, не без моего участия.

Вероятно, в конце концов конфликт получил бы свое разрешение, Малышев нашел бы путь примкнуть к нашему лагерю, во всяком случае после испытания «третьей идеи». Но в начале 1955 года произошли сдвиги в высшем руководстве страны. Маленков был снят с поста Председателя Совета Министров и заменен Булганиным. Падение Маленкова автоматически повлекло за собой падение Малышева, который был человеком из его «окружения».

Через год Вячеслав Александрович умер от острого белокровия. Как и в случае моей болезни, нельзя, конечно, утверждать, что причиной была наша «прогулка» в 1953 году, но — как знать. Много лет спустя дочь Малышева рассказала мне при случайной встрече, что отставка была страшным ударом для ее отца, еще не старого, энергичного и честолюбивого человека.

На место Малышева, унаследовав все его посты, был назначен Завенягин.

Я присутствовал на заседании Президиума, на котором по докладу Завенягина было принято решение о проведении осенью 1955 года испытания опытного изделия для проверки принципов «третьей идеи». Классическое изделие тоже направлялось на полигон, но испытываться должно было только в качестве резервного при неудаче «третьей».

Заседание шло под председательством Булганина. Хрущев в каких-то синих брюках, вроде джинсов, засунув руки в карманы, возбужденно расхаживал вдоль окон. Маленков сидел на краю стола. Он сильно изменился с 1953 года, осунулся, почернел лицом. Малышева, конечно, в зале не было.

Формальной причиной отставки Малышева было недостаточное якобы внимание, которое он уделял (т. е. не уделял) организации «второго объекта» — аналогичной нашему объекту организации с такими же основными задачами. Начальство предполагало, что наличие двух организаций, конкуренция между ними приведут к возникновению новых идей, к выдвижению новых руководителей, вообще к расширению фронта исследований. Малышев, кажется, считал наоборот организацию второго объекта распылением сил. Естественно, что Завенягин сразу начал энергично организовывать второй объект. Туда поехали работать (из числа людей, упоминавшихся мной выше) Забабахин, Зысин, Романов, Феоктистова.

Сложные взаимоотношения со вторым объектом во многом определили наш «быт» в последующие годы.

Я дальше рассказываю о трагедии двойного испытания 1962 года, о своей попытке ее предотвратить. Министерство (особенно при преемниках Завенягина) явно протежировало второму объекту. Вероятно, далеко не случайно там была гораздо меньшая еврейская прослойка в руководстве (а у нас Харитон, Зельдович, Альтшулер, Цукерман — о последнем я еще буду писать; я, грешный, хотя и не еврей, но быть может, еще похуже, и многие другие). Министерские работники между собой называли второй объект «Египет», имея в виду, что наш — «Израиль», а нашу столовую для научных работников и начальства («генералку») — синагогой.

Решения о сроке испытания только увеличили темп работы по «третьей идее», и без того очень напряженный. Я уже писал о тесном взаимодействии с конструкторами. Получилось так, что особенно многое тут выпало на мою долю. Я, не дожидаясь окончательных расчетов и вообще окончательной ясности, писал технические задания, разъяснял конструкторам то, что казалось мне особенно важным, писал «разрешения» на разумные послабления первоначально слишком жестких технических условий; в общем очень много брал на себя, на свою ответственность, опираясь не только на расчеты, но и на интуицию. Я часто бывал в конструкторском секторе, завязал тесные непосредственные деловые отношения с конструкторами, вполне оценил их нелегкий кропотливый и требующий специфических знаний и способностей труд.

Но, конечно, особенно много все теоретики, и я в том числе, занимались расчетами. Еще на раннем этапе работы мне удалось найти некоторые приближенные описания существенных процессов, специфических для «третьей идеи» (по математической форме это были так называемые автомодельные решения уравнений в частных производных; замкнутую математическую форму им придал Коля Дмитриев; я до сих пор помню, что первоначально Зельдович не оценил моей правоты и только после работы Коли поверил; с ним такое редко случается, он очень острый человек).

Но, конечно, для расчета изделий, основанных на «третьей идее», недостаточно было анализа отдельных процессов в упрощающих предположениях — нужны были новые методики сложных численных вычислений, пригодные для ЭВМ. Такие методики были разработаны математиками объекта и московских специальных математических групп. Особенно велика была роль группы, возглавлявшейся членом-корреспондентом АН Израилем Моисеевичем Гельфандом. Я много общался с ним и с его сотрудниками, составляя фактически совместно с ними задания на разработку основных программ. Это было очень хорошее общение, хотя и не всегда простое. Иногда Израиль Моисеевич выходил из себя, кричал на сотрудников, случалось — и на меня. После такой вспышки он несколько минут молча бегал взад и вперед по комнате, ероша свои волосы. Успокоившись, он продолжал работу, иногда даже извиняясь за резкость. На самом деле сотрудники, как мне кажется, любили Гельфанда, а он относился к ним вполне по-отечески. Гельфанд — крупный математик, много сделавший в важных областях современной математики. Его академическое продвижение засто-

порилось, однако, на «член-коррстве»; академиком он не стал — главным образом из-за специфических взаимоотношений и порядков в Математическом отделении Академии, а отчасти из-за того, что в 60-е годы он был причастен к письму в защиту математика А. С. Есенина-Вольпина (я об этом деле пишу во второй части). Добавление 1987 г. Несколько лет назад эта несправедливость была все же исправлена, Гельфанда избрали академиком.

Весной или летом 1955 года мы пришли к выводу, что в изделии, основанном на «третьей идее», целесообразно использовать некий новый вид материала. Обычно организация всякого нового производства занимает очень много времени. Я решил обратиться с просьбой о содействии к новому начальнику объекта Б. Г. Музрукову, сменившему на этом посту прежнего начальника А. С. Александрова. Александрова сняли якобы за роман с сотрудницей одного из посольств, якобы шпионкой. В действительности женщина, видимо, была двойным агентом, в основном работала на КГБ, и Александров это знал. Вероятно, снятие Александрова было просто заключительным актом борьбы между ним и прежним начальником объекта, а ныне — начальником Главка. Харитон пытался спасти Александрова, несколько руководящих работников объекта подписали соответствующее письмо, я в том числе, но все было безрезультатно.

Музруков был очень колоритной и значительной фигурой — одним из наиболее крупных организаторов промышленности, с которыми я сталкивался. Начало его карьеры, так же как и у Завенягина, кажется, было связано с Магниткой, затем — уже во время войны — он стал директором Уралмаша — в то время целого конгломерата из свердловских и эвакуированных заводов, дававшего значительную часть общего выпуска танков и другой военной продукции в масштабе всей страны. Условия жизни и работы голодающих эвакуированных и подростков были там ужасающими, много их умирало, а о з/к никто при этом вообще не думал. Эта работа требовала величайшей самоотдачи и огромных организаторских и технических талантов от руководителей. Музруков кончил войну с первой звездой Героя Социалистического Труда и без одного легкого. Затем он — начальник комбината заводов МСМ, что было не легче, и наконец, в 1955 году приходит к нам на объект в самый, вероятно, драматический год в его истории.

Музруков принял меня в своем рабочем кабинете. Первые несколько минут он держался подчеркнуто официально. Но по мере того, как я говорил, лицо Бориса Глебовича менялось — холодная, почти высокомерная маска сменилась выражением почти детского азарта. Он достал из сейфа блокнот и попросил меня записать кратко обоснование моих требований и примерные технические условия. Я тут же написал несколько страниц, он их прочитал и, не говоря ни слова, набрал номер ВЧ. Обращаясь по имени-отчеству (и на «ты») к директору далекого от нас завода, он попросил его подготовить производственную линию для выполнения задания, суть которого он тут же изложил. На вопрос собеседника о плане он сказал:

— Постарайся уложиться. Не сумеешь — будем тебя выручать. В любом случае новая продукция пойдет в счет плана.

Я поблагодарил Музрукова. Дело было сделано.

Столь же оперативно решались тогда и другие вопросы подготовки к испытаниям.

Перед одним из заседаний Президиума, на которых я присутствовал в 1955 году, я стал свидетелем примечательного высказывания. Я расскажу здесь об этом, хотя это и не имеет отношения к теме данной главы. Нас, работников объекта и министерства, приглашенных на заседание Президиума, долго не впускали в зал заседания. Вышел Горкин (кажется, это был он; тут я немного боюсь за свою память):

— У вас просят извинения за задержку. Заканчивается обсуждение сообщения Шепилова, который только что вернулся из поездки в Египет. Вопрос чрезвычайно важный. Обсуждается решительное изменение принципов нашей политики на Ближнем Востоке. Отныне мы будем поддерживать арабских националистов. Цель дальнего прицела — разрушение сложившихся отношений арабов с Европой и США, создание «нефтяного кризиса» — все это создаст в Европе трудности и поставит ее в зависимость от нас.

Пересказывая эти слова через четверть века, я могу неточно передать

отдельные выражения. Но я ручаюсь за общий смысл того, что мне, тогда еще вполне «своему», довелось услышать.

Мне кажется, что это заявление — очень важное свидетельство о глубинных «нефтяных» корнях трагических событий на Ближнем Востоке с тех пор и до наших дней. Я уже не раз писал об этом заявлении Горкина (или другого высокопоставленного чиновника), но как будто комментаторы не обращали на него внимания. Сейчас, когда в Европе идут дебаты об ядерной энергетике, о строительстве газопровода, мне хотелось бы еще раз напомнить об этом.

ИСПЫТАНИЕ 1955 ГОДА

В начале октября изделие «третьей идеи», страховочное классическое изделие и еще одно, тоже предназначенное к испытаниям, были собраны, погружены в эшелон и отправлены на восток. В середине октября я отправился на испытания опять поездом, на этот раз с «секретарями», которые были приставлены ко мне с лета 1954 года. Кроме них, в вагоне ехали еще двое постоянных проводников (это был вагон Ю. Б. Харитона). Как я уже писал, фактически «секретари» — это были офицеры личной охраны из специального отдела КГБ, их задача была оберегать мою жизнь, а также предупреждать нежелательные контакты (последнее не скрывалось). Мои «секретари» жили — и на объекте, и в Москве — в соседнем доме. Выходя на улицу, я был обязан вызывать их специальной кнопкой. Подразумевалось также, что я буду делать это при возникновении опасности. Один из «секретарей» — полковник КГБ, в свое время служивший в погранвойсках, затем в личной охране Сталина (в 1941 году подготавливал дома, в которых должны были жить Сталин и его аппарат при предполагавшейся, затем отмененной, эвакуации в Горький — опять Горький...), потом он работал, как он говорил, «на арестах» в Прибалтике, там это было опасной работой. Он был очень тактичен, даже, без назойливости, предупредителен. В это время, мне кажется, он уже всерьез подумывал о выходе на пенсию. Второй — лейтенант, очень старательный и предупредительный; иногда он пытался, без большого успеха, политически меня воспитывать; студент-заочник юридического факультета. В карманах «секретари» носили пистолеты системы Макарова, но лишь по моей просьбе показали мне их. Они умели стрелять, не вынимая пистолетов из кармана, как они мне однажды сказали. Оба женаты. Жены жили постоянно на объекте, мы с Клавой иногда встречали их в кино. Часто, когда я уезжал в Москву, они провожали мужей на вокзале. У полковника была дочь. Клава очень нервничала от постоянного присутствия «секретарей», я относился к этому спокойней. «Секретари» были у меня с лета 1954 до ноября 1957 года. Их отменили одновременно мне и Зельдовичу в результате ходатайства Харитона перед Сусловым по просьбе Зельдовича. Зельдович ходил с «секретарями» менее года и очень этим тяготился. У Курчатова и Харитона «секретари» остались.

Уезжали мы с Ярославского вокзала. Наш вагон был прицеплен к экспрессу «Москва — Пекин». На перроне собралось очень много членов КГБ в форме и без нее. «Секретари» познакомили меня со своим начальником (начальником отдела личной охраны). Мы вошли в вагон, радио заиграло «Москва — Пекин, Москва — Пекин» (песня о советско-китайской дружбе, с рефреном «Сталин и Мао слушают нас»), и поезд тронулся на восток.

На полигоне опять был сюрприз, хотя и не такой драматический, как два года назад. Тот же «злой гений» Гаврилов, оправдывая свое прозвище, вновь откопал проблему. На этот раз испытание было намечено в авиационном варианте, изделие сбрасывалось в виде авиабомбы и должно было взорваться на такой высоте, на которой не образуется радиоактивного следа (поднятые с земли пылинки не смешиваются с радиоактивным облаком). Так что с этой стороны проблемы не было. Но возникла другая. Гаврилов обратил внимание на то, что тепловое излучение, возникающее при мощном термоядерном взрыве, может вызвать столь сильный разогрев обшив-

ки самолета, что он развалится (на самом деле авиационные специалисты знали об этой проблеме и даже приняли некоторые меры — самолет был окрашен ослепительно белой «отражающей» краской и без традиционных в авиации звезд — из опасения образования дыр. Но они не знали предполагаемой нами мощности взрыва, их мер было недостаточно). Эффект поражения тепловым излучением зависит от расстояния, на котором в момент взрыва находятся друг от друга самолет-носитель и изделие (авиабомба). Расстояние было меньше необходимого, так как сброшенная авиабомба по инерции продолжает лететь по направлению полета самолета и лишь немного сносится сопротивлением воздуха назад. Было решено снабдить испытываемое изделие парашютом (для боевых изделий существуют и другие возможности решения проблемы, я о них не буду говорить). На полигон приехали специалисты из парашютного НИИ (есть, оказывается, и такой). Вместе мы выбрали подходящий грузовой парашют.

В одну из ночей на полигоне мне не спалось, и я рассчитал методом разностей траекторию нашей авиабомбы при сбрасывании на выбранном парашюте. Конечно, прямой необходимости в этом не было, но было, как всегда, приятно (употребим это слово) получить число своими руками (в данном случае — число калорий на 1 кв. см и нагрев обшивки самолета).

Как-то в эти дни я оказался в столовой за одним столиком с генералом авиации. Я попросил его разрешить мне лететь на самолете-носителе, с которого в день испытания будет сброшено изделие. Он сказал, что это исключено. Во-первых, на военном самолете вообще запрещено летать комулибо, кроме экипажа. Кроме того, в боевом полете кабина разгерметизирована, экипаж летит в кислородных приборах, с непривычки мне будет очень трудно.

В начале ноября было проведено первое испытание этой сессии, не имевшее отношение к «третьей идее». Так же как «не главное» испытание в 1953 году, оно не оставило у меня каких-либо особых воспоминаний.

Городок, в котором мы расположились, стоял прямо на берегу Иртыша. В середине ноября я впервые увидел осенний ледоход. Это явление обычно для сибирских рек, текущих с юга на север, но для меня, проведшего всю жизнь в европейской части страны, оно было внове — величественное, удивительно красивое и завораживающее зрелище! Темная, бурая иртышская вода, покрытая тысячами воронок, несла на север голубовато-молочные льдины, кружила и с грохотом сталкивала их. Смотреть на это хотелось часами, до боли в глазах и головокружения. Природа показывала свою первичную мощь, перед которой все выходящее из рук человека кажется ничтожной подделкой.

Приближался день Д (т. е. день испытания, по принятому в штабных документах способу обозначения). В день Д-2 состоялась «генеральная репетиция» (ГР — на том же языке). С самолета-носителя был сброшен на парашюте макет изделия того же веса, обводов, расположения центра тяжести. Было зарегистрировано срабатывание автоматики в расчетный момент в расчетной точке, а также была проверена работа всей очень сложной автоматики испытательного поля и многочисленных расположенных на нем приборов, предназначенных для измерения мощности взрыва и регистрации происходящих при этом процессов.

Испытание было намечено на 20 ноября. Самолет-носитель взлетел с аэродрома под Семипалатинском с изделием в бомболюке. Все участники испытания заранее заняли свои места. Однако за час до испытания неожиданно изменилась погода, небо затянуло низкими облаками. Бомбометание по оптическому прибору и, что особенно считалось важным, — все оптические измерения мощности и процессов взрыва оказались невозможными. Руководство приняло решение о переносе испытания. При этом возник вопрос о посадке самолета с термоядерным изделием на борту в непосредственной близости от Семипалатинска. Меня и Зельдовича позвали в командный пункт, и мы написали заключение, согласно которому при аварийной посадке нет оснований ожидать больших неприятностей. Окончательное решение о посадке должен был принять Курчатов. Потом он говорил:

— Еще одно такое испытание, как в 1953 и 1955 году, и я уже пойду на пенсию.

Вдобавок ко всему, за время, что самолет находился в воздухе, обледенела взлетно-посадочная полоса. По команде была поднята расположенная в Семипалатинске воинская часть; солдаты кое-как очистили полосу, все обошлось.

Испытание изделия, в котором впервые была применена «третья идея», состоялось 22 ноября 1955 года. Видимость в этот день была хорошая, но имело место инверсное распределение температуры воздуха (т. е. внизу был расположен более холодный воздух, а выше располагался более теплый, это приводит к «прижиманию» ударной волны к земле). Метеорологическая служба и служба прогноза действия взрыва дали согласие на проведение испытания.

Штаб испытания находился в здании одной из лабораторий на окраине того городка, в котором мы жили и работали. Большинство наблюдателей располагалось на так называемой «половинке» — на половине расстояния от центра испытательного поля до городка. В 1953 году я тоже наблюдал испытание оттуда, но в этот раз мне, Зельдовичу и еще нескольким сотрудникам объекта и институтов, которые могли понадобиться руководителям испытания, было предложено находиться поблизости от штаба. Во дворе лаборатории был устроен невысокий помост, и мы разместились на нем. Сразу за забором, окружавшим лабораторию, начиналась степь. Она была покрыта тонким слоем снега, сквозь который торчали кое-где сухие ковыльные стебли.

За час до момента взрыва я увидел самолет-носитель; он низко пролетал над городком, делая разворот. Самолет, видимо, только что взлетел и еще не успел набрать высоту. Ослепительно белая машина со скошенными назад крыльями и далеко вынесенным вперед хищным узким фюзеляжем, вся — движение и готовность к удару, — производила зловещее впечатление. Невольно вспомнилось, что у многих народов белый цвет символизирует смерть (я как раз тогда прочитал об этом в прекрасной книге Проппа).

Час томительного ожидания. Затем из установленного около помоста репродуктора мы услышали слова диспетчера (как всегда, с какой-то торжественной интонацией, почти «левитановской»):

— Внимание! Самолет на боевом заходе. До сброса осталось 5 минут. 4. 3. 2. 1. 0. Бомба сброшена! Парашют! 1 минута! 30 секунд. 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0!

В этот раз я, по описанию проведения испытаний в американской «Черной книге», не надел черных очков (сняв их потом, уже ничего не видишь из-за ослепления, а в них видно плохо). Вместо этого я встал спиной к точке взрыва и резко повернулся, когда здания и горизонт осветились отблеском вспышки. Я увидел быстро расширяющийся над горизонтом ослепительный бело-желтый круг, в какие-то доли секунды он стал оранжевым, потом ярко-красным; коснувшись линии горизонта, круг сплющился снизу. Затем все заволокли поднявшиеся клубы пыли, из которых стало подниматься огромное клубящееся серо-белое облако, с багровыми огненными проблесками по всей его поверхности. Между облаком и клубящейся пылью стала образовываться ножка атомно-термоядерного гриба. Она была еще более толстой, чем при первом термоядерном испытании. Небо пересекли в нескольких направлениях линии ударных волн, из них возникли молочно-белые поверхности, вытянувшиеся в конуса, удивительным образом дополнившие картину гриба. Еще раньше я ощутил на своем лице тепло, как от распахнутой печки — это на морозе, на расстоянии многих десятков километров от точки взрыва. Вся эта феерия развертывалась в полной тишине. Прошло несколько минут. Вдруг вдали на простиравшемся перед нами до горизонта поле показался след ударной волны. Волна шла на нас, быстро приближаясь, пригибая к земле ковыльные стебли. Я скомандовал:

— Прыгай! — и прыгнул с помоста сам. Большинство последовало моему примеру, кроме младшего из «секретарей» (он в этот день был дежурным и, видимо, постеснялся). Волна ударила нас по ушам, толкнула, но все, кроме «секретаря» на помосте, остались на ногах; он упал и получил какие-то, правда незначительные, ушибы. Волна ушла дальше, и до нас донесся треск, грохот и звон разбиваемых стекол. Зельдович подбежал ко мне с криком:

— Вышло! Вышло! Все получилось! — и стал обнимать.

Все мы были немного не в себе. Через несколько минут из здания штаба вышли руководители — военный руководитель испытания маршал

М. И. Неделин, командующий ракетными войсками СССР, Курчатов, Завенягин, научный руководитель объекта Харитон, военное, административное и партийное начальство (в том числе начальник оборонного отдела ЦК Сербин), руководители служб испытания. Завенягин растирал рукой огромную шишку на лысой голове. От ударной волны в штабе треснул потолок и обрушилась штукатурка. Завенягин выглядел возбужденным, как все, и счастливым. Хотя он этого и не знал еще, это был апогей его карьеры — через полтора-два года (примерно) он умер. Разойдясь с женой, Завенягин жил совсем один. Когда у него случился сердечный приступ, скорая приехала с опозданием — он был уже мертв.

Испытание было завершением многолетних усилий, триумфом, открывавшим пути к разработке целой гаммы изделий с разнообразными высокими характеристиками (хотя при этом встретятся еще не раз неожиданные трудности). Через несколько часов выяснилось, что ударная волна натворила гораздо больше бед, чем разрушенный потолок в штабе и шишка на голове министра. На «половинке» наши ребята лежали на земле, согласно инструкции, и никто из них не пострадал (правда, один из них, потеряв, вероятно, контроль над собой, побежал от взрыва, и его как следует стукнуло о землю). Но рядом с ними взвод солдат был размещен в траншее, траншею завалило взрывом, и один солдат, молодой парень первого года службы, погиб. Другая страшная беда произошла в поселке за пределами полигона (где, по всем расчетам, вообще было безопасно). Жители там по приказу находились в несколько примитивном, вероятно, бомбоубежище. Когда вспышка осветила небо, все решили, что уже можно выйти на поверхность. В бомбоубежище осталась только двухлетняя девочка, игравшая какими-то кубиками. Ударная волна обрушила бомбоубежище, и девочка погибла. Ее мать, как мне сказали, одинокая незамужняя немка, одна из тех, кого насильно вывезли в Казахстан в начале войны. В другом поселке в сельской больнице обрушился потолок в женской палате. Несколько человек (кажется, шесть) получили серьезные повреждения, у нескольких пожилых женщин был перелом позвоночника. По приезде в Москву я позвонил заместителю министра здравоохранения Аветику Игнатьевичу Бурназяну и попросил его принять меры по оказанию специальной помощи этим женщинам, включая предоставление им пенсии по фондам МСМ. Он сказал, что примет меры. К сожалению, я не проверил, что было реально сделано: быть может, и ничего.

Менее трагические события: в нашем поселке побито огромное количество стекла, в Семипалатинске (150 км от точки взрыва) оконное стекло обрушилось на мясокомбинате в заготовленный фарш. Совсем далеко — в Усть-Каменогорске — печная сажа пугала людей, вылетая из печей в дома. Подобные фокусы ударных волн встречаются довольно часто. Если бы мы были более опытны, мы должны были именно температурную инверсию считать достаточным поводом для переноса срока испытания. Скорость ударной волны возрастает с ростом температуры, поэтому, если температура возрастает по мере удаления с поверхности Земли, то ударная волна как бы «пригибается» к ней и соответственно меньше ослабляется с расстоянием. Но вообще предсказания тут затруднены. За год до испытания 1955 года на армейских маневрах гораздо меньший — атомный — взрыв тоже привел к трагическим последствиям. Там волна прошла неожиданно далеко вдоль какого-то овражка. В деревне, расположенной около конца овражка, дети прильнули к окнам, увидев яркую вспышку, осветившую небо. Ударная волна выбила стекло и повредила глаза многим детям. В то же время у расположившихся гораздо ближе от точки взрыва генералов ударная волна только посбивала их генеральские фуражки, вызвав неудержимый смех Малышева (не знаю, как у Жукова), я основываюсь на рассказах очевидцев. Те же очевидцы добавили, что между Жуковым и Малышевым была сильная вражда; не знаю, в чем была ее причина. Однажды, как рассказывал В. Ю. Гаврилов, он был свидетелем бурной стычки между ними на каком-то совещании: был не только мат, но и взаимные угрозы расстрела. Подчиненные двух больших начальников сидели при этом ни живы, ни мертвы.

20 ноября инверсии не было. Вполне возможно, если бы испытание не было перенесено, оно обошлось бы без жертв.

Опять, как и в 1953 году, мы ездили на поле, на этот раз с более разумными целями — вместе с командой, снимавшей пленки и показания приборов, прошлись мимо разрушенных и искореженных зданий (специально построенных на поле, на них проверялось действие ударной волны и теплового излучения на сооружения). Во многих местах полыхали пожары, из-под земли били струи воды из разорвавшихся под землей водопроводных труб, под ногами скрипели стекла из выбитых окон, остро напоминая о годах войны. Еще несколько дней горела подожженная тепловым излучением взрыва нефть в разрушенном нефтехранилище, и густой черный дым стелился вдоль горизонта. Специальные команды вывозили с поля подопытных животных — собак, коз, кроликов — смотреть на их мучения было тяжело даже в кино.

Через несколько часов после испытания Зельдович сказал мне:

— Изделие (он вместо этого слова назвал кодовый номер.— **А. С.**) — г...о!

Я. Б. имел в виду, что измеренное значение одного из параметров процесса взрыва — о нем только что нам сообщили — разительно разошлось с расчетным значением; это могло означать, что мы не учитываем чего-то важного, а учтя — можем существенно улучшить характеристики. В какой-то мере Я. Б. оказался прав, хотя его правота первоначально обошлась всем нам боком. Меня тогда слова Я. Б. покоробили: они показались мне бравадой, вызовом судьбе — почти кощунством.

Конечно, мы все понимали огромное военно-техническое значение проведенного испытания. По существу, им была решена задача создания термоядерного оружия с высокими характеристиками. Мы были уверены, что испытанное изделие станет прототипом для термоядерных зарядов различных мощностей, веса и назначения. Мы были очень возбуждены. Но это было не просто радостное возбуждение от ощущения выполненного долга. Нами — мною во всяком случае — владела уже тогда целая гамма противоречивых чувств, и, пожалуй, главным среди них был страх, что высвобожденная сила может выйти из-под контроля, приведя к неисчислимым бедствиям. Сообщения о несчастных случаях, особенно о гибели девочки и солдата, усиливали это трагическое ощущение. Конкретно я не чувствовал себя виновным в этих смертях, но и избавиться полностью от сопричастности к ним не мог.

Вечером 22 ноября военный руководитель испытаний М. И. Неделин пригласил руководящих работников обоих объектов, министерства, полигона, вооруженных сил к себе на банкет в узком кругу по случаю удачного испытания. Неделин был главнокомандующим ракетными войсками СССР, во время войны командовал артиллерией многих фронтов, возможно, какое-то время был главнокомандующим артиллерией. Это был плотный коренастый человек с обычно негромким голосом, но с уверенными, не терпящими возражений интонациями. Производил впечатление человека очень не глупого, энергичного и знающего. Говорили, что в войну он был хорошим командиром, имел большие заслуги.

На полигоне Неделин вел себя активно, часто созывал совещания (был значительно активнее своего предшественника — Василевского). Я иногда бывал на этих совещаниях. Один раз после совещания Неделин пригласил к себе в коттедж человек 10, в том числе и меня. Он жил с ординарцем, исполнявшим функции киномеханика. Смотреть на дому кинофильмы было любимым времяпрепровождением маршала. В тот раз мы смотрели интересный французский фильм «Тереза Ракэн» и видовой фильм об Индонезии.

В одной из небольших комнат домика Неделина был накрыт парадный стол. Пока гости рассаживались, Неделин разговаривал с начальником полигона, генералом Б. Он сказал ему:

— Ты должен выступить на похоронах (погибшего солдата.— **А. С.**). Подпиши письмо родителям солдата. Там должно быть написано, что их сын погиб при выполнении боевого задания. Позаботься о пенсии.

Наконец, все уселись. Коньяк разлит по бокалам. «Секретари» Курчатова, Харитона и мои стояли вдоль одной из стен. Неделин кивнул в мою сторону, приглашая произнести первый тост. Я взял бокал, встал и сказал примерно следующее:

— Я предлагаю выпить за то, чтобы наши изделия взрывались так же успешно, как сегодня, над полигонами, и никогда — над городами.

За столом наступило молчание, как будто я произнес нечто неприличное. Все замерли. Неделин усмехнулся и, тоже поднявшись с бокалом в руке, сказал:

— Разрешите рассказать одну притчу. Старик перед иконой с лампадкой, в одной рубахе, молится: «Направь и укрепи, направь и укрепи». А старуха лежит на печке и подает оттуда голос: «Ты, старый, молись только об укреплении, направить я и сама сумею!» Давайте выпьем за укрепление.

Я весь сжался, как мне кажется — побледнел (обычно я краснею). Несколько секунд все в комнате молчали, затем заговорили неестественно громко. Я же молча выпил свой коньяк и до конца вечера не открыл рта. Прошло много лет, а до сих пор у меня ощущение, как от удара хлыстом. Это не было чувство обиды или оскорбления. Меня вообще нелегко обидеть, шуткой — тем более. Но маршальская притча не была шуткой. Неделин счел необходимым дать отпор моему неприемлемому пацифистскому уклону, поставить на место меня и всех других, кому может прийти в голову нечто подобное. Смысл его рассказика (полунеприличного, полубогохульного, что тоже было неприятно) был ясен мне, ясен и всем присутствующим. Мы — изобретатели, ученые, инженеры, рабочие — сделали страшное оружие, самое страшное в истории человечества. Но использование его целиком будет вне нашего контроля. Решать («направлять», словами притчи) будут они — те, кто на вершине власти, партийной и военной иерархии. Конечно, понимать я понимал это и раньше. Не настолько я был наивен. Но одно дело — понимать, и другое — ощущать всем своим существом как реальность жизни и смерти. Мысли и ощущения, которые формировались тогда и не ослабевают с тех пор, вместе со многим другим, что принесла жизнь, в последующие годы привели к изменению всей моей позиции. Об этом я расскажу в следующих главах.

Примерно через год после испытания 1955 года, точней, в сентябре — октябре, вышло Постановление Совета Министров о награждении участников разработки, изготовления и испытания «третьей идеи». Зельдович и Харитон были награждены третьей медалью Героя Социалистического Труда (Курчатов, кажется, тоже, если он не был награжден ранее), я был награжден второй медалью, ордена получили очень многие теоретики объекта; одновременно нескольким участникам (мне в том числе) была присуждена Ленинская премия, только что восстановленная (Сталин в свое время ввел премии своего имени и Ленинские премии перестали присуждаться). Ордена, медали и значки лауреатов вручал на специальном заседании Георгадзе. В ожидании начала церемонии он разговаривал с нами о последних событиях — тогда как раз началось венгерское восстание и война 1956 года на Ближнем Востоке. Георгадзе сказал:

— Ну, в Венгрии мы, конечно, вдарим. Надо бы и на Ближнем Востоке вдарить как следует, но далеко. А жаль!

31 декабря я был приглашен с женой в Кремль на новогодний вечер-прием. На лестнице мы встретили Неделина. Он не узнал меня и не ответил на приветствие — может, случайно (верней всего), а может, и потому, что я уже был для него «не наш человек». О Неделине есть книга в серии «Жизнь замечательных людей». Там, однако, очень глухо говорится об обстоятельствах его гибели. Я расскажу об этом здесь, хотя это и не имеет прямого отношения к теме этой главы (мой источник — устный рассказ одного из очевидцев).

Неделин погиб при испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты. Хотя к этому времени (насколько я помню, это был 1960 год) у СССР уже была межконтинентальная ракета, но новая ракета обладала многими технико-тактическими преимуществами, и ей придавалось большое значение. Неделин был руководителем испытаний (кажется, председателем Государственной комиссии). Ракета была установлена на стартовом столе. В это время в Тихом океане уже был объявлен запретный район, куда должна была попасть ракета (ее головная часть); множество военных кораблей патрулировали участок по периметру, специальные суда с телеметрической аппаратурой заняли свои позиции. При проверке автоматики ракеты на пульт управления поступил сигнал, свидетельствовавший о возможной неисправности схемы. Руководители бригад, работавших по подготовке автоматики, доложили Неделину, что в сложившейся ситуации все работы следует прекратить до обнаружения неисправности и ее исправления. Неделин сказал:

— Мы не можем нарушить правительственные сроки.

И приказал продолжать работы по подготовке ракеты к старту.

По приказу маршала его стул и рабочий столик были поставлены на стартовой плите непосредственно под соплами. Бригады наладчиков возобновили свою работу на балкончиках на различных ярусах стоящей вертикально ракеты. Неожиданно заработали основные двигатели. Вырвавшиеся из сопел струи раскаленного газа ударили по стартовой плите и взмыли вверх, охватив огнем балкончики, на которых находились люди. Неделин, вероятно, погиб в первые же секунды. Одновременно с двигателями включились автоматические кинокамеры, запечатлевшие эту ужасную трагедию. Люди на балкончиках метались в огне и дыму, многие прыгали вниз и исчезали в пламени. Кому-то одному удалось выбежать из огня, он добежал до окружающей стартовую позицию колючей проволоки и повис на ней. В следующую минуту пламя поглотило и его.

Всего погибло около 190 человек.

НЕПОРОГОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

В годы, последовавшие за испытанием принципов «третьей идеи» в 1955 году, как нашим, так и «вторым» объектом были разработаны многочисленные термоядерные изделия разных весов и мощностей, предназначенные для различных носителей. Это было развитие нашего успеха, потребовавшее, однако, вновь больших усилий, а также многих испытаний.

Тогда же меня все больше стали волновать биологические последствия испытаний. Меня натолкнула на эту проблему сама жизнь, личное участие в ядерных испытаниях и подготовке к ним. Большую психологическую роль при этом (и в дальнейшем) играла некая отвлеченность моего мышления и особенности эмоциональной сферы. Я говорю здесь об этом без самовосхваления и без самоосуждения — просто констатирую факт. Особенность отдаленных биологических последствий ядерных взрывов (особенности при воздушных взрывах, когда радиоактивные продукты разносятся по всей Земле, или, точней, по всему полушарию) в том, что их можно в ы ч и с л и т ь, определить более или менее точно общее ч и с л о ж е р т в, но практически невозможно указать, кто персонально эти жертвы, найти их в человеческом море. И наоборот, видя умершего человека, скажем, от рака, или видя ребенка, родившегося с врожденными дефектами развития, мы никогда практически не можем утверждать, что д а н н а я смерть или уродство есть последствие ядерных испытаний. Эта анонимность, или статичность, трагических последствий ядерных и термоядерных испытаний создает своеобразную психологическую ситуацию, в которой разные люди чувствуют себя по-разному. Я, однако, никогда не мог понять тех, для кого проблемы просто не существует.

Отдаленные биологические последствия ядерных взрывов в основном связаны с так называемыми непороговыми эффектами. Ниже я поясню, что под этим подразумевается.

Одним из таких эффектов являются генетические повреждения. В связи с проблемой ядерных испытаний я вновь вспомнил о своем юношеском интересе к генетике. В этой науке тогда как раз происходили драматические события. Уотсон и Крик расшифровали строение молекулы ДНК в виде двойной спирали и утвердили ее решающую роль в механизме наследственности. В научно-популярном американском журнале «Сайентифик Американ» я прочел блестящую статью Гамова, в которой рассказывалось об открытии Уотсона и Крика и излагались собственные идеи Гамова о генетическом коде (в основном оказавшиеся правильными).

Действие радиации на наследственность экспериментально изучалось уже давно. Даже самая малая доза облучения может вызвать повреждение наследственного механизма (как теперь стало ясно — молекулы ДНК), привести к наследственной болезни или смерти. Не существует никакого «по-

рога», т. е. такого минимального значения дозы облучения, что при меньшей дозе уже никогда, ни в коем случае не произойдет поражения. Генетическое поражение носит вероятностный характер. Это значит, что от дозы облучения зависит вероятность (относительная частота) поражения, но, в известных пределах, не зависит характер поражения. Говоря несколько схематически, если возникшая при облучении активная молекула (например, перекиси водорода) поразит один участок ДНК, то произойдет некоторое вполне определенное поражение, если не поразит — не произойдет ничего.

Вероятность поражения пропорциональна дозе облучения (опять же при достаточно малой дозе). Таким образом, при стремлении к нулю дозы облучения к нулю же стремится и число пораженных людей, но не степень поражения у тех, кому «не повезло». Можно сказать и иначе. Число случаев поражения определяется произведением дозы облучения на число подвергшихся этому облучению людей. Если уменьшить дозу облучения в сто раз, но одновременно увеличить в сто раз число облученных, число пострадавших не изменится. Это и есть ситуация непорогового эффекта — при генетических поражениях и аналогично и в других случаях. Непороговые биологические эффекты ставят нас перед нетривиальной моральной проблемой. Как я уже отмечал, они полностью «анонимны». При этом все произошедшие за последние десятилетия испытательные взрывы дают малую относительную добавку к смертности и болезням от других причин. Но так как людей на Земле очень много, а через некоторое время, в течение периода распада радиоактивных веществ, их станет еще больше, то абсолютные цифры ожидаемого числа поражений и гибели крайне велики, чудовищны (речь идет, конечно, о взрывах в воздухе, на поверхности земли, о подводных взрывах, но не о подземных).

(Добавление 1987 г. Необходимо, однако, иметь в виду, что действие непороговых биологических эффектов радиации при малых дозах облучения, сравнимых с естественным фоном, не изучено экспериментально с должной степенью достоверности. Очень велики трудности, связанные с гетерогенностью изучаемого ансамбля и невозможностью контрольного эксперимента, необходима непомерно большая статистика. Нельзя исключить того, что при малых дозах действуют репарационные (исправляющие дефекты) механизмы и по этой и другим причинам имеет место существенная нелинейность эффекта. Нельзя также полностью исключить существования положительного эффекта малых доз радиации. Поэтому ко всем приведенным в этой главе соображениям и оценкам следует относиться с известной степенью осторожности.)

После этого общего введения отвлекусь немного от последствий ядерных испытаний и расскажу о некоторых других занимавших меня тогда делах, начав с вопросов генетики. Мой интерес к ним был трояким — в связи с большой ролью генетических эффектов в общей картине биологического действия ядерного оружия, общефилософский и связанный с той драмой, которую переживала тогда советская биология в результате действий лысенковской мафии. Случилось так, что я уже не раз соприкасался с этой последней проблемой и довольно хорошо знал ситуацию (от друзей и знакомых, в частности, от Игоря Евгеньевича и по Академии).

В 1956 году (кажется) Я. Б. Зельдович повел меня к Н. П. Дубинину, который был тогда одним из опальных вождей опальной генетики. Мы пришли к нему на квартиру, которая была тогда его экспериментальной базой (в институте, где он формально числился, генетика была под запретом). Н. П. показал нам колонии дрозофил, с которыми он работал, а потом рассказал — в сжатой и яркой форме, со многими деталями и примерами, которые я сейчас забыл, — об огромных научных и практических достижениях генетики за рубежом и о нашем отставании, о многомиллиардных перспективах использования этих достижений в сельском хозяйстве и медицине. Произвел он на меня тогда впечатление умного и делового, с хваткой человека. Наш визит к Дубинину был не просто экскурсией. В это время Курчатов собирался организовать в своем институте в порядке меценатства некое прибежище для опальных генетиков, и ему нужно было иметь рядом беспристрастных людей, с которыми он мог бы посоветоваться. Вскоре после визита к Дубинину я позвонил А. Н. Несмеянову, тогдашнему (после смерти С. И. Вавилова) президенту Академии, и спросил его, как он терпит все выходки Лысенко, которые наносят такой огромный вред. Несмеянов ответил, что, по его мнению, Лысенко ведет сейчас арьергардные бои, постепенно сдавая позиции, а честные биологи не сидят сложа руки, скоро будет письмо в ЦК, которое должно изменить положение. Конечно, Несмеянов приукрашивал ситуацию. Письмо биологов (с 300 подписями) действительно было отправлено, но вызвало только негативную реакцию, как беспринципная «коллективка». У кого-то были неприятности. А Лысенко выступил в «Правде» с новой «теоретической» и «проблемной» статьей на целую страницу. Я часто спрашивал себя, что дает возможность Лысенко и его мафии удерживать позиции в хрущевскую эпоху, когда уже нельзя было столь успешно применять методы доносов и лжефилософии, на которых был основан его успех в 30—40-х годах. Я думаю, что тут две причины.

Во-первых, у Лысенко всегда была наготове «идея», обещающая гигантский практический успех в сельском хозяйстве немедленно и почти что даром. Никита Сергеевич часто не мог противостоять такому соблазну. А когда все проваливалось, у Лысенко была наготове новая идея, столь же обещающая. Но главное было не в этом. Весь аппарат партийного руководства сельским хозяйством был пронизан сверху донизу ставленниками лысенковской мафии. Эти люди давно, еще при Сталине, связали себя с лысенковской демагогией и с лысенковцами. Им уже поздно было «менять кожу». Именно они и поддерживали новые лысенковские авантюры и яростно боролись с настоящей биологией, победа которой угрожала их положению. Потребовалась «вторая октябрьская революция» — снятие Хрущева в октябре 1964 года, — чтобы вся эта компания одновременно изменила ориентацию. Зарубежным советологам и кремленологам следует призадуматься над этой историей. Она, по-моему, многое раскрывает в механизме управления нашего государства. Борьба за научную биологию еще появится на страницах этой автобиографии.

В те годы было еще несколько общественных начинаний, в которые меня тогда вовлек Зельдович, а мое участие было относительно пассивным. Одно из этих выступлений было связано с кампанией в прессе против незадолго перед этим опубликованной пьесой Зорина «Гости». Я не помню, в чем там было дело, но пьеса, написанная на гребне «оттепели», задевала новую советскую партийную бюрократию, ее высокомерие, жадность и тупой эгоизм и противопоставляла ей «народ» и «истинных» ленинцев, в том числе реабилитированных «старичков». Зельдович подбил меня написать письмо Хрущеву (а сам оставался в тени!). Конечно, мне не следовало так начинать свою эпистолярную деятельность, это было «не постановочно», я просто поддался на «подначку». Но с другой стороны, как-то надо было начинать. А принципиально — выступить против «нового класса» — по терминологии Джиласа, было не так уж и плохо. Это было мое первое письмо Хрущеву и вообще первое выступление вне специальности. Я плохо помню, чем кончилось это дело. Кажется, из какого-то отдела ЦК пришла формальная отписка.

Другое начинание было связано с проблемой спецшкол, а именно — школ с физико-математическим уклоном. Тогда только еще обсуждалось, нужны ли они и не противоречит ли это каким-либо социальным или педагогическим принципам. Зельдович и я вместе написали и отдали в «Известия» заметку, где защищалась идея таких школ (мы привели довольно очевидные аргументы «за» и уклонились от дискуссии с оппонентами, оставив все возможные возражения без ответа). Наша заметка вызвала оживленную полемику, в том числе остроумный и ядовитый фельетон Носова (автора «Незнайки») в сатирическом журнале «Крокодил».

Вернусь теперь к главной теме этой главы — к проблеме последствий ядерных испытаний и к тому, как я постепенно начал все более активно действовать в этом направлении.

В 1957 году я написал, а в 1958-м опубликовал (в журнале «Атомная энергия» за июнь 1958 года) статью «Радиоактивный углерод ядерных взрывов и непороговые биологические эффекты». Работа над ней явилась важным этапом в формировании моих взглядов на моральные проблемы ядерных испытаний. Я не могу сейчас с полной уверенностью восстановить всю предысторию статьи, постараюсь изложить то, что вспомнил.

В начале 1957 года И. В. Курчатов предложил мне написать статью

о радиоактивных последствиях взрывов так называемой «чистой» бомбы (возможно, я в какой-то форме «напросился» на это задание). Предложение было связано с появившимися в иностранной печати сообщениями о разработке в США чисто термоядерной («чистой») бомбы, в которой не используются делящиеся материалы и поэтому нет радиоактивных осадков; утверждалось, что это оружие допускает более массовое применение, чем «обычное» термоядерное, без опасения нанести ущерб за пределами зоны разрушений ударной волной, и что поэтому оно более приемлемо в моральном и военно-политическом смысле. Я должен был объяснить, что это на самом деле не так. Таким образом, первоначальная цель статьи была — осудить новую американскую разработку, не затрагивая «обычного» термоядерного оружия. Т. е. цель была откровенно политической, и поэтому присутствовал неблаговидный элемент некоторой односторонности. Но в ходе работы над статьей и после ознакомления с обширной гуманистической, политической и научной литературой я существенно вышел за первоначально запланированные рамки. Среди научных источников статьи упомяну работы Овсея Лейпунского (брата одного из авторов советских реакторов-бридеров на быстрых нейтронах), Либби, Адашникова и Шапиро. Из литературы, носившей «философско-гуманистическую» ориентацию, назову выступления Альберта Швейцера, произведшие на меня большое впечатление (почти через 20 лет я вспомню об этом, составляя текст выступления на Нобелевской церемонии). Мне кажется, я ушел от первоначальной односторонности. Приведу цитату из статьи: «Количество жертв дополнительной радиации определяется непороговыми биологическими эффектами» (т. е. такими, которые действуют при самых малых дозах облучения и приводят статистически к большим итоговым эффектам смертности и болезней за счет того, что облучению подвергаются огромные массы людей, все человечество на протяжении многих поколений). «Простейшим непороговым эффектом является воздействие на наследственность... Для необратимого изменения гена — так называемой генной мутации — достаточно одного акта ионизации, поэтому необратимые изменения могут возникать при самых малых дозах облучения с вероятностью, точно пропорциональной дозе».

Коэффициент увеличения вероятности наследственных болезней в работе оценен в 10^{-4} на рентген (единица дозы облучения). В работе оценены также соответствующие коэффициенты для раковых заболеваний и высказано предположение о непороговом характере снижения иммунологических реакций и происходящих отсюда преждевременных смертей. Для суммарной оценки этих двух эффектов используются данные о средней продолжительности жизни врачей-рентгенологов и радиологов — сниженной на 5 лет при дозе, вероятно, не превышающей 1000 рентген за всю жизнь.

Далее высказываются предположения, что глобальное увеличение числа мутаций бактерий и вирусов — вне зависимости от причины мутаций, которая может быть связана с мутантными веществами или, в частности, с радиацией,— является для них полезным фактором (пример — возникновение дифтерита в девятнадцатом веке, пандемия гриппа) и в случае малых доз радиации приводит примерно к такому же количественному эффекту уменьшения продолжительности человеческой жизни, как увеличение раковых и генетических болезней (тоже 10^{-4} на рентген). Суммарный эффект радиации по всем этим причинам оценен 3×10^{-4} на рентген (заниженная оценка с учетом возможной неточности некоторых ее слагаемых). При средней продолжительности человеческой жизни 20 тыс. дней каждый рентген глобального облучения уменьшит ее на неделю! Много это или мало? Общее число жертв от одной мегатонны взрыва в работе оценено цифрой 10 тыс. человек. $^2/_3$ этой огромной цифры при этом приходится на последствия от образования в атмосфере радиоактивного изотопа углерода C^{14}.C^{14} возникает в результате взаимодействия с ядрами азота нейтронов, которые примерно в одинаковом количестве выделяются (в расчете на 1 мегатонну) при «чистом» взрыве и в «обычном» водородном заряде. Время полураспада C^{14} составляет 5000 лет, поэтому эффект сказывается медленно на протяжении тысячелетий. При оценках принято, что средняя численность человечества в существенный для эффекта период составит 30 млрд. человек. $^1/_3$ общего числа жертв, например, относится к ближайшему вре-

мени и вызвана радиоактивными осколками деления (т. е. в «чистой» бомбе этого слагаемого нет). В расчетах из всех осколков учтены только стронций и цезий. Численность человечества (для середины 50-х годов) принята 2,5 млрд. человек. К 1957 году общая мощность испытанных бомб уже составляла почти 50 мегатонн (чему, по моей оценке, соответствовало 500 тыс. жертв!); эти цифры быстро возрастали. Кончая статью, я писал: «Какие моральные и политические выводы следует сделать из приведенных цифр? Один из аргументов сторонников теории «безобидности» испытаний заключается в том, что космические лучи приводят к большим дозам облучений, чем дозы от испытаний. Но этот аргумент не отменяет того факта, что к уже имеющимся в мире страданиям и гибели людей дополнительно добавляются страдания и гибель сотен тысяч жертв, в том числе в нейтральных странах, а также в будущих поколениях. Две мировые войны добавили менее 10% к смертности в XX веке, но это не делает войны нормальным явлением. Другой распространенный в литературе ряда стран аргумент сводится к тому, что прогресс цивилизации и развитие новой техники и во многих других странах приводит к человеческим жертвам. Часто приводят пример с жертвами автомобилизма. Но аналогия здесь не точна и не правомерна. Автотранспорт улучшает условия жизни людей, а к несчастьям приводит лишь в отдельных случаях в результате небрежности людей, несущих за это уголовную ответственность. Несчастья же, вызываемые испытаниями, есть неизбежное следствие каждого взрыва. По мнению автора, единственная специфика в моральном аспекте данной проблемы — это полная безнаказанность преступления, поскольку в каждом конкретном случае гибели человека нельзя доказать, что причина лежит в радиации, а также в силу полной беззащитности потомков по отношению к нашим действиям. Прекращение испытаний непосредственно сохранит жизнь сотням тысяч людей и будет иметь еще большее косвенное значение, способствуя ослаблению международной напряженности, способствуя уменьшению опасности ядерной войны — основной опасности нашей эпохи.

Автор пользуется случаем выразить свою благодарность О. И. Лейпунскому за ценное обсуждение».

Статья была опубликована через несколько месяцев после того, как Н. С. Хрущев, вступая на пост Председателя Совета Министров СССР (что означало окончательное сосредоточение в его руках всей верховной власти), объявил об одностороннем прекращении СССР всех ядерных испытаний. Это было очень эффектное начало новой эпохи (правда, через семь месяцев испытания были все же возобновлены). Одновременно со статьей для научного журнала («Атомная энергия») я, по просьбе Курчатова, написал статью для широкой публикации. Она была переведена на английский, немецкий, французский, испанский и японский языки и опубликована в издаваемых советскими посольствами и пропагандистскими службами журналах. Передо мной статья на немецком языке в журнале «Die Sowietunion heute» («Советский Союз сегодня»), издававшемся советским посольством в ФРГ. Статья называется «О радиационной опасности ядерных испытаний». Вначале я пишу об историческом значении решения Верховного Совета СССР об одностороннем прекращении испытаний, утверждая, что оно представляет собой реальный шаг на пути к запрещению ядерного оружия, к уменьшению опасности ядерной войны. «Это важное основание для остальных великих держав, развивающих свое ядерное оружие, последовать примеру СССР. Поскольку СССР и другие страны мировой социалистической системы проводят мирную политику, продолжение испытаний не может быть оправдано соображениями сохранения равновесия военной силы». (*Здесь и ниже — обратный перевод.*)

Далее я излагаю суть проблемы ядерной опасности и привожу свои оценки из журнала «Атомная энергия» (не полностью. При редактировании в тех случаях, когда я указывал возможный нижний и верхний предел, редакторы иностранного текста оставили только верхний, и в результате мои и без того высокие оценки для большинства западных читателей выглядели, вероятно, как пропагандистски завышенные). Кончаю я полемическими замечаниями по поводу некоторых утверждений в книге Э. Теллера и А. Лэттера «Наше ядерное будущее». Я пишу: «Они в большинстве случаев не называют абсолютных цифр, но приводят необоснованные сравнения с другими не имеющими связи с обсуждаемым вопросом причинами

смертности. Таким образом можно прийти к выводу, что пачка сигарет вредней ядерных испытаний».

«Очевидно,— пишу я,— тут мы имеем дело с явным заблуждением, логическим, моральным и политическим».

И далее, приведя цитату из книги: «Говорят, недопустимо подвергать опасности даже одну человеческую жизнь. Но разве не более реалистично и не в большей степени соответствует идеалам человечности, если мы будем добиваться лучшей жизни для всего человечества?», я замечаю: «Последняя мысль была бы, несомненно, правильной, если бы авторы имели при этом в виду мирное сосуществование, разоружение и в первую очередь прекращение ядерных испытаний, а не опасную идею вооруженного равновесия взаимного устрашения, от которой только один шаг до превентивной войны. Советское государство было вынуждено разработать ядерное оружие и проводить его испытания ради своей безопасности в связи с ядерным вооружением США и Англии. Но цель политики СССР не всемирное ядерное разрушение, а мирное сосуществование, разоружение и запрещение ядерного оружия».

Публикация моих научной и популярной статей была осуществлена по личному разрешению Н. С. Хрущева. Курчатов дважды беседовал с ним по этому поводу. И. В. передал (или сам предложил) несколько редакционных исправлений. Тогда они не казались мне принципиальными, и я не помню, в чем было дело. Исправленные варианты Хрущев утвердил уже в конце июня, и они были немедленно переданы в редакции.

Я привел такие обширные цитаты из обеих статей, во-первых, из-за важности вопроса о ядерных испытаниях (подразумевается — в атмосфере и под водой, быть может, в космосе), а во-вторых, так как эти цитаты объективно отражают мои тогдашние умонастроения и позицию, только еще немного начинавшую тогда отклоняться от официальной. Никакие записи и рассуждения по памяти не могут заменить того, что написано почти 25 лет назад (но необходимо все же учитывать, что было редактирование).

В 1959 году моя статья (кажется, научная, но я не уверен) появилась в сборнике «Советские ученые против ядерной угрозы». Все эти публикации, насколько я знаю (мои сведения могут быть не полны), не были замечены на Западе — ни учеными, ни прессой, ни государственными деятелями. Вероятно, потому, что моя фамилия еще почти никому не была известна, а сопоставить ее с фамилией автора работ по управляемой термоядерной реакции, о которых говорил Курчатов за два года перед этим,— на это мало у кого хватило памяти и ассоциативных способностей (я и сейчас, уже не в связи с собой, часто удивляюсь, как плохо умеют западные журналисты и радио пользоваться архивами, справочными данными и т. п. и как мало их интересуют новые имена).

После того, как в 1963 году ядерные испытания были «загнаны под землю», биологические эффекты ядерной радиации перестали волновать людей, меня в том числе. Но Чернобыльская катастрофа вновь трагически вывела их на авансцену.

В конце 1957 года ко мне пришел с просьбой о помощи Г. И. Баренблат, молодой теоретик-механик, имеющий некоторые совместные работы с Зельдовичем (вероятно, последний и направил Г. И. ко мне). Произошла беда с его отцом, известным эндокринологом Исааком Григорьевичем Баренблатом. Я знал Исаака Григорьевича, незадолго перед этим он смотрел мою жену. Исаак Григорьевич был арестован; обвинение — рассказывал своим пациентам анекдоты о Хрущеве и Фурцевой (тогда это была излюбленная тема; возможно, причиной были не столько реальные интимные отношения главы государства и министра культуры, вероятно, это были просто сплетни, а сенсационным являлся сам небывалый факт вхождения женщины в Политбюро. За много лет до этого, когда коллеги великого немецкого математика Д. Гильберта возражали против введения Эмми Нетер в ученый совет университета, так как она женщина, он воскликнул: «Но, господа, ведь ученый совет — не ванная комната!» В Советском Союзе этот принцип «ванной комнаты» оказался на редкость живучим).

Было очевидно, что кто-то донес. В дальнейшем оказалось, что это был даже не пациент, а один из старых сослуживцев, которого Исаак Григорьевич считал своим другом. Я решил написать письмо самому Н. С. Хрущеву и с помощью Григория Исааковича осуществил это; в тот же день я

отвез письмо в отдел писем ЦК и стал ждать ответа. Примерно через две недели (уже в начале января) меня вызвал начальник общего отдела ЦК и после разных маневров и вопросов о моих отношениях с Баренблатом и долгих вздохов: «Так говорить о таких уважаемых людях!», сказал мне, что Хрущев поручил разобраться с моим письмом М. А. Суслову. Через два дня меня действительно вызвал Суслов. Было уже поздно, часов 8 вечера, когда я вошел в его огромный кабинет в Кремле. У окна стоял какой-то странный столик резной работы; на нем был накрыт чай на двоих. Мы уселись друг против друга; рядом был письменный стол, на котором лежала папка с делом Баренблата и блокнот, в котором Суслов делал иногда пометки. Суслов, разговаривая, пил чай и прикусывал печенье. Я сделал несколько глотков из своего стакана.

— Мне очень приятно с вами познакомиться, Андрей Дмитриевич. Вы просите за этого, как его фамилия...?

— За доктора Баренблата. Я убежден, Михаил Андреевич, что он не сделал ничего, что могло бы требовать уголовного наказания. Он честный человек, очень хороший врач.

— Я ознакомился с его делом. Он говорил недопустимые вещи. Он не наш человек. У него нашли 300 тысяч рублей, а питался он макаронами в студенческой столовой.

Я совершенно не нашелся, что возразить по поводу макарон, но я почувствовал тогда и убежден сейчас, что за этим скрывался какой-то глубокий психологический подтекст, быть может (я фантазирую сейчас) — ненависть к бессребреникам эпохи партмаксимума, или просто «классовая» ненависть к скопидомам? Я сказал только, что 300 тысяч вполне могут быть честно накопленными популярным врачом (по новому курсу это было всего 30 тысяч). Я сказал потом, что анекдоты — это не то, чего может опасаться великое государство, что Баренблат доказал на войне, что он честно принимает и защищает наш строй. Слова не могут ничего значить рядом с делами. Суслов слушал меня со слегка снисходительным видом. Он несколько раз повторил свою фразу о недопустимости высказываний Баренблата (не конкретизируя, каких именно). Я же в ответ повторял свое: что слова — не более, чем слова. Это «заклинивание» начинало приобретать опасный характер. Наконец, Суслов сказал:

— Я еще раз ознакомлюсь с этим делом. Давайте перейдем к другому вопросу. Знакомы ли вы с этим решением?

И он положил передо мной листок с решением Политбюро об объявлении об одностороннем прекращении СССР ядерных испытаний. Это была обрезанная ножницами часть страницы машинописного текста, с обычным красным штампом на полях, предупреждающим о недопустимости выписок.

— Мы объявим об этом на предстоящей сессии Верховного Совета в марте. Как вы относитесь к этому решению?

Я, крайне взволнованный, ответил:

— Я ничего не знал об этом решении. Мне кажется, что никто у нас на объекте, включая научного руководителя объекта Юлия Борисовича Харитона, ничего об этом не знает. Я считаю очень важным прекратить ядерные испытания. Они наносят огромный генетический вред, но мне кажется, что о решении такого масштаба было бы необходимо предупредить нас заранее, мы бы «подчистили» все «хвосты».

Суслов не стал уточнять смысл моей последней фразы; это, вероятно, вывело бы беседу за пределы его желаний и полномочий. Вместо этого он опять изменил тему беседы.

— Вы употребили слова «генетические последствия». Что вы думаете о генетике? Вот Курчатов сейчас организует генетическую лабораторию, что это — нужное дело, или можно обойтись?

Я ответил целой «лекцией». Я сказал, что генетика — это наука огромного теоретического и практического значения и ее отрицание в нашей стране в прошлом нанесло колоссальный вред. Первоначально генетика возникла из наблюдений над наследственностью и изменчивостью, так сказать, чисто логическим, умозрительным путем. Но сейчас она получает новое глубокое теоретическое обоснование в виде молекулярной биологии (я рассказал о ДНК). Именно молекулярной биологией и будут заниматься в новой лаборатории у Курчатова. Я считаю, что это важное, необходимое

начинание. Организовать такую лабораторию в ВАСХНИЛ невозможно, пока там заправляют авантюристы и интриганы.

Суслов очень внимательно выслушал меня, задавал вопросы и делал пометки в своем блокноте. Я не помню, произносилось ли имя Лысенко явно, но и во всяком случае косвенно оно подразумевалось в самом неодобрительном аспекте. Мне неизвестно, предпринимал ли Суслов какие-либо шаги, касающиеся спора лысенковцев с генетиками, до октября 1964 года — до падения Хрущева. Но зато, я думаю, что когда настал этот момент, Суслов мог вспомнить полученные от меня за шесть лет до этого теоретические сведения, быть может, он даже заглянул в свой блокнотик.

Что касается того дела, по которому я пришел, то тут не было непосредственных результатов. Исаака Григорьевича Баренблата осудили, и он был приговорен к 2-м (или к 2,5) годам заключения. Однако через год Баренблата освободили досрочно. Хотелось бы думать, что мое вмешательство этому способствовало.

На объекте все схватились за головы, узнав от меня о предстоящем отказе от испытаний. Но решили пока ничего не менять в планах, считая очень возможным, что через короткое время испытания возобновятся. Так оно и случилось. Американцы и англичане, для которых заявление Хрущева об отказе от испытаний на сессии Верховного Совета СССР (при вступлении на должность Председателя Совета Министров), было еще большей неожиданностью, чем для объекта, заявили:

а) США и Великобритания настаивают на продолжении переговоров о контроле над соблюдением соглашения о запрещении испытаний;

б) в любом случае они должны провести ранее запланированные испытания, это займет около года.

Летом 1958 года США и Великобритания начали большую серию испытательных взрывов. Одновременно началась пропагандистская перепалка в прессе. В СССР писали, что наша беспрецедентная инициатива опять не «поддержана» Западом. На Западе же — что СССР, несомненно, подготовился к прекращению своих испытаний (в этом они ошибались), для Запада же оно явилось неожиданностью, и поэтому необходимо сначала доделать несделанное, выполнить намеченные программы и только потом можно последовать примеру СССР. Между тем выяснилось, что намеченные объектом к испытанию изделия чрезвычайно важны — в смысле их количественных и конструктивных характеристик и в принципиальном отношении. Можно ли было отказаться от того, чтобы получить эти почти готовые изделия в арсенал СССР? Можно ли принять хоть часть этих изделий без испытаний? Или можно сконструировать новые изделия, может, не такие хорошие по характеристикам, но допускающие их принятие на вооружение без испытаний? Или вообще принятие изделий без испытаний в любом случае недопустимо? Пока мы обсуждали (и очень страстно) создавшуюся ситуацию, пришло распоряжение Хрущева — готовиться к возобновлению испытаний, так как американцы и англичане не последовали нашему примеру. То есть, вопрос был решен безотносительно к техническим проблемам, чисто политически. На объекте начался «аврал» подготовки к проведению испытаний поздней осенью. Мне все происходящее казалось совершенно недопустимым именно в политическом и моральном плане. Я считал, что такие метания из стороны в сторону — сначала объявили об одностороннем отказе от испытаний, через полгода опять начали испытывать — приведут к полной потере доверия к СССР в этой и без того крайне запутанной проблеме. К этому времени я уже вычислил, что каждая мегатонна испытательных взрывов в атмосфере уносит 10 тыс. человеческих жизней (эта оценка содержалась в той статье, о которой я писал выше). Можно было опасаться, что если сейчас СССР возобновит свои испытания, то достижение соглашения о прекращении испытаний отодвинется на несколько лет, а это означает десятки, а может, даже сотни мегатонн, т. е. сотни тысяч или миллионы новых жертв! Даже если мои оценки несколько завышены (что я не исключал) — все равно речь идет о колоссальных человеческих жертвах. Мои предложения:

1) не начинать ни в коем случае испытаний в течение года с момента заявления Хрущева (с учетом того, что год — это срок, названный американцами и англичанами как достаточный для них);

2) пересмотреть конструкции намеченных к испытанию изделий, сделав их настолько надежными, чтобы их в принципе можно было принять на вооружение без испытаний;

3) отказаться от доктрины, что никакое изделие не может быть принято без испытаний, как недостаточно гибкой, догматической и не соответствующей реальности наступающей «безиспытательной» эпохи;

4) разработать новые экспериментальные методики моделирования без полного испытания отдельных функций изделий.

С этими предложениями я поехал к И. В. Курчатову. Я понимал, что он единственный человек, который может повлиять на Н. С. Хрущева (если кто-нибудь может вообще). В то же время это был единственный человек в МСМ, который, как я надеялся, сочувственно отнесется к моим мыслям о жертвах взрывов, с одной стороны, и о возможности двигаться вперед без испытаний — с другой.

Встреча с Игорем Васильевичем состоялась в сентябре 1958 года, в его домике во дворе института. Часть разговора происходила на скамейке около домика под густыми развесистыми деревьями. Игорь Васильевич называл свой коттедж домиком лесника, вероятно, в память о доме отца, в котором прошло его детство. После болезни два года назад врачи очень ограничивали рабочее время Игоря Васильевича. Он часто не ходил в институт, а гулял возле домика, вызывая нужных ему людей. Деловые записи при этом он вел в толстой тетради, вложенной для «маскировки» (от врачей и жены) в книжную обложку с тисненой надписью «Джавахарлал Неру. Воспоминания» (вероятно, чуть-чуть это была игра).

Игорь Васильевич выслушал меня внимательно, в основном согласился с моими тезисами. Он сказал:

— Хрущев сейчас в Крыму, отдыхает у моря. Я вылечу к нему, если сумею справиться с врачами, и представлю ему ваши соображения.

Наш разговор продолжался около часа. В конце его подошел Переверзев (секретарь Игоря Васильевича) с фотоаппаратом и сфотографировал нас обоих несколько раз с разных точек; на некоторых снимках видна также собака Курчатовых, все время вертевшаяся около ног. Переверзев «по совместительству» вел нечто вроде фотолетописи жизни Игоря Васильевича. Впоследствии он составил несколько фотоальбомов. В один из них, который он передал мне, включена сделанная им тогда фотография.

Поездка Игоря Васильевича в Ялту к Хрущеву не увенчалась успехом. Упрямый Никита нашел наши предложения неприемлемыми. Деталей разговора я не знаю, но слышал, что Никита был очень недоволен приездом Курчатова, и с этого момента и до самой смерти (через полтора года) Курчатов уже не сумел восстановить той степени доверия к нему Хрущева, которая была раньше.

Через два месяца состоялись испытания — в техническом плане они действительно оказались очень удачными и важными.

Выступая на XXI съезде КПСС в 1959 году, Курчатов сказал: «Вы знаете, что в связи с уклончивой позицией западных держав Верховный Совет СССР принял решение об одностороннем прекращении в нашей стране испытаний ядерного и водородного оружия, надеясь, что западные державы последуют этому благородному примеру. Вы знаете также, что вместо этого Соединенные Штаты Америки в течение весны и лета 1958 года произвели свыше 50 испытательных взрывов и что в силу этого наша страна была вынуждена осенью 1958 года возобновить свои испытания. Кстати сказать, эти испытания оказались весьма успешными. Они показали высокую эффективность некоторых новых принципов, разработанных советскими учеными и инженерами. В результате Советская Армия получила еще более мощное, более совершенное, более надежное, более компактное и более дешевое атомное и водородное оружие».

Естественно, что Курчатов поддержал в этом публичном выступлении официальную линию, хотя он же пытался ее незадолго перед этим безуспешно прокорректировать. Он был вполне искренен и вполне прав, когда говорил, что испытания дали важные результаты (что не исключает того, что можно было обойтись без испытаний в атмосфере, заключив уже тогда договор типа Московского).

В своем последнем публичном выступлении И. В. Курчатов сказал: «Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке ве-

ликой страны Советов. Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки».

Безусловно, Курчатов был искренен, говоря эти слова: искренен в желании, чтобы именно так было. На мое теперешнее восприятие лучше было бы не говорить — наука страны Советов; для меня наука абсолютно интернациональна. Но сказано было именно так, и далеко не случайно.

Курчатов — один из людей, вызывающих у меня чувство большого уважения, хотя я и понимаю, что наши позиции, многие целевые установки, способ жить, очень многое другое — различны.

Весной 1959 года, еще при жизни Курчатова (он умер в феврале 1960 года), я гулял по берегу нашей объектовской речки с В. А. Давиденко, близко знавшим Курчатова. В ответ на мою восторженную реплику об И. В. Давиденко сказал:

— Игорь Васильевич очень хороший человек. Он большой ученый и прекрасный организатор, любящий науку, заботящийся об ее развитии. И. В. абсолютно порядочный человек, тепло, с заботой относящийся к людям, преданный друзьям и товарищам молодости. Он человек с юмором, не зануда. Но не переоценивайте близости И. В. к вам. Игорь Васильевич прежде всего «деятель», причем деятель сталинской эпохи; именно тогда он чувствовал себя как рыба в воде.

В чем-то Давиденко был прав, но мне кажется, что он все же несколько недооценивал широты Игоря Васильевича, его способности действовать в необычных ситуациях. Его поездка к Хрущеву осенью 1958 года — одно из тому подтверждений.

1959 — 1961.

Хрущев и Брежнев в 1959 году. 10 июля 1961 года. Моя записка и речь Хрущева. Большая сессия. Смерть папы

В 1959 году я впервые увидел Хрущева в роли главы правительства. Ю. Б. Харитон и я были приглашены в качестве представителей объекта присутствовать на межведомственном совещании, посвященном некоторой общей военно-технической проблеме. Совещание проходило в Кремле в зале, известном под названием «Овального», под председательством Хрущева. Он произнес вступительную речь, в которой подчеркнул важность обсуждаемой проблемы и резко критиковал за плохую работу руководителей многих ведомств, в первую очередь, персонально Устинова, а также Яковлева (авиаконструктора) и Туполева. Про Яковлева Хрущев сказал, что тот совсем перестал заниматься своим делом, а сделался «писателем». Потом я узнал, что Яковлев написал воспоминания, в которых он, в частности, с большим пиететом писал о Сталине. Не знаю, играло ли это или что другое роль в недовольстве Хрущева. Воспоминания Яковлева, кажется, вышли из печати уже после снятия Хрущева. Туполева Хрущев обвинил в фантазерстве и гигантомании. В это время Хрущев, по-видимому, хотел в какой-то мере ограничить спектр военно-технических усилий и капиталовложений, сконцентрировавшись на наиболее эффективных направлениях. В этом, как и в других своих начинаниях, он, как я думаю, встречал со стороны определенных бюрократических кругов глухое сопротивление, почти саботаж. Положение осложнялось тем, что Хрущев с одинаковой энергией и упрямством проводил и свои правильные, и ошибочные идеи; таких у него было тоже более чем достаточно. Начав с необходимых стране реформ, с исторической речи на XX съезде, нанесшей удар по сталинизму, с освобождения политзаключенных — тех, которые еще остались живы в недрах ГУЛАГа, Хрущев не сумел найти себе опору в стране, не был достаточно последователен и проницателен. Ему просто не хватило сил и знаний, чтобы полностью оторваться от всех тех догм, которые были основой его деятельности раньше, когда он был «любимчиком» Сталина и исполнителем его преступной воли. Но от многих догм Хрущев отошел; именно это, вместе с природным умом и желанием оказаться на высоте положения — источник его заслуг, которые перевешивают, как я считаю, на весах истории его ошибки и даже преступления. Вторая половина периода его власти, однако, больше изобилует ошибками и авантюрами. Тут сказались недостаток мудрых и истинно доброжелательных советников, потеря чувства реальности при видимости неограниченной власти. Все же то, что Хрущев вышел из Карибского кризиса, показывает истинный масштаб его личности, — хотя он же и ввел мир в этот опасный «угол».

Тогда, в 1959 году, впереди еще был XXII съезд с решительным осуждением сталинизма, новое ужесточение положения заключенных в лагерях и пагубные сельскохозяйственные авантюры, авантюры внешнеполитические, Берлинская стена, попытка сломить партийно-бюрократическую монополию власти в стране (сломившую его самого), попытка резко уменьшить военные расходы и демилитаризовать экономику (что вызвало противодействие военных кругов), нелепые столкновения с художественной интеллигенцией, рецидивы лысенковизма, Московский договор о запрещении испытаний в трех средах, наконец, Карибский кризис и продовольственные трудности 1963 года — весь этот противоречивый калейдоскоп, завершившийся падением Хрущева в октябре 1964 года, а в дальнейшем — приходом к власти консервативной партийной бюрократии, персонифицированной в лице Брежнева, с одновременным усилением роли военно-промышленного комплекса и КГБ.

Манера Хрущева держаться уже в 1959 году была совсем иной, чем та, которую я наблюдал на заседаниях Политбюро в 1953—1955 годах (к слову сказать, после 1955 года я уже ни разу не приглашался). Тогда он явно старался быть в тени. Теперь же, с видимым удовольствием, был на первом плане, задавал выступающим острые вопросы, иногда перебивал их, давая часто понять, что последнее слово принадлежит ему. На меня он произвел тогда впечатление умного, истинно крупного человека, быть может, чересчур самонадеянного и податливого на лесть (но это легко говорить задним числом) и с недостатком общей культуры (тоже, быть может, я это понял потом).

После Хрущева выступал Устинов. Он кратко, но конкретно, со знанием дела, описал, что делается и предполагается делать в многочисленных военно-научных и военно-промышленных организациях. Затем он сказал:

— Я согласен с вами, Никита Сергеевич, что имели место крупные ошибки в определении направлений и приоритетов, и обещаю вам приложить все силы для их исправления.

Устинов говорил тихим голосом, так что его временами не было слышно, и создавалось впечатление, что он обращается только к Хрущеву. Хрущев же слушал его с непроницаемым видом, но явно внимательно. Мне кажется, что Устинов держался не просто как чиновник аппарата, даже самый высший, а как человек, преследующий некую сверхзадачу. Устинов уже тогда занимал центральное положение в военно-промышленных и в военно-конструкторских делах, не выдвигаясь, однако, открыто на первый план — предоставляя это Хрущеву и другим. Я понимал это и подумал: «Вот он, наш военно-промышленный комплекс». Тогда эти слова как раз стали модными в применении к США. Потом я то же самое подумал, когда встретился с Л. В. Смирновым (один из руководителей советской военной промышленности). Оба они — очень деловые, знающие и талантливые, энергичные люди, с большими организаторскими способностями, всецело преданные своему делу, с т а в ш е м у с а м о ц е л ь ю, подчиняющие без колебаний все этой задаче. Люди этого типа — очень ценные и иногда — опасные. После Устинова говорили министры и начальники КБ (конструкторских бюро); в отличие от него, они, в основном, жаловались на объективные условия и смежников.

В том же 1959 году я впервые увидел Л. И. Брежнева (кажется, это было незадолго до упомянутого совещания).

Но я должен вернуться чуть-чуть назад, к событиям 1957 года. После смерти Завенягина на его посты министра МСМ и заместителя Председателя Совета Министров, курирующего (т. е. отвечающего за) комплекс новой военной техники, был назначен член Президиума ЦК КПСС Перву-

хин. Он начал (как и Малышев четыре года назад) свою деятельность на этих постах с прибытия на объект — на двух специальных самолетах; в первом — он с помощниками и охраной, во втором — служба быта, в том числе несколько холодильников с продуктами, предназначенными лично для члена Президиума. На площади перед входом на завод состоялся митинг трудящихся объекта, на котором Первухин выступил с речью. Затем на ряде совещаний его ознакомили с задачами, решаемыми объектом, с перспективами и трудностями. Но применить эти знания на деле ему не удалось. Через два или три месяца была разоблачена так называемая «антипартийная фракционная группировка Молотова, Кагановича и Маленкова, а также примкнувшего к ним Шепилова» (заключенное в кавычках — стандартная формула публикаций тех лет). Первухин тоже оказался как-то связанным с членами этой группировки. Они, как очевидно, хотели свалить Хрущева, укрепить свое собственное неустойчивое положение и ликвидировать ту «смуту» в стране, которая была порождена XX съездом (и иногда называлась придуманным Эренбургом словом «оттепель») — правда, это слово больше относится к явлениям культурной жизни. Теперь мы бы их назвали просто сталинистами, но Хрущев избегал этого слова, оно было слишком острым (и обоюдоострым) оружием. Чудом удалось Хрущеву справиться с угрожавшей ему (и всему миру) опасностью, большую роль сыграли секретари обкомов, получившие перед этим из его рук большую самостоятельность, и некоторые работники центрального аппарата. Все «фракционеры» были лишены своих постов, некоторые просто выведены на пенсию. Первухина отправили в почетную ссылку послом в ГДР, а Молотова — в Монголию. Оправившись, Хрущев начал энергично выдвигать на ключевые посты людей, на которых, как ему казалось, он мог положиться (в это время в Президиум ЦК вошел бывший секретарь Горьковского обкома Игнатов, поддержавшая Хрущева в критическую минуту на пленуме ЦК Фурцева и др.). Он также произвел реорганизацию в высшем аппарате, потом он стал это делать часто и все менее удачно. На пост министра МСМ вместо Первухина был назначен Ефим Павлович Славский — и остается им и сейчас, спустя четверть века! Славский по образованию инженер, кажется, металлург. Человек несомненно больших способностей и работоспособности, решительный и смелый, достаточно вдумчивый, умный и стремящийся составить себе четкое мнение по любому предмету, в то же время упрямый, часто нетерпимый к чужому мнению; человек, который может быть и мягким, вежливым, и весьма грубым. По политическим и нравственным установкам прагматик, как мне кажется, искренне одобрявший хрущевскую десталинизацию и брежневскую «стабилизацию», готовый «колебаться вместе с партией» (выражение из анекдота), с презрением к нытикам, резонерам и сомневающимся, искренне увлеченный тем делом, во главе которого он поставлен — и военными его аспектами, и разнообразными мирными применениями, глубоко любящий технику, машины, строительство и без сентиментальности относящийся к таким мелочам, как радиационные болезни персонала атомных предприятий и рудников, и уж тем более к безымянным и неизвестным жертвам, которые заботят Сахарова.

В прошлом Славский — один из командиров Конной; при мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру Славского его внешность — высокая мощная фигура, сильные руки и широкие покатые плечи, крупные черты бронзово-красного лица, громкий уверенный голос. Однажды я увидел его жену и был поражен контрастом их обликов — она выглядела интеллигентной, уже немолодой, тихой женщиной, в какой-то старомодной шляпке. Он относился к ней с подчеркнутым вниманием и необычайной мягкостью.

Во время одной из последних наших встреч, когда я еще не был «отщепенцем», Славский сказал:

— Андрей Дмитриевич, вас беспокоит военное применение ядерного оружия. Посвятите свою изобретательность мирным применениям ядерных взрывов. Какое это огромное, благородное поле деятельности на благо людям. Один Удокан * чего стоит! А прокладка каналов, строительство гигантских плотин, которые изменят лицо Земли?..

* Ниже я пишу о планах применения термоядерного взрыва для вскрытия рудного месторождения Удокан на севере Читинской области.

Став в 1957 году министром МСМ, Славский не сделался, однако, автоматически заместителем Председателя Совета Министров, как до него Малышев, Завенягин, Первухин. Возможно, ему не хватало для этого положения в партийной иерархии, а, может, Хрущев не хотел концентрации такой власти в одних руках; так или иначе, часть тех функций, которые раньше связывались с этим постом — заместитель Председателя Совета Министров — перешла теперь к новому в центральном аппарате человеку, которого Хрущев вытребовал с прежнего места работы (кажется, в Казахстане) — Л. И. Брежневу. Брежнев уже и раньше был тесно связан с Хрущевым и пользовался его полным доверием (вероятно, направление Брежнева на целину тоже было с этим связано). И вот весной 1958 года Ю. Б. Харитон и я должны были направиться в Кремль для первой встречи с новым начальством.

Нам, научному руководству объекта, стало известно, что то ли Оборонный отдел ЦК, то ли КОТ (Комитет оборонной техники) готовит некое постановление Совета Министров СССР (теперь это уже не было чистой формой, как во времена Берии), которое представлялось нам совершенно неправильным с военно-технической и с военно-экономической точек зрения. В случае утверждения Советом Министров постановление приобрело бы силу закона, а это, как мы считали, привело бы к отвлечению больших интеллектуальных и материальных сил от более важных вещей (подразумевалось — в военно-промышленной сфере; речь не шла о перераспределении с мирными делами). Харитон решил обратиться к Брежневу, который курировал, в числе прочих областей, разработки новой военной техники. Меня Харитон взял с собой «для подкрепления», в качестве молодой силы.

Брежнев принял нас в своем новом маленьком кабинете в том же здании, где когда-то я видел Берию. Когда мы вошли, Брежнев воскликнул:

— А, бомбовики пришли!

Пока мы рассаживались и «осваивались» с обстановкой, Брежнев рассказывал, что его отец, потомственный рабочий, считал всех, кто создает новые орудия уничтожения людей, главными злодеями и говорил, что надо всех этих злых изобретателей вывести на большую гору, чтобы со всех сторон было видно, и повесить для острастки.

— Теперь же я сам, — закончил Брежнев, — занимаюсь этим черным делом так же, как и вы, и так же с благой целью. Итак, я вас слушаю.

Мы рассказали Брежневу, что нас беспокоит. Он выслушал нас очень внимательно, что-то записывая в блокнот. Потом сказал:

— Я вас вполне понял. Я посоветуюсь с товарищами; вы узнаете, что будет решено.

Он встал со своего места и любезно проводил нас до дверей, пожав каждому руку.

Постановление принято не было.

В 1959, 1960 и первой половине 1961 года ни одна из ядерных держав, обладавших термоядерным оружием, не производила испытаний (я с уверенностью говорю про СССР, США и Великобританию; производили ли в тот период испытания Франция и КНР — я не помню). Это был так называемый мораторий — добровольный отказ от испытаний, основанный на некоей неофициальной договоренности или сложившийся де-факто. В 1961 году Хрущев принял решение, как всегда, неожиданное для тех, к кому оно имело самое непосредственное отношение, — нарушить мораторий и провести испытания. В июле я находился с женой и детьми в санатории, точней, пансионате Совета Министров «Мисхор» на южном берегу Крыма. Мы второй раз получили туда путевку и были очень довольны и морем, и солнцем, и условиями в этом привилегированном заведении; впрочем, срок наш уже кончался. 7-го вечером мне позвонили из министерства, а на другой день мы уже ехали в Москву.

Накануне совещания я встретился с Ю. Б. Харитоном. Я сказал ему, что, быть может, в результате завтрашней и последующей встреч у нас возникнет взаимопонимание с высшим руководством, с Никитой Сергеевичем. Ю. Б. усмехнулся моей наивности и довольно едко заметил, что на взаимопонимание рассчитывать не приходится. Он оказался прав.

10 июля в 10 утра я вошел в тот же Овальный зал, где видел Хрущева два года назад, — на Встречу руководителей партии и правительства

с учеными-атомщиками (так называлось мероприятие, на которое нас вызвали по распоряжению Хрущева).

Хрущев сразу объявил нам о своем решении — в связи с изменением международной обстановки и в связи с тем, что общее число испытаний, проведенных СССР, существенно меньше, чем проведенных США (тем более вместе с Великобританией), — осенью 1961 года возобновить ядерные испытания, добиться в их ходе существенного увеличения нашей ядерной мощи и продемонстрировать империалистам, на что мы способны.

Хотя Хрущев не упомянул ни о Венской встрече с Кеннеди, ни о предстоящем сооружении Берлинской стены (о чем я тогда еще не знал), но было совершенно ясно, что решение о возобновлении испытаний вызвано чисто политическими соображениями, а технические мотивы играют еще меньшую роль, чем в 1958 году. Обсуждать решение, конечно, не предлагалось. После выступления Хрущева должны были с краткими сообщениями, на 10—15 минут не больше, выступить ведущие работники и доложить об основных направлениях работ. Я выступил в середине этого «парада-алле», очень бегло сказал о работах по разработке оружия и заявил, что, по моему мнению, мы находимся в такой фазе, когда возобновление испытаний мало что даст нам в принципиальном отношении. Эта фраза была замечена, но не вызвала ни с чьей стороны никакой реакции. Затем я стал говорить о таких экзотических работах моего отдела, как возможность использования ядерных взрывов для движения космических кораблей (аналог американского проекта «Орион», в котором, как я узнал из книги знаменитого американского физика-теоретика Ф. Дайсона, он был занят как раз в то время), и о нескольких других проектах того же «научно-фантастического» жанра. Сев на свое место, я попросил у соседа (им оказался Е. Забабахин) несколько листиков из блокнота, так как у меня с собой не было бумаги. Я написал (к сожалению, не оставив себе черновика) записку Н. С. Хрущеву и передал ее по рядам. В записке, насколько я могу восстановить ее содержание по памяти через 20 лет, я написал: «Товарищу Н. С. Хрущеву. Я убежден, что возобновление испытаний сейчас нецелесообразно с точки зрения сравнительного усиления СССР и США. Сейчас, после наших спутников, они могут воспользоваться испытаниями для того, чтобы их изделия соответствовали бы более высоким требованиям. Они раньше нас недооценивали, а мы исходили из реальной ситуации.

(Далее следовала фраза, которую я должен опустить по соображениям секретности.)

Не считаете ли Вы, что возобновление испытаний нанесет трудно исправимый ущерб переговорам о прекращении испытаний, всему делу разоружения и обеспечения мира во всем мире?»

Я поставил подпись — «А. Сахаров.»

Никита Сергеевич прочел записку, бросил на меня взгляд и, сложив вдоль и поперек, засунул ее в верхний наружный карман костюма. Когда кончились выступления, Хрущев встал и произнес несколько слов благодарности «всем выступавшим», а потом прибавил:

— Теперь мы все можем отдохнуть, а через час я приглашаю от имени Президиума ЦК наших дорогих гостей отобедать вместе с нами в соседнем зале, там пока готовят что надо.

Через час мы все вошли в зал, где был накрыт большой парадный стол человек на 60 — с вином, минеральной водой, салатами и икрой (зеленоватой, т. е. очень свежей). Члены Президиума вошли в зал последними, после того, как ученые расселись по указанным им местам. Хрущев, не садясь, выждал, когда все затихли, и взял в руки бокал с вином, как бы собираясь произнести тост. Но он тут же поставил бокал и стал говорить о моей записке — сначала спокойно, но потом все более и более возбуждаясь: лицо его покраснело, и он временами переходил почти на крик. Речь его продолжалась не менее получаса. Я постараюсь воспроизвести ее здесь по памяти, но, конечно, спустя 20 лет возможны большие неточности. «Я получил записку от академика Сахарова, вот она. (Показывает.) Сахаров пишет, что испытания нам не нужны. Но вот у меня справка — сколько испытаний произвели мы и сколько американцы. Неужели Сахаров может нам доказать, что, имея меньше испытаний, мы получили больше ценных сведений, чем американцы? Что они — глупее нас? Не знаю и не могу знать всякие технические тонкости. Но число испытаний — это важней всего, без испытаний никакая техника невозможна. Разве не так?»

(Полностью мою записку Хрущев не зачитал, так что слушателям моя аргументация не была понятна.)

«Но Сахаров идет дальше. От техники он переходит к политике. Тут он лезет не в свое дело. Можно быть хорошим ученым и ничего не понимать в политических делах. Ведь политика — как в этом старом анекдоте. Едут два еврея в поезде. Один из них спрашивает другого: «Скажите мне, вы куда едете?» — «Я еду в Житомир». — «Вот хитрец, — думает первый еврей, — я-то знаю, что он действительно едет в Житомир, но он так говорит, чтобы я подумал, что он едет в Жмеринку». Так что предоставьте нам, волей-неволей специалистам в этом деле, делать политику, а вы делайте и испытывайте свои бомбы, тут мы вам мешать не будем и даже поможем. Мы должны вести политику с позиции силы. Мы не говорим этого вслух — но это так! Другой политики не может быть, другого языка наши противники не понимают. Вот мы помогли избранию Кеннеди. Можно сказать, это мы его избрали в прошлом году. Мы встречаемся с Кеннеди в Вене. Эта встреча могла бы быть поворотной точкой. Но что говорит Кеннеди? «Не ставьте передо мной слишком больших требований, не ставьте меня в уязвимое положение. Если я пойду на слишком большие уступки — меня свалят!» Хорош мальчик! Приехал на встречу, а сделать ничего не может. На какого черта он нам такой нужен, что с ним разговаривать, тратить время? Сахаров, не пытайтесь диктовать нам, политикам, что нам делать, как себя держать. Я был бы последний слюнтяй, а не Председатель Совета Министров, если бы слушался таких, как Сахаров!»

На самой резкой ноте Хрущев оборвал себя, сказав:

«Может, на сегодня хватит. Давайте же выпьем за наши будущие успехи. Я бы выпил и за ваше, дорогие товарищи, здоровье. Жаль только врачи мне ничего, кроме боржома, не разрешают».

Все выпили; я, правда, уклонился от этого. Никто не смотрел в мою сторону. Во время речи Хрущева все сидели неподвижно и молча. Кто — потупив лицо, кто — с каменным выражением. Микоян наклонил свое лицо низко над тарелкой с салатом, пряча скользящую усмешку, иссиня-черная шевелюра его почти касалась стола. Немного погодя, чуть поостыв, Хрущев добавил: «У Сахарова, видно, много иллюзий. Когда я следующий раз поеду на переговоры с капиталистами, я захвачу его с собой. Пусть своими глазами посмотрит на них и на мир, может, он тогда поймет кое-что».

Этого своего обещания Хрущев не выполнил.

Лишь один человек после совещания подошел ко мне и выразил солидарность с моей точкой зрения. Это был Юрий Аронович Зысин, ныне уже покойный.

Я видел после этого памятного для меня дня Хрущева еще два раза. Первая из этих встреч состоялась еще до испытаний, где-то в середине августа (после Берлинской стены и полета Титова; я помню упоминание о Титове Хрущевым). Подготовка к испытаниям шла полным ходом, и Юлий Борисович сделал об этом краткое сообщение. Но Хрущев уже знал основные линии намечавшихся испытаний, в частности, о предложенном нами к испытаниям рекордно мощном изделии. Я решил, что это изделие будет испытываться в «чистом варианте» — с искусственно уменьшенной мощностью, но тем не менее существенно большей, чем у какого-либо испытанного ранее кем-либо изделия. Даже в этом варианте его мощность превосходила бомбу Хиросимы в несколько тысяч раз! Уменьшение доли процессов деления в суммарной мощности сводило к минимуму число жертв от радиоактивных выпадений в ближайших поколениях, но жертвы от радиоактивного углерода, увы, оставались, и общее число их было колоссальным (за 5000 лет). Во время доклада Харитона я молча сидел недалеко от Хрущева. Он спросил, обращаясь скорее к Харитону, чем ко мне:

— Надеюсь, Сахаров понял свою ошибку?

Я сказал:

— Моя точка зрения осталась прежней. Я работаю, выполняю приказ.

Хрущев пробормотал что-то, что — я не понял. Потом он выступил с небольшой речью. Суть ее была в том, как важна наша работа в нынешней напряженной обстановке. О Берлинской стене — главном факторе усиления напряженности тех дней — сказал лишь вскользь. Упомянул приезд американского сенатора (не помню, к сожалению, его фамилии; надо бы выяснить), который, по-видимому, прощупывал какие-то возможности компромиссов. Хрущев рассказал ему о предстоящих испытаниях, в том числе о намеченном испытании 100-мегатонной бомбы. Сенатор был со взрослой дочерью: по словам Хрущева, она расплакалась. Добавление 1988 г. Возможно, это был видный политический деятель Джон Мак-Клой, не сенатор. Если так, то — тут Хрущев или я ошиблись.

В конце августа Юлий Борисович Харитон поехал к Брежневу, чтобы попытаться все же отменить намечавшиеся испытания. Я был очень рад, что на этот раз научный руководитель объекта разделяет мою точку зрения. Я не знаю подробностей их беседы. По тому немногому, что рассказал Ю. Б., мне казалось, что выдвинутый им аргумент носит слишком узкий и технический характер, чтобы повлиять при наличии политического решения. Попытка Ю. Б. оказалась безрезультатной.

Подготовка к испытанию шла быстро и легко, т. к. во время трех лет моратория был накоплен большой «задел» идей, расчетов и предварительных разработок.

Наряду с испытательными взрывами по приказу Хрущева были запланированы и военные учения с использованием ядерного оружия (кажется, эти планы не были осуществлены, за одним исключением). Вот один из таких планов. 50 стратегических бомбардировщиков должны были пройти в стратосфере над всей страной в боевом строю, преодолеть ПВО «синих» и нанести бомбовый удар по укрепленному району «противника». При этом 49 самолетов должны были сбросить макетные бомбы, но один — боевую термоядерную! Были и еще более «серьезные» планы с использованием баллистических ракет. Хрущев действительно не был «слюнтяем»!

В начале октября я выехал в Москву для обсуждения расчетов, в особенности большого изделия. Я не застал Гельфанда в институте и поехал к нему домой. Мы обсудили с ним срочные планы расчетов. Во время этого визита я впервые после долгого перерыва увидел жену Израиля Моисеевича, З. Шапиро. В то время когда я был студентом, она вела на нашем курсе семинарские занятия. Незадолго до моего визита семью Гельфанда постигло большое горе — смерть от лейкемии сына. Израиль Моисеевич никогда мне этого не говорил, но, быть может, его многолетние упорные занятия проблемами математической биологии связаны для него психологически с этой трагедией.

На другой день я поехал к родителям на дачу. Папа уже несколько лет как был на пенсии, но из дому проводил некоторые физические опыты, в основном методического характера. За год до этого в журнале «Успехи физических наук» была опубликована его статья с описанием эффектных и не тривиальных опытов по поляризации света. В это время папа вновь стал много играть на рояле и кое-что после 30-летнего перерыва сочинять (к сожалению, все его музыкальные рукописи после его смерти не сохранились).

Мой приезд был неожиданным. Мама на террасе варила яблочное варенье; увидев меня, она всплеснула руками и стала спешно готовить чай. Яблоки были из собственного сада. Папа вкладывал в него много труда, и при его жизни сад давал неплохой урожай.

После чая папа показал мне свои новые опыты. Он заинтересовался, каким образом вода вместе с растворенными в ней солями транспортируется по стволу деревьев от корней к листьям. По этому вопросу в литературе тогда существовало много противоречащих друг другу теорий; не знаю, есть ли ясность сейчас. На папином столе на даче я увидел осуществленный папой опыт: изогнутый прутик (кажется, орешника) был помещен обрезанными концами в два стакана. Первоначально уровень воды в обоих стаканах был одинаков, но через несколько часов заметное количество воды перекачивалось прутиком из одного стакана в другой; направление перекачки всегда было таким же, как у прутика в его естественном положении. Мне кажется, что этот опыт является классическим по своей простоте и информативности. Не знаю, делал ли его в таком виде кто-нибудь еще.

В Москву я поехал вместе с папой. Мы взяли с собой некоторые вещи, которые необходимо было перевезти в Москву. По дороге папа рассказал, что недавно, во время прогулки, у него случился сильный приступ болей в сердце, он скрыл его от мамы. Он прибавил, что сейчас он чувствует себя хорошо, а в отношении головы, умственных способностей, он вообще не ощущает каких-либо изменений в худшую сторону по сравнению с более молодым возрастом.

На другой день я вернулся на объект.

Наибольшие волнения мне доставляло самое мощное изделие и еще одно изделие, которое я вел, так сказать, «в порядке личной инициативы» — о нем немного позже. Шли последние дни перед отправкой «мощного». Для его сборки было выделено специальное помещение. Сборка велась прямо на железнодорожной платформе. Через несколько дней стена цеха должна была быть разобрана, и платформа (как всегда — ночью), прицепленная к литерному поезду, под зеленый свет отправиться в тот пункт, где изделие погрузят в бомболюк самолета-носителя.

Ко мне в кабинет вошел один из моих сотрудников, Евсей Рабинович. Он смущенно улыбался и просил зайти в его рабочую комнату. Там уже собрались все сотрудники отдела, в том числе «ведущие» мощное изделие Адамский и Феодоритов. Рабинович начинает излагать свои соображения, согласно которым мощное изделие должно отказать при испытании. Он пришел к этому несколько дней тому назад и только что доложил всему составу отдела, кроме меня, посеяв у большинства самые сильные сомнения. Я работал с Рабиновичем в самом тесном контакте более семи лет, очень высоко ценил его острый критический ум, большие знания, опыт и интуицию. Сейчас, докладывая вторично, он был очень четок и категоричен в своих формулировках. Опасения его выглядели вполне обоснованными. Я считал, что конечный вывод Рабиновича неправилен. Однако доказать это с абсолютной убедительностью было невозможно. Точных математических методик, пригодных для этой цели, у нас не было (отчасти потому, что, стремясь создать изделие, допускающее большое увеличение мощности, мы отступили от наших традиционных схем). Поэтому я, Адамский и Феодоритов, возражая Евсею, пользовались оценками (как и он). Но весь наш опыт говорил о том, что оценки — вещь хорошая, но субъективная. Под влиянием эмоций вполне можно с ними впасть в серьезную ошибку. Я решил внести некоторые изменения в конструкцию изделия, делающие расчеты тех тонких процессов, о которых говорил Евсей, по-видимому, более надежными. Я тут же поехал в конструкторский отдел. Если замещавший Юлия Борисовича начальник конструкторского отдела Д. А. Фишман не сказал мне ни слова упрека, то лишь потому, что ситуация была слишком серьезной, чтобы что-то говорить. Конструкторы не ушли в тот день домой, пока не передали чертежи в цех; на другой день изменения были сделаны. Я решил также известить о последних событиях Министерство и написал докладную, составленную, как мне казалось, в очень обдуманных и осторожных выражениях, по возможности, содержащую описание ситуации без ее оценки. Через два дня мне позвонил разъяренный Славский. Он сказал:

— Завтра я и Малиновский (министр обороны) должны вылетать на полигон. Что же, я должен теперь отменить испытание?

Я ответил ему:

— Отменять испытание не следует. Я не писал этого в своей докладной. Я считал необходимым поставить Вас в известность, что данное испытание содержит новые, потенциально опасные моменты и что среди теоретиков нет единогласия в оценке его надежности.

Славский буркнул что-то недовольное, но явно успокоился и повесил трубку. Испытания мощного изделия проходили в один из последних дней заседаний XXII съезда КПСС. Конечно, это было не случайно, а составляло часть психологической программы Хрущева. До этого на двух полигонах (в Казахстане и на Новой Земле) было произведено почти столько же разнообразных по назначению взрывов, сколько за все предыдущие испыта-

ния. Кроме того, насколько я знаю, в другом месте было проведено чисто военное испытание.

В день испытания «мощного» я сидел в кабинете возле телефона, ожидая известий с полигона. Рано утром позвонил Павлов и сообщил, что самолет-носитель уже летит над Баренцевым морем в сторону полигона. Никто не был в состоянии работать. Теоретики слонялись по коридору, входили в мой кабинет и выходили. В 12 часов позвонил Павлов. Торжествующим голосом он прокричал:

— Связи с полигоном и с самолетом нет более часа! Поздравляю с победой!

Смысл фразы о связи заключался в том, что мощный взрыв создает радиопомехи, выбрасывая вверх огромное количество ионизированных частиц. Длительность нарушения связи качественно характеризует мощность взрыва. Еще через полчаса Павлов сообщил, что высота подъема облака — 60 километров (или 100 километров? Я сейчас, через 26 лет, не могу вспомнить точного числа). Чтобы кончить с темой «большого» изделия, расскажу тут некую оставшуюся «на разговорном уровне» историю — хотя она произошла несколько позднее. Но она важна для характеристики той психологической установки, которая заставляла меня проявлять инициативу даже в тех вопросах, которыми я формально не был обязан заниматься, и вообще работать не за страх, а за совесть. Эта установка продолжала действовать даже тогда, когда по ряду вопросов я все больше отходил от официозной линии. Конечно, в основе ее лежало ощущение исключительной, решающей важности нашей работы для сохранения мирового равновесия в рамках концепции взаимного устрашения (потом стали говорить о концепции взаимного гарантированного уничтожения). После испытания «большого» изделия меня беспокоило, что для него не существует хорошего носителя (бомбардировщики не в счет, их легко сбить) — т. е. в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты — в этом нас заверяют моряки. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не будут страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов — как надводным взрывом «выскочившей» из воды торпеды со 100-метагонным зарядом, так и подводным взрывом — неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами.

Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Ф. Фомин (в прошлом — боевой командир, кажется, Герой Советского Союза). Он был шокирован «людоедским» характером проекта, заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта. Я пишу сейчас обо всем этом без опасений, что кто-нибудь ухватится за эти идеи — они слишком фантастичны, явно требуют непомерных расходов и использования большого научно-технического потенциала для своей реализации и не соответствуют современным гибким военным доктринам, в общем, мало интересны. В особенности важно, что при современном уровне техники такую торпеду легко обнаружить и уничтожить в пути (например, атомной миной). Разработка такой торпеды неизбежно была бы связана с радиоактивным заражением океана, поэтому и по другим причинам не может быть проведена тайно.

Накануне испытания большого изделия я получил письмо от мамы, очень тревожное. Она сообщала, что у папы произошел тяжелый сердечный приступ, возможно — инфаркт, и его увезли в больницу. Я не мог немедленно выехать и даже позвонить с домашнего телефона. По условиям периода проведения испытания линия была отключена, но я дозвонился со служебного телефона дежурному министерства, и тот соединил меня с мамой. Действительно, у папы инфаркт, он лежит в больнице; непосредственной опасности, по словам врачей, нет.

Одновременно с «большим» я усиленно занимался изделием, которое мысленно называл «инициативным».

Я считал, что необходимо выжать все из данной сессии, с тем, чтобы она стала последней. «Инициативное» изделие по одному из параметров было абсолютно рекордным. Пока оно делалось без «заказа» со стороны военных, но я предполагал, что рано или поздно такой «заказ» появится, и уж тогда — очень настоятельный. При этом могла возникнуть ситуация, аналогичная той, которая в 1958 году привела к возобновлению испытаний. Этого я хотел избежать во что бы то ни стало!

Славский относился с неодобрением к подобному «партизанству». Он говорил на одном из совещаний, что «...теоретики придумывают новые изделия на испытаниях, сидя в туалете, и предлагают их испытывать, даже не успев застегнуть штаны...» (Теоретики — это был я.) Он, вероятно, считал, что впереди еще много испытаний и торопиться нечего. Так как изделие шло вне постановлений, то на него не было выделено ядерного заряда. Конечно, ничего не стоило снять эти вещества с серийного производства, но Славский не подписал приказа.

Я (единственный раз в жизни) проявил чудеса блата, собрав детали из плутония (или урана 235) из кусочков, взятых взаймы у «фикобынщиков». Детали были склеены эпоксидным клеем. К счастью, такая кустарщина ничему не помешала. Меня поддерживал в этой инициативе Павлов, но из других, чем я, соображений. Просто он считал, что всегда надо выкладываться, чтобы на следующей сессии начать с максимально высокого начального уровня. И я «выкладывался».

4 ноября я наконец смог поехать в Москву. В этот день испытывали «инициативное» изделие. Я позвонил с аэродрома маме. У папы (она вновь подтвердила) инфаркт, его можно было мне посетить. Я тут же поехал в больницу в Измайлово. Но до этого я еще позвонил Павлову и узнал, что испытание «инициативного» изделия прошло успешно.

В больнице папа пробыл полтора месяца. Когда я навещал его, он не жаловался на свою болезнь, на больничную обстановку — он и в ней находил возможности интересного человеческого общения, какие-то, иногда трогательные, иногда просто смешные, черточки в окружающих его людях — больных, врачах, сестрах. Но он несколько раз с большим беспокойством говорил о судьбе своих близких в случае его смерти — о маме и о моем брате. Говоря обо мне, папа с грустью сказал:

— Когда ты учился в университете, ты как-то сказал, что раскрывать тайны природы — это то, что может принести тебе радость. Мы не выбираем себе судьбу. Но мне грустно, что твоя судьба оказалась другой. Мне кажется, ты мог бы быть счастливей.

Я не помню, что я ему ответил. Кажется, как-то присоединился к его мысли, что мы не выбираем себе судьбу. Что я еще мог ему сказать в тот ноябрьский день 1961 года?.. Повороты судьбы, которые могли бы его глубоко обрадовать — или напугать,— были еще впереди. Рассказать же о прошедшем испытании я не мог, да это и не отвечало бы на его вопрос. Не мог я и говорить с ним, что озадачен проблемой испытаний. О моих мирно-термоядерных работах папа знал, гордился ими. Но этого было мало, чтобы он не чувствовал психологического дискомфорта. Пожалуй, единственное, что я мог ему сказать — что я собираюсь всерьез заняться физикой и космологией. Но и это тогда мне рисовалось очень туманно. А самое главное — я не хотел позволить себе думать, что эти беседы — последние. Тут я виноват, допустил обычную человеческую ошибку.

О своем будущем повороте к общественным делам я еще не думал. Через 10 лет папина сестра Таня, намного пережившая его (хотя она старшая из этого поколения Сахаровых), сказала мне по поводу «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе»:

— Папа гордился бы тобой!

10 декабря я в последний раз был у папы в больнице. Он сказал, что накануне у него был сердечный приступ, похожий на тот, который привел его в больницу. Но он решил скрыть приступ от врачей, иначе он не попадет домой. Я обещал не выдавать его. Я должен был через день уехать на объект, но с мамой мы договорились, что папу поднимут на четвертый этаж с помощью кресла четверо мужчин и что ни в коем случае не будет подниматься сам. Но папа отменил эти якобы лишние предосторожности, а мама, встречавшая его на верхней площадке, не могла вмешаться. Не знаю, мог ли я повлиять, если бы был одним из носильщиков, но это мучает меня.

Кресло несли рядом с ним, и он отдыхал на нем. Два дня папа был дома. Мама вспоминала, что все время он очень радовался этому. В ночь на 15 декабря папа внезапно умер. Последние его слова были обо мне:

— Не надо вызывать Адю.

(Он думал, что я еще на объекте, а я в это время (накануне) уже приехал и не позвонил, рассчитывая сделать это на другой день.) 17 декабря папа похоронен на Введенском кладбище в Москве, в одной могиле с его матерью, моей бабушкой.

1962—1963. Против двойного испытания. Смерть мамы. Московский договор

В феврале (или марте) 1962 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении многих работников обоих объектов, министерства, смежных институтов, опытных заводов и производств, работников службы испытаний, военнослужащих, приданных частей за участие в испытаниях. По этому указу я был награжден третьей медалью Героя Социалистического Труда. Славский прислал мне по этому поводу поздравительное письмо, составленное в необычно лестных выражениях. Письмо было подписано также его заместителем и начальниками управлений. Несколько человек на объекте и в Министерстве были награждены первой или второй Золотой звездой. Имевшие уже по три звезды Харитон, Зельдович и Щелкин были награждены орденами. Вручение наград происходило в Кремле, в очень торжественной обстановке. Вручал награды Хрущев в присутствии членов Политбюро и Президиума Верховного Совета. Я помню, что когда я шел по коридору по направлению к залу, из какого-то бокового коридорчика выскочил, почти выбежал Л. И. Брежнев. Он увидел меня и очень экспансивно приветствовал, схватив обе мои руки своими, тряся их и не выпуская несколько секунд.

Хрущев прицепил мне третью звезду рядом с двумя другими и расцеловал. После церемонии Хрущев опять пригласил нас в банкетный зал, меня посадили на почетное место между Хрущевым и Брежневым (а справа от Хрущева сидел Харитон). Хрущев опять произнес речь, но на этот раз она была совсем в другом духе. Он вспоминал войну, какие-то эпизоды Сталинграда, призывая в свидетели сидевших тут же маршалов, благодарил нас за нашу работу и говорил, что она препятствует возникновению войны. Но опасность есть. В этой связи он вспомнил о предательстве Пеньковского, который, по его словам, передал иностранным разведкам чрезвычайно важные данные. Пеньковский был заместителем председателя Комитета по науке и технике при Совете Министров, полковник КГБ. Незадолго до этого он был обвинен в шпионаже и расстрелян*. Ходили слухи, что дело его — фиктивное и отражает борьбу в верхушке КГБ и в стране в целом. Но были и другие слухи — что он передал на Запад информацию о советских ракетах на Кубе (что вскоре проявилось в событиях Карибского кризиса).

В конце речи Хрущев вспомнил вскользь об эпизоде с моей запиской 10 июля, сказал, что Харитон и Сахаров хорошо поработали, и расцеловал нас по очереди. Потом речь произнес Брежнев, она тоже кончилась поцелуями. Третьим выступал маршал Малиновский, министр обороны. Он кончил свой тост моей фамилией. С ответными тостами выступили Харитон и А. П. Александров, сменивший умершего Курчатова на посту директора Института атомной энергии (ныне — президент Академии наук). Александров говорил о заслугах «...дорогого Никиты Сергеевича, который устраняет из нашей жизни все то, что мешает нам двигаться вперед, что отравляло

* Похоже, что тут в чем-то память мне изменила. Кажется, Пеньковский был арестован позднее.

нашу жизнь в прошлом». Он кончил тем, что «...заслуги Никиты Сергеевича в области подлинного марксизма так велики, что если надо кого-нибудь избрать в Академию наук, то это именно его».

Начал Александров очень серьезно, а потом стал говорить в такой манере, что было непонятно, не шутит ли он. Хрущев принял этот тон и тоже полушутливо сказал, что не ему равняться с академиками, на это он не претендует.

Теперь должен был выступать я. Я решил сделать вид, что отвечаю только на третий тост, предложил выпить за представляющего славные вооруженные силы маршала Малиновского.

Прямо из Кремля я поехал к маме на улицу Алексея Толстого, где после смерти папы она жила вдвоем с моим младшим братом Юрой. Увидев меня во всех «регалиях», мама ахнула.

Начавшийся таким пышным парадом 1962 год стал для меня одним из самых трудных в моей жизни.

Еще в 50-е годы сложившаяся у меня точка зрения на ядерные испытания в атмосфере, как на прямое преступление против человечества, ничем не отличающееся, скажем, от тайного выливания культуры болезнетворных микробов в городской водопровод, — не встречала никакой поддержки у окружавших меня людей. Я увидел, как легко люди подгоняют свои взгляды под ту концепцию, которая им выгодна. Даже симпатичные мне люди говорили:

— Если вы правы, то, в первую очередь, надо запретить рентгеновские обследования — при них доза больше, чем от ваших испытаний.

Когда я пытаюсь доказать, что речь идет о суммарной дозе для всего человечества, именно она определяет общее число жертв от непороговых биологических эффектов, — люди меня или не понимают, или считают это слишком абстрактным. (Относительно рентгеновских обследований — вопрос отдельный. Вероятно, следует переходить на рентгено-телевизионные схемы, резко уменьшающие дозы облучения.) Я уже писал в предыдущих главах обо всех этих обсуждениях, здесь я немного повторяюсь. Но в 1962 году все эти абстрактные споры вдруг перешли в очень конкретную форму. Конечно, вслед за «демонстрационной» сессией 1961 года должны были последовать новые испытания (мои надежды, что можно ограничиться тем, что успели сделать тогда, оказались весьма наивными). Испытания летом 1962 года стали проводить США, Великобритания (и мы предпринимали огромные усилия, чтобы узнать, что конкретно они делают; мне пришлось принимать участие в некоторых совещаниях по этим вопросам).

Я расскажу тут об одном «забавном» эпизоде, который, возможно, произошел много раньше или много позже (я нарочно не уточняю даты). Нам показывали фотографии каких-то документов, большинство из них были перекошены, видимо, фотографу было некогда установить свой микроаппарат. Среди фотографий был один подлинник, ужасно измятый. Я наивно спросил, почему этот документ в таком состоянии. Видите ли, его пришлось выносить в трусиках.

Однажды (тоже я не указываю даты) меня вызвали к начальству и попросили ответить на несколько вопросов. Мои ответы должны были быть переданы в органы разведки. Среди вопросов были такие (пишу по памяти, примерно): Какие данные об американском оружии в особенности были бы вам важны для вашей работы, для военно-технического планирования в СССР вообще? На что в этом плане следует обращать внимание советским ученым, посещающим американские научные лаборатории в порядке научных контактов? Я, конечно, постарался выполнить это деликатное поручение как можно лучше.

В СССР намечалась весьма серьезная серия испытаний на осень. При этом меня особенно беспокоило, с точки зрения радиоактивного вреда, что самое мощное (и поэтому самое «вредное») изделие было задублировано. Один вариант изделия был предложен нашим объектом (автор — мой сотрудник Борис Николаевич Козлов). Другой вариант, очень мало отличающийся по своим тактико-техническим характеристикам (ожидаемая мощность, вес, стоимость) — предложен вторым объектом. Ожидаемое общее число жертв от каждого испытания исчислялось шестизначной цифрой! Изделие это было очень важным, потому что предназначалось для одного из перспективных носителей и в случае удачи испытания должно было пойти

большой серией, составляя таким образом существенную часть общей стратегической мощи страны. Не могло быть и речи, чтобы полностью отказаться от испытания этого изделия. Но два параллельных испытания — это было ничем не оправданное излишество, и мне показалось, что так как без всяких потерь для обороноспособности страны можно одно из испытаний отменить, то его следует отменить. Борьба за это в последующие месяцы стала моей главной целью. К сожалению, я вступил при этом в область могущественных ведомственных интересов и очень скоро убедился, что все козыри не на моей стороне.

Я начал с попытки заручиться поддержкой Ю. Б. Харитона. Он приехал по каким-то делам в наш сектор, я вышел его проводить и около получаса излагал ему свои соображения. Мы ходили взад-вперед по асфальтированной дорожке. Вдали стояла машина, на которой Ю. Б. собирался уезжать, и ждали водитель и секретарь. Ю. Б. сказал:

— Я не могу вмешиваться в это дело. Вы знаете всю сложность наших отношений с тем объектом, любое мое вмешательство было бы ложно истолковано. Их изделие отличается от нашего конструктивно, с их точки зрения и с точки зрения министерства это оправдывает параллельные испытания.

Я пытался доказать Ю. Б., что здесь тот случай, когда такие понятия, как «может быть ложно истолковано» и т. п., должны отступить на задний план. Но я видел, что это бесполезно. Ю. Б., который принял мою сторону в очень остром политическом конфликте 1961 года (хотя и действовал нерешительно, неэффективно и, вероятно, рано отступил), в данном случае полностью пасовал. Однако я понял из разговора, что он предоставляет мне свободу действий. В частности, я сказал ему, что хочу обсудить вопрос с Забабахиным и Славским. Через несколько дней я выехал в Москву и встретился со Славским. Славский, как мне показалось, согласился, что нет необходимости в двух испытаниях и что в случае удачи первого испытания второе отменяется; готовить же надо оба изделия. Славский спросил, какое из двух изделий следует испытывать первым. Я ответил, что это не очень существенно, что наше изделие конструктивно проще и надежней, поэтому предпочтительней первым испытывать его. На этом мы расстались. Я вылетел на второй объект, желая уговорить Забабахина согласиться с моим планом. Узнав о цели моего приезда, он собрал небольшое совещание — пять-шесть человек «мозгового центра» второго объекта. Хотя я был усталым с дороги (самолетом более двух часов, потом 100 км на автомашине), мне кажется, я был очень убедителен и логичен. Но сильней всего, как мне кажется, должны были подействовать висевшие на доске раскрашенные чертежи обоих изделий. Они были похожи, как два близнеца — но один воспитанный попросту, полный сил, а второй — изнеженный и уже изрядно потрепанный. Когда я кончил, на несколько минут наступило молчание. Затем, не глядя на меня, Забабахин сказал:

— Если первым будет испытываться наше изделие, то вы, конечно, можете делать, что хотите. Но если ваше изделие испытывается первым, то мы будем настаивать также на испытании своего варианта. В силу своих конструктивных особенностей оно может оказаться более мощным, и эта разница может быть существенной.

— На сколько, максимум? — спросил я. — На 10 процентов?

— Сейчас я этого не могу сказать.

— Женя, что ты делаешь, — вдруг закричал я, — ведь это же убийство!

Забабахин промолчал. Остальные участники совещания поддержали своего начальника. Дальше обсуждать мне уже казалось нечего (на самом деле я должен был подчеркнуть недопустимость в создавшейся ситуации любых, даже малых, изменений параметров изделий; но мне и в голову не приходила возможность таких изменений).

На другой день я вернулся в Москву. На аэродроме Кольцово (около Свердловска, с которого я должен был улетать) я чуть не застрял. Все самолеты по всей территории СССР были отменены, т. к. около Сухуми произошла большая авиакатастрофа (как я потом узнал, в ней погиб мой знакомый по ЛИПАНу и сосед Явлинский с женой и сыном). Но начальник аэропорта сделал для меня как трижды Героя Социалистического Труда исключение, посадив на какой-то служебный рейс.

В Москве я сообщил Славскому, что, ввиду позиции второго объекта, первым на испытание идет их изделие, в принципе же договоренность остается в силе. Славский сказал:

— Да, я ведь согласился с вами.

Но когда начались испытания, он все же нарушил нашу договоренность. Правда, в изменившихся обстоятельствах — с его точки зрения, вероятно, в существенно изменившихся.

Как и было решено, первым испытывалось изделие второго объекта. Но за несколько недель до испытания стало известно, что второй объект, желая повысить надежность своего довольно «хлипкого» и чуть-чуть экзотического изделия, решил увеличить вес конструкции (примерно на 10%). Несомненно, они надеялись при этом увеличить также и мощность. Если бы эти их надежды оправдались (конечно, в предположении заметного повышения мощности, скажем, на 20%), то, вероятно, министерство «простило» бы им увеличение веса; наше же изделие перестало бы кого-либо интересовать. Козлов был бы огорчен, а я вздохнул бы спокойно. Но на деле вышло иначе. Измеренная при испытании мощность взрыва изделия второго объекта оказалась равной расчетной мощности нашего изделия (т. е. была меньше расчетной с учетом увеличения веса, а не больше, как они надеялись). При этом увеличение веса было уже не оправданным (а на самом деле изделие с увеличенным весом уж, во всяком случае, следовало испытывать вторым, в качестве запасного. Так это и произошло бы, если бы у двух изделий был один хозяин или если бы Славский приказал испытывать наше изделие первым. Однако Славский не отдал такого приказа, хотя ему как инженеру наше изделие нравилось с самого начала больше. Он не хотел портить отношения со вторым объектом, как я напомню, «Египтом», и хотел посмотреть, не получится ли у них какого-либо «чуда». Чуда не произошло).

Таковы были обстоятельства, когда Славский принял решение нарушить нашу устную договоренность и через семь дней после испытания второго объекта испытать наше изделие. Главным его аргументом был — меньший вес нашего изделия, увеличивающий (в очень малой степени) тактические возможности применения изделия с использованием данного носителя. Практически речь могла идти, например, о несколько большей свободе выбора целей для стартовых площадок, которые наиболее удалены от потенциального противника. Но ведь никто не мешал нам использовать ближние к противнику стартовые площадки для дальних целей, а дальние площадки — для ближних целей!

Я узнал о решении Славского только 25 сентября, накануне испытания, когда прилетел на объект. Я прошел к Юлию Борисовичу. Он подтвердил свое невмешательство, хотя и возмутился проведенным вторым объектом увеличением веса. Последующие два или три часа я звонил из кабинета Ю. Б. по его аппарату ВЧ. Я не хотел тратить время на переезд к себе, и, кроме того, я думал, что в какой-то момент Ю. Б. может оказаться нужен. Ю. Б. сидел за своим письменным столом за какими-то бумагами; конечно, он слышал мои переговоры, но не вмешивался. Я позвонил Славскому и сказал:

— Вы нарушили договоренность. Если вы не отмените испытания, произойдет бессмысленная гибель большого числа людей (я назвал шестизначное число).

Славский сказал о разнице весов. Я ответил:

— Вы же сами понимаете, что это — мелочь; мы никогда не испытывали изделий со столь близкими параметрами, и в данном случае это тоже ни к чему, но в данном случае это — преступление.

Славский сказал:

— Решение уже принято.

Я:

— Если вы его не отмените, я не смогу больше с вами работать. Вы меня обманули.

Славский — кричит, в совершенной ярости:

— Можете уходить, куда хотите! Я вас за горло не держу!

Вешает трубку.

Я решил звонить Хрущеву. Однако по кремлевскому номеру его нет. Референт говорит мне:

— Никита Сергеевич сегодня в Ашхабаде, вручает орден Ленина Туркменской ССР.

(Я мог бы прочитать об этом в газете, но сегодня утром, когда я ехал на аэродром, я не остановился у киоска, а после мне было не до газет.) Звоню в Ашхабад по указанному мне референтом телефону. Никита Сергеевич в театре, на торжественном заседании. Через час я делаю попытку позвонить еще раз. Голос Хрущева:

— Товарищ Сахаров, я вас слушаю.

Я подготовил заранее свое сообщение, но когда говорю, чувствую, что оно неубедительно и не очень понятно. Слышимость довольно плохая. Хрущев говорит:

— Я не совсем вас понял. Что вы хотите от меня?

Я:

— Я считаю испытание бессмысленным технически, лишним, вызывающим лишние человеческие жертвы. У меня разногласия со Славским. Я прошу отложить испытание, намеченное на завтра, и назначить комиссию от ЦК для разбора наших разногласий.

Н. С.:

— Я сегодня плохо себя чувствую. Я даже был вынужден уйти с концерта. Я сейчас позвоню товарищу Козлову и попрошу его разобраться.

(Козлов Фрол Романович — тогда член Политбюро ЦК КПСС, в то время одна из наиболее влиятельных фигур.)

Я:

— Большое спасибо, Никита Сергеевич.

Обычно я приходил на работу к 9 утра. Но на другой день в 8.30 мне позвонила перепуганная секретарша:

— Вас спрашивает какой-то Козлов.

Через 15 минут я уже был у ВЧ, звоню Козлову, но лишь еще через 15—30 минут мне удается дозвониться. Разговор с ним сразу принимает неблагоприятный характер. Я говорю, что до разбора наших разногласий со Славским необходимо приостановить намеченное на сегодня испытание. Козлов не отвечает мне на эти слова и как бы уговаривает меня, что я ошибаюсь в принципе — что чем больше мы произведем мощных испытаний, тем быстрее империалисты согласятся на прекращение испытаний и будет меньше жертв. Мне этот разговор совершенно ни к чему; убедить его я, конечно, ни в чем не могу, да он, вероятно, и сам не верит в свои только что придуманные соображения; просто ему не хочется ссориться с влиятельным министром МСМ. Я повторяю свою просьбу отложить испытания до комиссии ЦК. Уже почти ни на что не надеясь, я звоню Павлову, который находится на том аэродроме, откуда вылетает самолет-носитель. Быть может, испытание отложено по погодным условиям? Или мне удастся уговорить Павлова отсрочить испытание на день? Но Павлов сообщает, что по приказу Славского испытания перенесены на 4 часа вперед и в настоящее время самолет-носитель уже пересек Баренцево море и скоро выходит на цель! Очевидно, Славский все же опасался, что мне удастся уговорить Хрущева (действия которого часто были труднопредсказуемы) или еще как-то повлиять на события, и он решил обезопаситься. Это уже было окончательное поражение, ужасное преступление совершилось, и я не смог его предотвратить! Чувство бессилия, нестерпимой горечи, стыда и унижения охватило меня. Я упал лицом на стол и заплакал.

Вероятно, это был самый страшный урок за всю мою жизнь: нельзя сидеть на двух стульях! Я решил, что отныне я в основном сосредоточу свои усилия на осуществлении того плана прекращения испытаний в трех средах, к рассказу о котором я сейчас перехожу. Это была одна из причин (главная), почему я не мог осуществить свою угрозу Славскому и немедленно уйти с объекта. Потом ее место заняли другие.

...Через час я узнал о полном успехе нашего испытания и поздравил Борю Козлова с большим достижением.

Перехожу к рассказу о моем участии в заключении Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. Переговоры о запрещении ядерных испытаний велись уже на протяжении нескольких лет и зашли в тупик из-за проблемы проверки подземных испытаний. Не было никаких трудностей в отношении проверки выполнения соглашения о взрывах в атмосфере и на поверхности Земли. За неделю или две ветер разносит продукты взрыва по всему полушарию, и, собирая регулярно пробы атмосферного воздуха и пыли, скажем, в США, можно с уверенностью сказать, нарушает ли СССР или другая страна соглашение о прекращении испытаний. То же относилось и к подводным и космическим испытаниям. Но совсем иначе обстояло дело с регистрацией подземных взрывов. Правда, они сопровождаются сейсмической волной. Но сразу встает вопрос, как отличить ядерный взрыв, особенно не очень большой мощности, от непрерывно происходящих подземных толчков естественного происхождения. В результате многих лет работы сотен экспертов выяснилось, что действительно — отличить можно, но для малых взрывов будет оставаться некоторая неопределенность; и еще — если какая-либо страна всерьез захочет обмануть, то она может подготовить большую подземную полость и взрывать в ней, и уж тогда ничего нельзя будет узнать (Проблема БИГ ЛОХ). На эти технические трудности накладывались политические — то слегка затухающее, то вспыхивающее вновь взаимное недоверие.

Игорь Евгеньевич (вместе с Арцимовичем и некоторыми другими известными мне людьми) входил в комиссию экспертов, работавшую в Женеве под председательством академика Е. К. Федорова (бывшего «папанинца», обеспечивавшего четкое партийное руководство). Они встречались с замечательными людьми, такими, как Ганс Бете; гуляли по берегу Женевского озера. Но преодолеть тупик они были не в состоянии.

Решение, однако, существовало. Еще в конце 50-х годов некоторые журналисты и политические деятели, в их числе президент США Д. Эйзенхауэр, предложили заключить частичное соглашение о прекращении испытаний, исключив из него спорный вопрос о подземных испытаниях. Советская сторона тогда, однако, уклонилась от обсуждения этого предложения (под каким-то демагогическим предлогом). Летом 1962 года сотрудник теоретического отдела Виктор Борисович Адамский напомнил мне о предложении Эйзенхауэра и высказал мысль, что сейчас, возможно, подходящее время, чтобы вновь поднять эту идею. Его слова произвели на меня очень большое впечатление, и я решил тут же поехать к Славскому. В. Б. Адамский был одним из старейших сотрудников теоротдела, к тому времени — уже с 12-летним стажем. Он прибыл на объект после окончания института почти одновременно со мной, сначала был в отделе Зельдовича; после того, как Я. Б. был отпущен с объекта (формально — в 1963 году), стал моим сотрудником, фактически же — значительно раньше. Принимал участие во всех основных разработках. Как большинство молодых теоретиков отдела, женился на девушке из математического отдела. Я хорошо знал его жену Изу и дочку Леночку. Он был весьма образованным человеком и, опять же как большинство теоретиков, интересовался общеполитическими проблемами. К моим мыслям о вреде испытаний относился сочувственно, что было для меня поддержкой на общем фоне непонимания или, как мне казалось, цинизма. Я любил заходить к нему поболтать о политике, науке, литературе и жизни в его рабочую комнатушку у лестницы. Последний раз я его видел 12 лет назад; он зашел поздравить меня с днем пятидесятилетия и быстро ушел.

Славский находился тогда в правительственном санатории в Барвихе. Я доехал на министерской машине до ворот санатория, отпустил водителя и по прекрасному цветущему саду прошел в тот домик, где жил Ефим Павлович. Он встретил меня очень радушно (это было еще до осенних событий). Славскому только что сделали операцию на желудке (он не без гордости рассказывал, что оперировал «сам» впоследствии академик и министр Петровский, его друг). Теперь он отдыхал и поправлялся после операции. Я изложил Славскому идею частичного запрещения, не упоминая ни Эйзенхауэра, ни Адамского; я сказал только, что это — выход из тупика, в который зашли Женевские переговоры, который может быть очень своевременным политически. Если с таким предложением выступим мы, то почти наверняка США за это ухватятся. Славский слушал очень внимательно и сочувственно. В конце беседы он сказал:

— Здесь сейчас Малик (заместитель министра иностранных дел).

Я поговорю с ним сегодня же и передам ему вашу идею. Решать, конечно, будет «сам» (т. е. Н. С. Хрущев).

Славский проводил меня до двери.

Через несколько месяцев после нашего конфликта по поводу двойного испытания мощного изделия Славский позвонил мне на работу. Он сказал в очень примирительном тоне:

— Что бы ни произошло у нас в прошлом, жизнь идет, мы должны как-то восстановить наши добрые отношения. Я звоню вам, чтобы сообщить, что ваше предложение вызвало очень большой интерес наверху, и, вероятно, вскоре будут предприняты какие-то шаги с нашей стороны.

Я сказал, что это для меня очень важное сообщение. Еще через несколько месяцев после этого разговора, как известно, СССР предложил США заключить Договор о запрещении испытаний в трех средах (в атмосфере, под водой и в космосе). Кеннеди приветствовал эту инициативу Хрущева, и вскоре Договор был подписан в Москве (и стал известен под названием Московского договора); он сразу был открыт для подписания другими государствами. Не присоединились к Договору Франция и КНР. Производимые этими двумя странами воздушные испытания за прошедшие с тех пор годы принесли немало вреда (многие сотни тысяч жертв). Сейчас Франция не производит воздушных испытаний. В Китае была развернута кампания против Московского договора как «обмана народов». Это была одна из линий размежевания с Мао, быть может, одновременно одна из целей Договора в плане «большой политики».

Я считаю, что Московский договор имеет историческое значение. Он сохранил сотни тысяч, а возможно, миллионы человеческих жизней — тех, кто неизбежно погиб бы при продолжении испытаний в атмосфере, в воде, в космосе. Но, быть может, еще важней, что это — шаг к уменьшению опасности мировой термоядерной войны. Я горжусь своей сопричастностью к Московскому договору.

Вышло так, что прекращение испытаний в атмосфере после моего разговора со Славским летом 1962 года уже не потребовало от меня усилий, получилось как бы само собой. Но я все же считал, что мое нахождение на объекте в какой-то острый момент может оказаться решающе важным. Это было одной из причин, удерживавших меня от ухода с объекта «в науку», как это сделал Зельдович. Надо, однако, добавить, что в 60-е годы я также продолжал принимать активное участие в развитии тех направлений, в которых удалось добиться ранее успеха, а также пытался проявлять инициативу в некоторых новых направлениях (в основном все это осталось на уровне обсуждения) — т. е. по-прежнему работал не за страх, а за совесть. Конец этой чисто профессиональной работе разработчика оружия положило только мое отчисление в 1968 году. О дискуссиях этого периода, в частности по ПРО, я рассказываю в других местах книги. Одновременно, начиная с осени 1963 года, я начал очень усиленно заниматься «большой наукой». Я пишу об этом в последней главе этой части *.

Расскажу еще об одном эпизоде, внутренне связанном с рассказанным в этой главе и, быть может, интересном с точки зрения личной характеристики Л. И. Брежнева.

В 1965 году на объект приехал секретарь обкома КПСС Н-ской области. Он осматривал предприятия и лаборатории, посетил также теоротдел. После того, как я и Ю. Б. рассказали о ведущихся в отделе работах, мы остались с глазу на глаз. Секретарь обкома сказал, что он недавно имел беседу с Л. И. Брежневым, и тот интересовался моей работой и здоровьем. Не ссылаясь в явной форме на Брежнева, он предложил мне вступить в КПСС. Я ответил, что я убежден — находясь вне рядов КПСС, я приношу большую пользу стране. Впоследствии я узнал, что в той же беседе с секретарем обкома Л. И. Брежнев сказал:

— У Сахарова есть сомнения и какие-то внутренние переживания. Мы должны это понять и по возможности помочь ему.

О последней моей беседе с Брежневым — в связи с проблемой Байкала — я рассказываю во второй части.

Весной 1962 года я получил письмо от соавтора папы по «Учебнику для техникумов» М. И. Блудова. Он готовил новое переработанное издание и спрашивал меня, не соглашусь ли я заново написать две последние главы: «Квантовые и оптические явления» и «Атомное ядро». Я согласился. Несколько месяцев я работал с большим напряжением. В 1963 (или 1964) году учебник вышел в свет. Я до сих пор считаю, что моя доля работы в тот раз вполне у меня удалась. У меня сложились хорошие отношения с Михаилом Ивановичем Блудовым, и я с удовольствием вспоминаю о совместной работе с ним.

* Речь идет о главе «Научная работа в 60-х годах». См.: «Знамя» № 11, сноска на стр. 157. **(Прим. ред.)**

После смерти папы мамино здоровье быстро ухудшалось. У нее развилась эмфизема легких. Только один раз (весной 1962 года) мне удалось вывезти ее к папе на кладбище, потом такие поездки стали для нее слишком трудными. Лето 1962 года она безвыездно провела на даче вместе с племянницей Мариной. Во время моих приездов к ней она вспоминала прошлое, переоценивая при этом иногда свои отношения с некоторыми людьми в сторону большей терпимости.

В конце марта 1963 года ей стало совсем плохо. Я поместил ее в больницу МСМ, находившуюся недалеко от нашего дома. В первый день Пасхи 14 апреля я был у нее в последний раз. А на другой день, 15 апреля, рано утром мне позвонили из больницы и попросили срочно приехать. Когда вместе с маминой сестрой тетей Тусей и братом Юрой мы вошли в ее палату, мама была уже без сознания.

Маму похоронили по церковному обряду на Ваганьковском кладбище в могилу бабушки. Рядом похоронены другие члены семьи Софиано, похоронен муж маминой сестры Анны Алексеевны Александр Борисович Гольденвейзер и его сестра Татьяна Борисовна.

Мама пережила папу ровно на 1 год 4 месяца.

ВЫБОРЫ В АКАДЕМИЮ В 1964 ГОДУ. ДЕЛО О РАССТРЕЛЕ

Летом 1964 года состоялись очередные выборы в Академию наук СССР. Академические выборы проходят, как я уже писал, в два этапа: сначала на Отделениях выбирают многократным тайным голосованием столько академиков и членов-корреспондентов, сколько данному отделению выделено вакансий (вакансии определяются решением партийно-правительственных органов, кажется, Совета Министров СССР). Затем Общее собрание должно подтвердить эти кандидатуры $^2/_3$ голосов от списочного состава (за вычетом тех, кто по болезни или из-за заграничной командировки не может принимать участия в выборах, о каждом поименно принимает официальное решение Президиум Академии. Интересно, под какую категорию подводят они сейчас меня?..— Написано в Горьком). В подавляющем большинстве случаев Общее собрание автоматически утверждает решение Отделений — число голосов, поданных против, бывает обычно минимальным. В основном это те же академики, которые голосовали против данной кандидатуры на Отделении, члены же других отделений традиционно доверяют результатам выборов первого этапа.

Во время собрания нашего Отделения мне стало известно, что биологи избрали академиком члена-корреспондента своего Отделения Н. И. Нуждина. Эта фамилия была мне известна. Нуждин был одним из ближайших сподвижников Т. Д. Лысенко, одним из соучастников и вдохновителей лженаучных авантюр и гонений на настоящую науку и подлинных ученых. Во мне вновь вспыхнули антилысенковские страсти; я вспомнил то, что я знал о всей трагедии советской генетики и ее мучениках. Я подумал, что ни в коем случае нельзя допускать утверждения Общим собранием кандидатуры Нуждина. В это время у меня уже возникла мысль выступления по этому вопросу на Общем собрании.

В перерыве между голосованиями на Отделении я подошел к академи-

ку Л. А. Арцимовичу и поделился с ним своим беспокойством по поводу выдвижения биологами Нуждина. Лев Андреевич отдыхал от выборных баталий, сидя на ручке кресла. Он сказал:

— Да, я знаю. Надо бы его прокатить. Но ведь вам, например, слабо выступить на Общем собрании?..

— Нет. Почему же слабо? — сказал я и отошел.

Общее собрание должно было состояться на следующий день. Я, однако, не знал, что группа физиков и биологов также готовилась к выступлению. Накануне Общего собрания на квартире академика В. А. Энгельгардта (крупного биохимика, одного из авторов открытия роли АТФ в клеточной энергетике, давнего противника Лысенко) состоялось конфиденциальное совещание, на котором присутствовали И. Е. Тамм, М. А. Леонтович и др. Было решено, что Тамм, Леонтович и Энгельгардт выступят на Общем собрании; были согласованы тексты выступлений. Повторяю, я ничего обо всем этом не знал.

Общее собрание началось, как обычно. Академики-секретари Отделений поочередно докладывали о результатах выборов в своих Отделениях и давали краткую характеристику научных заслуг каждого избранного. Никто не задавал никаких вопросов и не просил слова для выступления. Избранная заранее счетная комиссия готовила бюллетени для голосования. Наконец очередь дошла до академика-секретаря Отделения биологии (кажется, им был тогда академик Опарин — в прошлом поддерживавший Лысенко). Он сообщил об избрании на Отделении Нуждина и в нескольких фразах охарактеризовал его как выдающегося ученого-биолога. Я окончательно решился выступить и набросал тезисы выступления на обложке розданной академикам при входе в зал брошюры о выдвинутых Отделениями кандидатах (к сожалению, эти тезисы у меня не сохранились) и попросил слова, подняв руку (опередив тем самым Тамма, Энгельгардта и Леонтовича). Келдыш тут же позвал меня на трибуну. Я сказал примерно следующее: «Устав Академии предъявляет очень высокие требования к тем, кто удостаивается звания академика — как в отношении заслуг перед наукой, так и в отношении общественной позиции. Член-корреспондент Н. И. Нуждин, выдвинутый Отделением биологии для избрания в академики, этим требованиям не удовлетворяет. Вместе с академиком Лысенко он ответствен за позорное отставание советской биологии, в особенности в области современной научной генетики, за распространение и поддержку лженаучных взглядов и авантюризм, за гонение подлинной науки и подлинных ученых; за преследования, шельмование, лишение возможности работать, увольнения — вплоть до арестов и гибели многих ученых.

Я призываю вас голосовать против кандидатуры Н. И. Нуждина».

Когда я кончил, на несколько секунд в большом зале возникла тишина. Потом раздались крики:

— Позор! — и одновременно — аплодисменты большей части зала, в особенности задних рядов, где сидели гости Собрания и члены-корреспонденты. Чтобы спуститься со сцены, на которой находились президиум Собрания и трибуна, мне надо было выйти к центру сцены и сойти в зал по ступенькам, покрытым ковром. Пока я шел до своего места и несколько минут после этого, шум в зале и аплодисменты все усиливались. Недалеко от меня сидел Лысенко. Он громко произнес сдавленным от ярости голосом:

— Сажать надо таких, как Сахаров! Судить!

Еще во время моего выступления слово попросили Игорь Евгеньевич Тамм, В. А. Энгельгардт, М. А. Леонтович. Вскочив со своего места, в страшном возбуждении, слова стал требовать Лысенко. Келдыш первым выпустил Тамма, Леонтовича и Энгельгардта. Они выступали очень хорошо, логично и убедительно. Так же, как и я, они доказывали, что Нуждин недостоин избрания в академики. Лысенко, конечно, говорил, что сказанное нами — возмутительная клевета и что заслуги Нуждина очень велики. Потом взял слово Келдыш. Он выразил сожаление о том, что академик Сахаров употребил некоторые выражения, недопустимые на таком ответственном Собрании; он считает, что Сахаров совершенно не прав, и надеется, что Собрание при голосовании подойдет к вопросу о кандидатуре члена-корреспондента Н. И. Нуждина спокойно, непредубежденно и справедливо, учтя мнение Отделения биологии. Обращаясь к Лысенко, Келдыш сказал:

— Я не согласен с Сахаровым. Но, Трофим Денисович, каждый академик имеет право на выступление в пределах регламента и волен защищать свою точку зрения.

Много потом я узнал, что сидевший в президиуме зав. Отделом агитации и пропаганды ЦК КПСС Ильичев очень заволновался во время моего выступления и хотел тоже выступить. Он спросил сидевшего рядом академика П. Л. Капицу (от которого я и узнал эти подробности):

— Кто это выступает?

Капица ответил:

— Это автор водородной бомбы.

После этого разъяснения Ильичев решил, видимо, на всякий случай промолчать...

Через час все стали выходить в фойе, где были установлены урны для голосования. Многие совершенно незнакомые мне люди жали мне руку, благодарили за выступление. Среди других подошла моя однокурсница Катя Скубур, в это время — секретарь Арцимовича. Она сказала:

— Все наши (т. е. другие однокурсники. — **А. С.**) узнают о твоем выступлении!

Нуждин, как известно, не был избран.

Мое вмешательство в дело Нуждина оказалось, наряду с борьбой за прекращение наземных испытаний (хотя, конечно, проблема испытаний была существенней), одним из факторов, определивших мою общественную деятельность и судьбу. Почему я пошел на такой несвойственный мне шаг, как публичное выступление на собрании п р о т и в кандидатуры человека, которого я даже не знал лично? Вероятно, во-первых, потому, что я особенно близко принимал к сердцу проблемы свободы науки, научной честности, — наука казалась (и кажется сейчас) важнейшей частью цивилизации, и поэтому посягательство на нее особенно недопустимым. Сыграла роль и случайность — то, что я не знал о совещании у Энгельгардта. Окончательное решение я принял импульсивно; может, в этом и проявился рок, судьба.

Через несколько дней ко мне домой пришел незнакомый мне раньше молодой биолог Жорес Медведев (хотя я слышал его фамилию). Он сказал, что работает в одном из научно-исследовательских институтов, занимается генетическими проблемами геронтологии. Одновременно он на протяжении шести-семи лет собирает материалы по истории лысенкоизма; эта работа облегчается тем, что он имеет доступ к архивным материалам. Он очень высоко оценил мое выступление и попросил меня подробно повторить, по возможности точней, что именно я говорил, и всю обстановку. Все это он записал в блокнот для включения в его книгу. Ж. Медведев оставил мне для ознакомления рукопись своей будущей книги, которая тогда называлась «История биологической дискуссии в СССР» (или как-то похоже). Рукопись действительно была очень интересной.

В июле — августе мы опять, как и в предыдущие годы, поехали всей семьей в санаторий «Мисхор». Возвращаясь обратно, я на аэродроме в Симферополе купил случайно «Сельскохозяйственную газету» * (других не было). Развернув ее в самолете, я с изумлением увидел в ней статью тогдашнего президента ВАСХНИЛ Ольшанского, в которой упоминался я, причем весьма нелестно. «Инженер Сахаров, начитавшись подметных писем Медведева, на Общем собрании Академии наук СССР допустил клевету в адрес советской биологической мичуринской науки и видных советских ученых-биологов, внес дезорганизацию в работу Общего собрания». (Я назван инженером, видимо, чтобы показать мою некомпетентность в вопросах биологии и, главное, чтобы скрыть от читателя, что я академик.)

Появление статьи в газете показывало, что лысенковцы перешли в контрнаступление и что у них была какая-то мощная поддержка в высших партийно-правительственных сферах (вернее всего, в Сельскохозяйственном отделе ЦК и в некоторых других, в Министерстве сельского хозяйства и, по слухам, личная поддержка Хрущева, которому, вероятно, импонировали (как раньше Сталину) их соблазнительные обещания быстрого и легкого изменения положения в сельском хозяйстве за счет применения «мичуринской» науки). Я решил написать письмо Хрущеву и «открыть» ему глаза на истинное положение дел. Конечно, моих знаний было недостаточно для полного освещения всей проблемы, но я надеялся, что все же письмо

---

* Имеется в виду газета «Сельская жизнь». (**Прим. ред.**).

будет полезным в силу моего положения, личных контактов с Хрущевым в прошлом и при наличии у меня общих представлений о генетике, молекулярной теории наследственности и практических применениях генетики. Около недели я составлял и перепечатывал одним пальцем на машинке свое письмо. Работал я по утрам, с 6 утра до 8, т. к. дни были заняты какими-то совещаниями. Числа 10-го сентября я отослал свое письмо Хрущеву. В нем, кроме «научно-популярной» части, содержались утверждения о групповом, мафиозном характере лысенкоизма, пропитавшего зависимыми от него людьми многие партийные и правительственные учреждения (самого слова «мафиозный», «мафия» в письме, кажется, не было, но это понятие давалось описательно).

О реакции Хрущева на мои действия в области биологии я знаю только по слухам. Они доходили до меня с разных сторон, но это не гарантирует, конечно, их достоверности.

Мне сообщали, что, узнав о моем выступлении на Общем собрании, повлекшем вместе с выступлениями Тамма, Леонтовича и Энгельгардта неизбрание Нуждина, Хрущев был очень рассержен, топал ногами и отдал приказ председателю КГБ (тогда это был Семичастный) подобрать на меня компрометирующий материал. Хрущев якобы сказал:

— Раньше Сахаров препятствовал испытанию водородной бомбы, а теперь вновь лезет не в свое дело.

Хрущев был возмущен не только моими действиями, но и позицией Академии в целом. Говорят, он предполагал ее частично расформировать, передав часть ее институтов в другие ведомства. Такая бурная реакция объясняется, видимо, тем, что Хрущев действительно многого ждал от предложений лысенковцев; кроме того, его связывали с лысенковцами какие-то родственные связи (но, кажется, жена и дочь Рада, как мне говорили, были проводниками других, здоровых влияний). Главное же, он был раздражен самим фактом вмешательства в дела, которые он считал «своими».

Хрущев несколько недель не показывал мое письмо другим членам Президиума ЦК КПСС. Возможно, это было проявлением растерянности и каких-то сомнений.

Письмо попало к другим членам Президиума ЦК уже накануне Октябрьского пленума ЦК, на котором Хрущев был снят. Мне сообщали, что в числе тех многочисленных обвинений в адрес Хрущева, которые выдвинул в своем выступлении М. А. Суслов, докладывающий от имени Президиума, было — потеря взаимопонимания с учеными: скрывал две недели от Президиума ЦК письмо Сахарова. В этом же сообщении были и некоторые подробности о снятии Хрущева. На всякий случай приведу их здесь.

Хрущев и Микоян отдыхали на Черноморском побережье. Их срочно вызвали на заседание Президиума ЦК. На аэродроме в Москве Хрущева никто не встретил. Удивленный и встревоженный, он помчался в Кремль, вошел в зал заседаний Президиума; на вопрос «Что делаете?» Суслов ответил:

— Рассматриваем вопрос о снятии Хрущева с занимаемых им постов.

— Вы что — с ума посходили? Я прикажу вас всех немедленно арестовать.

Он выбежал в приемную и позвонил министру обороны Малиновскому:

— Я в качестве Главнокомандующего приказываю вам немедленно арестовать заговорщиков.

Малиновский ответил, что он член КПСС и выполнит решение ЦК КПСС. Хрущев позвонил председателю КГБ Семичастному и тоже получил отказ примерно с той же аргументацией (в ближайшие годы новый руководитель — Л. И. Брежнев — снял Семичастного, заменив его Андроповым).

Снятие Хрущева означало окончательное поражение Лысенко и его сторонников. В течение последующих нескольких лет я регулярно получал к Новому году поздравительные открытки от ранее опального генетика Н. П. Дубинина, который стал теперь академиком и директором института. В открытках подчеркивалось значение моих действий в произошедшей в положении генетики перемене.

В 1964 году я еще не знал о возможной роли Нуждина в судьбе Тимофеева-Ресовского. Расскажу, однако, об этом здесь, с оговоркой, что некоторые мои сведения не из первых рук и поэтому могут быть не точны.

Биолог-генетик Тимофеев-Ресовский, занимавшийся действием радиации на наследственность и другими вопросами генетики, в 37-м году не вернулся из Германии в СССР, т. е. стал «невозвращенцем». Он продолжал свои исследования в одной из лабораторий в Берлине. Вместе с ним в Германии были жена и сын. Во время войны сын погиб, кажется — в немецком концлагере. Вскоре после окончания войны в лабораторию (находившуюся в советской зоне) приехал Нуждин. Он потребовал от Тимофеева-Ресовского материалы его исследований, в частности, культуры дрозофил и какие-то бактериологические штаммы. Тимофеев-Ресовский отказался дать Нуждину что-либо. Вскоре он был арестован, насильно вывезен в СССР и помещен в специально для него организованную лабораторию — «шарашку» на Урале. Он жил там до конца 50-х или начала 60-х годов на положении заключенного и должен был работать вместе с приданными ему сотрудниками по заданиям Первого Главного Управления (позднее называвшегося МСМ). Зельдович рассказал мне, что в 1951 или в 1949 г. он на полигоне играл в шахматы с Мешиком и тот уверял его, что Тимофеев-Ресовский во время войны был причастен к опытам над заключенными в немецких концлагерях — конечно, это была явная ложь. Мешик в то время был начальником секретного отдела ПГУ, много лет был одним из ближайших приближенных Берии, расстрелян в 1953 году вместе с ним, как я уже писал.

Вскоре после освобождения Тимофеева-Ресовского (т. е. в конце 50-х или в начале 60-х годов) я получил письмо от его жены. Она просила связать ее с братьями Сахаровыми, особенно с Николаем. В это время еще был жив папа, и я передал письмо ему. Я узнал, что братья Сахаровы, тетя Женя и тетя Таня были близко знакомы с семьей жены Тимофеева-Ресовского, с ней самой и ее сестрами. Это была семья обрусевших немцев. Один из братьев (кажется, младший — Юра) был влюблен в (будущую) жену Тимофеева-Ресовского, но она предпочла своего будущего мужа. У нее (со слов папы) в Туле жили сестры. (Я точно не помню, сколько было сестер, но это была большая семья.) Одна из них часто приезжала к нам в Гранатный, я ее хорошо помню, с ней дружили папа, тетя Женя и дядя Ваня. Во время немецкой оккупации Тулы (очень недолгой) старшая из сестер просила какого-то немецкого офицера помочь найти сестру, находившуюся в Германии, и дала ему письмо для нее. После вступления советских войск в Тулу все сестры были арестованы и попали в СМЕРШ (сокращение от слов «Смерть шпионам» — армейская контрразведка). Видимо, они расстреляны. В 60—70-е годы жена Тимофеева-Ресовского поддерживала связь с тетей Женей до ее смерти и с тетей Таней до своей смерти в конце 70-х годов.

Я хочу рассказать еще об одном моем общественном выступлении. Оно также предварило в чем-то мою общественную деятельность последующих лет — выступления по делам людей, ставших жертвой несправедливости. Правда, оно имело место раньше, в 1962 году, но рассказать о нем уместно здесь.

Я прочитал в газете «Неделя» статью некоего следователя о раскрытии им преступлений. «Неделя» — еженедельное приложение к «Известиям», не включаемое в общую подписку; это та самая газета, которая писала потом всякую всячину о моей невестке Лизе Алексеевой, о Люсе, обо мне самом и других инакомыслящих. Дело, раскрытое следователем, было следующее. Некий старик в маленьком городке изготовил в домашних условиях, в сарае, несколько фальшивых монет и зарыл их у себя во дворе. Кажется, на одну из монет он купил себе молока. По-видимому, он делал таинственные намеки о кладе своим приятелям, но полностью скрыл от жены. Кто-то из приятелей рассказал еще кому-то; в результате у старика сделали обыск, нашли в огороде фальшивые рубли, завернутые в носовой платок. Старика арестовали, был показательный суд, и — как пишет следователь — по многочисленным требованиям трудящихся, как особо опасного преступника, его приговорили к расстрелу. Мне показалось, что наказание совершенно не соответствует тяжести преступления, которого в сущности-то и не было. Сам старик, верней всего, — душевнобольной. Я написал об этом письмо в редакцию «Недели», подписал всеми своими титулами и просил переслать мои письма в прокуратуру. Дело это было типичным для советской юстиции в том смысле, что очень суровый приговор был вы-

несен по только что принятому закону. Сам закон заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Это закон, предусматривающий смертную казнь за крупные хищения государственного имущества, крупные валютные операции (в СССР это очень своеобразное понятие, связанное с тем, что государство само совершает валютные обмены по принудительным курсам и не хочет ни с кем делиться этим источником дохода), за частнопредпринимательскую деятельность крупного масштаба и, наконец, за фальшивомонетничество. Закон, необычайно жестокий, стал источником множества трагедий, чудовищных несправедливостей, гибели людей, часто даже совсем не совершавших преступлений по западным нормам (какого-нибудь организатора подпольной артели по проводке электричества колхозам или по производству ширпотреба из брака). Интересно, что все эти дела из МВД и Прокуратуры забрал себе КГБ. Закон был принят «по случаю». Двое подпольных дельцов, крупных спекулянтов драгоценностями (Рокотов и Файбишенко) были осуждены к 15 годам каждый — тогда это было максимальное наказание за их преступление. Но выяснилось, что преступники снабжали драгоценностями людей из высшей элиты и «болтали» об этом. Чтобы их заставить навсегда замолчать, и был принят Указ о смертной казни. (Указ Президиума Верховного Совета СССР становится формально законом после утверждения на сессии Верховного Совета, но фактически применяется в качестве закона и до этого.) Рокотова и Файбишенко судили вторично и приговорили к смертной казни за преступление, совершенное до принятия нового закона, и в изменение ранее вынесенного более мягкого приговора. Это нарушало очень важные юридические нормы. Кто-то из юристов на Западе выразил неодобрение, тем дело и кончилось.

Старик-фальшивомонетчик тоже попал под эту новую метлу. Через две недели после того, как я отправил письмо, я получил ответ от главного редактора «Недели» Плюща (не путать с Леонидом Плющом). Редактор писал, что мое письмо передано в Прокуратуру и оттуда получен ответ, что смертная казнь в СССР применяется только в качестве исключительной меры за особо тяжелые преступления (я писал что-то о необходимости особой осторожности при вынесении этого приговора). Что же касается старика, то приговор был приведен в исполнение. В статье — писал далее редактор — не было, к сожалению, указано, что старик ранее был осужден за участие в вооруженном нападении и отбыл в заключении 2 года. Суд учел это при вынесении приговора. Конечно, мне было ясно, что наличие приговора по старому делу (о котором не сообщалось никаких подробностей, кроме очень малого по советским масштабам срока заключения) никак не меняет несправедливости приговора, вынесенного за «игру в фальшивомонетничество». Это первое уголовное дело, с которым я столкнулся, оставило у меня горькое впечатление.

Часть вторая

ПЕРЕД ПОВОРОТОМ

1965—1967 годы были не только периодом самой интенсивной научной работы, но и временем, когда я приблизился к рубежу разрыва с официальной позицией в общественных вопросах, к повороту в моей деятельности и судьбе.

Я по-прежнему продолжал в эти годы свою работу по тематике объекта, проводил там большую часть времени. Однако разработка изделий перестала занимать в этой тематике подавляющее место. Возникли новые направления работ — проблема взрывного бридинга (получение активных веществ, образовавшихся в результате нейтронного захвата в уране и тории путем сбора продуктов подземных камерных взрывов), использование энергии ядерных взрывов для космических полетов — я уже упоминал об обоих этих проектах. Особенно большой размах приобрела разработка специальных зарядов для взрывных работ в мирных целях (вскрышные работы на рудных месторождениях, в том числе меднорудном в Удокане, сооружение плотин и прокладка каналов, взрывы с целью освобождения связанной нефти — которой очень много в природе, взрывы с целью перекрытия аварийного фонтанирования нефти и газа), теоретические и экспериментальные исследования возможных способов мирного использования ядерных взрывов. 1-й и 2-й объекты наперебой выступали с разнообразными проектами в этих областях. Однако на пути практического осуществления всех этих идей стояла серьезнейшая опасность радиоактивного заражения почвы, почвенных вод и воздуха. Были и некоторые другие идеи. Но главными на обоих объектах стали темы, так или иначе связанные с «исследованием операций» (я тут перевожу буквально общепризнанный со времен второй мировой войны английский термин).

Первой по времени проблемой этого рода, с которой пришлось столкнуться, была противоракетная оборона (ПРО) и способы ее преодоления. Было много горячих обсуждений, в ходе которых я, как и большинство моих коллег, пришел к двум выводам, сохраняющим, по-моему, свое значение и до сих пор. 1). Эффективная противоракетная оборона невозможна, если потенциальный противник обладает сравнимым военно-техническим и военно-экономическим потенциалом. Всегда с затратой гораздо меньших средств противник может найти такие способы преодоления ПРО, которые сведут на нет ее наличие. 2). Вложение больших средств в развертывание ПРО не только очень обременительно, но и опасно, так как может привести к потере стратегической стабильности в мире. Главным результатом наличия у сторон мощной ПРО является повышение порога стратегической устойчивости (скажем, упрощая проблему, порога гарантированного взаимного уничтожения). Эти выводы, разделявшиеся, по-видимому, и американскими экспертами, вероятно, повлияли на заключение в 1972 году «Договора об ограничении систем ПРО». Я продолжал уточнять свою позицию по вопросам ПРО в книге «О стране и мире» в 1975 году, в письме Сиднею Дреллу в 1983 году, в дискуссиях о СОИ в 1987 году.

Во второй половине 60-х годов диапазон проблем, к обсуждению которых я в той или иной мере имел отношение, расширился еще больше. Я в эти годы ознакомился с некоторыми экономическими и техническими исследованиями, имевшими отношение к производству активных веществ, ядерных боеприпасов и средств их доставки, принял участие в нескольких экскурсиях в секретные учреждения («ящики») и в одном или двух информационных совещаниях по военно-стратегическим проблемам. Поневоле пришлось узнать и увидеть многое. К счастью, несмотря на высокий гриф моей секретности, еще больше все же не попадало в мой круг. Но и того, что пришлось узнать, было более чем достаточно, чтобы с особенной остротой почувствовать весь ужас и реальность большой термоядерной войны, общечеловеческое безумие и опасность, угрожающую всем нам на нашей планете. На страницах отчетов, на совещаниях по проблемам исследования операций, в том числе операций стратегического термоядерного удара по предполагаемому противнику, на схемах и картах немыслимое и чудовищное становилось предметом детального рассмотрения и расчетов, становилось б ы т о м — пока еще воображаемым, но уже рассматриваемым как нечто возможное. Я не мог не думать об этом — при все более ясном понимании, что речь идет не только и не столько о технических (военно-технических, военно-экономических) вопросах, но в первую очередь о вопросах политических и морально-нравственных.

Постепенно, сам того не сознавая, я приближался к решающему шагу — открытому развернутому выступлению по вопросам войны и мира и другим проблемам общемирового значения. Этот шаг я сделал в 1968 году.

Я расскажу о некоторых событиях разной значимости, которые предшествовали этому в 1966 и 1967 годах. Одно из таких событий — мое участие в коллективном письме XXIII съезду КПСС.

В январе 1966 года бывший сотрудник ФИАНа, ныне работавший в Институте атомной энергии, Б. Гейликман, наш сосед по дому, привел ко мне низенького, энергичного на вид человека, отрекомендовавшегося: Эрнст Генри, журналист. Как потом выяснилось, Гейликман сделал это по просьбе своего друга, академика В. Л. Гинзбурга.

Гейликман ушел, а Генри приступил к изложению своего дела. Он ска-

зал, что есть реальная опасность, что приближающийся XXIII съезд примет решения, реабилитирующие Сталина. Влиятельные военные и партийные круги стремятся к этому. Их пугает деидеологизация общества, упадок идеалов, провал экономической реформы Косыгина, создающий в стране обстановку бесперспективности. Но последствия такой «реабилитации» были бы ужасными, разрушительными. Многие в партии, в ее руководстве понимают это, и было бы очень важно, если бы виднейшие представители советской интеллигенции поддержали эти здоровые силы. Генри сказал при этом, что он знает о моем выступлении по вопросам генетики, знает о моей огромной роли в укреплении обороноспособности страны и о моем авторитете. Я прочитал составленное Генри письмо, там не было его подписи (он объяснил, что подписывать будут «знаменитости»). Из числа «знаменитостей» я подписывал одним из первых. До меня подписались П. Капица, М. Леонтович, еще пять-шесть человек. Всего же было собрано (потом) 25 подписей. Помню, что среди них была подпись знаменитой балерины Майи Плисецкой. Письмо не вызвало моих возражений, и я его подписал.

Сейчас, перечитывая текст, я нахожу многое в нем «политиканским», не соответствующим моей позиции (я говорю не об оценке преступлений Сталина — тут письмо было и с моей теперешней точки зрения правильным, быть может, несколько мягким,— а о всей системе аргументации). Но это сейчас. А тогда участие в подписании этого письма, обсуждения с Генри и другими означали очень важный шаг в развитии и углублении моей общественной позиции.

Генри предупредил меня, что о письме будет сообщено иностранным корреспондентам в Москве. Я ответил, что у меня нет возражений. В заключение Генри попросил меня съездить к академику Колмогорову, пользующемуся очень большим авторитетом не только среди математиков, но и в партийных и особенно в военных кругах. Колмогоров тогда как раз приступал к осуществлению своих планов перестройки преподавания математики в школе. Немного отвлекаясь в сторону, скажу, что считаю эту перестройку неудачной, «заумной». Мне кажется, что введение в школьный курс идей теории множеств и математической логики не приводит к большей глубине понимания — для детей это все преждевременно и вовсе не самое главное для практического освоения методов математики, так нужных в современной жизни; мне кажется гораздо более правильным сочетание классических методов изложения, пусть даже не отвечающих современному «бурбакизму»,— но ведь на Евклиде учились и росли многие поколения — и чисто прагматического изучения наиболее работающих и простых по сути дела методов — в особенности понятия о дифференциальных уравнениях. Но в тот раз мы не могли поговорить об этом. Я приехал к Колмогорову, договорившись по телефону, он заранее предупредил, что куда-то спешит. Я впервые увидел его в домашней обстановке. Это был уже немолодой человек, поседевший, но еще стройный, загорелый и подвижный. У него была мягкая манера держаться и говорить, слегка по-аристократически грассируя, но в то же время легкий налет отчужденности. Прочитав письмо, Колмогоров сказал, что не может его подписать. Он сослался на то, что ему часто приходится иметь дело с участниками войны, с военными, с генералами, и они все боготворят Сталина за его роль в войне. Я сказал, что роль Сталина в войне определяется его высоким положением в государстве (а не наоборот) и что Сталин совершил многие преступления и ошибки. Колмогоров не возражал, но подписывать не стал. Через пару недель, когда о нашем письме уже было объявлено по зарубежному радио, Колмогоров примкнул к другой группе, пославшей аналогичное письмо съезду с обращением против реабилитации Сталина. Сейчас я предполагаю, что инициатива нашего письма принадлежала не только Э. Генри, но и его влиятельным друзьям (где — в партийном аппарате, или в КГБ, или еще где-то — я не знаю). Генри приходил еще много раз. Он кое-что рассказал о себе, но, вероятно, еще о большем умолчал. Его подлинное имя — Семен Николаевич Ростовский. В начале 20-х годов он находился на подпольной (насколько я мог понять) работе в Германии, был, попросту говоря, агентом Коминтерна. Вблизи наблюдал все безумие политики Коминтерна (т. е. Сталина), рассматривавшей явный фашизм Гитлера как меньшее зло по сравнению с социал-демократическими партиями с их плюрализмом и популярностью, угрожавшими коммунистическому догматизму и единству и монопольному влиянию в рабочем классе. Сталин уже тогда считал, что с Гитлером можно поделить сферы влияния, а при необходимости — уничтожить; а либеральный центр — это что-то неуправляемое и опасное. Эта политика и была одной из причин, способствовавших победе Гитлера в 1933 году. Ростовский в ряде статей выступал против опасности фашизма, наибольшую славу принесла ему книга «Гитлер над Европой», написанная в 1936 году и вышедшая под псевдонимом Эрнст Генри, придуманным женой Уэллса. Впоследствии этот псевдоним стал постоянным.

У Генри была интересная самиздатская статья о Сталине, он мне ее показывал, так же, как и свою переписку с Эренбургом на эту тему. Но Генри не был ни в коем случае «диссидентом».

В конце 1966 г. произошли два события, которые ознаменовали мое вовлечение в общественную деятельность еще более широкого плана, чем в случае с обращением к съезду. В октябре или сентябре ко мне зашли два человека, один из них, кажется, был опять Гейликман, фамилию другого я сейчас забыл. Они принесли мне напечатанный на машинке на тонкой бумаге листок — Обращение, в котором сообщалось, что вскоре Верховный Совет РСФСР должен принять новый закон, дающий возможность более массового преследования за убеждения и информационную деятельность, чем существующая в Уголовном кодексе статья 70-я. Далее приводился текст новой статьи УК РСФСР — 190-1 (УК — Уголовный кодекс), которую должен принять Верховный Совет РСФСР, и предлагалось подписать Обращение к Верховному Совету с выражением беспокойства по этому поводу.

Я приведу здесь текст этой статьи, действительно оказавшейся потом наряду со статьей 70-й основным юридическим орудием преследования инакомыслящих:

Ст. 190-1 УК РСФСР (в Уголовных кодексах других союзных республик были приняты аналогичные статьи).

«Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.

Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания — наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей».

Для сравнения приведу текст статьи 70 УК РСФСР:

«Ст. 70 УК РСФСР. Антисоветская агитация и пропаганда.

Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания — наказываются лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти лет.

Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным за особо опасные государственные преступления, а равно совершенные в военное время,— наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки».

В «Комментарии к Уголовному кодексу» (изданном издательством «Юридическая литература», Москва, 1971) написано:

«Заведомо ложными, порочащими советский государственный общественный строй являются измышления о якобы имевших место фактах и обстоятельствах... несоответствие которых действительности известно виновному уже тогда, когда он распространяет такие измышления. Распространение измышлений, ложность которых не известна распространяющему их лицу, а равно высказывания ошибочных оценок, суждений или предположений не образуют преступления, предусмотренного ст. 190-1».

Прекрасный комментарий (который также следовало бы отнести к ана-

логичным формулировкам ст. 70)! Однако вся практика судов над инакомыслящими основана на том, что их осуждают за убеждения, за устно или письменно высказанное их мнение, за сообщение ими фактов, которые, по их убеждению, действительно имели или имеют место. За исключением очень редких случаев случайных недоразумений, речь идет о действительно имевших место фактах (нарушения прав конкретных лиц или группы лиц, например, факт высылки крымских татар из Крыма и препятствия к их возвращению; несправедливые приговоры, тяжелые условия в местах заключения и в специальных психиатрических больницах, или, еще более острый пример: наличие в советско-германском договоре 1939 г. тайных статей, или Катынский расстрел и т. п.). В большинстве случаев суды и не пытаются доказать ложность инкриминируемых «измышлений», для них достаточно того, что они «антисоветские» с точки зрения суда. Тем более на таких судах никогда не делается попытки доказать, что обвиняемый сознательно искажал факты. Статья 70 отличается от статьи 190-1 более суровым наказанием и тем, что в ней предусмотрена в качестве условия состава преступления цель подрыва или ослабления Советской власти или цель вызвать совершение особо опасных государственных преступлений; кроме того, нет формулировки, что клеветнические измышления являются заведомо ложными. Однако поскольку суды над инакомыслящими никогда не доказывают наличия у обвиняемых подрывных целей, то и статья 70 фактически применяется для преследования за убеждения, за нонконформизм, за информационный обмен.

Все вышенаписанное о судебной практике применения статей 190-1 и 70 основано на моем опыте защиты прав человека в последующие годы, много трагических примеров — дальше в этой книге.

Но и в 1966 г. я имел основания считать, что опасения авторов Обращения вполне обоснованны, и я его подписал. При этом я ясно понимал, что составители Обращения действуют вполне по собственной инициативе и принимают на себя не только ответственность за нее, но и опасность возможных преследований. Я решил не ограничиваться подписанием общего документа, но также выступить самостоятельно. Через несколько дней я послал телеграмму Председателю Президиума Верховного Совета РСФСР Яснову, в которой выразил свое беспокойство по поводу статьи 190-1 УК РСФСР и просил воздержаться от ее принятия. Никакой реакции на мою телеграмму не было.

В последующие годы я много раз обращался в различные высокие адреса с документами по общим проблемам и по конкретным вопросам; за несколькими малозначительными исключениями, я никогда не получал ответа на свои письма и телеграммы, и почти никогда не было реальных, по крайней мере, немедленных плодов от моих обращений. Некоторые считают поэтому эти мои обращения проявлением наивности, прекраснодушия, а некоторые даже считают их своего рода «игрой», опасной и провокационной. Такие оценки кажутся мне неправильными. Обращения по общим вопросам, по моему мнению, важны уже тем, что они способствуют обсуждению проблемы, формулируют альтернативную официальной точку зрения, заостряют проблему, привлекают к ней внимание. Это, несомненно, важно не только для широкой общественности — это главное, но, как мне кажется, и для высших правительственных кругов, где тоже мы не можем полностью исключить наличие каких-то, хотя и очень медленных, но реальных процессов изменения точек зрения и практики. Что же касается обращений по конкретным вопросам, в защиту тех или иных лиц или групп, то опять же они привлекают общественное внимание к судьбам этих лиц и тем самым хоть в какой-то мере их защищают; далее, атмосфера гласности препятствует дальнейшему расширению нарушений прав человека; и, наконец, все же время от времени судьба защищаемых иногда меняется к лучшему.

В обоих случаях особенно важны открытые обращения, важна *гласность*. Однако наличие *наряду* с открытыми выступлениями непубликуемых может быть полезным.

О своей телеграмме Яснову я как-то рассказал своему знакомому физику Б. Иоффе. Интересна его реакция, он сказал:

— Андрей Дмитриевич, вы действительно смелый человек.

В 1966 году у меня возникло новое знакомство, оказавшееся важным. Ко мне на московскую квартиру пришел брат Жореса Медведева, Рой, которого я до этого не знал. Рой и Жорес — однояйцевые близнецы, они удивительно похожи. Рой объяснил, что он по профессии историк и что он уже более десяти или пятнадцати лет пишет книгу о Сталине (начал он работу над ней, кажется, он так сказал, сразу после XX съезда). Рой сказал, что их отец был членом так называемой профсоюзной оппозиции в начале 20-х годов, а в 1937 году арестован и погиб в лагере. Рой, по его словам, поддерживал близкие отношения со многими старыми большевиками и многие малоизвестные и неизвестные факты почерпнул из их рассказов и неопубликованных воспоминаний.

Рой Медведев оставил у меня несколько глав своей рукописи. Потом он приходил еще много раз и приносил новые главы, взамен старых. При каждом визите он также сообщал много слухов общественного характера, в том числе о диссидентах и их преследованиях. Наряду с рассказами Живлюка, о которых будет речь ниже, для меня все это было очень важным и интересным, открывало многое, от чего я был полностью изолирован. Даже если в этих рассказах не все было иногда объективно, на первых порах не это было главным, а выход из того замкнутого мира, в котором я находился.

Книга Медведева о Сталине была для меня в высшей степени интересной. Я тогда еще не знал замечательной книги Конквеста «Большой террор» и вообще еще слишком мало знал о многих преступлениях сталинской эпохи. Рой Медведев, надо отдать ему справедливость, сумел добыть много сведений, которые тогда, в 1966—1967 гг., нигде еще не были опубликованы (а в СССР не опубликованы и до сих пор). Только один пример из многих — в книге Медведева приведены материалы созданной при Хрущеве комиссии, расследовавшей убийство Кирова. На меня произвело сильное впечатление детальное описание в этих материалах подготовки убийства и последующего устранения всех свидетелей «по принципу домино». Как известно, убийство Кирова, в котором Сталин видел опасного соперника, сыграло огромную роль в развязывании волны террора 30-х годов. Без сомнения, конкретная информация, содержащаяся в книге Медведева, во многом повлияла на убыстрение эволюции моих взглядов в эти критические для меня годы. Но и тогда я не мог согласиться с концепциями книги. Хотя Медведев формально присоединяется к той точке зрения, что трагические и грандиозные события эпохи 20—50-х годов никак нельзя сводить к особенностям только личности Сталина, но фактически весь концептуальный строй его книги не выходит из этих рамок. Адекватный анализ нашей истории, свободный от догматизма, политической тенденциозности и предвзятости, — дело будущего.

В последующие годы позиции Роя Медведева и моя расходились все сильней. Еще больше, в значительной степени по причинам, скажем так, «субъективного свойства», разошлись наши жизненные пути. После 1973 года наши отношения прекратились.

В 1966 году Медведев, кроме своей рукописи, приносил мне и некоторые чужие — в том числе рукопись очень интересной книги Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» (одна из наиболее известных книг о сталинских лагерях). В тот первый визит (я хочу оговориться, что, быть может, были визиты и до этого, но они мне не запомнились) он рассказал мне, что с таким же предложением подписать Обращение о статье 190-1, как ко мне, пришел к Я. Б. Зельдовичу Петр Якир. Зельдович спросил его: «А вы подписали?» Тот сказал, что нет. — «Подпишите, я после вас». Якир подписал, Зельдович тоже. Времена меняются, сейчас Зельдович, вероятно, вел бы себя совсем иначе. Я, впрочем, не знаю, достоверна ли эта история.

3 или 4 декабря 1966 г. я нашел в своем почтовом ящике конверт без адреса, там были вложены два листка тонкой почтовой бумаги с новым Обращением. Подписи не было. Обращение состояло из двух частей. В одной сообщалось об аресте и помещении в психиатрическую больницу художника Кузнецова, составлявшего вместе с другими проект новой Конституции СССР, обеспечивающей, по замыслу его авторов, демократические права и гармоническое развитие общества. Авторы этого проекта, названного ими «Конституция II», хотели в этой форме поднять актуальные проблемы демократизации. В другой сообщалось, что 5 декабря, в День Конституции, у памятника Пушкину состоится молчаливая демонстрация в защиту политзаключенных, в их числе Кузнецова. В Обращении предлагалось прийти

на площадь за пять—десять минут до 6 часов вечера и ровно в 6 часов снять, вместе с другими, шляпу в знак уважения к Конституции и стоять молча с непокрытой головой одну минуту. Много потом я узнал, что автором Обращения и самой идеи и формы демонстрации был Александр Есенин-Вольпин, автор и многих других очень оригинальных и плодотворных идей.

Я решил пойти, сказал об этом Клаве, она не возражала, но добавила, что это — чудачество. На такси я доехал до площади Пушкина. Около памятника стояло кучкой несколько десятков человек, все они были мне незнакомы. Некоторые обменивались тихими репликами. В 6 примерно половина из них сняли шляпы, я тоже, и, как было условлено, молчали (как я потом понял, другая половина были сотрудники КГБ). Надев шляпы, люди еще долго не расходились. Я подошел к памятнику и громко прочитал надпись на одной из граней основания:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Потом я ушел одновременно с большинством.

Через некоторое время Живлюк рассказал мне, ссылаясь на каких-то своих знакомых, что моя «выходка» была заснята сотрудниками КГБ на кинопленку, чувствительную к инфракрасным лучам (было довольно темно), и пленка демонстрировалась высшему руководству.

Живлюк был еще одним моим новым знакомым в тот год. Я не помню, кто меня с ним познакомил — Медведев или кто-либо из ФИАНовцев, где он в то время работал. Живлюк был не вполне понятным для меня человеком тогда, а пожалуй, и сейчас. В ФИАНе мне рассказали, что в середине 60-х годов Живлюк был секретарем первичной комсомольской организации в одной из лабораторий. В это время по рукам комсомольцев распространялся некий документ (фамилия автора, кажется, была Скурлатов), нечто вроде комсомольского самиздата. Документ назывался «Кодекс комсомольской чести» и был выдержан во вполне фашистском духе «Земли и крови». Была ли это личная инициатива Скурлатова или каких-то стоящих за его спиною группировок, сделавших «пробную вылазку», я не знаю. Живлюк написал письмо в ЦК комсомола об этом документе, очень резкое. Вышестоящие комсомольские организации наказали обоих — и Скурлатова, и Живлюка, последнего, очевидно, за «вынесение сора из избы». В дальнейшем у Живлюка были какие-то отношения с ЦК комсомола, в 1969 году его послали в комкоровскую командировку в Братск и на Север. Он рассказывал мне много интересного о ней (о хозяйственных и экологических неполадках, о поголовном спаивании местного охотничьего сибирского населения — в охотничьи селения заготовители прилетают на вертолете, нагруженном в основном водкой; несколько дней охотники, их жены, дети и старики-родители пьяны в стельку, а вертолет улетает с грузом мехов на экспорт). Есть у меня впечатление, может, неверное, что какие-то отношения были у Живлюка и с КГБ (с его прогрессивными кругами, скажем так). Живлюк был по национальности украинец, и у него было много связей с диссидентами на Украине. Он познакомил меня с Иваном Светличным, одним из участников диссидентского движения на Украине, я еще буду о нем писать. Были у Живлюка контакты и с московскими диссидентами, в частности с Андреем Твердохлебовым. В 70-х годах Живлюк, видимо, запутался во всех этих сложных взаимоотношениях и исчез с моего горизонта.

В начале 1967 года Живлюк, в числе других новостей, рассказал мне о деле Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского и о демонстрации Буковского и Хаустова в январе 1967 года. Эти дела очень широко освещались, и я не буду тут их пересказывать. Скажу только, что вслед за еще более известным делом писателей Синявского и Даниэля они явились важным этапом в формировании общественного самосознания и движения защиты прав человека в нашей стране.

Узнав о деле Гинзбурга и других, я вспомнил, что еще в середине 1966 года ко мне пришел Генри с номером «Вечерней Москвы», в котором была заметка о «покаяниях» Гинзбурга (или сами покаяния). Генри явно хотел мне внушить, что с таким человеком, как Гинзбург (о котором я до сих пор

ничего не слышал), нельзя иметь дело, нельзя за него заступаться. Чья это была инициатива, я не знал. Но я решил игнорировать это предупреждение. Я написал в феврале 1967 года, на основании информации от Живлюка, письмо в защиту Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Оно было закрытым, т. е. я его не передавал для опубликования и распространения, и тем более иностранным корреспондентам — все это было для меня еще впереди. Это письмо тем не менее — очень важный этап в моей биографии. Оно было моим первым действием в защиту конкретных людей — инакомыслящих (телеграмма Яснову носила общий характер, случай Баренблата — не совсем этого рода, а мое письмо о приговоре по обвинению в фальшивомонетничестве — совсем другого). Во время суда над Синявским и Даниэлем я был еще очень «в стороне», практически я о нем не знал; даже на речь Шолохова на съезде, где он говорил, что в «наше время» таких расстреливали, почти не обратил внимания.

О моем письме узнали в министерстве. В марте проходила городская партконференция на «втором» объекте. На ней присутствовало много лично мне известных людей, и кто-то из них рассказал, что с речью выступил Славский и коснулся «поведения академика Сахарова». Славский сказал:

«Сахаров хороший ученый, он много сделал, и мы его хорошо наградили. Но он шалавый (т. е. неразумный, без царя в голове. — **А. С.**) политик, и мы примем меры».

Меры были приняты, я перестал числиться начальником отдела, хотя за мной сохранили должность заместителя научного руководителя объекта. В результате моя зарплата уменьшилась с 1000 до 550 рублей. (До этого она уже однажды уменьшалась.) Начальник Главка Цирков (бывший участник работ по магнитной кумуляции и других экспериментальных работ, перешедший на административную работу в министерство) сетовал в узком кругу: «Я не понимаю, как можно жить на такие деньги» (по обычным советским масштабам они все равно были большими).

В апреле или мае 1967 года мне позвонил академик Владимир Кириллин, тогда председатель Комитета по науке и технике при СМ СССР и заместитель Косыгина. Он просил зайти. В назначенный час у него собралось человек десять академиков и крупных инженеров, среди них — Гинзбург, Зельдович, Илья Лифшиц. На большом столе был накрыт чай. Кириллин сказал, что в США много занимаются научно-технической футурологией, кое-что при этом пишут легковесного и тривиального, но в целом эта деятельность не бесполезна, дает далекую перспективу, очень важную для планирования. Он предложил каждому из нас написать, в свободной форме, как мы представляем себе развитие близких нам отраслей науки и техники в ближайшее десятилетие, а также, если мы хотим, коснуться и более общих вопросов. Мы разошлись. В ближайшие недели я с увлечением работал и написал небольшую по объему статейку, с большим полетом фантазии. В самолете, возвращаясь с объекта, я дал почитать рукопись Зельдовичу, он сказал: ого! (а он мне показал свою статью). Наши статьи вышли в виде сборника для служебного пользования «Будущее науки». Для меня работа над этой статьей имела большое психологическое значение, вновь сосредоточивая мысль на общих вопросах судеб человечества. Некоторые положения из статьи вошли в дальнейшем в «Размышления о прогрессе...» (1968) и в статью «Мир через полвека» (1974).

Другая написанная мною в тот же год статья не была опубликована. История ее такова.

Пришел Генри и предложил написать совместную статью о роли и ответственности интеллигенции в современном мире. Он задает вопросы, а я отвечаю — такова была предложенная им форма. Я согласился. Но то, что я написал, несколько напугало Генри своей радикальностью — я уже приближался в этом тексте к основным концепциям «Размышлений о прогрессе...». Я возил (три остановки на автобусе) рукопись по частям машинистке, жившей недалеко от метро «Сокол». Я уже несколько лет пользовался ее услугами для перепечатки рукописей научных и научно-популярных статей. Когда я получал последнюю часть, увидел, что она чем-то напугана. Она сказала, что у нее изменилось то ли семейное, то ли служебное положение и она больше не может брать у меня работу. Она явно что-то темнила. Я ду-

маю, что ее посетили из ГБ. После этого «Размышления о прогрессе...» я перепечатывал на объекте.

В редакции «Литературной газеты» Генри сказали, что не могут напечатать рукопись без авторитетного разрешения. Я думаю, что уже было какое-то предварительное разрешение, но я вышел из согласованных рамок. Через министерство я послал рукопись Суслову (так меня просил Генри). Прошло две или три недели, и пришло письмо, подписанное секретарем Суслова. Он сообщал, что Михаил Андреевич нашел мою рукопись очень интересной, но, по его мнению, публикация ее в настоящее время нецелесообразна, так как в статье есть некоторые положения, которые могут быть неправильно истолкованы. По просьбе Генри я отвез рукопись ему (это было первый раз, как я посетил его большую и холостяцкую, по моему впечатлению, квартиру, со множеством книг и сувениров из заграничных поездок) — и забыл обо всем этом деле.

Но история на этом не кончилась. Через несколько лет я узнал, что статья все же была напечатана очень небольшим тиражом в сборнике «Политический дневник» (возможно, он был машинописный). Несколько номеров его попали за рубеж. Ходили слухи, что это издание для КГБ или «самиздат для начальства». Еще через несколько лет Рой Медведев заявил, что составитель сборника — он. Но как к нему попала моя статья — до сих пор не знаю.

Продолжение следует

Леонид Киселев

(1946 — 1968)

ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Сегодня Леониду Киселеву было бы 44 года. Он окончил киевскую школу и учился в Киевском университете... Вот и вся его житейская биография, потому что в 1968 году Лени, которому исполнилось лишь двадцать два, не стало. Но «поэты умирают в небесах» (так написал он об Осипе Мандельштаме), у них свои биографии, от житейских отличные. Там весят не годы, а мудрость и боль.

Вехой в поэтической биографии Лени — еще школьника — была публикация первой подборки его стихов в «Новом мире» Твардовского (№ 3 за 1963 год). У юного Мастера тотчас же появились ценители и хулители. Помнится, маститый литературовед, член-корреспондент АН СССР Д. Благой оспорил строку: «За долгую историю России — ни одного хорошего царя». То был спор не о личности царя Петра, а об уместности тоталитарных режимов. По-моему, Леня спор выиграл. Он и тогда был внутренне свободен и вполне владел тем тайным знанием поэтов, имя которому — талант.

Оттого стихи его — не на злобу дня (злобу прошлую или злобу будущую): они — о вечном человеческом бытии.

Д. ЗАТОНСКИЙ.

●

Если дни становятся синей
И звенит замерзшая дорога,
Что мне делать, робкому пророку,
В северной холодной стороне?

Стройный лес сомкнулся и затих,
Спит, и ничего ему не снится,
И дрожат сосульки на ресницах
Русокудрых отроков моих.

Здесь туманы тают поутру,
Здесь по небу спутники летают.
И деревни черной птичьей стаей
Вдаль бредут и зябнут на ветру.

●

Язык не может сразу умереть,
Скоропостижно люди умирают,
Но медленно озера высыхают,
И тихо высыхают русла рек.

Язык заброшен, но ни днесь, ни впредь
Своей вины ничем не искупить нам.
В ночной тиши за горло схватит бред,
И днем самих себя нам будет стыдно.

Язык не может сразу умереть.

●

Торопятся поэты и цари.
Для них малы отпущенные годы.

К поэтам ясность строчки и свобода
Приходят поздно, что ни говори.

И у царей достаточно забот —
Держава не прочней, чем столбик ртутный.
Повесить всех врагов ужасно трудно,
Вдруг кто-нибудь остался, вдруг живет.

Но умирают в юности поэты
И в очень древнем возрасте цари.
И остается песня недопетой,
И корчатся на плахе бунтари.

●

Что вам наворкует Воркута?
Смелые, красивые, большие,
На какой окраине России
Вмерзнет в нары ваша доброта?

Ни спасти, ни спрятать не могу —
Только указать, в каких селеньях
Будете промерзшие поленья
Поливать соляркой на снегу.

Только предсказать, в каком году
Ваши жены снова выйдут замуж,
Только очертить предел тоски...

Полночь цедит каплями беду.
Ночи нет. Разлука за ночь
Выморозит инеем виски.

●

Расковали Прометея,
Дали хлеба и вина.
К Прометею возвратилась
Старая жена.
— Я жила у винодела,
С гончаром жила.
Ну, а в том, что так случилось,
Не моя вина.
Не кори меня.

Дни разматывались нитью.
Слушал сказки стариков
О царях и о героях,
О делах богов.
Он узнал, что бог Юпитер
Людям дал огонь.
И жилось ему на свете
Хорошо, легко.

Только печень пошаливала...

Антарктида

Ни господ,
Ни рабов,
Ни царей,
Ни республик,
Ни древних империй...

Л. Мартынов. «Антарктида».

Вот и найдены древние карты твои, Антарктида,
С указаньем высот, тех, что тысячи лет подо льдом.
Эти карты древней, чем гробниц фараоновых плиты,
Мы по ним ни народов, ни стран никогда не найдем.

Значит, мир начинался не с коптов, не в древней Элладе...
С трех твоих островов? Как же звался твой гордый народ?
Может быть, твой Уатт паровую машину наладил,
А в Египте Хеопс пирамиду закончил в тот год.

Может, были свои: и Руссо, и Фейхтвангер, и Горький,
Ницше свой, свой Карл Маркс, даже Ленин, возможно, был свой!
И фашисты свои, и расстрелянный Гарсиа Лорка,
И, как странно звучит, антарктидский великий Толстой.

После этого атом открыли и, воздух земли заражая,
Повели испытанья. Сперва для острастки врагу...
Но однажды, однажды две черные кнопки нажали —
Ту на этом, другую за морем, на том берегу.

И великие хартии, с грозным рычанием зверя
(Или тихо и ласково), море слизнуло, как сор.
В мире все повторяется. Значит, мы тоже? Не верю!
Остановим истории колесо!

●

Если б знать, откуда ветер дует,
Точно знать, как знают флюгера,
Я б поэму написал такую,
Что сбежал бы Фирсов в повара.

Отложив в сторонку графоманство
И поддержку рухнувших основ,
За моей поэмою гонялся б
Кочетов, а также Грибачев.

Но во мне крамольные мотивы
Вырастают, словно снежный ком.
И среди друзей прослыл строптивым,
А среди соседей — дураком.

И друзья стихам моим внимают,
Даже восхищаются почти,
А души моей не понимают —
Я ленив, но вовсе не строптив.

Уважаю власть, люблю начальство,
У меня почтенная родня.
Я ж не виноват, что слишком часто
Ветер направление менял.

Баллада о треске

Восславьте треску — самую лучшую
Рыбу, поскольку в ней
Очень много белого мяса
И очень мало костей.
Восславьте Господа, создавшего треску,
Курицу бедняков.
Эй, рыбак, уходящий в море,
Да будет обильным улов!
Если прочные твои сети
Порвутся,— помни, рыбак,—
Наши жены и наши дети
Лягут спать натощак.
Если в доме треска к обеду
И если гости придут,
Не надо стыдиться насущного хлеба —
Награды за наш труд.

Летним утром и зимним вечером
Вгрызайтесь в мякоть трески!
Только не ешьте тресковой печени,
От нее заплывают жиром мозги.

●

Судьба хитрит, она сама с собою
Играет в очень сложную игру —
Раз в жизни каждому предоставляет
Возможность всё иначе повернуть.
Но у судьбы есть десять тысяч шансов,
У нас — один, к тому же мы и сами
Не знаем о призвании своем.
И человек, замысливший убийство,
На улице попросит закурить
И удивит нас отрешенным взглядом.
И если за рукав его схватить,
Не выпускать его, пойти с ним рядом,
Позвать домой и чаем напоить,
Всё повернется. Но судьба играет
Сама с собою в сложную игру.
И у неё есть десять тысяч шансов,
У нас — один, к тому же мы и сами
Не знаем о призвании своем.

Публикация С. Киселева

Юрий Малецкий

ОГОНЬКИ НА ТОЙ СТОРОНЕ

ПОВЕСТЬ

Всем: любимым и нелюбимым, знакомым, незнакомым, забытым — жителям многострадальной Самары, а также покинувшим ее в сомнительных поисках лучшей доли.

Григория Ивановича Голобородько контузило под Майкопом летом сорок второго. По выходе его из госпиталя, учтя наличие у него золотых рук автомеханика, им распорядились не совсем обычно: метнули с передовой, где он трубил шофером, ни много ни мало в Тегеран, принимать у американцев разобранные «виллисы» и собирать их. И там, в слишком теплой стране, от перегрева ли, контузии ли, чужого ли устава жизни, а главное — от феноменального количества разностранных шпионов, с ним и случилось: стал людей делить на право- и левосторонних. Кто по правой стороне улицы идет — шпион, по левой — наш человек.

Наблюдениям таким Григорий Иванович в Тегеране, да и после, до самой победы, ходу не давал; а вот по возвращении с войны в родной город Куйбышев как-то вдруг понял: главная задача его жизни — в том, чтобы выявить всю сеть городской агентуры.

Что можно сказать? Дело это нелегкое. Ведь само собой, что не всякий, кто идет по правой стороне,— шпион. Глупые агенты только в книжках, в жизни они умные, приметы свои обнаруживают редко. Но Григорий Иванович не только в явных, он и в тайных приметах кое-что понимал. Он шел за шпионом осторожно до самой шпионовой явки, караулил все его связи, а потом — на Степана Разина, 37, в органы.

Не дали Григорию Ивановичу ордена, дали пинка. Последний на его счету вражеский агент оказался командующим войсками Приволжского военного округа Глыбиным. Раз в жизни обманул Глыбин семью и охрану, чтобы прогуляться по майской погоде пешком на Троицкий рынок, за любимыми тыквенными семечками. Семью обманул, охрану обманул, но Голобородько не обманешь. Сочтя шпиона по всем повадкам не менее как резидентом, Григорий Иванович накатал телегу на семь страниц.

Ну, на Степана Разина облизнулись и уже было рыбку — цап. Да не все коту масленица. И на старуху бывает проруха. Где как, а в России эта житейская максима верна всегда и всюду, даже если речь идет о всесильных органах. Не зря говорит народ ретивым не в меру: обкусисся. Конечно, раз ты на таком месте, что можешь брать, то и бери, кого хочешь, а все же иной раз и по-

---

Юрий МАЛЕЦКИЙ родился в 1952 году в Куйбышеве, окончил филологический факультет Куйбышевского университета, работал учителем, методистом по фольклору, с конца 70-х годов живет в Москве, научный сотрудник Центрального выставочного зала.

В журнале «Континент», под псевдонимом Юрий Лапидус, напечатал повесть «На очереди» (1986 г.) и рассказ «Ночь без происшествий» (1990 г.). В Советском Союзе публикуется впервые.

думать не мешает, просто разнообразия ради: по чину ли берешь? Бери любого, бери ты первого встречного-поперечного, ежели он тебе сгодится для какого-никакого дела, но Глыбина не трожь. Глыбин — он и по фамилии Глыбин. У него там, на самом верху,— будь здоров кореша. И только было здесь собрались его слопать и косточки выплюнуть, как раздалось оттуда, сверху, такое, что они быстрехонько шасть по стойке «смирно» и — руки прочь от Глыбина.

Ну, а коль Глыбин снова верный сын партии и народа, а дело уже завертелось, пошли уже круги по воде в кругах, то — кто ответит? Не могут же сами органы отвечать за свою ошибку; и если Глыбин случайно не враг, то кто враг? Тот, кто его оклеветал. Вот почему, как ни жаль было терять такого энтузиаста, столь бескорыстного осведомителя, вынуждены были призвать к ответу гражданина Голобородько за вредительский оговор лучшего из лучших представителей славного комсостава ПриВО. Хотели уже, доблестно раскрыв особенно хитроумно замаскировавшегося вредителя, по знакомству оформить его всего на десять годков в Мелекесс — здесь же, под боком, в Ульяновской области, серу копать, но, поскольку к тому имелись формальные основания, направили его порядка ради на психиатрическую экспертизу. Пятиминутное дело, казалось бы, но вышла осечка. Потому что врачебная комиссия неожиданно оказалась старого образца. Командовал той комиссией профессор Петр Авдеевич Галкин, который никаких авторитетов, кроме себя, не признавал и не только не скрывал этого, но — демонстрировал свою независимость; и однако же, имея в личном деле взыскание на взыскании, сидел он на удивление прочно в своем профессорском кресле, и слово его для всех было закон. Для этого мало быть хорошим специалистом — то не редкость; а редкость быть человеком, от рождения лишенным страха, вообще не понимающим — в какие бы времена, кто и как бы доходчиво ему ни объяснял,— как это в Божием мире можно кого-то или чего-то бояться. Таким-то вот человеком и был Петр Авдеевич Галкин, и это неумение бояться столь отчетливо обнаруживалось в его повадке, голосе и взгляде, что пугать его, воздействуя мытьем или катаньем, было просто неинтересно. Да и к тому же, если человек не боится, поневоле начинаешь его бояться: ни с того ни с сего человек таким смелым не бывает.

Словом, Петр Авдеевич Галкин, а с ним и вся струхнувшая, но загипнотизированная бесстрашием профессора комиссия, что называется, безо всякого Якова признали Голобородько негодным для отбытия срока по причине шизофрении параноидной формы. Уж не знаю, сошло ли это и на сей раз с рук Галкину и комиссии (а очень может быть, что и сошло: чем черт не шутит в стране, где на десятки миллионов случаев, подходящих под общее правило, всегда найдутся тысячи исключений, в стране, где привычка, инерция — под грохот всех исторических понуканий — остается главной действующей силой,— и если, допустим, ты уже привык, что такой-то давно и постоянно безнаказан, попробуй-ка вдруг переступи свою вторую натуру, попробуй увидеть такого-то свежим глазом — и призвать к порядку по всей строгости нашего сурового, но справедливого времени), но что касается Голобородько, на нем ребятам из органов довелось обкуситься еще раз. Обозлились они, конечно, очень, но против передовой науки не попрешь. Вынуждены были они выпустить Григория Ивановича из коготков, и пошел он не в Мелекесс на серные копи, а в Томашево, местный дурдом, и не на десять лет, а — пока не перестанет быть социально опасным.

Зря все это, думал Григорий Иванович. Ведь уже исправился. Приказали — исправился. Он систему понял еще в сорок первом.

Инициативу проявляй когда? — когда бомбят: дуй из грузовика и рой носом землю поглубже. А на все прочее есть приказ. Сказано: не тебе, Голобородько, шпионов ловить, не твоя это забота — ну и все, кончилась инициатива. Не будет больше. А тут: больной. Но ничего не попишешь.

Провел Голобородько в Томашеве более двух лет. Что сказать? Жить везде можно. Раньше он, как и многие, думал: псих — это кто на тебя в упор глядит и не видит. Кто уверен, что он Наполеон. А спросишь его, сколько будет дважды два, отвечает: яичница всмятку. И невдомек ему, Богом ушибленному, что это яйцо бывает всмятку, а яичница — глазунья.

Но таких, задвинутых, Голобородько в Томашеве не встречал. Народ был вполне человеческий; ну и, как водится у людей, у каждого была своя особенная мысль, страсть или убеждение. Скажем, был который все время молчал. Молчит и молчит, и даже врачам ничего не отвечает. Так как ты узнаешь, псих он или нет, когда он ничего не говорит, а делает все, как нормальный? Так по первому подозрению мы полстраны в дурдом засадим. Говорят же: всяк по-своему с ума сходит; что ж теперь, буквально это понимать?

Лотерея: попал в психи — значит, псих. Вот сосед Ребров, молоденький баптист, отбывая срочную службу в рядах войск НКВД под Мукачево, отказался присягу принимать. Не могу, говорит, на людей автомат нацеливать. Да и как я, баптист, буду униатов загонять в православие? Не могу, говорит, вера не позволяет. Ну, темную ему, ну, вторую. Первый раз намяли бока, второй — проломили голову; а он все твердит: вера не позволяет. Ну, комиссовали — и сюда: ясно, как Божий день,— религиозный бред, шизофрения. Так ведь чистая же лотерея: принял бы присягу, а уж потом отказался приказ выполнять — и никакой тебе шизы, трибунал. Хорошо еще, не военное время. Тогда за такие фокусы шлепнули бы его на месте, не разбирая, больной или здоровый. Распускаем народ потихоньку, точно.

Да, тут люди как люди, как и всюду, надо полагать. Единственно, кто причинял и Голобородько, и всем серьезное неудобство,— это сосед Анохин, которому в воздухе не хватало кислорода. Беда. Даже ночью, бывало, как вскочит Анохин — и носом в форточку: дышать. Кто, орет, кто опять откачал из воздуха весь кислород, растак-перетуды-растак? Кто-враг-хочет ему смерти-от-удушья? Притом—морда страшенная, как бы втянутая в себя от ежесекундных попыток потребить весь кислород из воздуха и налитая кровью, как полная стопка; а эмфизема от борьбы за кислород такая, что палате от его кашля ни днем ни ночью покоя нет.

А так жить можно. Правда и то, что поместили Голобородько в отделение для тихих. Смирительную рубаху не надевали, и изолятора не повидал. Там, где буйные, там, говорили, дают прикурить... Там, возможно, и были Наполеоны. Например, говорили, там один дядя убил свою жену от ревности и, расчленив, пропустил эту жену через мясорубку. Чтобы замести следы. Самое интересное, на чем его взяли. Все вроде учел. Кости вымачивал в кислоте, затем дробил и вместе с фаршем спускал в унитаз, чтобы уж совсем бесследно. Но унитаз-то при этом непрерывно гудел. Соседи нижние и засекли. Это действительно: расскажешь — не поверят. Но все же и этот случай, представлялось Григорию Ивановичу, подвластен цепи нормальных рассуждений. Смотри: от ревности убить всякий может, так? Так. И если у человека все дома — он после убийства постарается следы замести, так? Так. И будучи человеком трезвого ума, он по уму и начнет действовать, верно? А ты ж не скажешь, что пропустить труп через мясорубку — глупо в плане заметания следов. Куда умнее. Ну а уже по-

сле мясорубки человек сходит с ума — а как иначе? Это неизбежно: не котлеты все же готовил — жену родную прокручивал. Чего тут не понять? Нет, и у буйных не бывает яичница всмятку; и у них все по логике вещей; а логику Григорий Иванович уважал, недаром был он механик и в чудеса не верил, а коль движок забарахлил — в нем и искал поломку.

Все путем. Утром, чин-чинарем, отделение обносят ведром с лекарством, вся палата, как положено, жахнет по полной кружке; чего там в ведре — одни врачи знают, на вкус дрянь — нет слов. Но врачи говорят — надо; а они знают, что говорят. Наука тебе плохого не пожелает. Хотя приятного мало, конечно. От инсулина трясет. Электрошок — вроде контузии. Приятного мало; зато полезно. Чтобы жизнь медом не казалась. Потому что нечего народ распускать.

Все путем; только вот санитаров Голобородько боялся несказанно. «Лечиться, лечиться и лечиться,— как говорил ваш Ленин»,— вместо приветствия выкрикивал всякий раз санитар Прохор, входя утром в палату и прицеливаясь, кого сегодня огреть для порядка. Шутник; из раскулаченных, а шутник. Он издевался над самым дорогим — и безнаказанно: кто с ним свяжется, когда прошел он Сибирь, потом штрафную роту, а санитары — на вес золота?

А однажды Григорий Иванович надерзил санитарам, попросив разрешения закрыть хотя бы днем форточки: дверей-то здесь нет, чтобы все просматривалось, а зима все-таки, сквозняк. Он надерзил, и они, конечно, покарали его специальным уколом, от которого двое суток жег его тело в каждой точке адский огонь. От огня этого не было спасу: хитрый укол склеил все члены так, что даже схватиться за болящее место не получалось. Но злее во сто крат проклятая сера жгла душу, узнавшую за двое суток страх смертной агонии и впервые измерившую неизмеримую глубину, потребную для помещения всего запаса тоски в человеке. С той поры он санитарам не перечил и укол получил еще только один раз, когда наказали всю палату за Анохина, сбежавшего на волю, в лес, где вопрос о кислороде, видимо, для него не стоял. Настырный мужик, турецкий его бог.

А так нормально. Дома-то у него пусто; отца он знал по фотографии, мать перед войной померла от рака мозга, оставив ему комнату 8,44 квадратных метров да наказ: чтобы имел в виду, что наследственность у него самая дурная и потому берегся бы пьянства и вообще меньше бы брал в голову и легче жил.

Дома один, как пес; а тут коллектив. Тут события. Приходит, например, Анохину передача, еще до побега. Там среди прочего бутылка молока, заткнута тряпкой, честь по чести. А в бутылке помещен противозачаточный прибор, тонкий-тонкий, эластичный — такие Голобородько показывали союзники в Тегеране,— и налит он до пределов растяжимости сорокаградусной, и ниточкой перевязан; а молоко, тонким слоем обтекая вокруг резинового пузыря, прекрасно его маскирует. Григорий Иванович, пьянство и без материнского наказа уважая не слишком, восхитился тем не менее остроумной технической идеей.

Тут интересные люди. И интересно, на чем у них загибон. Вот Кирилл, семинарист-недоучка. Этот свихнулся на том, что Бога нет. На том он тронулся, что — чистая правда, о которой каждый советский человек с детства осведомлен. Но Кирилл-то, отделенный от государства, думал: Бог есть. И вот, гляди-ка, рехнулся. Доказывал всем и каждому, что Творец всегда творит разумно, а мир, хотя с какого-то бока и кажется разумным, в целом неразумен. А коли мир неразумен, значит, у него нет Творца. А если у мира нет Творца, значит, он не сотворен. То, что не сотворено, того, по убеждению Кирилла, быть не могло. Тому просто неоткуда было взяться. Мира —

не было. Но он — был! Тут-то у Кирилла возьми и случись: по его словам, от возриновения великого смятохся он духом, а попросту — шарик из подшипника возьми да и выскочи.

Но, невзирая на этот плачевный факт, на Голобородько он сильно повлиял — идеей добра. Добро, учил Кирилл, церковники неправильно понимают. Его потому и надо делать, что Бога нет. Аще бы он был, то можно и без добра на земле: если земная жизнь человеку во испытание и наущение, то зачем облегчать ее добром? Испытуемый пусть помытарится как следует, а в пакибытии получит, что ему следует. А вот поелику нет жизни вечной и человек окончательно смертен, то ты ему хоть напоследок жизнь облегчи. «Напоследок» же — это вся наша жизнь, малое предстояние перед великой смертью. Так твори, говорит, Григорий, добро!

Сам Кирилл на добре и погорел. Ему сосед по квартире, Иван Сергеевич, судья, будучи зело под газом, поплакался на кухне, что-де нет больше сил давать от десяти и выше людям, которым, чтобы не болтали лишнего, может, хватило бы каких-нибудь пяти годков на лесоповале. Это было бы для них суровым, но необходимым уроком. Но статья ихняя ходовая таких сроков не предусматривает, да и что статья, когда... А душа-то живая, болит — просто беда; проснуться бы — а ты не судья, а... «Подсудимый?» — спросил Кирилл. «Ни-ни,— помахал пальцем судья,— не судья и не подсудимый, а такой, знаешь, кадр, которого, как ни крути, ну совсем не за что сажать. Ну нет на него статьи и не может быть».— «Это кто же такой?» — «А кто ж его знает. Я и сам думаю — все никак не придумаю». Словом, пронял он Кирилла, и решил тот соседу помочь. Думал-думал и ничего лучшего не изобрел, кроме как стырить у судьи партбилет, за утерю которого судью в числе прочих мер наверняка должны были уволить с работы. И вот в следующее их пьяное бдение на кухне, воспользовавшись тем, что судья, снявший пиджак и повесивший его на спинку стула, отлучился в уборную. Кирилл залез во внутренний левый, околосердечный карман пиджака и, как и ожидал, нашел там партбилет. Дальнейшее произошло, как тому и следовало быть: судью, рано или поздно вынужденного заявить об утере билета, вычистили из партии и уволили. «Конченый я теперь человек и подозрительный»,— пожаловался он Кириллу. «Лучше с чистой совестью,— ответил тот вдумчиво,— дожить до смерти массовиком-затейником, чем судьей пить без просыху».— «Массовиком — это если повезет,— сказал бывший судья.— Ну да от сумы и от... Если уж жизнь не задалась, хоть помереть по-людски».— «Истинно. Рад за вас, Иван Сергеевич».— «Хороший ты парень, Кирюха,— оттеплел сосед.— Хоть и из попов. Сколько я вашего брата пересажал ни за что, ни про что, вспомнить совестно».— «А и не надо вспоминать, Иван Сергеевич. Все мы грешны. Я вот перед вами, вы еще перед кем-то».— «Ты?» — «Я»,— и Кирилл вынул из кармана партбилет, думая, что сосед, вкусивший радости жизни с чистым сердцем, скажет ему слова благодарности. Иван Сергеевич остолбенел. Потом проглотил слюну, схватил Кирилла за грудки. «Ах же ты, морда поповская, ворье классовое! Да я тебя, когда восстановлюсь, я тебя, падло, пущу на полную катушку! Да я без партии... я за партию жизнь отдам. Зубами любого порву!» — «Не говори о жизни всуе,— наставительно сказал Кирилл.— Се бо слово «партия» латинского корня и означает — часть. А жизнь твоя, равно как и чужая, есть для каждого целое. Кольми же паче целое больше части, то есть человек больше партии!» Тут-то судья понял, кто перед ним, и вызвал санитаров. Так оказался Кирилл соседом уже не Ивана Сергеевича, а Григория Ивановича — по палате № 23.

Тут, в Томашеве, много чего услышишь. Слова узнаешь. «Ступор», например. Или «кататония». Или отмененное слово «подсознание». Отмененное, но занятное, если послушать бывшего психиатра Половинкина. Взять хоть его, Голобородько. Сознательно он выслеживал шпионов, а подсознательно — видел в каждом из них отца, которого ревновал к матери, и так ему мстил. Ладно. Но что ты скажешь, если отца своего Голобородько знал только по рассказам матери и никакой особой ревности испытывать к нему не мог? Так то-то и оно! Сознательно — да, не мог. А вот подсознательно — именно несуществующий-то отец и должен был вырасти в его подвоображении в куда более серьезную фигуру, чем если бы Голобородько его знал. Во как. То есть одни заграничные бредни — а остроумно придумано.

Этот Половинкин лечился здесь дольше всех, с 1934 года. Дело его, как он объяснял, состояло в том, что он — фрейдист, но не простой, а советский, наш, фрейдист-марксист. Когда же психоанализ разоблачили как пятую колонну в рядах отечественной передовой науки, Половинкин вместо того, чтобы перековаться, забузил. Стал писать во все концы, что несправедливо поступают с их братом, что-де фрейдизм и марксизм — близнецы-братья: оба, мол, исходят из того, что человек — животное, и оба согласны в том, что животное он не простое, а общественное; кроме того, и тот, и другой объясняют человечество при помощи базиса и надстройки, каковыми психоанализ признает «оно» и «я». И так далее. Вот пишет он и пишет, все выше, и выше, и выше; тут-то его враги и перековавшиеся друзья поняли, что пора его остановить. Ну, а когда зарвался он совсем и начались у него на квартире какие-то сборища, то всем стало ясно: налицо идефикс, навязчивость, маниакальные состояния — словом, полный синдром симптомов. Так психиатр Половинкин сам стал психом. Этому, впрочем, Голобородько не удивлялся: с кем поведешься, от того и наберешься; удивительным было скорее другое: почему они в таком разе все друг дружку в дурдома не засадят? Лечить некому будет? Но ведь это дело нехитрое — тут тебе любой со знанием дела даст по башке, завернет в мокрую простыню или принесет пару колес веронала.

Но что ни говори, идеи у Половинкина были неожиданные и забавные; а самая неожиданная та, что все люди — разные, и нельзя ни к одному подойти с общей меркой. Вот хоть бы в своей палате оглядеться вокруг — и увидишь: что одному выходит так — другому прямо противоположным боком. Что одному на пользу — другому во вред. У одного, скажем, загиб оттого, что Бога нет, у другого — как раз оттого, что, по его, Бог есть и что-то ему запрещает.

Словом, занятная жизнь была в Томашеве.

Плюс рационализация. За которую вышел Григорию Ивановичу плюс. Он на трудовом фронте делал коробки из картона. И чтобы не скучать, изобрел полуавтомат. Этот полуавтомат захватывал картонку и гнул в форму коробки; человеку оставалось только скреплять края. Тут обрадовались врачи и давай его поощрять. Скажи-ка, в обед лишний черпак перловки получал. Он пошел к врачам и предложил разработанную им модель уже полного автомата. Который и края за человека скреплял. Но врачам виднее. Им виднее. А они говорят: этак ты вообще человека от труда освободишь. Нельзя. Это в тюрьме труд освобождает. На воле он воспитывает. А у нас он — лечит. Так что и полуавтомата вполне достаточно.

Однако они поняли, что он не очень болен головой, если входит в их положение: трудовое лечение само собой, а план по коробкам в Томашеве еще никто не отменял.

Ну, они тоже люди; а у людей симпатия — дело обоюдное. Начали они его жалеть, начали лечить вполсилы. А как можно стало — выписали. Себе оставили его полуавтомат. А ему — справка об инвалидности и пенсия по справке 170 рублей. Конечно, «Беломором» не очень-то разживешься на такие денежки: это помножь 2 рубля 20 копеек на тридцать дней — больше трети его пенсии в дым уйдет. Но на «Прибой» хватит.

И вот он вернулся. Голобородько Григорий Иванович, также Гришка Шнобель (по причине длинного и несколько блуждающего в пространстве носа), также месье Грегуар (потому что к носу имелась тонкая полоска черных усов, бессменный черный берет и взгляд иностранца — не на людей, не внутрь себя, а — перед собой, щитком меж собой и людьми).

Вернулся он на круги своя, в коммуналку по адресу: ул. Самарская, 100, кв. 3. Комната в его отсутствие успела пустить седую щетину пыли. Голобородько дальнейшую самодеятельность комнаты прекратил и, утвердив себя хозяином в доме, стал оглядываться. Соображать, что у него есть для жизни.

Раньше он не жалел, что не имеет близких и семьи. Сперва война, потом работа. После работы — любимое увлечение: надо же его, голубчика, выследить, надо его связи раскрутить и так, чтобы самому не засветиться. И вот все коту под хвост. Работа, любимое увлечение — коту под хвост. Скучно. Справка, по ней и живи.

Но Григория Ивановича скучать не приучили. Он без занятия не оказывался с детства. И оглядевшись, заметил: имеется в его хозяйстве сарай. Как и у всех, во дворе, напротив дома.

У Григория Ивановича имущества было не очень, чтобы его еще куда-то складывать. Так что он о сарае давно и прочно забыл. И вот вспомнил.

Он после бесед с Кириллом вспомнил, что в детстве и сам хотел делать людям добро. Тем более теперь появилось время. Было помещение. И были люди, которые позарез нуждались в помещении. Потому что не всякая жена любит, если муж пьет прямо при ней. А на улице распивать неуютно. И таких несчастных знакомых у Григория Ивановича хватало.

Сам-то он пил мало, но людей понимал. Не всякий же может шпионов ловить или детей воспитывать. Что ж его — убивать теперь?

И начал Голобородько помогать людям.

Но и себя он тоже понимал. Во-первых, во дворе жили больше женщины — пожилые, хозяйственные, и шума даже по праздникам не любили. А двор стоял в центре и был двором проходным, как демонстрация и оцепление — так скопом лезут через двор, в обход оцепления, к площади Куйбышева, где военный парад и зеленые танки. Во-вторых, хотя Григорий Иванович и плевать хотел на вопросы трезвости, но всему предел положен. Ханыг, рыгал и прочую гадость он не приветствовал. Нет, не приветствовал.

Григорий Иванович отбирал для оказания помощи серьезных людей: с душой, уставшей от непонимания, но еще не конченной от слишком долгого непонимания. Раз. Тех, кто не стеснялся бы водиться с психическим. Два. Таких, которые имели право звать его Шнобелем. Если же они приводили с собой своих, не знакомых Голобородько друзей, те уже звали его или по имени, или гордым прозвищем «месье Грегуар».

Сарай он освободил от старого тряпья, банок, корыта и гнилых досок. Крысиные дыры заделал намертво кровельным железом. Щели зашпаклевал, стены, чтоб не сильно гнили, покрасил. Стол обстругал добела и шкуркой зачистил — против заноз. Засветил лампу в сорок свечей. И когда друзья принесли стаканы, вилки, табуретки, топ-

чан и козлы для топчана, сделался полный ажур и состоялось торжественное открытие. На открытии каждый из шести приглашенных обнаружил свой собственный вкус; было принесено: бутылка водки «Столичная», бутылка водки «Крепкая» 56°, бутылка «Особой», две бутылки портвейна три семерки, бутылка цветной водки «Охотничья» и бутылка армянского коньяка три звездочки. Колбаса — краковская, любительская, докторская и ливерная трех сортов. Яйца, хлеб, огурцы, лимонад. А от себя Шнобель поставил семь бутылок жигулевского пива — по бутылке на нос. Чтобы все поняли: здесь не какой-нибудь шалман, а хорошее место для приличных людей.

Было постановлено: сарай назвать «Самарский клуб» (а не «Офицерский», как кто-то предложил,—по причине отсутствия офицеров, — и не «Культсарай», поскольку так уже прозвали в народе кинотеатр «Культкино»), кулаками не махать, шуметь и материться при закрытой двери, расходиться не позже одиннадцати. А к холодам сделать розетки, купить на четыре угла лампы-рефлекторы, деньги на электрический обогрев и освещение платить вскладчину, причем со Шнобеля по инвалидности денег не брать.

Конечно, Григорий Иванович опасался стервозности. Элемент стервозности присутствовал. Две семьи соседей — Клавдия Соколова и Берта Моисеевна — ему симпатизировали: во-первых — единственный мужчина в доме, во-вторых — мирный. Само его наличие уже разряжало дамскую обстановку. Тем более некому его ревновать, если он картошку поможет донести или керосина подкупит на всех. К тому же больной. Но вот третья семья, прямо за фанерной стенкой, одинокая крашеная блондинка Валентина с дочкой, на вещи смотрела по-иному. Эта Валентина сильно желала воспользоваться тем, что Голобородько стал психованный. То есть упрятать его в Томашево насовсем и расширить за его счет свою жилплощадь. Активной стервозности Григорий Иванович не любил, тем более на свой счет.

Поэтому риск был. Но волков бояться — в лес не ходить. Пусть докажет, что он дебоширит. Пусть. У него все тихо-мирно. У него свидетелей хватает, что все тихо-мирно. Главный расчет был, что Берта Моисеевна и Соколова Клавдия его не выдадут: Валентина без него всех съест, тем более на пару с дочкой, когда та подрастет.

Расчет оказался правильный, единственно что — Валентина начала мстить. Такая женщина. У нее даже в уборной был свой гвоздик, и накалывала она на него не газету, а такую грубую бумагу — чистый наждак. Она и свою задницу не щадила, не то что — что. Надоставала пластинок и к ночи врубала патефон. Как ему спать — из-за стенки голосом Лещенко: «Дуня, люблю твои блины». Или это: «Мы любим числа пятое — двадцатое и в эти дни живем не хуже королей, и в эти дни не сходит с уст крылатое: «Хозяюшка, вина налей!». И вот — пошло четвероногое системы «Топтыгин»: Валентина дочку обучает танцевать. Но Григорий Иванович на эти номера после войны и томашевских ночек плевать хотел. Он знал точно, что́ украшает мужчину. Невозмутимость — вот что украшает мужчину в коммунальной квартире. А с фенобарбиталом эти финты ему — что слону конфетка. Кончится очередная пластиночка — просвистишь невозмутимо в ответ: «Закаляйся, если хочешь быть здоров», таблетку в зубы, одеяло на ухо и — на вылет.

В «Самарском клубе» игрывали в подкидного, забивали и «козла», но в основном время текло в беседах.

Привычку подразделять людей Шнобель не оставил, но видоизменил. Друзья делились на: нормальные люди; толстый и тонкий; особенный человек.

Нормальные — они и есть нормальные. Их и по именам не упомнишь; так — у одного заячья губа, у другого волчьи уши. У одного голос хриплый, у другого сиплый. Нормальные. И говорили о нормальном — о бабах применительно к практике, к технологии их эксплуатации. Делились опытом. Шнобеля, конечно, все эти интересные положения щекотали, особенно когда речь шла о женщинах, ему знакомых только в одежде и в серьезном настроении. Однако самому по этой части делиться было почти нечем, да и не понимал он преждевременной охоты всем без остатка делиться. Можно пока еще коечто оставить и себе; ведь не при коммунизме еще живем.

Толстый напоминал более всего знаменитого артиста Хенкина, если бы того какой-нибудь уличный продавец надул через катушку водородом, подобно воздушному шару, до пределов расширения организма. Речь он вел о серьезных предметах: о политике Трумэна и о маршале Жукове. Звали его Глеб Борисович, и Шнобель его уважал за всеобщую образованность: какие именно сорок восемь штатов в Штатах, и какую страну освобождали войска 2-го Белорусского фронта, а какую войска 1-го Украинского фронта, и почему у евреев пасха раньше, и сколько было любовников у Екатерины II — все знал Глеб Борисович, а заводил он беседу, как правило, в стиле таком: «Вчера по радиовещанию передавали репортаж из Государственной публичной библиотеки имени Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина...»

А худой, с мордой уголовника: стрижка ежиком, на темном лице светлые глаза без ресниц, рот узкий, лоб молодой, а в морщинах,— худой, тот наводил шороху. У него, видно, был зуб на весь мир, что́ зуб — волчий клык, и имечко волчье — Толик, Толян. Толян все удовольствие портил. Он каждого норовил подловить — и давай мотать жилы. Насчет баб задавал такие вопросики — хоть стой, хоть падай. То есть на вид простые вопросики, а поди ответь. А не ответил — значит, сам ты опять же дурнее трактора. Борисовича заставлял вспоминать имена-отчества родственников всяких знаменитостей, вроде дяди Пушкина, и разные цифры удоя и урожая и очень смеялся, когда удавалось посадить ученого толстяка в лужу. А Шнобеля просто провоцировал. И как? Зная, что у Голобородько конек — шпионы, вот тут он, Толян, его и провоцировал. Завел, например, беседу с Глеб Борисычем и специально договорился до того, что холодная война потому и война, что ведется равно обеими сторонами. И нам о них правду не говорят, как и им о нас. На то, мол, и война. И светлым глазом — в сторону Голобородько. Не может без острых ощущений.

Ну, тут он правильно вроде рассчитал: за такие речи раньше отвел бы его Григорий Иванович на Степана Разина, 37. Но — думать надо, а не хлопать ушами: теперь-то он на мормышку не клюнет. Голобородько разъяснили — Голобородько понял. Правда, если откровенно, Григорий Иванович и теперь по обеим сторонам улицы глядел. Шпионов он за версту чуял. Не мог он себе не верить. Но начальству он верил больше, чем себе, и коли вышло постановление, что ум у него не государственный, он больше в государственные дела не лез. Интереса не проявлял ни к Трумэну, ни к маршалу Жукову. Пусть, кто хочет делит меж собой все сорок восемь штатов, а у него и в Куйбышеве пока что раки к пиву имеются. На «Прибой» хватает.

Вот что сказал он Глебу и Толяну со злым его зубом и свистящим голосом. Хотя Толика он по неизвестным причинам жалел, почти любил — за то, что втыкал тот ему палки в колеса без скидки, как здоровому. Не считал стебанутым. Даже острота его злости приятнародственна была Голобородько.

Иногда, на какой-то рюмке, в душу Григория Ивановича вползал

откуда-то злой жар, пыл негодования. Не своим голосом рвался он обличить собутыльника в неправедности жизни, в неуважении к близким и т. д. и т. п. Сказанное бывало столь очевидно справедливым, что упомянутый собутыльник только успевал исходить слезами раскаяния... А между тем не оно, чужое раскаяние, было целью пылкой речи Шнобеля, но только сладкое помутнение собственной души, сладкое тем больше, чем больнее уязвлял он собеседника, чем выше воспарял его ставший козлиным голос. Потом Шнобеля мучил стыд, но вновь и вновь не мог он совладать с этой внезапной и болезненно-сладкой злобой и потому Толяна не судил, но понимающе как бы играл в поддавки.

Но больше всех в компании привлекал Шнобеля особенный человек, Аркадий Яковлевич. Тот, что принес на открытие коньяк. Особенным он был не потому, что ходил всегда в пиджаке и галстуке, и даже не потому, что имел калининскую, клинышком, бородку, его же круглые очки и даже картуз всесоюзного старосты, а потому, что интересовало его в жизни только вино и в то же время пил он — мало. Аркадий Яковлевич до войны был дегустатором в крымских краях, в Массандре; в войну же вкусовые пупырышки своего языка, а также обоняние испортил махоркой и спиртами всевозможных видов. Теперь с ходу отличал хлебную водку от картофельной или свекольной, но работа в Массандре ему больше не светила.

Устроившись по смежной специальности бухгалтером на Куйбышевский ликеро-водочный, Аркадий Яковлевич, однако же, любимого дела не забыл и, обретя в лице Голобородько благодарного слушателя, давал ему уроки дегустации на общественных началах: поднимал бокал на свет, слегка взбалтывал, нюхал, втягивал глоток-крохоток, языком-пропеллером разбрызгивал его по полости рта и, наконец, запрокинув голову, блаженно проглатывал. Да плюс к тому имелся у него альбомчик с этикетками вин редких, заграничных, и когда показывал он альбом и произносил «Иоганнисбергер», или «Херес де ля Фронтера», или «Шато-Марго», по спине Григория Ивановича пробегала сладкая щекотка.

Шнобель поначалу не мог понять, как разделить «букет» на составные. Но, поупражнявшись на кухне различать в ее «букете» тона и оттенки керосина и жареного лука, хозяйственного мыла и постного масла, понял, что нюхательными способностями его Бог не обделил.

И он внюхался. Нравилось ему такое хитрое дело, что пить с толком значило мало пить, а времени проводить много. Он вошел во вкус. Аркадий Яковлевич кивал поощряюще всесоюзной бородкой, находя в нем задатки, а Григорий Иванович мало того, что уже не воротил нос по народной традиции от кислятины, но уже запросто отличал полусухие от полусладких. И не только полусухие от полусладких, но и сортовые от купажных. И даже среди сортовых различал сорта. Наконец, уже и внутри одного сорта мог определить, какое, скажем, каберне перед ним — «Абрау» или же молдавское, а если молдавское, то какое — ординарное или марочное.

А так как в 1951 году в городе Куйбышеве все это добро за добро не считалось, то и стояли они штабелями, вина всех цветов, от светло-соломенного до темно-золотистого. И как-то само собой по истечении времени перешли в «Самарском клубе» к кагорам и портвейнам, к богатой дубильными веществами солнечной мадере и к хересу, в котором культивировались тона фруктов и каленого орешка...

И вот, когда поднялись до высот и взошли к коньякам горной Армении, Шнобель начал думать. Он стал вникать. Таблетками выбили из него общую активность, и только подавленная мысль бродила по свободной от постоя душе, находя себе каждый раз одни-единственный предмет, превращаясь в один-единственный технический интерес, на котором Шнобель временно весь, говоря языком Томашева, п р и т а р ч и в а л.

Сейчас он приторчал вот на чем: на остроумном техническом действии спиртного. В трезвом состоянии человеку без дела скучно. Удовольствия ли ради или в серьезных целях, но он вынужден заниматься делом. Работать, даже если, представим, по непригодности никто тебя на работу не гонит. А в поддатии — душа и незанятая радовалась. Она извлекала радость не из дела, а из себя же самой. И невозможную эту штуку проделывало с душой простое снадобье с известной формулой: C_2H_5OH.

Факт: вещи, вообще всякое благополучие, все оно, вместе взятое, само по себе равнялось собачьему хрену. Если один стакан водки — и человеку лучше, чем от любого благополучия; главное, один стакан — и человек спокойно может безо всего этого обойтись час, два, сутки... а там — еще стакан... Если так — а оно так. Так оно и есть! Жизнь человеческая снаружи состоит из действий, внутри же из переживаний. Значит, надо так отладить машину, чтобы всякое твое действие вызывало единственное имеющее смысл с а м о п о с е б е переживание — удовольствие. И вызывало бы наиболее экономичным путем. Максимум КПД. Трудная задача. Что ж, на то Голобородько и советский человек, чтобы решать любые задачи.

Трудно поверить: Шнобель пришел к бредовой, как и все обгоняющие время мысли, идее Абсолютного Удовольствия в годы, как известно, серьезные и для удовольствия мало оборудованные. Наверное, он и не пришел бы к своей идее, если бы оставался полноценным гражданином, был бы частицей общего прогресса. Но он выпал из процесса прогресса по воле случая, и глупая воля случая породила в нем завиральные вихри.

Весною собрания клуба переносились на свежий воздух, к пивному ларьку. На Тургеневской, рядом с Покровским собором, втаптывали под благовест колоколов алые рачьи доспехи и серебряное рыбье перо в землю, мягкую и жирную от пивной пены. На углу Красноармейской и Арцыбушевской, у замечательного ларька с оконцем в резных наличниках, начиналась новая, еще противная столбовым самарским пивникам мода: продавать к пиву плавленые сырки «Новый» и «Городской».

Но чаще отправлялись в «кругосветку» — по цепи ларьков от Троицкого рынка до Речного вокзала. В пивном треугольнике — в Песочном переулке, на Бугре, на Пионерской, рядом с баней,— надолго застряв у любого из трех киосков, трескали раков с заржавленными брюшками и скрюченными, приваренными к брюшкам лапками. Голобородько не любил раков за их как бы металлические покрытия и способ питания — падалью; ел только клешни и хвосты, и вся остальная компания охотно дохлюпывала за ним зеленоватую жижу раковых животов и голов. Толик и здесь мутил публику разговорами о холодной войне и железном занавесе — не мог без острых ощущений! — но все сходило с рук благодаря шаровидному Глебу, который тут же успокаивал народ веским словом и политической правильностью.

Отличная была жизнь. Хотя и опасная. На Речном вокзале, в самом старом районе города, по улицам Венцека и Обороны жили ребята веселые, загорелые и разрисованные. Предпочитавшие физическую культуру всякой другой. Им лицо набить, по шее накостылять, ребра посчитать, всего человека разделать под орех — доставляло моральное удовлетворение.

Но членов «Самарского клуба» никто бы не тронул, все-таки шесть-семь мужиков, что ни говори, приличный понт. Никто бы не тронул, если бы не опять же Толян. С ним на людях показываться — одно мучение. Его уже после второй кружки интересовали вопросы типа: «Что-то я гляжу, ты что-то на меня смотришь». И — понеслась коза по рельсам. То есть попросту: есть у тебя хотя бы связка ключей, да не задержится ею звякнуть наотмашь — тогда еще ничего. А нет — все, труба. Веселые ребятишки.

И тут впервые Голобородько столкнулся с фактом своей популярности в массах. В очередной раз Толяна повело, и на сей раз достал он соседей, пошла куча на кучу, кто с кулаком, а кто с колом. А из Григория Ивановича какой боец, он с Томашева не то что от физической силы — от громкого окрика чувствовал сильный ужас в низу живота. И вдруг из той кучи голос: «Да это,— орет,— Грегуарова бригада! Они вон с тем козлом все вина втемную знают, бля буду!» Разжались кулаки, упали наземь колы; повели Григория Ивановича и Аркадия Яковлевича в пункт розлива, в угловой магазин, и там, завязав обоим глаза, начали, не жалея рубля, их умение проверять. А день был — получкин. Подносят им стопарь за стопарем, а те, только нюхнув: это, говорят, рябина нежинская, та на коньяке, а это «Рябиновый крем». Это портвейн № 13, говорит Шнобель, а тот № 777... А это, вторит особенный Аркадий Яковлевич, далеко не всю квалификацию потерявший, это и вообще не портвейн, а азербайджанский кагор, скорее всего «Араплы», но могу ошибиться, потому что смешан он у вас с крем-содой. И точно, был то кагор, и точно азербайджанский, а что не простой «Араплы», а марочная «Шемаха»...— миловать так миловать. Открытые бутылки распили на всех; с тех пор клуб имел в районе от Речного вокзала до так называемого Бугра-на-Самарке гарантию безопасности при условии нейтрализации Толяна. Толян под угрозой исключения из клуба нейтрализовался, только еще больше допекал теперь Шнобеля и Глеба.

Но Григорию Ивановичу было уже не до Толяна. Над ним теперь тяготела мысль об освоении технологии управления душой.

Он стоял с тяжелой стеклянной кружкой, полной настоящего жигулевского пива. Поднимал на свет, смотрел глазами, нюхал носом, пробовал на язык, глотал глоткой. Золотисто-медовое пиво было полно маленьких шариков; иные из них держались у стекла неподвижно, а иные пробирались вверх быстро и извилисто, пытаясь друг друга не задеть. Живая пена, тая, образовывала кружево у стеклянных стенок. Пиво издавало пронзительно-сырой запах речной воды и хмеля. Вкус его соединял обещанные цветом и запахом сладость и горечь; в кровь же входило оно, будто раскрывая поочередно внутренние двери, чтобы организм продуло жгучим сквозняком алкоголя.

Шнобель смотрел на Волгу. Расходясь от точки солнца, убывая к горизонту, небо сияло над серой, стального отлива, огромной рекой. Ленивая сила течения влекла Волгу вниз, к Астрахани, где Голобородько никогда не был.

Он думал: внутри Волги плавают карпы, щуки, чехонь и чебаки. На дне ее окопались раки. Весной ее оккупируют коряги, зимой она держит лед. Она терпит пароходы, и пловцов, и утопленников. Все они не могут обойтись без реки. Но река без них обойдется. Она проживет сама с собой, безо всякого Якова. И не соскучится, вот же ты, ежь твою двадцать.

Осваивая технологию управления душой, Шнобель стал наблюдать за жизнью реки. Он увидел: тихая сила, работящая лень. Еще: равномерность движения. И тусклое золото ночных огней на той стороне черной реки,— последнее словесному обозначению не поддавалось. Григорий Иванович, впрочем, и преследовал цель внесловесную.

Лучшим местом для проверки наблюдений и дальнейшей их разработки оказалась баня. Ранее Голобородько баню терпеть не мог. Его и простой процесс ежедневного умывания удручал крайне, причем даже и не коммунальной своей сиростью — липким холодом кухни, соглядатайством соседей, шлепками мокрой грязи. Все это терпимо. А вот чего терпеть нет мочи: умылся — запачкался, запачкался — умылся. Каждый день, от рожденья до могилы. А смысл? Смысл, екорный бабай?

Шнобель с детства был воспитан в вере в общий смысл жизни — стало быть, и каждой из ее частностей. Необходимость же ежедневного умывания противоречила его вере, превращая жизнь в сказку про белого бычка.

Что после этого сказать о бане, где ненавистное мытье, затягиваясь надолго, становилось трижды ненавистнее? Где стадо мужиков осатанело секло само себя березовыми прутьями, где отвратительно грохотали шайки и лилась по полу мыльная вода с чужого тела. Где мокрый пар цвета рыбьего глаза, ежь твою двадцать.

Но теперь, когда начал он жить для удовольствия, дела и оценивались по степени важности только в связи с количеством удовольствия, которое они приносили. Интересно особенно было перевернуть всю старую схему и извлечь максимум удовольствия из минимума дела. Возвести в дело — безделье. И вот тут-то баня оказалась вдруг — самое то; и Шнобель, отнесясь, наконец, к ней не как к вынужденному средству личной гигиены, а так, как она того заслуживала, открыл в бане целые миры, куда он путешествовал телом и духом.

При помощи только воды и пара — той же воды, заметь, в союзе с огнем — он то терял форму тела вплоть до того, что сказать не мог бы, не знай он заранее, сколько пальцев у него на руке, да и есть ли они, если же есть, то где помещаются,— то вновь находил свое тело, причем в каком-то новом, концентрированном виде (вот, может быть, сравнение: сухой спирт?..). Обретя, наконец, сладкое чувство физической относительности своего существования, он засыпал на скамье в раздевалке и спал без сновидений.

Одним словом, Шнобель провел большую работу над собой и вот — с полным правом стал не только ответственным сараевладельцем, но — душой компании.

Лампочку он занавесил желтым глухим абажуром, чтобы было вроде огонька на той стороне. Стаканы заменил рюмками и с трудом, но ввел в устав пункт — пить не часто, а так, раз в двадцать минут. И стал пробовать заводить такие разговоры — как бы ни о чем, но о приятном,— чтобы люди настраивались на единое слабое дыхание. Есть ли, например, жизнь на других планетах. Или: кто кого заборет, кит или слон?

Плоховато у него это получалось, приемами речи он не владел. Не совсем его поняли. С горечью это увидев, Шнобель кое-как перебивался собственными силами, а сам ждал — не появится ли кто. Единомышленник и плюс к тому речевик-затейник, и притом с добродушным темпераментом.

Но не дождался. Началось такое, хуже чего в кошмарном сне не увидишь. По причине растущей популярности.

Конечно, где семь, там и восемь; где восемь, там и девять. Но за девятью пошло такое воинство, что уже без цифры. Боже, сколько их оказалось, тех, что обрадовались: тепло! Поперли в телогрейках и солдатских шинелях, ремонтники и грузчики, пропойцы и инвали-

ды — всяческая голь перекатная. Пришел даже один поэт, он же журналист, отставной — по причине румяного носа. Говорил, что записывает картины самарского быта, а кончил тем, что за кружку пива прочел некультурный стишок своего сочинения; в поэзии члены «Самарского клуба» не слишком понаторели, но поняли: липа. Однако поэта напоили по-братски. Пришел даже участковый Гуняев. Пугал пистолетом системы «ТТ», потом заплакал, сказал, что ночевал трое суток на понтонах, просил вернуть жену и детей. Сочувствия не встретил: прежде сильно бесчинствовал. Помолчали, подождали, пока сам уйдет. Приходили Радаев, Мостовой, Вовка Бриллиант — городские спекулянты, битые волки, пуганые вороны, стреляные воробьи.

Заходил батюшка, похожий в своей мягкой коричневой шляпе на крепенький боровичок. Решив, видимо, что образовалась новая секта, пришел поинтересоваться.

Шнобель религию не уважал с пионерского возраста. Он хотя и много думал о душе, но, конечно, знал, что религия не права. Однако ее и не боялся. Его в Томашеве Кирилл научил. Если церковник начнет приставать, задай ему вопрос. На ком женился Каин в земле Нод, если, кроме него, Адама, Евы и убиенного им брата Авеля, на земле людей больше не было? А если церковник все-таки не уймется, еще вопрос. Как так получилось, что Христос речет: «Не мир я призван принести на землю, но меч и разделение», и Он же зовет возлюбить и врагов своих? Почему мы должны Его трепетать как судии грозного и неумолимого, когда Он же говорит: «Или не знаете, что не судить я пришел мир, но спасти?» Если поп хороший,— он скажет только: «Прости, Господи, раба Божьего Григория»,— и с тем и отвалит. А если на оба вопроса как-нибудь там диалектически возьмется отвечать, то он обманщик.

Батюшка в мягкой шляпе оказался хорошим. Да Голобородько его и не боялся.

Он другого боялся. Что весь двор уже в яичной скорлупе, что о стеклянный бой дети ноги поранят. Что шумят. Ну, не умеют еще наши люди тихо себя вести, хоть ты что. Не понимают даже азбуки конспирации.

У Берты и Клавдии Соколовой все долго держалось на привычке, на инерции дружеского общежития. Но всякому терпению есть предел; стали они поскрипывать. Стали родственников мужского пола звать. А те хватят с Голобородько стакана̀ и — гнев на милость.

Но ведь есть еще на минуточку Валентина. У ней телефон 02 набрать не задержится ни при каких обстоятельствах. А кому, спрашивается, это нужно?

Ситуация типа «туши свет». Между прочим, на Степана Разина тоже не дремлют. Допустим, до сих пор на «Самарский клуб» глядели более-менее спокойно, провинциально-домашним глазом: все-таки наш человек, подзаборник, никогда по контрухе не шел, да и Голобородько, думал он без ложной скромности, должны были там помнить как политически выдержанного — пусть он и ошибся разок, себе же во зло. Но ведь на все своя мера; резкое увеличение скопления уже само по себе если не было врагнарожеством, то во всяком случае подлежало строгому контролю. Они сначала проконтролируют, выявят, что им надо, а потом — ой-ей-ей... И хоть бы кто-нибудь, кроме Голобородько, почесался! На тот хотя бы предмет, что в клуб вот-вот будет введен, а скорее всего уже и введен и х человек!

Шнобель и так, и этак, он все-таки понимал приемы разведки-контрразведки. Уж он своим ближним-то рты, как мог, позатыкал. Даже Толяну втолковал, наконец. Он чутко ловил, и, если кто Есенина вдруг запоет «Глухари», или жаловаться начнет на пиво, что хуже стало, или еще как на контруху спровоцирует, он на него кидал Глеба Борисовича, и тот вместо контрухи — такое н а ш е, что первомайская трибуна заплакала бы.

Но, понятно, это не жизнь. Да и публика отпетая, что ты тут кому внушишь? Сильная рука нужна, а у Голобородько какая в руке сила? У него и в голове силы нет.

Все прут. Сорят, базланят. Разлагают последнюю дисциплину, екорный бабай.

Уже и кадровые клу́бники на устав и самого хозяина плевать учатся. То ли по русскому обычаю: что имеешь — не хранишь, то ли по наивреднейшей человеческой особенности: то, что тебе дают даром,— к тому привыкать, как если бы тебе оно по норме полагалось. В общем, жизнь бьет ключом — и все по голове. Гляди, вот-вот... запишут тебя в правосторонние!

Надоело это Григорию Ивановичу под самую завязку. Выше крыши. Сколько можно под топором ходить? А выгнать — это он разучился. Сам не заметил, как добрый стал. Не может разогнать, и все.

Тяжелый случай; как говорится, бывает хуже, но реже. По счастью несчастье помогло. Сделалась у него от разных напитков язва двенадцатиперстной кишки. На «Спотыкаче»-то он и споткнулся. Последний это был в его жизни «Спотыкач». Шутки шутками, но опять — больница. Закрылось предприятие само, раньше, чем его закрыли, слава Богу. И уж как вышел Шнобель снова на родную землю, как ступил на улицу Самарскую, открывать клуб не стал. Все, раздача кончилась.

* * *

В марте пятьдесят третьего были плач и паника; ждали войны, голода; старухи несли о пришествии зверя, конце света, и Берту Моисеевну выкинули из трамвая прямо на ходу. Ваши, кричат, нашего отца отравили, а все вы, известно, в кровном родстве. И — шварк. Бойкая была тетенька Берта Моисеевна, на всякую жизненную трудность отвечала ихней поговоркой: «Гринг из ин бот писсэн унд тринкен тэй зиссен», сиречь: легко только в бане пи́сать да пить сладкий чай. За словом в карман не лезла, а вот упала посреди улицы, бок отшибла, ногу подвернула, ртом воздух ловит. Полегчало — она в голос, дескать, жить не будет. Несознательная это все-таки публика, хотя, говорят, многие из них революцию начинали. Вроде даже сам Свердлов; да и сейчас — Каганович. В самой Москве метрополитен построил. Ну, башковитых у них хватает, это ежу известно; а не хватает у них массового сознания. Тут у всего народа горе, а они все — со своим личным национальным вопросом. В горе человек и не то тебе брякнет; а тут — вредительство. Злодеяние в мировом масштабе! Что после этого человеку думать о евреях? Хотя Берта, конечно,— ни ухом, ни рылом, но и ей надо понимать: вина на всех одна.

И только Григорий Иванович в пятьдесят третьем не плакал. Все понимал, а вот переживать не очень получалось. То ли у него гражданское чувство отключилось начисто, то ли язва проклятая мешала. Но так или иначе, а замкнулся он весь на себе. Другие заботы както потеряли вкусовую ощутимость. Не получалось чувствовать умершего вождя, как прежде — живого. Да и войны бояться — это нужно здоровое воображение иметь. А голода — здоровый аппетит. У Голобородько же воображение было с загибом, а по части аппетита жил он по выходе из больницы в основном на овсянке трех сортов — жидком толокне, овсяных хлопьях «Геркулес» и просто овсяной ка-

ше под названием «каша и-а». Плюс много воды и мало соли. И аппетит у Григория Ивановича стал такой незначительный, что спокойно мог он перейти с овса хоть и на сено, в случае очередного военного положения.

Так что он не плакал. Тем более, у него кое-что радикально переменилось в личном плане. Появилась у него женщина, Надя, Надежда Петровна. Не кто-нибудь, продавщица центрального гастронома. На углу главных улиц, Куйбышевской и Ленинградской. В рыбном отделе. Притом видная женщина, тридцати трех лет, серые глаза, два золотых фикса в нижнем ряду. Зимой ходила в черной котиковой шубке. Волосы красила в каштановый цвет, прическу делала типа гребня волны надо лбом, а по бокам локоны. Загляденье, не женщина.

Григорий Иванович сам не мог понять, как это такая женщина польстилась на какого-то Шнобеля. Но факт: сосватали его к ней ремонтировать домик. В центре, на Чапаевской. Частичный, понятно, ремонт: подбить-подклеить, проводка... Она ему пузырь, как положено, на кухне, он отказывается. Ну, заинтересовалась: оригинально, мастеровой, а непьющий. Усы, беретка, все такое. Усы-то она видывала, я думаю, и прежде, но — разговорились. Конечно, он ей о справке поначалу стеснялся, а так — о жизни, о душе. О реке Волге и огоньках на той стороне. Надежда слушает и осязаемо теплеет, словно бы вспенивается. Понятно, все же полегоньку-потихоньку, будто бы одна стесняючись, а выкушала чуть что не пузырь. Оно хоть и из хрустальной рюмки, хоть и под селедочку залом (подпол у нее, скажите, а в нем — ого-го!), однако все же сорок градусов есть сорок градусов, пузырь есть пузырь, и его ни одной женщине бесследно не принять.

Стали посуду вместе мыть, а у нее ручки полные, под белой кожей бежит по многим сосудам красная кровь, а сама эта кожа, чем больше он говорит, тем сильнее почему-то гусиными пупырышками покрывается. Что ты!.. Роняет она тут тарелку, само собой, кинулись подбирать, да лбами и... И вдруг Надежда, смеясь, его быстро — хвать и медленно, с толком, с горячим, нежным перегаром, целует. Прямо на корточках, посреди осколков. «На счастье!» — говорит. Губы ее эти большие, но не мокрые, а — влажные. Снаружи бархатного ворса, изнутри шелковой гладкости.

И Шнобель просыпается в ее квартире. Ее нет, ушла на работу. Он идет в отдельную уборную, идет в светлую, отдельную же кухню. А там... там на отдельных тарелочках сырок-балычок-колбаска, хлеб уже тонко нарезан! Из-под белой салфетки тянет китайским чайком. И записочка: ешь-пей, целую. Григорий Иванович убрал все это, только чайком попользовался, а сам вспоминает, что ночью было. А было такое, о чем Голобородько думал раньше — мужики сочиняют про все это разнообразие. Так нет же! Все, как в жизни. Но что интересно: так, да не так. Лучше. Вот оно где самое-то нужное для души прячется, скажи пожалуйста. На фронте было раз, да еще полраза в госпитале: не разобрал он вкуса. Кому скажешь — засмеют, но факт: не разобрал. А Надя, это... это же вообще!.. Плохо только, среди ночи расчестнился, сказал про свой диагноз. Даже насчет шпионов рассказал, даже про Томашево. Полуавтоматом захотел похвастаться, вот и раскололся. Женщина, она, по рассказам, даром что ночью жалостливая, днем она бывает совсем другая. А может, они все шизофренички? Не совсем, но все-таки? Не мешало бы их, если так, для профилактики в Томашево на полгодика каждую. Небось, и Надя тоже его застесняется. Подвел себя.

От напряжения чувств дома его внезапно повергло в сон среди бела дня. Сон был редчайший: приснилось то, что еще не легло в мешок подсознания, чтобы его оттуда, перетряхнув, втемную доставать. То, что вот, вот только что: тело белизны и тающей пышности пивной пены. И золотой завиток, растущий из коричневой, ноздреватой кнопки соска, словно из родинки.

Пойти к ней,— а вдруг выгонит с треском? Столичной-то водочкой любая голова затуманится, это да. А вот трезвая... Правда, записочка. Ну, культурная женщина, он тоже должен понимать. Ждать ее,— а она его адреса не знает. Вот они какие пироги...

Два дня мучился Григорий Иванович в поисках решения. Мучился и в то же время испытывал большой, захватывающий подъем. Давление крови поднялось и не опускалось даже во сне, хотя сон все-таки наступал под действием люминала. Это новое состояние организма — состояние острой нехватки другого организма — почему-то не пускало его на улицу и, напротив, гнало делать домашние дела. Два дня подряд мыл он полы, заменял пробки, чинил примусы и керосинки, точил ножи-ножницы, делал крючки и засовы и выводил клопов по всей квартире. Добрался даже и до мышей в чулане — зверья домашнего, но не прирученного еще никем до сих пор. Что ж, коли не приручить, мы тебя со свету сживем. И сжил путем остроумной хитрости: хлебных шариков с гипсовой начинкой — мышь съест, водички попьет, гипс-то у нее в пузе и закаменеет,—порадовав Берту с Клавдией Соколовой и удивив Валентину до крайности. Он починил кухонное радио, и на третий день хозяйственного экстаза, в момент, когда Берта Моисеевна радовалась, а Валентина злилась, слушая сообщение о невиновности врачей-вредителей, нашел решение вопроса.

Он надел берет, натер черной ваксой бывшие рыжие полуботинки и направился в гастроном. И попал прямо в обеденный перерыв. Дождался конца перерыва и, чувствуя в животе тяжесть четырех стаканов газировки с яблочным сиропом, вошел. В рыбном отделе кто-то резал рыбу, выставив вперед белый колпак и закрыв им от покупателей склоненное лицо. Сердце Шнобеля забилось; заученным крученым шагом ушел он от «засветки» вбок, за широкую фигуру полковника танковых войск в высокой барашковой папахе. Осторожно выглянув из-за плеча полковника, он уперся взглядом прямо в серый, пристальный, *рабочий* взгляд Надежды Петровны, в ее необратимо любимое лицо и, прежде чем умереть со страха, понял, что она не только узнала его, но что узнавание это ей приятно крайне. Но он все-таки инстинктивно спрятался опять за полковничью папаху и так, лбом в меховой затылок, подошел к прилавку в общей очереди, не веря своему счастью. От страха, что неправильно понял ее улыбку, Голобородько никак не мог посчитать, какой рыбы и сколько ему спросить: такой именно план, изобразить покупателя, и был у него с самого начала, но все так непланомерно быстро вышло. Он помнил, что в кармане у него пять рублей сорок одна копейка минус четыре стакана воды, и все вертел шариками, пока не наступил полковнику на сапог. И тут папаха поворачивается и кричит с высоты своего роста и чина, кричит на Шнобеля именно тем голосом санитара, за которым обязательно следует укол: «Ты куда, мать твою, смотришь?». И Голобородько бледнеет от знакомого ужаса перед голосом, и краснеет от публичного оскорбления на глазах любимой женщины, и так вот, пятнистым красно-белым жирафом, прямо и мгновенно впадает в ступорозное состояние.

А Надежда Петровна немедленно открывает рот и еще громче полковника распинает полковника за брань в общественных местах. Говорит, в чинах, так уже разучился себя вести перед женщиной. Так я, говорит, научу, говорит. Номер части требует, нажимая на

твердые «ч», как и следует здоровой, сильной женщине. И полковник танковых войск изумленно берет свой белужий бок и, крякнув, уходит, а Надя ласково говорит Григорию Ивановичу: «Вам чего, гражданин?», и «ч» у нее уже не такое твердое, и Шнобель наобум отвечает: «Триста грамм кильки балтийской, пожалуйста»; глаза он прячет от публичного позора, машинально замечая — Надежда вроде бы подмигивает. Но только на улице до него доходит: подмигивание ее содержало направление зрачка, а именно — указывало на служебный вход со двора, со стороны Ленинградской.

И правда, ждет его Надя между двумя рядами деревянных ящиков, и оба они молчат. Он молчит от тошноты горького позора и оттого, что очно еще труднее поверить: именно эта официальная женщина в белом, только что запросто смешавшая с грязью человека из высших чинов, она же самая — под одеждой голая, как ни странно, с теми подробностями всего, которые теоретически полагается, конечно, иметь всем женщинам без исключения, но... И притом в постели он чувствовал себя, что ли, выше ее, а ведь он гораздо ниже полковника, которого она!.. Надя же молчала, вероятно, стесняясь своих рук, по локоть выпачканных рыбой, замызганного халата и дурацкого колпака. Скорее же всего — ничего она не стеснялась и совсем недолго молчала, а это ему померещилось. Во всяком случае, начала разговор она, сказав: «А мы ведь с Вами, Григорий Иванович, забыли рассчитаться. Сколько я вам должна за работу?» Голобородько замотал головой таким художественным образом, что, если бы на шее и голове была нарезка, он бы голову с шеи обязательно свинтил. А она: «Это не разговор. Но мне некогда. Приходите завтра в восемь, договоримся».

Дорогой к дому Шнобель думал: кильку, ну вот зачем он кильку-то купил, и что с ее пряным посолом делать язвенному больному? Если, скажем, соседей угощать тремястами граммами кильки, подумают — точно, псих. Кошкам-собакам скармливать такой деликатес — людей не уважать. И он твердо решил: пусть лежит, может, гость какой-никакой зайдет, хоть и забыли все дорогу к нему. И положил кильку за окно, в универсальный свой шкафо-холодильник.

А назавтра он пришел к ней в восемь часов, и они договорились.

К подругам своим в дома Надежда его не водила. Задумайся Шнобель над этим фактом, еще бы больше его потянуло удивиться: что она в нем нашла, если одновременно сама его стесняется? Но кому охота себе голову морочить во время жизни полной жизнью?

Ну так. Это была жизнь! Дважды в неделю. И в полном соответствии с тем, как Надя о себе понимала, то ли где прочитав, то ли в кино не нашем увидев-услышав: «Я — дитя улиц!» — протекала эта жизнь в основном на улице. Существование Григория Ивановича резко сгустилось, сместившись к центру. Жил он и всегда в старом городе, где летом сухо несло трухлявым деревом одно-двухэтажных домов, где летом пылило сильно, а осенью и весной стояла деревенская грязь, а уж зимой все цепенело от резко континентального трескучего климата. Где весной во дворах хлопотали чумазые глупые куры и хозяйски бродил среди них, роясь в обрывках газет, белый красавец петух, осенью же тонко кричал зарезываемый боров. А меж курами и свиньями бродили люди, одетые летом в ситец, зимой в черный драп. И редко когда мог идущий по улице, потянув носом, понять, чем занимаются люди во дворах за заборами; редко, потому что все ароматы, и даже самые сильные и стойкие: стирки и щей из кислой капусты — властно заставлял умолкнуть возвышающийся надо всем крепчайший запах застарелого дерьма, идущий из гнилодощатых уборных, служащих одновременно помойками.

Но стоило не расширить, а сузить горизонты, и вот совсем рядом оказывалась иная жизнь. Центральная жизнь. Шнобель часто здесь бывал, по делам, а иногда в кино, но чтобы в самом центре жить, как дома,— этого он никогда не думал. А можно. Этой жизни хватало всего на две улицы, Ленинградскую и Куйбышевскую, и одну площадь, имени Куйбышева, и один парк, но тот уже имени Горького; но столь густа была эта центральная жизнь, что казалось — ее много. Тут был и универмаг, и три кинотеатра, и рестораны «Жигули» и «Центральный», и телеграф, и телефоны, чтобы звонить хоть в Москву, и люди ходили в шевиоте и бостоне, и в крепдешине. Здесь пахло духами от женщин и сиропами от множества киосков «Газ-вода», и солнце не пыль рождало, но звон золотой.

Здесь находилась гордость города — уличное кафе «Три вяза», помещавшееся и вправду под тремя узловатыми вязами; вечерами сюда частенько наезжали «воронки» с целью облавы на собиравшуюся здесь многочисленную городскую шпану.

Но это вечерами, а пока время водки с шампанским еще ждет, пока еще час мороженого, час пенсионеров, детей и скромной молодежи. И любо-дорого было Шнобелю глядеть, как, вся в пятнах тени от листьев вяза, Надежда подъедает сливочное мороженое, каким пригожим усердием светится ее лицо, когда звякает она ложечкой по дну жестяной вазочки, зачерпывая талое сахарное молочко, то самое вкусное, ради чего и придуманы вазочки и ложечки.

А к вечеру — туда, где, ударяясь в парк на углу Красноармейского спуска, ломалась, огибая его, улица Куйбышевская. ПКиО им. Горького, бывший и оставшийся на самом деле Струковским. «Струкачи» — еще и по сей день зовут его в народе. Да и как тут не сказать ласковое словцо, когда тьма египетская деревьев, обведенная квадратом вороненой ограды, по крутому склону неслась к реке; и не было тут разве что сандалового дерева или африканского баобаба, а уж дубов, берез, ясеней и даже американских кленов тут — хватало, будьте уверены... А сколько было тут крутопетлистых дорожек и площадок, и на каждой площадке в густой тени не только забивали «козла», но и стояли вкусные павильоны и интересные аттракционы, был даже самолет, в открытый салон которого не допускались дети до шестнадцати лет, потому что самолет делал самую настоящую мертвую петлю, а висеть на высоте шести метров вниз головой даже с пристегнутым ремнем, как известно, приятно только человеку с крепкими нервами; нервы же у каждого — интереснейший факт из мира человеческой природы — крепнут окончательно как раз к шестнадцати годам, к моменту достижения гражданской зрелости.

Григорий Иванович, к несчастью и стыду своему, не только самолета вынужден был чураться, но и детской карусели: его по слабости головы от круговращения тошнило. Он старался увести Надю куда-нибудь, где нужны умные руки и твердый глаз. Хотя бы в тир. И здесь, выбивая пять из пяти, девять из десяти, тринадцать из пятнадцати, доказывал не только, что все-таки и он — мужчина, но и менее вероятное: что руки и глаза могут быть верными, даже если больные руки дрожат, а больной взгляд бегает.

А можно было бесплатно послушать на летней эстраде «Венгерские танцы» Брамса и даже московского куплетиста Илью Набатова, который хотя и не вошел еще тогда в такую славу, как позже, в годы освобождения Африки, после своих сатирических куплетов о Чомбе, каковой, по уверению Набатова, следовало «кирпичом бы»,— но уже и тогда имел не последний успех.

Да мало ли чего еще можно было! Например, выйти из Струка-

чей там, где кончалась Куйбышевская, и мимо Драмтеатра — терема-пряника в русском стиле, с островерхими двумя шатрами,— театра, имевшего привычку регулярно гореть и отстраиваться, отчего, крашенный заново то в красно-белую шахматную клетку, то в бархатную синь пополам с берлинской лазурью, то в изумрудную зелень, удивлял он город всегда новой, неожиданной гримасой своего национально своеобразного лица; мимо памятника Чапаеву, где все: и Анка, и Петька, и революционные массы в лице матроса и солдата, и сам Василий Иванович на коне и с саблей — все были до того как живые, что между чугунными фигурами вечно помещался какой-нибудь настоящий ребенок, залезший сюда проверить, остра ли сабля, болтается ли ремень у винтовки и нельзя ли пальнуть по городу из пулемета, влекомого едва поспевающим за летящим на коне Чапаевым бородачом в солдатской папахе; мимо солнечно-желтого здания обкома... мимо многих красивых и ответственных зданий подняться и выйти на главное место — площадь Куйбышева, бывшую Соборную площадь.

И тут уже Надя, мимо не проходя, устремлялась прямиком в ОДО, окружной Дом офицеров, цвета броневика, а формы... в мире форм я не помню ничего подобного этой форме. Формы, стало быть, бесподобной.

То есть Надя с н а ч а л а устремлялась в ОДО. Но скоро перестала.

То есть — по порядку. Надя, естественно, не могла же в свои тридцать пользоваться струкачевской танцплощадкой для семнадцатилетних и потому устремлялась в общество культурных офицеров, чтобы показать свое владение танцами фокстрот и бостон. Шнобелю же, напротив, самый вид погон, ремней и лампасов внушал чувство, которое все мы испытываем у двери зубоврачебного кабинета. Но он мужался. И даже нашел себе занятие: бильярд. В тот момент, когда кий и мел попадали в Шнобелевы руки, страх исчезал, и, уже не слыша крепкого офицерского запаха «Шипра» и страшного скрипа сапог, гонял он партии в «американку» и «пирамидку»; давал форы и выигрывал почти всегда, заставляя военных и штатских — всякий же мужчина, даже военный и даже штатский, более всего почему-то ценит не ум и не доброе сердце, даже не силу, а то пустое, что зовется «класс»,— заставляя их свою жалкую персону уважать.

Но увы, был он все равно раззява и лопух, а таким никак нельзя было быть в то решающее лето 1953 года. Поползло по ОДО, что к столице стягивают танковые части то ли с Урала, то ли из Сибири и что вот-вот жди — дадут команду и им, ПриВО... И вот тут-то Шнобель услышь все это, удивись, возьми и брякни, закатив очередной шар от борта в середину: «А зачем это? В Москву — и танки? Чего в Москве — своих танков, что ли, не хватает? И для чего бы ей, Москве, столько танков? В мирное-то время? А, мужики?»

Странно: мужики, особенно игравший с ним и болтавший много языком после второй пары пива капитан танковых войск, как-то вдруг замолчали и стали его внимательно разглядывать. Но Григорий Иванович, поглощенный подготовкой к решающему шару, увы, не только не понял, какую, на свою бедную голову, заваривает крутую кашу, но, не слыша ответа, еще и продолжил запросто: «Нет, серьезно, мужики, а чего там, в Москве? Там чего, что-нибудь не того? А вы тут при чем?»

То есть они молчат, а он знай под нос бормочет что-то, чего никак нельзя понять иначе, чем: откуда и что вам известно? С кем не бывает, что, по уши занятый делом, вслух развиваешь чего-не-зная-сам из случайно застрявшего в тебе словца.

Но они все молчат, и наконец до него что-то доходит, и он поднимает глаза от зеленого сукна. И видя, что капитан бледнеет, бледнеет сам.

«Вот работать стали,— говорит капитан.— Гляди, каких стали использовать. Трясунов. Вот я тебе сейчас дам разá, так узнаешь, что и откуда. Бильярдист ...ный». Тут друзья-военные говорят: «Не связывайся, Коля».— «Не буду,— говорит бледный Коля,— не глупенький. Но чтобы ноги твоей, мразь, здесь больше не было. А если стукнешь...» — «Вы что?» — «Ты понял меня?» — тихо, но внятно говорит сам сильно напуганный и распаленный страхом до полной отваги Коля и начинает идти на Шнобеля, а тот бросает кий — и вон, и в зал, где ждет окончания танца, и такой испуг стоит у него в глазах, что Надежда хватает его под руку и немедленно уводит. Ничего не поняв из Шнобелевых объяснений — он и сам ничего не понимал,— она тем не менее поняла достаточно, чтобы в ОДО его больше не таскать.

Реже всего сидели они у нее дома. А он, он больше всего любил сидеть у нее дома. Ведь — тихо. Тихо!

Сидеть на кухне и пить китайский чай с малиновым вареньем — чего же лучше? Любил также Григорий Иванович, переобувшись, разжигать в старой белокафельной голландке новое, газовое отопление: спичку к рожку и, насилу дождавшись разогрева, двинуть вентиль по часовой стрелке. Вот уровень тепла во власти пальцев, и — тихий свист синего огня... Комнатка квадратная, не Шнобелев пенал. На одной стенке коврик: добрые олени воду пьют, а на другой — другой коврик: добрые охотники этих оленей караулят. Но, конечно, лучшее, что у Нади есть, это не коврики, не полы хорошего дерева с полным подполом, даже не бабушкина голландка; лучшее — это фонарь, глядящий с улицы прямо в окно, фонарь, вечером искрящийся сквозь белую занавеску, а ты отдерни белую тюлевую занавеску, и: черно-синее небо, сверкающий в нем конус света, а в конусе том пляшет куча мелких насекомых.

Внутри конуса шла не такая жизнь, как за его пределами. Совсем другая, световая жизнь; и Шнобелю казалось, что конус света не освещает, но состоит из капель-насекомых; и он хотел сам превратиться на миг в мошку, чтобы понять состав и смысл жизни у фонаря. Так некогда пытался он уподобиться пузырьку внутри кружки пива. Но будучи всего лишь человеком, превратиться ни во что меньшее не мог, а мог только простаивать у окна, облокотясь на освещенный подоконник, и дивиться красоте электрической жизни.

А Надя, Надя рядом в красном халате в белый горошек, халате, открывавшем руки до начала женских прекрасно-слабых бицепсов, и в красных тапочках с — ух ты — помпонами! И Григорий Иванович освобождался на время от дурного напряжения мысли и предавался любви. Он понимал, что сейчас он испытывает любовь. То есть невозможное состояние естества, когда твое маленькое тело помещает в себя всю бесконечность расширяющейся души; и Шнобель не хотел еще х о т е т ь, чтобы не нарушить текущую вечность момента. От нарушения он уходил неумелыми рассказами о... о чем бишь рассказами? Он и сам потом не помнил.

Под вязкую музыку его речи Надя, словно змея под факирову дудочку, текла-скользила к нему — на колени. Но Григорию Ивановичу еще не вкусна была сладкая эта тяжесть; бессознательно чувствовал он, что настоящая любовь, как и все настоящее, не терпит смешения и хаоса чувств, что в ней все совершается в правильной постепенности. То есть когда ты говоришь, то чтобы тебя слушали. А не давили на колени. Чтобы сначала ты понял, что тебя поняли.

Потом не страшно. Но быстро кончается, и опять — страшно. Быстро ночь к утру следует. А утром? Известное дело: прости-прощай. По необходимости начал Шнобель разбираться во времени.

С вечера до полуночи тратил, не считая: все впереди. А с полуночи до утра придерживал, пытаясь из каждой минуты извлечь все, что она может дать. Он понял, что время бывает разное, и лучшим по качеству является утреннее, когда немочь желания берет свое: время лениво ползет так, что слышно движение очередной минуты и начало следующей. Но именно тут-то, часам к четырем, он и засыпал; природа-дура брала свое. А проснулся — нет Нади, прости-прощай до следующего раза.

Вот же ты — он без памяти ее любил! А она без памяти любила оперетту. И нет чтобы нашу «Свадьбу в Малиновке» или «Вольный ветер», а вот поди же, «Сильву» и «Веселую вдову». Наде вкуса было не занимать. Шнобель, впрочем, не о вкусе думал, когда сидел с Надеждой в дорогом партере и чертил ногтем полосы вверх-вниз по плюшевой спинке перед ним стоящего кресла.

«Сильву» и «Веселую вдову»... Да летучую не забыть мышь, да цыганского приплюсовать барона. Плюс «Марицу» и «Баядеру». Широкий выбор оперетт предлагал тогда Куйбышевский театр оперы и балета. Да и как иначе — в войну тут стоял на постое сам Большой.

Голобородько не мог разобраться с опереттой, и это его раздражало. Он с детства привык верить, что лучшая, больше того, единственная жизнь — та, которую он видел вокруг. Где люди ходят на работу, раз в неделю моются в бане, на голове носят осенью кепку, зимой ушанку, и хоть сильно матерятся, но имеют ясную цель — коммунизм. Где все будет хорошо и все будут хорошие. И то, что он, Шнобель, не работал и получал пенсию 170 руб., вовсе не значило, что эта жизнь плохая, а есть и другая жизнь, но значило просто: и на старушку бывает прорушка. Кальман же и Легар нагло обманывали людей, выдавая дерьмо за конфетку, а те — что хуже всего — принимали обман за чистую монету. А уж Надя-то как оказалась легковерна! В отличие от Григория Ивановича Надя стояла на том, что жизнь не кончается, а начинается там, где нас нет. И все, что т а м не так, как здесь,— не в политическом, конечно, смысле, а «вообще» — было им в плюс, а нам — в минус. Ну, это между нами, понятное дело. Почему? — спрашивал Шнобель. А потому, что здесь все привычно, скучно, а т а м интересно, т а м — где фиалки Монмартра. А если они т а м привыкли и им тоже скучно? Ну, уж скучно! Ты же меня, Гриша, в «К Максиму» не поведешь? (Они оба так понимали: не к «Максиму», а в «К Максиму».)

Что верно, то верно. Он ее не только в «К Максиму»,— он ее и в «Жигули» не мог сводить. Она его водила. Не часто, но бывало. И в «Жигули», и в «Центральный». Где женщины беспечны, зато простосердечны. Надежда, во всяком случае, была простосердечна, и Григорий Иванович простосердечно ее угощение принимал. То ли по воспитанию, то ли потому, что своих денег у него не водилось никогда, а судит человек всегда по себе, он деньгам ни своим, ни чужим значения не придавал. Кроме того, полагал, что человек все необязательное делает только для собственного удовольствия (иначе какая же причина?) и если угощает, значит, ему приятно угощать. И золотая Надина улыбка, ее дымчатый застольный взгляд это подтверждали. И хотя обед на двоих с пивом стоил целых тридцать, а с вином — сорок рублей, он об этом не думал.

Он думал, как бы ей удовольствие не испортить. Он ее любил и думал больше о ней, чем о себе. Он не мог есть ни сборную густую солянку, ни селедочку с луком, ни обгорелый полусырой шашлык. Но

это его не тревожило, он спокойно кушал себе суп-лапшу и даже иногда позволял себе какого-нибудь заливного судачка или осетрину с хреном, правда, хрен весь отдавал Надежде, к полной ее радости.

А вот вкус вина он помнил очень хорошо, и видеть перед собой, скажем, бутылку «Черных глаз», когда при помощи простого вдоха он мог установить безошибочно, что глаза несомненно черные,— вот это была действительно пытка.

Это надо же — сидеть с любимой женщиной в главном ресторане на главной улице города, сидеть среди белых салфеток и расстраивать ее веселье своим диетическим организмом. И кому? Ему, бывшему хозяину «Самарского клуба»! Который собаку съел в деле настроения. Который знает, что трезвый нетрезвому не собеседник.

А соседи — ой, косо глядят. Ясно, такая женщина — и с кем? И как ни старайся она этих взглядов не замечать в упор, в прямизне ее спины просматривается мучительное напряжение. Но опять же — держится молодцом. Дескать, на всякий чих не наздравствуешься. Хотя нет-нет да и предложит — как бы невзначай — такой тост, что умри, а выпей. Нервы-то женские, что ни говори. В смысле, не пьешь — значит не любишь. Провокации на советско-финской границе.

И тем более Григорий Иванович никогда не думал, как он одет. Одетый — значит не голый. А тут довелось сравнить. Вокруг сидят — в синем в полоску, в черном. И чувствуется, сукно добротное, тяжелое, сносу нет. Галстуки, а то и, как на сцене, бабочки. А на нем пиджак — неизвестного цвета пиджак. Материял — черт его знает, что это за матерьял. Это такой матерьял, что его чем больше гладишь, тем больше он лоснится. И пятна никакими средствами не выводятся, а словно бы, наоборот, от них проявляются. Будто это не брюки, а секретное письмо подпольщиков: подержишь над огнем чистый лист — и читаешь что-нибудь вроде: «Взрыв тюрьмы динамитом назначен на среду».

Понял Голобородько, что он есть самый что ни на есть Шнобель; Шнобель, ты понял, Шнобель — и никаких. С таким — и по ресторанам? А она все ходит. Зачем? Скандал! Откажись. Нет, ходит и все.

Вывод напрашивается сам собой: ее борьба увлекает. Она, должно быть, думает, что он с детства трезвенник, и ей интересно его забороть и обратить в свою веру: вот, дескать, как приятно жить красиво, закусывать выпивку и запивать закуску.

Что ж, Григорий Иванович человек мирный, но себя в обиду не даст, если по уставу не положено. А в каком уставе сказано, чтобы себя женщинам в обиду давать? Женщина не старший по званию, не доктор и не санитар.

Голобородько был морально подкован и знал, что счастье — в борьбе. И вот однажды он принял вызов: согласился, наконец, выпить — и выпить как следует. Объяснив Надежде, что коньяк осетриной не закусывают и вообще полными рюмками в рот не плещут, он, вспомнив один из уроков Аркадия Яковлевича, с ее позволения заказал обед. То есть от и до — от закуски до десерта, от «Цоликаури» под порционного судачка до ликера, который теперь называется «Южный»,— а тогда еще именовался по-старому «Кюрасо»,— к кофе и мороженому. Надя опешила, тем более знакомая официантка фыркает, у нее, понятно, условный рефлекс: водочка — селедочка, даме — шоколад, все такое. Но был тогда, между прочим, в «Жигулях» один старичок, лысый с проседью, Захар Семенович, который еще помнил те времена, когда городская филармония называлась — театр «Олимп». Наверное, в городе он один еще помнил и то, как выглядит настоящий, не — б о г а т ы й, но — п р а в и л ь н ы й обед, за

что и был почитаем обслуживающим персоналом и завсегдатаями «Жигулей». Вот Захар Семенович вдруг остановился на ходу, затем поставил поднос, подошел и стал слушать внимательно, после чего публично пожал Шнобелю руку. Указав, правда, на отдельные промахи, вполне, впрочем, извинимые в современных условиях.

И тут Надежда — и не она одна — посмотрела на Голобородько другими глазами. Он же раздулся от незнакомых чувств и вошел в роль. Он так в нее вошел, что не испугался даже вступить в спор с полярным летчиком, сидевшим с ними за одним столиком. Летчики, особенно северные, думают, что понимают в выпивке. Они думают, если ты много пьешь и мало пьянеешь, ты уже понимаешь дело. Тот, что сидел напротив Шнобеля, судя по всему, понимал дело так: 1) все, что можно пить, пьют в замороженном виде; 2) Надя — видная женщина. Первое он высказал словами, второе дал понять между прочим. Голобородько со вторым молчаливо согласился, а по поводу температуры разных напитков так причесал летчика, что долго еще потом сам себе удивлялся. Однако летчик присмирел. Вот как, наконец, взял реванш Голобородько за свои поражения у настоящих мужчин. А Надя совсем почти уверилась, что нашла своего мистера Икса (хотя, конечно, это она платила по счету, как и всегда, руками Голобородько, передавая ему деньги под столом). Конечно, она знала, что Григорий Иванович — всего лишь Шнобель со справкой и пенсией по справке, но, будучи женщиной нормальной, то есть женственной, сильно поддавалась сиюминутному впечатлению. Раз — был Шнобель, а два — стал мистер Икс. Захотел — и стал, как в сказке. А как оно у него получается — вот это и есть мужская тайна.

А Шнобелю между тем все не давала покоя женская тайна. Вот только что была одна Надя, Надежда Петровна, официальное лицо в белом халате. И она же—женщина, на которую заглядываются в ресторане. Наконец, ночью она же самая — да не она. Его Надя. А если вот она не захочет в очередной раз меняться, и между ними не произойдет того, что дважды в неделю происходило с вечера до утра? Такое может быть. Но оно всегда происходило, хотя не обязано было происходить, и Голобородько воспринимал это, как круг повторений, совпадений. Все повторялось в таком правильном порядке, как если бы имела место закономерность. Но закономерности мысль Шнобеля как раз и не усматривала, женская душа в его представлении была — некое темное поле, где действовали не известные ему причины и следствия. Непонятностью своей это интриговало, но пуще того страшило. Могла же кончиться, ежь ее двадцать, эта прекрасная раздача.

Да, в том-то и дело: веселая вдова и ее граф с мужицким именем Данила жили не сами по себе, не сама по себе летела мышь и вскидывала юбки принцесса цирка, а — в связи с Надей. С его любовью к ней. Случай один на миллион послал ему женщину, с которыми любятся только летчики и заслуженные артисты, случай послал, а дают — бери! Но по справедливости-то Надю надо у него забрать и вернуть летчикам, и так оно и будет, ибо все на свете совершается по справедливости; кроме несправедливостей. Но и по несправедливости ее следовало отнять: ведь он так боялся ее лишиться. Неправильный подарок ему выпал, и вот это: не по Сеньке шапка — остро и постоянно чувствовал Григорий Иванович. Надя была из другого мира, мира тайны и счастливого случая...

...где в желтом свете черные чулки, и ширмы, и специально посреди сцены, где люди танцуют, такие столики, чтобы их ронять, и стеклышки на веревочке, которые специально вставляют в глаз, чтобы им оттуда выпадать, и языки без костей, и кости в вырезах декольте, и — душно, душно, в бороздках пота напудренные лица; и вдруг изо всей этой гущи, вдруг — такая музыка, прямо до слез: «Как они от меня далеки-далеки, никто не подаст руки». Голобородько музыку не любил, потому что несерьезная музыка застревала в мозгу, как заноза, а серьезную он воспринимал, как шум; шуму же в его душе и так был вагон с прицепом. Лишь иногда оба шума — внешний и внутренний — совпадали, и он замирал от грустного удовольствия. Так случилось всего дважды; первый раз назывался полонез-огинского, а второй — вальс-из-драмы-маскарад. Но Бог Троицу любит. И хотя Бога не было, число «три» Голобородько уважал; даже и день рождения его приходился на третье мая.

Трижды ему везло: когда был не убит, а контужен, и попал не на тот свет, а всего-навсего в Иран, хотя от судьбы не увертывался; когда попал не на серные копи, а в Томашево, и когда встретил Надю.

Трижды ему не везло: когда попал не в автодорожный техникум, куда мечтал, а на войну; когда попал с воли в дурдом, когда случилась язва.

А теперь встретил третью с в о ю музыку.

Похоже на сон. С сильными, но отделенными от тебя переживаниями. Если во сне в тебя шпион стреляет, от страха обязательно проснешься. Но потому-то как раз и проснешься, что страх не мешает организму сообразить: это сон, и, чтобы тебя не убили, надо только проснуться. Такой сильный страх и такой ненастоящий. А вместе с тем в проснувшейся жизни таких сильных переживаний нет, и уже она кажется пустой, а сон — жизнью.

И Голобородько открывал глаза. И видел общую кухню с одним радио и четырьмя примусами, уборную с крашеным деревянным сиденьем, чья охра облезла от активного коллективного пользования. Заваривал толокно и вспоминал, сам себе не веря: только что было, а куда сплыло? То ты там, то — тут. Да и един ли ты в таком разе? И есть ли т а, иная жизнь; а ждать-то еще целых два дня, чтоб только опять убедиться: есть она, и опять вернуться сюда, смотреть в кухонный потолок, где копоть никаким ремонтом не вывести надолго, курить «Прибой» (курить бросить никакая язва не могла заставить) и ждать еще два-три дня.

Ну, он ждал. Он теперь на следующую мысль набрел: если время тебе не нравится, то и нечего его растягивать. Если выпало жить не в с е й ч а с, а в ожидании послезавтрашнего, надо этому научиться.

Вот он и стал вырабатывать навык — не как раньше: жить, чтобы не скучать, а — н е ж и т ь, чтобы не скучать. Чуть скучно, он вздремнет. Про партизан почитает. Картошки начистит. Вот ты ведешь ножом по картофелине так, чтобы очистить ее, не отрывая лезвия, потом гниль из нее выковыриваешь, потом моешь, потом... Над головой радио: у нас соревнуются, у них бастуют, у них кризис перепроизводства, у нас перевыполнение плана, у нас доклад товарища Булганина, у нас театр у микрофона: братья Тур, три сестры, идеальный муж, стакан воды... Глаза сожмуришь, как кот, и нет тебя, и вот — опять утро, пора и за толокно.

Одно плохо: от жизни такой бриться не хочется: нет энергичного настроения. А бриться надо, и усы в порядке содержать. Для г л а в н о г о в жизни: для волшебного сна по два вечера в неделю. Надо усы сохранять в форме тонкой планки над верхней губой. И еще момент. Когда сон становится приятнее и важнее реальной жизни,— кранты. Это, ему объяснили в Томашеве и велели зарубить на своем шнобеле, это и есть важный признак психбольного. Выходит, его опять повело. А тут одна дорога — назад, в Томашево.

Но ради Нади Голобородько готов был и в дурдом. Ради нее он даже на Вертинского пошел, известного белоэмигранта. Купил, говорили, в войну для России вагон медикаментов, и думает, видать, все забыли ему за тот вагон. Думает, народ за пенициллин душу продаст.

И чего? Тысяч двадцать народу за билетами. Стоят всю ночь. Выходит, что? Правильно господа Вертинские о нас думают?

Наде билеты достали, стоять не пришлось. Ей всегда все доставали. А за неделю до концерта она взяла Голобородько под руку и отвела в модное ателье, где в кратчайшие сроки пошили на него габардиновый синий костюм. Тяжелый костюм-красавец, просто нет слов, как поглядел на него Шнобель, так захотелось пожать почтительно костюму правый рукав, а как надел — распрямились и стали высокими Шнобелевы плечи на вате, и силы в ногах прибыло; и даже голос приобрел баритональную окраску, сказала Надя.

А деньги, в первый раз вспомнил Шнобель. Что деньги, деньги — трава, отчеканила Надя голосом, говорящим: для того-то деньги и существуют, чтобы я могла делать широкие жесты и гордо отвечать на такие вопросы. Голобородько, впрочем, всего этого не разобрал, но почувствовал что-то в душе типа легкой спазмы в двенадцатиперстной.

Но габардиновый костюм придал ему силы побороть спазму, и он торжественно отправился, держа под руку крепдешиновую чудо-Надю, всю в духах «Красная Москва» и осиянную светом предвкушаемого ею, отправился в восьмой (не в первые два, где самые главные пиджаки и жены самых главных, и не в следующие три, где профессора и крупные мундиры, и не в шестой и седьмой, где люди вроде и простые, да не простые) ряд партера, самый недоступный из всех доступных. И стал ждать Вертинского.

Тот вышел в черном и белой манишке, сутуло-осанистый, остроплечий, с острым носом и острыми залысинами. Навстречу ему выпали строгие хлопки первых рядов, и тогда уже понеслись восторженные аплодисменты и крики остальных. Молчал только Голобородько, единственный представитель тех, кому не должно было быть места в этом зале. Кому незачем было быть здесь. Он молча глядел на Вертинского и думал, что тот похож на ворона.

Вертинский повернулся к пианисту, и тот заиграл. Тогда Вертинский старческим дребезжащим голоском, гнусавя, пропел: «Я ма-лень-ка-я балерина», и не успел Голобородько рассмеяться, как ворон превратился действительно в балерину, причем не в черном, а в белой пачке. От такого обмана зрения Шнобель оторопел, как бы раздвоилось все: перед глазами стоял черный старик, а в душе стрекотала невесомыми ножками маленькая балерина. Необъяснимее всего: Вертинский ничего гипнотизирующего не проделывал. Он стоял, где стоял, только чуть изогнулся и привел на секунду в действие руки, которые действительно оказались вроде крыльев, только не вороньих, а крыльев умирающего в балете лебедя. И тут же сложил свои крылья, продолжая гнусавым голосом нести жуткую околесицу под дурацкую рояльную трень-брень, но почему-то Шнобелю сделалось невыносимо жаль бедную маленькую балерину, живущую в жалкой каморке, хотя ей и присылают туда влюбленно-желтые нарциссы и загадочную лакфиоль.

Наваждение продолжалось до самого конца. Стоило старику прокаркать: «Во льду зеленела бутылка вина» и сделать рукой — и Григорий Иванович в и д е л бутылку вина, которая именно зеленела—куда ей было деваться? — во льду. Бутылка совсем замерзла в дымчато-полупрозрачном льду; и Григорий Иванович уже не мог оторваться от этого цветного кино, где белым женщинам целовали тонкие пальцы, после чего лиловые негры подавали им манто, а уходили женщины уже с желтыми малайцами. Туда, где растет голубой тюльпан. В своих голубых пижамах.

И когда Вертинский допел последнюю песню «Родина», в которой просил прощения, а вместо прощения его засыпали цветами; когда он заплакал, будто ему впервой было видеть эти тюльпаны, совсем не голубые; когда стояли полчаса в фойе, дожидаясь очереди выйти; когда, выйдя, Надя бросила Григория Ивановича и побежала к служебному входу за автографом,— все это время Шнобель продолжал слышать завывания бури и ехать дорогой длинною в лунную ночь.

Надя вернулась с автографом: «Видал, Гришенька?», и все стало на свои места; Шнобель брякнул: «Чего видал? Я это видал и без него».— «Где ты чего видал?» — «В Тегеране».— «Ой, не смеши меня! Чего ж ты там видал?» — «Лиловые манто. И пальцы».— «Может, ты их целовал, те пальцы?» — «Нечего их целовать! Контра твой Вертинский».— «А ты, Гришуля, дурак. Даже во сне шпионов видишь, псих ненормальный».

Цапнула она в сердцах, зла не желая. А ему больно, и фигура его сделалась жалкая, будто он снял габардиновый костюм и надел привычное шмотье. Молчит, смотрит нелепыми глазами.

Надежда все-таки женщина, туда-сюда, чмок-чмок, худо-бедно, а царапину как-то затерла. Но Голобородько Вертинского возненавидел. Он понял, чем старик старуху донял.

Вертинский — опасный тип; на его фоне становилось ясно: оперетта — это еще куда ни шло. В оперетте все было в прошлом времени и тем самым как бы не было вообще; так, развлечение для отвода нервной энергии. Голобородько простил оперетту, ее только Надя могла всерьез принимать за настоящую жизнь. А Вертинский умел залить мозги и не таким, как Надя. За ним действительно стояла жизнь. Только мы-то знали, из чего эта жизнь состоит. Из безработицы, войны во Вьетнаме и гангстеризма. Мы знали, и они знают. Вот и Раймонда Дьен легла под поезд. Мы знали и знаем. А Вертинский пел об Ирэнах, бананах и обезьянах, о горьком пиве и о глубине души. И так пел, и так все это б ы л о, что хотелось послать подальше весь мирный труд и счастливую жизнь, хватить оземь серой кепкой и махнуть куда-нибудь в Сингапур.

Но ведь пораскинуть мозгами: если там — жизнь, то здесь тогда — что? А? Делай вывод! Хрен-то они, граждане, делали вывод. Вертинский их всех совлек с магистрального пути.

Особенно — кому подавай дурную красоту, как Наде. Не понимал Голобородько этого в ней. Красота — это полезная красота. А вредная красота — это уродство. «А ты знаешь, Гришенька, что по-польски «красавица» — «урода»?»

Все может быть... но вообще он этого не понимал. Чем дальше, тем большего он в Надежде не понимал. Она его, прямо сказать, удивляла.

Удивлял ее голос, как-то вдруг, скачком переходивший от нежного мурлыканья к сильному, напористому визгу. Эти по-мужски напористые и по-женски истеричные звуки, возникавшие моментально, стоило появиться хоть какому-то, даже пустячному поводу (пробки, например, полетели, или дождь полил, или Шнобель по глупости не подходящее к моменту слово вставит — да мало ли) к порче ее настроения, эти порывистые ноты очень действовали на Голобородько. От перепада голоса и от горящих глаз, от ее перекатывающегося «ч» и рычащего «р», от «ы» и «и», давящих, как сигнал: «Воздушная тревога!»,— от всей этой взрывной звуковой волны душа его уходила в пятки, а в горле вставала та гадкая злоба, которой Григорий Иванович в себе не понимал. Или вот она никогда не скажет: «в уборную»,

а воспитанно — «кое-куда». Не назовет задницу задницей, а скажет «мягкое место». И при этом не задумается так грубо рявкнуть, что уж лучше бы пустила матерком, только поласковей.

Чем больше в женщине запасов доброты и злобы — тем сильнее разряды между полюсами, тем диковиннее молнии над головой. Кому же охота быть громоотводом, екорный ты бабай?

Или ее подпол; он всегда полный. И полный вовсе не зельцем второго сорта, не щеками свиными, не крупяными концентратами. Ну, там шуба из котика, это ясно. Это туда-сюда; это, может, подарок. Там рестораны, оперетта — тоже не каждый день. Хотя уже не совсем понятно. А вот когда подпол, а зарплата семьсот с рублями, это как?..

А мало ли как! У-ты-сильно как он любил ее! И, конечно, пальчика ее не стоил, при всех ее грехах. Без греха кто? Никто. А кто вот, как Надя, коробку витаминков С в один присест сгрызет, будто ей не тридцать три, а семь; кто холодное мороженое ледяной газировкой запивает для окончательной радости; кто еще способен плакать, измеряя свою полнеющую талию клеенчатым сантиметром? Никто. Он любил ее, как любят детей, хотя и по-другому, потому что она была взрослая. Он всего-навсего умел ее любить как умел. Он любил обувать и разувать на ее плавных ножках ботики. Он понимал, что ей *другой* любви надо, но что он мог ей еще дать? Разве рассказать, чем люминал отличается от веронала, а веронал от мединала, или что такое внутреннее сгорание? И он продолжал выбивать ее половики, чистить им составленной жидкостью (неделю ломал голову!) коврики: один с оленями на водопое, другой с охотниками на тех оленей. Он пробовал научить ее шить на машинке, но машинка Надю злила противным звуком, и Голобородько сам зашивал ей расползшийся шов, а то и поднимал петлю на чулке, чему научила его Берта Моисеевна: она чулки чинила всему кварталу за малую плату. Надя ух — благодарила, а у самой за щечкой — крупный кусок шоколада «Золотой ярлык» и в глазах туман от красивых мыслей. Эти мысли навеяли ей любимые ее книжки «Маленькая хозяйка Большого дома» и «Новеллы» Стефана Цвейга. Понимала она толк, будьте спокойны, в письмах незнакомки. Знала, что такое двадцать четыре часа в жизни женщины. Шнобель пробовал читать Цвейга, чтобы идти в ногу с любимой в деле культуры. Но наткнулся на рассказ «Амок», про то, как человек сошел с ума, — наткнулся и озверел. «Ты что?» — спросила Надежда. «Брехня. Не жизнь, а кино заграничное. Я тебе про это дело не рассказ — роман могу рассказать. На тыщу страниц! И не такой ф-фанеры, а — в натуре!»— «Ты?» — «Я».— «Ну-ка, ну-ка, Гришенька...» Ну, он экмек — молчок; такое его дело, понял, что тут попишешь. Но больше он Надиных книжек не раскрывал, а вернулся к правдивым подвигам партизан. Там все в порядке, все документально легендарно.

Дважды в неделю он почесывал Надин хребет, мягкий, живой, в отличие от Уральского, и старался не повредить, не нарушить покой спинного мозга под позвонками. Жмурясь, рассуждала она тем временем о смысле жизни. О глупых мужчинах, не понимающих тайны женской души. Взять хоть ее. Разве ей надо шоколада? Ей надо сильных чувств, жизни на пределе. Любви до гроба и сладкой тоски страданий. Шоколад — «Золотой ярлык» — это: раз уж не дают взлететь, так хоть подсластиться. Надо же все-таки понимать иногда и тонкие материи.

Тем временем он рассеянно работал над ее спиной, погружаясь в теплую минеральную воду любви. Он слышал, как слабые струйки дыхания проходят сквозь поры ее кожи. В такие минуты он ясно видел, что Надя, ее тело и душа — *существуют*. То есть живут *сами по себе* в мире, ничуть не менее реально, чем его тело и душа. И он узнал теперь, что это и есть любовь: чувствовать, что вот этот человек — не картинка, не движущийся и производящий приятные или неприятные звуки предмет, как все остальные «люди», а — *не менее тебя — живое существо*; и он, зная, что счастье и любовь возможны только в этом, действительном мире, не понимал, как может все это быть там, где нас нет. А огоньки на той стороне? Да, на *той* стороне, но в *этой* жизни.

Понять Надю Шнобель не мог, как ни пытался. И с новым, упрямым и покорным пылом он выбивал половики, уничтожал рыжих и черных тараканов, терпеливо слушал ее звучные речи, чесал белопенную спинку и целовал золотой завиток на правой груди. И думал: что же, что она все-таки в нем нашла?

Между тем ларчик открывался просто, и, находясь по сравнению с Григорием Ивановичем в выгодном положении человека осведомленного, я хочу поделиться некоторыми сведениями и соображениями — если не с героем, так с читателем.

Истекший к моменту появления нашей героини на страницах этой повести отрезок Надиной жизни оставил по себе память: подкрашенную фотокарточку с надписью «о. Рица» и сильнейшее душевное потрясение. Издерганные нервы ее нуждались в отдыхе, обманутое сердце — в утешении. Утешения Надя и искала бы — клин клином вышибают — в новой, более, ее языком говоря, задавшейся любви; книги ли заветные навеяли или привычные привычки, но мещанское понятие «семья» Надежда Петровна на себя и примерить стеснялась... Искала бы, да слишком уж тяжело далось ей последнее приключение; и каждый нерв ее всей памятью живой боли предупреждал: ни о чем таком пока что не моги и думать.

Скажут, не все коту масленица. Скажут, если каждой женщине дать по любимому, да еще и любящему ее мужчине, наступит жизнь, вероятно, не предусмотренная самим порядком вещей на нашей планете: счастливая жизнь. Должно быть, это даже вредно для поддержания климатического равновесия в общественной экологии. А если так, то будем сознательнее, примем наши личные невзгоды как должное, и мирным, счастливым чаепитием в кругу родных и друзей поддержим искомое равновесие. Лишь бы, как говорится, не было войны.

Все бы так и в нашем случае, да вот беда: отсутствие мужчины грозило Надежде Петровне не более не менее как совершенным и полным одиночеством. Тем, что называется мрачным словом — изоляция; и то, что в данном случае ты находишься вроде бы и на свободе, ничего по существу не меняет. Надя ни родственников, ни подруг не имела. То есть совсем никого. Случайно, по злой воле истории, залетела она в сферу обслуживания. Война; пошла, куда пришлось. И теперь, хотя матюгами не стеснялась, теперь слишком сознавала она, что другим — здесь — не чета, и знание это, вместо того чтобы быть, как ему и положено, сокровенным, демонстративно стояло в ее дымчатых глазах; и сильно, ох, сильно за то не любили Надежду в ее кругу. А там, где по романтическим своим вкусам и нашла бы себе место: среди зубных врачих или не совсем еще замордованных, молодых школьных училок,— там она оказывалась уже — из низшего круга. Ей могли поставить золотую коронку по знакомству, но на том знакомство и кончалось. В ту эру, до тотального дефицита, продавщица была из ненужных полуденежных.

Может, ее бы и признали за равную по внешне-внутренним показателям, но для этого нужно было — себя показать. Выявить, так

сказать, начала не сословные, а индивидуальные. Но: для этого нужно в душе ощутить не желание и возможность равенства, а — действительное равенство. А Надя по неровности душевной впадала то в амбицию, то в уничижение паче гордости.

Ясно поэтому, что очередной мужчина занимал в Надиной жизни и Надином сердце не только свое место. Он занимал там все место — и свое, и чужое, и какое бы то ни было. Ясно поэтому, что, оставшись одна, навыка одиночества выработать она не смогла. Последнее, впрочем, настолько в порядке вещей, что в оправданиях не нуждается. Женщина, предоставленная своей одинокой свободе, есть явление в высшей степени ненормальное, и то, что такая женщина все-таки выживает, танцует и улыбается, для меня лично загадочно.

И вот тут появляется Шнобель. Мужчина — и не мужчина. Не ловец, не охотник; с ним не ждешь, что опять повторится страшное: поймают, насытятся и бросят. С ним жить — безопасно, а это именно то, что позарез необходимо. А в то же время — мужчина как мужчина, хотя по виду и не скажешь; но в этом, как и во всем, внешний вид обманчив... И уж так-то нежен, так... А уж как после всего отразишься в его зеркальных глазах: просто ты не ты, а царица бала,— то уж, кажется, чего еще на свете надо?

Но при всех замечательных качествах Шнобеля Надя не стала бы жить с ним, если бы происходящее у них совсем не соответствовало ее представлениям о себе. О том, что в ее жизни все особенное. Не-как-у-всех. Откуда, как в головы иных женщин приходит полное смешение понятий; как может такое вздуматься, что не только можно, но и должно, например, и невинность соблюсти, и капитал приобрести; словом, как придет в нормально работающую голову захотеть сразу всего, ни от чего не отказываясь,— не знаю. Знаю только, что такие женщины есть, что их много и что некоторые из них даже ухитряются нарушить законы житейской механики и невозможное — осуществить! И к таким-то неуемным, исключительным натурам принадлежала Надежда Петровна. Ей необходимо было найти в избраннике все, что она искала. И по необходимости она нашла это все в Голобородько. Разумеется, многое в нем требовало для соответствия сильной ретуши, да еще такой, чтобы самой эту ретушь не заметить. Но — как известно было всем в достопамятные те времена — нет такого слова: «Не могу», есть только слово: «Не хочу». А Надя хотела.

Вот до чего никак не мог додуматься Шнобель (и вот почему он не мог до этого додуматься): счастьем своим он обязан был именно тому, что было позором и несчастьем всей его жизни: странностям своей психики. Что говорить: ни у кого, ни у кого — такого романа еще не... Нет, ни-у-ко-го. Как ни крути. Вообще, Гриша — совсем особенный. Стесняешься его перед людьми, а если подумать — не того ли стесняешься, чем бы гордиться надо? У него взгляд особенный, и улыбка, и образ мыслей. Хотя ей и в убыток, что он всех готов понять, даже врагов, но — это не каждый сможет, верно? Гриша не как другие, ему не причесочка-подкрасочка, не запах «Красной Москвы» — ему душа важна. У него не то что женщина — человек, но даже и курица — птица.

Правда и то, что по брезгливости, овладевавшей, бывало, ею при виде перекошенной длинной фигуры в берете, при звуках козлиноблеющих, издаваемых этой фигурой,— по душевной изжоге, возникавшей от его не по-людски самоотверженной любви,— правда, что по всему этому Надя временами догадывалась, что бяку-то-закаляку она сама из головы выдумала, что Шнобель у нее — подставной. И что два дня в неделю назначены были ею не случайно. Трудно было бы ей видеть его чаще. Догадывалась, но верить себе было неудобно.

Однако природу не надуешь, это уже понимал и Шнобель. Так и не открыв секрета странного ее-к-нему сердечного расположения, главное: что он подставной,— Голобородько с некоторого времени чуял постоянно. Коли подставной, рано или поздно, но в свой срок придет на свое место — настоящий. А срок есть то, что отмерено. Отмерено неизвестно кем, и отмер неизвестен — год, месяц, момент; но — отмерено. А стало быть, поезд отходит. Григорий Иванович трезво это понимал и ужасался трезвости своей мысли.

Между тем жизнь и после смерти вождя шла и шла своим чередом, заставляя носы чихать под действием тополиного пуха, вызывая удушье сладостным запахом лип; в магазине «Колбасы» продавались колбасы, в магазине «Сыр» — сыры. Люди по-прежнему жили сознанием, что жить — хорошо, а жить — это значило делать то, что положено, а это значило, что все то, что положено,— хорошо. Хорошо было, как положено, не опаздывая ни на минуту, приходить на работу, а после работы отдыхать, как и где положено. На труд и на праздник — на все имелся твердый устав и твердые цены, и жизнь вели по средствам, и белые салфетки еще венчали столы в каждой столовой, а правильные мысли еще помещались в каждой голове; установленная свыше твердыня жизни помогала не чувствовать собственной малости, но — чувствовать общую значительность; и это замечательное чувство — собственное чувство общей значительности — в свою очередь помогало не замечать в себе вещей второстепенных: некоторых незапланированных чувств и мыслей. Люди привыкли к сжатию сердца и ума, к определенному давлению атмосферы, и до тех пор, пока еще оно, слава Богу, неощутимо менялось, дышали ровно и правильно.

И пока что по-прежнему правильно, дважды в неделю, Надя и Шнобель встречались и шли в Струкачи, и со всех скамеек окрест неслись берущие за душу песни «В нашу гавань заходили корабли», «Маленькая девочка с панели» или «Четырнадцать английских моряков», и одна совсем уже грустная — о том, как рыдает над могилою сына-вора, рыдает осудивший его на смерть его же отец-прокурор; и сидели в шапито, где играл гирями и сыновьями первый чемпион мира по поднятию тяжестей Григорий Новак, где пищал Карандаш и тявкала Клякса, и под куполом цирка делали «Эйфелеву башню» великие и заслуженные сестры Кох. Здесь уже Шнобель брал реванш за оперетту: он любил цирк за его честные обманы и разбирался в них, и мог даже объяснить Наде технологию распиливания женщины пополам. И пока все многочисленное семейство Волжанских передвигалось по канату, кто на своих двоих, кто на чужих плечах, Надя всю их дорогу переживала, а в страшный момент смертельного трюка «копфштейн» припадала к Шнобелеву плечу, что на короткий и потому остро-счастливый миг рождало в Григории Ивановиче хвастливые ощущения.

Впрочем, хватало и ощущений другого рода. Даже и неприятные, даже унизительные порой ощущения посылала судьба, судьба, которая, как известно, не утруждает себя вопросами вроде: а хорошо ли будет данному человеку, вовремя ли, впору ли ему будет, если в тяжелые для него времена устроить ему сверхплановую подлянку? Откуда-то, зачем-то, например, вынырнуло прошлое Надежды Петровны, прошлое, как и положено дитяти улиц, самое демократическое.

Прошлое предстало перед ними обоими в лице некоего Серени в черной кепочке, который, хотя и гляделся лет на тридцать с небольшим, сохранял лениво-энергичную повадку тех молодых петуш-

ков, с которыми лучше не встречаться на улице тихим летним вечерком,— словом, был изрядно скотиноват, как сказал бы Денис Фонвизин. Дело, если перевести специфическую речь этого малого на общепонятный язык, состояло в том, что в некие времена Надя ходила с ним, Сереней, затем-де с таким-то и с таким-то, но его, Серого, не забывала, потом уже водилась с третье-четверто-пятым и тогда воротила от него, Сергуньки, нос, но это еще куда ни шло, а вот теперь, видать, думает, что окрутила совсем важную птицу, если его, Сережку, просто в упор не видит. Чего уж сердце совсем не в силах вынести! Тем более что важная птица эта — никакая не важная и не птица, а известный своим ребятам псих Гришка Шнобель, которого вообще-то соплей перешибешь, но которого он, Сереня, «лично ща все равно приложит», иначе-де он — не он. Чтобы синими штанами не давил фасон да не гулял бы по бабам с чужих кварталов.

Произошло то, чего следовало ожидать: Голобородько, труся и ярясь, бросился на оскорбителя — и зарылся носом в густую летнюю пыль, ибо стал чрезвычайно легок. Как былиночка сделался он в последние дни, только его рецепт потери веса вряд ли сгодился бы кому-нибудь; и что стоило его побить, когда трепетал он и наполнялся воздухом, как парус, и двигался толчками, едва задувал степной татарский ветер? Улегся Шнобель в пыль и не только что встать не успел, но даже не успела мелькнуть мысль о том, что с ним одним, чудиком, случаются такие чудеса чудесные: не ведет же себя ни один безобразник в тридцать с лишним годов, как в восемнадцать, а вот, пожалуйста,— на его голову откопали-таки барана,— не успела промелькнуть до конца удивленная эта мысль, как уже рядышком, в соседней куче пыли, очутился не по своей воле и незадачливый его обидчик. Григория же Ивановича поднял, поставил на ноги и отряхнул с брюк его пыль не кто иной, как старый наш знакомый Толян.

Надо сказать, что более приспособленный для драки человек, чем Толян, вряд ли рождался когда-нибудь на свет. Не знал он ни приемов каких-нибудь особенных, ни весом не отличался слоновьим, не мог также вздуть эффектно бицепс-другой; но просто, влекомый волчьей своей натурой, бросался в бой, не зная парализующего страха ответного удара, превратившись весь в подобие четырехлопастной турбины, равномерно быстро перемалывающей противника всеми четырьмя конечностями-лопастями, не щадя сил и не разбирая, что перед ним: нос, скула, печень, пах. Остановить эту турбину могли только — или такая значительная физическая масса, в которой бы Толяновы лопасти просто завязли, или своевременная капитуляция.

Сереня, будучи отправлен отдохнуть, судя по всему, капитулировать не собирался, но порывался в бой, глухо ропща и пробуя встать; дернувшись, однако, два раза, он вдруг повалился и довольно засопел, поскольку был пьян что называется в зюзьку и, вероятно, уже давно мечтал перевести себя в горизонтальное положение, да только не вспомнил вовремя, как это оно делается.

А Толян обращается к Наде и в самых для него вежливых выражениях извиняется за происшедшее, рекомендуя при этом Голобородько как единственного приличного человека в городе, и, хлопнув Шнобеля по плечу, уходит в неизвестность, из которой так неожиданно и кстати возник.

И много, много пищи для размышлений доставил этот случай Голобородько: и о зловредном характере судьбы, которая остроумно и жестоко посылает несчастья человеку, когда ему и без того туго, и о людях, которые, шут их знает, может, действительно лучше, чем они есть: вот хоть Толян, ведь по всей же логике вещей должен бы держать на него острый зуб за закрытие сарая и за — что знаться не хочет Шнобель со старыми дружками, ан нет...

И разные, разные еще смутно-многодумные мысли и ощущения от разных мелких событий бродили в нем и сменяли друг друга; и даже совсем не было мыслей, и даже не было ощущений, когда с Надей шли они по набережной, а было молчание во всю неоглядную пропасть между рекой, землей и небом. И Григорий Иванович в эти минуты понимал рыб и завидовал постоянству их молчаливого счастья; птиц же не понимал никогда...

Вернемся, однако, от поэзии жизни к ее прозе. Жизнь хотя и текла по вчера-позавчерашнему образу и подобию, но Голобородько, повторяю, уже догадался, что образ этот и подобие — только видимые.

Сначала он просто вывел: все кончиться *должно*. Через месяц-другой понял: все и кончится, как должно. А на четвертый месяц сердце упало: конец уже начался.

С той точностью, с которой понимает вдруг человек, что у него прихватило именно печень, а вовсе не почки, с той же определенностью боли ощутил в один прекрасный миг Шнобель, что Надина... скажем... ну, пусть любовь к нему — прекратилась; причем прекратилась, что хуже всего, не истекши вовсе, а — изменив русло. Она явно жила, текла, эта любовь, ток этот, пронизывая Надю, всегда ощутимо электролизовала ее, но текла по направлению не к нему, а *к кому-то другому*. Это было совсем плохо. Это значило, что появился тот, с которым ничего не поделаешь. Не подставной. Настоящий.

Началось... ну, хоть с того, что лицо ее кратко, но откровенно кривилось в самые милые, уютные их минуты. Потом и голос ее начал откалывать номера: произносить самые обычные слова — напрягшись, словно выталкивая их, словно пытаясь сдержать неприличную неприязнь. Еще немного — и вот вдруг почему-то не мог уже он, досидев даже и до двух ночи, остаться у нее до утра, а непременно почему-то нужно ей было отослать его домой. А в два часа, между прочим, в городе гасли фонари, и одинокие встречные шаги в темноте были особенно отчетливы, страшны, плюс, учти, до дому — пять кварталов, пять добавочных страхов из-за угла. Надя-то знала его со-шпионских-времен боязнь: из-за угла; и все равно гнала. Что это? Не знак? Нет, скажи, не знак?!

А еще чуть-чуть, еще чуть-чуть... и она стала исчезать. Исчезать как-то неправильно. То две недели по одному свиданью вместо двух, то, наоборот, три за одну неделю; потом бабах — вообще от нее ни слуху ни духу, дома ее нет, а в магазине говорят — на больничном. Хи-хи, ха-ха, и: на больничном. То есть дома. Где ее опять же нет. А потом она сама на тебя с неба сваливается: «Не спрашивай, Гришуля, верь мне»; он не спрашивает — от радости, а пуще от боязни услышать, чего не нужно, и с месяц-полтора у них все вроде бы путем.

Вот что плохо: человека можно к невероятным вещам приучить. Даже к потере. Даже к процессу теряния. Чтобы у него жизнь убывала-утекала сквозь пальцы, как вода, чтобы он, больше того, утечку ясно видел, только сделать ничего не мог, да!

Все-таки она ему сказала однажды, сказала, наконец, сказала, *почему* исчезает. Что — *есть* у нее.

Ах же ты екорный бабай! Вот как оно приходит. Шнобель не ревностью мучился: человек негордый, он не очень старался представлять, что поделывает Надя в остальные пять дней. Он сердцем допускал как естественный факт, что в те дни, когда он ее не видел,

ее, может быть, и вообще не было. В этом мире. Он привык к счастью по вторникам и субботам.

И вот теперь это у него отнимали. Надя появлялась все реже, и он страдал без нее в привычные дни ее былого наличия, но еще сильнее мучил его страх, что ее — не просто меньше, а она для него кончается. И скоро совсем кончится.

Но что он мог сделать? Повлиять на женщину из иного мира?.. Даже спасительную привычку жить, пока живется, жевать, пока жуется, выработанную длительным курсом заглушки нервных центров, он уже давно перековал на привычку жить в понедельник вторником, а в среду, четверг и пятницу — субботой. Жить-для-завтра. Что он мог теперь поделать, когда завтра обещало только одно: полную пустоту?

Он лежал, обхватив закинутыми за голову руками холодные прутья изголовья. В такие же холодные железные прутья упирался он пальцами ног и глядел на шары, навинченные поверх прутьев, на лампочку без абажура под потолком. Он чувствовал, как в тупой немоте его мозга рождается болезненный крик; и он открывал рот, чтобы облегчить мозг, но изо рта выходило тихое «м-м». Или философское «Вот то-то, гляди, и оно, что так-то оно так». Он брал ножницы и долго, тщательно резал старые газеты ровными полосками и не убирал их. Бумага кончилась, когда весь пол покрылся ею, и Шнобель топтал ее, а она шуршала и, накопившись, уже слегка пружинила.

Иногда же он все-таки выходил из дома и направлялся в районную библиотеку взять партизанские мемуары. Он возвращался домой с книгой и аккуратно читал ее от корки до корки, но видел во все время чтения только буквы, буквы, сложенные в случайные слогоблоки. «...Гауляйтерэрихкохпа-лачу-краины»—такое читал часами Голобородько и смолил «Прибой». «Прибой» сделался невкусным, курить не хотелось, и чем больше не хотелось, чем противнее был табак, тем больше он курил, жег горло, душу и двенадцатиперстную кишку.

Он читал, курил, а сам все думал о том, в чем не мог разобраться. О справедливости. Что ж, все должно быть по справедливости, он и раньше так полагал. И то, что Надя уходит, справедливо по отношению к ней. Она достойна большего. Но в отношении его, Григория Ивановича, в отношении его — где справедливость? Что он такого набедокурил, чтобы его карать? Он же не виноват, что ее любит? Что не знает, как без нее и... вообще. Просто. Быть.

Не виноват. Почему же справедливость по отношению к ней проводится за счет несправедливости по отношению к нему? Есть в этой справедливой несправедливости — справедливость?

Нет. Так почему эти, главные, которые проводят мероприятие по справедливости, почему не придумают остроумный, правильный технический вариант? Мысль может все, она даже такое может, чтобы Наде досталось то, что ей нужно, а ее чтобы от него все-таки не забирать. Наверное, может и такое, только надо думать. Вникать в суть вопроса; на то они, т е, и поставлены.

Но кто ты, чтобы жаловаться, и где они, чтобы им жаловаться? От обиды и ясного сознания бессилия страдания Шнобеля перерабатывались в ненаправленную злобу, ищущую только — вырваться на волю и захмелеть самой от себя. А поскольку он верил, что в жизни надо делать добро, а не зло, выходило, что злобу эту знакомую следовало в себе задушить. Дело принимало совсем уже невыносимый оборот: задушить в себе эту сильную злобу было явно не по зубам инвалиду II группы.

Нет, чего там, можно все. Можно даже засыпать с двойной-то порцией снотворного, если только менять периодически барбитураты для-против-иммунитета.

А вот просыпаться не хочется. А вот вносить в таком состоянии своевременно коммунальные платежи — нет сил! А вот жевать и проглатывать — отсутствие слюны не дает.

Не хочу, чтобы о Наде думали плохо. Она в те дни тоже имела вполне бледный вид.

Относительно того, что с ней произошло, распространяться долго не буду. Просто: пора пришла (и это совершенно верно, в духе мало ему знакомых, но кровно чувствуемых гуманистических традиций русской классики угадал Шнобель) — она влюбилась. Отдохнув душой пару лет при помощи Голобородько, Надя — не без боязни — позволила себе уже настоящую любовь. Каков был он, читатель, вероятно, и сам легко, как говорится в старом еврейском анекдоте, высчитает. Все-таки уточним: он был начфин одной летной части, стоявшей под Оренбургом, в Тоцком, и частенько наведывался в Куйбышев по делам, не упуская за делом и личной жизни. Что до него, он не должен быть и не будет предметом нашего узкоспециального интереса. Нужно только знать о нем то, что совмещал начфин — единственно в своем роде — все достоинства ловкого финансиста с легкой удалью летчика; фамилия его была Ромадин, а ради любви своей он мог даже с опасностью для карьеры использовать служебный самолет в личных целях: велеть прокатить Надежду, куда она попросит. Но удача любила его, ни разу еще не поплатился он за свои фокусы — в те-то времена — даже сутками на «губе»; даже сдачу ему сдавали исключительно хрустящими бумажками и новенькой, еще жирной на ощупь мелочью. Теперь нетрудно будет понять, что позвало Надежду Петровну на новые подвиги любви с той роковой силой, с какой... ну, хотя бы Федю Протасова влекло к тому, чтобы стать живым трупом.

Начав понимать человека, как-то неудобно останавливаться на полпути. Поймем и дальнейшее: Надя разрывалась между страстью и жалостью. Что это была за жалость,— к Григорию ли Ивановичу, который молча таял на ее глазах, или к себе: сама ведь себя поставила в такое положение (ведь несчастный же, больной же!), что и полюбить-то спокойно не моги, не моги отдаться большому чувству,— какая из двух это была преимущественно жалость, сказать невозможно, да это и несущественно. А существенно то, что, поскольку в жалости Надиной отсутствовала простая, односоставная подоплека, то и выражалась эта жалость не в здоровом слезном чувстве, а в болезненном, сухом надрыве.

То утешала она Шнобеля тем, что умный, что понимающий — он-де все переждет, что только и делов-то — переждать. Всего только переждать: вообще-то она уверена — лучше его, Гриши, для нее нет и быть не может, он умный, он понимающий, и кто еще так выбьет ей коврики, просто она — слабая женщина и временно не в силах противиться такой сильной слабости; то запрещала ему появляться по две, даже три недели: то опять кидалась ему на шею, задаривала китайскими теплыми рубашками и шелковыми носовыми платками, купленными в Оренбурге,— Григорий Иванович брал, носил, сморкался, как бы желая благодарить и радоваться ее заботе, как бы не желая знать, что от него откупаются...

Утекала меж пальцев. Шнобелевы страх и отчаяние все сильнее перегонялись в злобу, но он прятал ее изо всех сил. Он не смел даже мысленно злиться не то что на Надю, но вообще — при ней, сделался с ней еще любезней, еще тише обычного. Страх тихой сапой приучил его делать невероятные вещи: брать, например, без вопросов всуе ее сторону и согласно с ней поругивать ее сослуживцев. Дерзал даже Григорий Иванович иногда ввернуть комплимент из последних сил, неумелый, но все-таки.

Он любил Надю в те дни, когда была она рядом, до умиления

и до полного умаления себя, а потом изнемогал от накопившейся нереализованной злобы. Как-то, когда Берта Моисеевна попросила его выключать за собой свет в местах общего пользования, что он исполнял последнее время крайне неаккуратно, он вдруг побелел, открыл рот, чтобы высказать все, чему он еще не знал названия. Но сказал только: «Я знал. Знал я, что ваш народец — правосторонний, хоть некоторые и ходят по левой для маскировки».

Он совсем не то хотел сказать, и никогда того, что сказал, не думал вроде бы; но сказал с полной искренностью, и отношения с Бертой дали сильную трещину. Чему способствовала Валентина, которая вообще евреев видала в гробу или, на худой конец, в Хабаровском крае. Она даже щукой брезговала — и х н я я еда; а вот на кухне переметнулась сама в себе на правильную сторону, да как вдарит по Шнобелю умным словом: «Антисемит!» Да! На невинном человеке выместил Голобородько свою злобу, чтобы еще добрее, еще нежнее сделаться назавтра с любимой.

Он почувствовал, что даже Надин резкий голос вызывает в нем нежные чувства. Он много такого о любви понял, что мало кто понимает; и он боялся думать так, как думал на самом деле, и думал так, как хотелось думать: все-таки Надя побоится совсем, навсегда потерять человека, который т а к умеет ее любить. Надо только еще постараться, стать капельку добрее, чуть лучше. Чтобы открыть ей глаза на то, в чем ее настоящая выгода.

Но она, увы, думала не о выгоде; плохо все-таки знал ее Григорий Иванович. И чем лучше вел он себя, тем больший причинял себе вред. Потому что доброта его стала ей поперек горла. Вероятно, его доброта норовила разбередить в Надежде Петровне совесть, которая в ней отсутствовала. Или, может быть, напротив: доброта его говорила, что у нее нет совести. А она у Нади была...

Беспрецедентное поведение Шнобеля убедительно доказывало, что т а к о г о человека терять нельзя. Ничто не вечно под луной, кончится и новая любовь, как и все, имеющее начало; но поди ищи тогда такую преданность, какую выказывал Григорий Иванович... Надя понимала это, будучи умом — умнее своей любвеобильной натуры. Но: сколько можно-то? Ясно, как дважды два: пора одному из двух сделать ручкой. Тут каждый час трясешься от страха, что они лбами столкнутся, а тогда... Но — без начфина лучше не жить, лучше сразу в Волгу, от его колдовской улыбки и густого голоса у нее колени подгибались и таяла сладко, как мороженое в вазочке, душа. Вот почему, стоило Шнобелю напомнить кротостью своею о том, что оставить его — никак нельзя, Надежда Петровна чувствовала к нему острую ненависть.

Но как ни крути, а сделать некоторые серьезные вещи могла она попросить только Голобородько. Когда, например, одна пенсионерка накатала в книгу жалоб: «Возмущена хамским поведением продавца Кандеевой Н. П. На мою вежливую просьбу поменять мелочь на крупного карпа та заревела белугой, что у нее не частная лавочка, а не берешь, какую дают, то и не надо. Это уже не первый случай неуважения и хамства у т. Кандеевой Н. П. Требую принять меры. Персональный пенсионер, член РСДРП(б) с 1915 года Перфильева Ф. А.», когда написано такое, а случай, судя по предыдущим записям, действительно не первый, кого не стыдно просить помочь? Голобородько (самого-то его в гастрономе на смех бы подняли) еле-еле упросил Соколову Клавдию, предварительно заделав кровельным железом крышу в том месте, где у Соколовой потолок протекал, и Соколова скрепя сердце отправилась в гастроном, где по тайному знаку — трижды кашлянув, была Надеждой превосходно обслужена (на деньги Надины же, полученные Соколовой от Шнобеля), пришла в громкий восторг, о чем и засвидетельствовала тут же письменно как раз под жалобой Перфильевой Р. А.: «Восхищена любезным обслуживанием продавца Кандеевой Н. П., которая не только помогла мне отделить от мелочи крупную кильку, но и сказала, что это ее долг. И назвала меня «дорогой товарищ». Подпись, правда, подкачала, потому что, как ни уговаривал ее Шнобель поставить «член РСДРП(б) с 1905 года», самое большее, чего он сумел добиться от перепуганной Клавдии,— это чтобы она подписалась хотя бы: «Стахановец Соколова К. В.» Что было чистой правдой: в 1935 году Соколова побывала даже на слете стахановцев делегатом от табачной фабрики.

Худо-бедно, а положение подправлено. И Шнобель, гордый от сознания своей незаменимости, по-прежнему мягчел, виноватился все более по мере того, как Надя выписывала кренделя, срывая на нем, как тот на Берте Моисеевне, накопившуюся злобу. Чтобы оставить для прибывающего завтра из Оренбурга начфина все только то полно-радостное, что называется любовью женщины и чего лучше не бывает на свете.

А сегодня была еще ночь; и ночью происходило самое страшное: Надя Шнобеля оттолкнуть не могла, как бы честно расплачиваясь телом за двух-трехнедельное отсутствие.

Лучше бы она этого не делала. Лучше бы она делала все что угодно, кроме этого. Потому что слишком чувствовалось: душой у нее не получалось заплатить за отсутствие души.

Раньше она отдавалась Шнобелю, или, скорее, напротив, брала его — охотно, потому что здоровому телу, как бы там ни было, всегда — а почему бы и нет, в конце концов? — хочется получить то, что ему природой положено хотеть.

И вот приехали, забуксовало. Шнобель почувствовал, что хотя Надя сделалась даже податливей, чем раньше, податливость эта окрашена была с трудом скрываемой брезгливостью. Он не понял. Брезговала Надя не им, а скорее собой, потому что с того недавнего момента, когда изумленная Надя заново открыла, очнувшись от забытья, что в телесном общении участвует душа, отсутствие этого элемента в плотской любви начало ею болезненно восприниматься. Скотство какое-то, думала она. А вслух говорила, жалеючи: «Милый»,— и гладила по голове; лучше бы, думал Шнобель, уж прямо: «Миленький», как санитарка...

Кто знает, как оно бы еще обернулось, веди он себя по-умному; да не выдержал, полез на рожон. Он, представьте, начал Надежду уму-разуму учить... В ситуациях запутанно-безнадежных маху дают, случается, и самые умные люди, тем более — наш дуралей. А все потому, что Шнобелю смертельно захотелось как-то, хоть в каком-то качестве с о х р а н и т ь с я, о с т а т ь с я. Если не с н е й, так хотя бы в н е й. Остаться в виде хотя бы следа. И безумный его разум перешел ту черту, которую если бы не переходить, так попробуй Надежда ударить лежачего — ее совесть еще пять лет приличного повода не нашла бы. А за пять лет начфина могли пять раз перевести в Воркуту или — говорят, есть и такие места на карте нашей Родины — еще подальше.

Да, соблазн этот — повлиять хоть на кого-нибудь, изменить его к лучшему и так сохраниться в подлунном мире — он иногда и негордых людей подстерегает.

Начал Голобородько за кухонным, а то и постельным делом чуть ли не политбеседы вести. Ласковые, но с моралью. Случаи из фронтовой жизни вкручивал ей, типа того: как добрым голосом, бывало, людей к жизни возвращали. Ты-де к человеку с лаской, и он к тебе — с добром. И тому подобное.

Поначалу она думала — это все так просто, чтобы горло прочистить. Ан нет. Что ни встреча — все та же песня. Тут уж она ему — вопрос: «Если меня, женщину, какой-нибудь Сереня, допустим, матом кроет, мне что делать прикажешь?» А Шнобель подвоха не понял, быв в упоении добротой: молчи, говорит, молчанием, может, ты его больше устыдишь, чем ответным матом. Он, может, вспомнит, что он добрый. Если же нет — его грех; а твоя совесть чиста. Главное — совесть, а самолюбие побоку.

Тут-то она поняла, наконец, что это он ее — ломать взялся. Удивилась неслыханной его наглости и хотела уже всыпать ему, чтобы впредь знал свое место, но решила все же промолчать и посмотреть, что дальше будет. Видимо, женским чутьем учуяла казавшийся еще вчера невозможным конец этой добровольной неволи, конец крестного пути, возможность уйти от инвалида к нормальному, притом любимому человеку, не слишком отягчая своей совести. Пусть поговорит, а мы послушаем.

Он и поговорил. И до того наш олух договорился, что не только поведал про учителя своего Кирилла, как тот однажды кобыле, запряженной в телегу, под хвост молоток ручкой вставил, чтобы хоть чем-то порадовать утомленную жизнью тварь, но еще на полном серьезе вывел отсюда моральный пример для Нади, лежавшей рядом в чем мать родила и хохотавшей во всю силу здорового смеха здоровой русской бабы. То есть хохотавшей именно д о морали-то, обращенной к ней.

Но то, что он и тут умудрился влепить про добро, ее наконец достало. Ты лезешь в душу — ладно, лезь. Морали читаешь — читай. Но — меру знай, голубчик. Ведь всему предел положен. «Нет,— сказала она, и зазвенел ее голос, а блеск глаз придал мирной женской наготе что-то устрашающе-грозное,— нет, ты долго еще будешь меня изводить? Долго будешь надо мной измываться со своим добром? Кобыл они ублажают, полудурки,— и меня еще жить учат! Ё-кэ-лэ-мэ-нэ! Может, тебе с кобылой-то и спать, добро ей оказывать, а мне такого добра не надо, Гришуля, я по-людски жить хочу, с человеком, а не с шизым фреником».

И то бы ладно. Сказала и сказала. Молчать бы ему тут в тряпочку, и все бы, глядишь, ничего. Да вот надо же, чтобы здесь-то, после этих ее слов все святое в Шнобеле почувствовало себя оскорбленным. Есть, есть непредсказуемые минуты, когда и трусы не держатся за шкуру. Голос его хлынул не из одного только рта, но, словно дождь из тучи, изо всех пор его тела: «Ты-то по-людски живешь? Воровка, хабалка! Да твоих же знакомых не найдешь никого, кто бы о тебе хорошее слово сказал. Воровка, воровка, ежь твою двадцать!»

Еще две, три секунды, наверное, стояла звонкая тишина, а затем... Христом Богом прошу: не грубите вы женщине, которая по восемь часов в день стоит за прилавком с большим ножом в руке. Рука такой женщины тяжела. Из Шнобелева носа пошла кровь на простыню, и подушку, и одеяло замарала его алая, сырая кровь...

Но эта битва полов, все безумие ее, ярость, и мощь, и упоение — неподвластны моему перу. Желающих получить хотя бы примерное представление о всем этом отсылаю к старинной немецкой книге «Песнь о Нибелунгах».

Что же до нашей истории, скажу словами Григория Ивановича: раздача кончилась. И надо же было ей кончиться так по-детски суматошливо, так унизительно-глупо и бездарно! Но кто мы и что мы, чтобы судить-рядить о достоинстве и благообразии не то что целой огромной человеческой жизни, но даже и мельчайшего события в ней, малейшего человеческого поступка? Стоит ли окрест себя оглядываться, когда ближе еще — твоя собственная жизнь... Красива?

Впрочем, история эта имела не только конец существенный, но еще и конец вещественный.

Недели две спустя Шнобель вышел-таки из дома. Был пыльный, сухой, карандашно-синий, дыханием близкой Азии обдающий вечер. Какая-то нелегкая понесла Голобородько на Чапаевскую. Зайти он, однако, не решился, а только влез на приступочек и тихонько заглянул в окно. Но стоящий прямо напротив окна злосчастный фонарь и белые тюлевые занавески не давали ничего рассмотреть. Он спрыгнул, зашел со стороны двора, куда выходило окно кухни. Тут не слепил фонарь, а занавески Шнобель давно хотел тут повесить, да так и не собрался. На кухне горел свет.

За столом сидела Надя в красном своем халате в горошек. Напротив, положив на ее руку свою, сидел мужчина, очень похожий на мужчин с картинок в книжке «Маленькая хозяйка Большого дома». Между ними стояла бутылка вина «Южная ночь». Из открытой форточки несся голос Рашида Бейбутова. «Я встретил девушку,— пел он,— полумесяцем бровь...» Надя освободила руку, погладила ею руку мужчины и взяла со стола плитку горького шоколада «Золотой ярлык».

Шнобель ощутил то страшное успокоение, которое приносит действительное знание взамен воображаемых ужасов. «Вот то-то и оно, что так-то оно так»,— проговорил он, как бы отсчитывая про себя по букве и напряженно следя за счетом, чтобы не подключиться к наблюдаемому.

Тут же — как ни бейся, от себя не уйдешь — его рвануло. «М-м!.. Мясо!» — выкрикнул он и попытался просунуть голову за поверхность оконного стекла. Не чтобы они увидели, а так просто, в охотку. Стекло не пустило его, только нос приплюснулся. «Мясо! Мяс-со!» — все равно выкрикнул он. И пустился бежать.

Ночью ему приснилось: ничего.

Бесцветный квадрат пустоты, стягиваясь, превратился в круг, круг сузился до точки. Это не была точка в пространстве, эта точка и была — все видимое пространство. Затем точка расширилась, выросши в черную воронкообразную дыру. Ее стремительный рост, подбросив, вынес Шнобеля из постели. Он посмотрел в окно и в лунном свете увидел круглые глазки килек, с ужасом наблюдавшие за ним. Все триста забытых давным-давно за окном глазастых граммов.

Он ощутил запах, идущий из собственного рта, и понял, что организм его больше не справляется с жизнью. Этого он не хотел; он еще не доспел до смерти.

Он долго ехал на первом утреннем трамвае, потом долго шел лесом и, наконец добравшись до Томашева, попросился на вторичный курс стационарного лечения.

* * *

В дурдоме он в разговоры с соседями не вступал и даже имен их не помнил. Он и под уколом видел наяву и во сне тело белизны и тающей пышности пивной пены. Запах духов «Красная Москва» доходил до ноздрей его души через все заслоны; его больная память оказалась сильнее аминазина, трифтазина, галаперидола, сильнее электрошока и шока инсулинового, сильнее карбоната лития, от перебора которого все время хотелось пить и усиливался тремор его и без того дрожавших пальцев...

В эту свою вторую лежку думал он не о полуавтоматах и автоматах, да и вообще не думал ни о чем, а только какая-то шестеренка врезала в душу непрерывно одну и ту же мысль: о страшной, противоречащей логике этого мира природе любви. Именно: любимая жен-

щина, уходя, уносит с собой не ровно столько же, сколько в свое время принесла, а много больше — всю твою душу. Ну, ты пришла-ушла, так оставь все, как до тебя было, ежь твою двадцать! Согласно законам сохранения. Положи на место, что взяла.

А она — нет. И вот пустота души. И пустота разрастается за пределы души и захватывает тело. Рак. Рак. Где спасение? Огромный красный рак, набитый гнило-зеленой падалью, вареный, но почему-то шевелящийся, тянущий клешню к самому горлу, привиделся однажды на рассвете. Шнобель закричал во сне и проснуться толком не успел, как был оглушен тяжелым ударом: значит, крик прорвался из сна в явь. Но и ощутив удары, Шнобель не унялся, продолжая еще оттуда, из сна, кричать. Его поволокли и кинули в изолятор. Но он не испугался пустого изолятора. Он кинулся раз головой вперед — отскочил. Второй — отскочил. А после третьего сел на пол и почувствовал: отпускает его память. Не совсем, но все-таки. Он почувствовал, как болит расшибленный лоб, и понял: вот спасение. Вот в этом кубике пустоты, за который не выйдешь, внутри которого нет никакой подробной, членораздельной жизни, ничего и никого нет — значит, и любить некого.

Так он пошел на поправку. Но, конечно, не сразу. Еще долго урабатывали его таблетками, инъекциями и даже лечили психоанализом. Опять выплыло на свет Божий хитрое слово «подсознание», уже полуразрешенное вкупе с учением, его породившим. То есть учение-то по-прежнему было реакционным и, стало быть, вредным, но вот лечение по вредному учению чуть ли не вылечило где-то кого-то. И кое-где после этого уже начинали смотреть сквозь пальцы, если кое-кто втихаря психоанализ практиковал. И вот сохранившийся в добром здравии по дружбе с местными врачами фрейдист Половинкин, прижившийся в Томашеве и даже устроившийся на ставку нянечки: куда еще ему было податься со справкой — опять беседовал с Голобородько. И о чем? Насчет лебеды. Или лабуды. Хотя беседы его как раз и были — лабуда, потому что ставили целью доказать: Голобородько — хоть и сознающее, но все-таки животное. Шнобель же, хоть и не верил в Бога, однако и в обезьяну, если честно, поверить до конца не мог. И он окончательно уверился, что никакого подсознания под сознанием нет.

Как долго мурыжили его, трудно сказать: там день за месяц идет, но и год за день. Главное, душу ему, как могли, починили. Однако предупредили, отпуская домой: имей в виду — это все видимость одна, что душа зашита. Следи за собой. Замри на месте. Смотри, перенервничаешь еще раз — как бы тебе по гроб жизни не отдыхать в нашем гостеприимном доме.

Шнобель ступил на порог своей комнаты, не заметив остервенелого взгляда Валентины и не здороваясь с Клавдией Соколовой и Бертой Моисеевной. Одно в упор видел он: времени терять нельзя, упустишь секунду — и живое чувство прокрадется в душу. Перманентно напрягая голову, чтобы не думать, принялся он за устройство изолятора из своей комнатки.

Рассказывали в Томашеве, что в американских дурдомах бокс-изолятор вроде мягкой комнаты. Обивают чем-то изнутри вроде толстой губки. Если так, они там мыслили явно в одну с ним сторону. И лба не разобьешь, и... много тут есть всяких «и», не всем понятных, но — кому нужда. Распотрошил сарай, покрыл пол и стены комнаты войлоком и Бог его знает чем еще мягким; не хватило, так во дворе стекловаты валялась кипа — ею и проложил, а дерюжкой сверху. Вынес в сарай все предметы, кроме кровати, стола и стула. А дверь обил в три наката, чтобы задействовать фактор акустики.

Оставалось окно, в нем виднелось слишком многое: двор, водопроводная колонка в центре двора, вечно сохнущее и вечно наполняемое вновь русло лужи у подножия колонки, череда сараев, по крышам которых брела нелюдимо парочка котов, да в глубине двора — заросли конопли и паслена, в народе именуемого «бзникой». Но что делать — не мог же он жить вообще без воздуха. Окно он оставил в покое, стараясь просто в него не смотреть.

И так стал жить-поживать, сделав запасы сухарей и овсянки, варя ее на керосинке прямо в комнате и жалея об одном: что нельзя как-то с водой и уборной напрямую соединиться, чтобы не выходить за мягкие стены вообще.

Жил или не жил, кто скажет; просыпался и засыпал, развлекаясь такими вот вопросами: ходил ли, допустим, Сталин в уборную? Или — есть ли евреи в Китае? Так это подумает, и встает перед ним страна Китай, желтая река Хуанхэ, рис на полях, великий младший брат Мао Цзэдун — больше он про Китай ничего не знал.

Так лежал он в черной от керосиновой копоти, мягкой своей комнате, попеременно возникая из пустоты и пропадая в пустоту; когда же случайно собирался с мыслями, то, словно покинув свой организм, со стороны, отрешенно думал: зачем вот я эту мягкую комнату организовал? А — чтоб не сразу подохнуть. Но и жить-то вроде не хочется. Почему тогда, это самое, помереть страшно? Вопрос!

Но однажды, может быть, через год или два — откуда было ему знать — возвращаясь из места, ради посещения которого он вынужденно покидал свое логово, Шнобель выпал из хронической своей задумчивости. Случайно взгляд его проник в открытую дверь комнаты Берты Моисеевны. После чего он повел себя некультурно: без спроса вошел в чужую комнату и начал исследовать один загадочный предмет.

Предмет этот, вновь соединивший Голобородько с миром, где стены не обиты войлоком, был телевизор «КВН», снабженный линзой и цветными листами слюды — красным, зеленым и синим.

Телевизор — это была зримо воплощенная идея жизни, только и могущей устроить Григория Ивановича. Особой, механической жизни, не цепляющей за душу, как жизнь живая, но и не столь бесчувственной при этом, как примус или сарай. Обещающей если не избавление от бед, то по крайней мере поддержку механического, то есть верного, друга.

Он понимал: все с себя продай — не хватит купить телевизор. Но знал самую непреложную из истин: каждая вещь ломается. И, невинно попросив поглядеть схему и досконально изучив ее, ждал. Он, чтобы глядеть телевизор, даже попробовал наладить добрососедские отношения с Бертой Моисеевной. Он ждал своего часа, а между тем эта новая, пусть не страсть, но все-таки привязанность уже начала тихую лечебную работу над его душой.

Шли месяцы, годы. Глаза Шнобеля в какой-то нефиксируемый момент приоткрылись, и он с удивлением обнаружил, что живет в ином мире, чем тот, к которому привык. Где, оказывается, действуют вместо старых — новые деньги, в десять раз большие (и он сам, что интересно, того не замечая, пользуется ими, покупая, например, стакан газировки уже не за двадцать пять, а за три копейки). Где артист Владимир Трошин непрестанно поет по радио и телевизору «Четырнадцать минут до старта», уверяя, что наши следы скоро появятся на пыльных тропинках далеких планет, а один баритональный тенор пошел еще дальше и песенно заявил, что на Марсе будут яблони цвести.

Но Григорий Иванович не тратил силы на удивление, даже по поводу освоения космоса. Да, идея была хороша. Техника на грани

фантастики. От технической идеи, самой по себе, захватывало дух, но до Марса ему было, как до Марса. Он берег себя в ожидании своего часа.

И дождался. Берта Моисеевна со страхом: все же не специалист — и надеждой: зато бесплатно — внесла в его мягкую комнату сломанный «КВН». Внесла, и ахнула, и говорит. Во что, говорит, Гриша, ты комнату превратил. Но Голобородько ее не слушал, а с пугливым — все же не специалист — восторгом запустил единственный имевшийся у него инструмент, отвертку, в любимое механическое тело.

И вот при помощи полусломанной отвертки и самодельного паяльника он так отладил изображение, что все проверочные круги, и квадраты, и планки оказались там, где им положено, причем четкость не уступала яркости, обе же они, и четкость, и яркость — работали на создание первоклассного контраста. А звук не трещал, не раздваивался, давая ровный бархатный тон.

Следствием произведенной им высококачественной и бесплатной починки было то, что через неделю у него стояло уже три телевизора — «Рекорд», «КВН» и «Темп-3». И задумчивость перестала быть его подругой.

Деньги брать отказался он наотрез. Он их вообще по учению презирал за ненадобностью, а кто уж очень хотел отблагодарить, того просил Григорий Иванович купить ему отвертку, или паяльник, или канифоли раздобыть побольше — для общей пользы.

Само собой выяснилось далее, что чинить он может не только телевизоры, но и швейные машинки, часы, зонтики, велосипеды, детские коляски, механические игрушки. А чего не умел, тому обучался на ходу, легко, без усилий; потому брался за любую починку. И он сам, и все кругом поняли: у него дар, на который просто внимания раньше никто не обращал.

Но Берта не просто поняла это. Она сделала из этого выводы, то есть, отвела его к молодым еще, но уже кое-что могущим и кое-кому уже известным людям — к дочке своей старой приятельницы Нине и мужу ее Борису Токаревым.

Дело вот в чем: Борис приобрел по случаю, практически даром, трофейный «оппель-кадет» цвета окрошки. Был тот «оппель» весь во вмятинах от долгого военного пользования и, само собой, требовал большой работы.

Токаревы — классная портниха Нина и хормейстер Борис — тогда уже, после серии платных постоев на чьих-то квартирах, в чьих-то частных домах и даже чьих-то помещениях полуподвального типа, жили наконец-то в отдельной ведомственной двухкомнатной квартире, полученной Борисом от макаронной фабрики за «спетый» им хор — дипломант поволжского смотра.

Григорий Иванович под немецкой машиной сначала лежал, потом над ней стоял — и все это время на нее едва дышал. В результате чего травмированное войной существо совершенно исцелилось и демонстрировало железное здоровье. А сверху он покрыл «оппель» золото-бежевой нитроэмалью, с трудом полученной за починку очередного телевизора вкупе с обивкой двери и сменой прокладки в кране. Эмаль сверкала на солнце, а темной ночью под фонарем мягко отливала.

Разумеется, он денег не взял, и удивленные Борис с Ниной начали его хотя бы угощать. Голобородько, как мог, отказывался, потому что вид хорошей жизни — он понимал это,— вид хорошей жизни мог настроить на ненужные воспоминания. Он хотел объяснить, что платой за труд был ему сам любимый труд, но вдруг точно понял: этого

не объяснить. И, не желая обижать людей, поплелся за стол с центральным салатом из крабов и даже, рассудив, что не рюмка раз в пять лет губит человека, а скорее сами эти пять лет его губят,— вытянул рюмку едва ли не с удовольствием. Что-то было в атмосфере этого дома, что даже ему внушало: жить — это еще и почти удовольствие, между прочим. Сам не заметил Голобородько, как засиделся и, чего уж и вовсе с ним быть не могло, разговорился, как бы обретя в токаревском гостеприимстве неожиданный резонанс, усиливающий беспомощное звучание слабого дара его речи. Много наговорил. А как пришел домой, немного ежился вспоминать; однако отпустило душу, можно вздохнуть.

Время проходило однообразное, но тем и целительное: работа, еда, сон. Незаметно текло время. Кеннеди, правда, ухлопали за милую душу, еще сколько-то спустя Никиту турнули, кто говорил — за кукурузу, а кто — за исчезновение мяса из-за постоянной помощи Кубе. Но сколько времени прошло от убийства Кеннеди до исчезновения мяса, и вернулось ли оно, мясо, на прилавки (а должно быть, вернулось, по крайней мере временно: то, что временно исчезает, должно, следовательно, временно же и появляться), Голобородько не знал. Мяса он не ел, овес же пока еще не исчезал; да и вообще все это: «мясо», «волюнтаризм», «пылающий остров», «совнархозы» имело для него такую же приблизительно степень реальности, как для научного атеиста — вопрос соотношения Божественной и человеческой природы во Христе.

Реальными для него были только свершения его рук и мозга, поскольку они давали ему, во-первых, ощущение: он, Шнобель, вроде бы, действительно, есть. Потому что двигает руками и получает от этого очевидное удовольствие. А во-вторых, самоопределение, возвращающее ему отнятое жизнью уважение к себе: он — мастер. Потому что нет сопротивляющейся вещи, которую он не смог бы победить.

Будучи вооружен, конечно. И потребность в инструментах создала привычку их добывать и собирать. А привычка переросла в страсть собирательства.

Каналов добывания было несколько. Во-первых, кто-то что-то приносил. Во-вторых, из пенсии отложить рубль-полтора.

Однако за деньги только те инструменты собрать можно, которые есть в хозяйственном магазине. В магазине, например, хороший микрометр не купишь. Не говоря о заграничных автоматических отвертках. Но был и третий канал: городская свалка.

Григорий Иванович сам не заметил, как, влекомый новой страстью, сместился вбок и тем вывел себя из поля действия страсти старой. Как начал выходить на улицу, не думая о том, что вдруг встретится о н а (надо же, а дом на Чапаевской все-таки обходил стороной за квартал).

Веселая трясина свалки открылась перед ним. Но Шнобель не любовался игрою красок; он работал. По колено увязая в железной, стеклянной, деревянной, в твердой, хрупкой, податливой, в вонючей, хрустящей, шуршащей, тяжелой, невесомой, грязной — в отработанной пище материальной жизни миллионного города, Голобородько внимательно брел в габардиновом своем, бывшем красавце-костюме — по свалке и — выуживал. Вниманию его не было предела, и за внимание он награждался: швейцарским никелированным микрометром, узким сверлом из легированной стали или просто коловоротом, который, как ни крути, тоже вещь не последняя. Инструмент попадался чаще с дефектом, как правило устранимым, но бывал и целехонький. Секрет свалки: каким именно невозможным путем попадают

на нее вполне годные к употреблению, а часто и очень ценные вещи — секрет этот, вероятно, никто до конца никогда не раскроет; но человеческий гений и не проявляется в окончательном знании, а — в умении непознанным пользоваться.

В другие дни Голобородько попросту шел по улице, склонив долу лицо со знаменитым носом. Таким образом, по временам набивая шишки о фонари, прочесывал он километры тротуара, идя то по левой, то по правой стороне, уподобившись шпионам, которых некогда столь успешно отлавливал. А ныне он столь же усердно искал проволочки, клепочки, винтики и прочую мелочь, которую просить достать или купить как-то даже неловко. Искал и находил. И можно было видеть иной раз, как со счастливой, но явно вороватой улыбкой он тащит откуда-то в свой сарай-мастерскую кусок кровельного железа, дюралюминия или рулончик пропарафиненной бумаги.

Если в начале пятидесятых годов Шнобеля знали в широких количественно, но качественно узких кругах записной городской пьяни, а позже его забыли и те, кто знал, то теперь он сделался общегородской достопримечательностью. Простоев в работе у него не было: шутка ли, бесплатный мастер, а лучше всех платных. Более того, запись в очередь пришлось устанавливать сначала на две недели вперед, потом на месяц.

Совсем ушел в работу: а вот, опять же, дом на Чапаевской стороной обходил. И не то чтобы боялся с *н е й* встретиться... Ну, боялся, был грех; но более, может быть, боялся нарушить какой-то привычный запрет в душе, перейти оградительную, раз навсегда установленную черту. И еще, может быть: что увидится с ней, а она женщина как женщина. Выходит, всего делов-то было выкрасить да выбросить — не с чего было рёхиваться. А-а: все-таки хотелось образ *с в е т л ы м* сохранить, хотелось-таки себя уважать и даже возвысить себя в своих же глазах за счет тобою же возвышенной любимой; как и всякому человеку хочется, безразлично — психованный он или звучит гордо.

И все же потихоньку вернулось к нему то, что некогда отняла его роковая любовь. Чувство, что жизнь — не *д л я к о г о-т о и ч е г о-т о,* не для «завтра», не для счастья и острых ощущений, но что *п р о с т о ж и з н ь* — тоже жизнь, больше того, она-то и есть *с о б с т в е н н о ж и з н ь, ж и з н ь н а с а м о м д е л е*; и то, что люди недалекие называют серым, простым существованием, прозябанием, то, по-твоему, выходит так: ты сам от себя зависишь и сам собой обходишься. И такое стоит цены тоски и страха умереть в одиноком сне, и какой-то легкости тревожной, как бы это сказать, полуощутимости существования.

Стоит-то стоит. А страшно все-таки. Особенно, когда далеко от дома уходишь, и как стемнеет, так спина слышит: вон из-за того угла, из того вон темного света выскочит и... лучше обойти сторонкой. А особенно страшно входить в свой неосвещенный подъезд, ждать чью-то руку из темноты, может быть, с острой бритвой. Ах, она режет тонко!

Сколько лампочки ни меняй, они аккуратно через два-три дня перегорают; заколдованное место.

Но Григорий Иванович не собирался дешево продавать свою жизнь. Он изготовил карманный, величиной с кисть руки, пульверизатор-пистолет. А клиент из химлаборатории доставил ему литровую банку со сверхконцентрированным раствором аммиака. Подходи, из темноты тянущий руку. Нашатырем освежиться — одно удовольствие. Любящий гарантии Голобородько проверил новое оружие на себе: есть эффект, будьте уверены! И теперь уже почти спокойно бороздил, держа руку в кармане, море городского асфальта в поисках улова. Зимой одевался он в ушанку с кожаным верхом, клетчатый сине-белый шарф и черное пальто с разнообразнейшим ворсом и к холоду почти никак не относился. Больше того: когда весь деревянный двухэтажный центр города заносило сухим, неопрятным от дыма промышленных объектов снегом, Голобородько чувствовал, как внутри него и снаружи устанавливается одинаковая температура, и холодные чувства перестают проситься в мир, чтобы их согрели.

Как-то повелся он с Токаревыми: «оппель» от старости требовал постоянного ухода, да и Борис с Ниной, долго и ровно переходя от молодого безденежья к известности и деньгам, по кипучести натур что-то все время изобретали. Особенно Нина: то встроенный в стенку шкаф-универсал, то еще что. А Голобородько ее остроумные идеи воплощал золотыми своими руками и, пока он это пилил-строгал, рядом вертелся подрастающий Витя Токарев, интересуясь узнать, чем шерхебель отличается от рубанка, рубанок от фуганка, рашпиль от напильника, напильник драчевый от личного, личной от бархатного и все такое прочее.

Что ему в Токаревых нравилось, это: они не заносились. Не делали вид, что им ясно, какой человек нормальный, а какой — нет. А домработница их, Макаровна, чувашка, все падежи путает, говорит: «Она пошел», но зато ей на жизнь пожаловаться можно; как-то вошел он во вкус этого увлекательного занятия. Даже поделился тайной мыслью, уцелевшей на самом дне сознания ото всех облав: кто по правой стороне идет — шпион, кто по левой — наш человек. «Може,— подтвердила Макаровна,— запросто».

Но вот что сильно чувствовал по временам Шнобель: возненавидеть женщин — это еще не все, когда тебя природа мужчиной на свет произвела. Но не был Григорий Иванович рукоблудом, не в такое время воспитывался, а перемогал сгущение дурной крови силой воли. От длительной силы воли низшая, половая энергия у него внутри преобразовалась в высшую, творческую.

Ему представлялось, как он перечинил все сломанные вещи во всем районе. Затем — во всем городе. Двести человек таких, как он, сговорившись, перечинили все во всех городах. Днем и ночью трудятся они, и вот их — тысяча, десять тысяч круглосуточно чинят все в стране; а ведь каждую вещь можно починить, и значит — незачем выпускать столько новых вещей, и вот уже миллионы людей благодаря стараниям Голобородько и его коллег освобождаются от производства и могут посвятить свою жизнь высокой цели... Какой? Чего ради освобождать их от труда, когда более высокой цели, чем радость труда, в жизни нет? А чего ради трудиться, изобретать машины, если не ради того, чтобы освободиться от дальнейшего труда?

Тьфу ты пропасть! Чего только в голову не взбредет, пока починяешь. Сколько можно чинить? Ты бы не чужое чинил, а свое сочинил.

Но — чем заняться для души? Что сочинить? Нечего. Крутится в сарае-мастерской колесо точильное: день-деньской доводит до бритвенной остроты Шнобель свои рубаночные ножи, стамески, мелкую птицу — скальпели. Нинин подарок. День-деньской летят веселые искры, силятся человеческую душу развеселить.

Напрасно. Невесело, нехорошо, невесело: душа раздражена. А тут еще окружают соседи и гости их.

Не обо всех речь. Соколова, например, Клавдия никому никогда не мешала. Она тихо сидела у себя в комнате, смотрела телевизор (у всех появились телевизоры, во как!) или, сидя во дворе, жаловалась, что раньше крепко в идею верили, а теперь одно безобразие.

И вспоминала Магнитку и Днепрогэс, даром что проработала всю свою жизнь на табачной фабрике.

Не мешала жить и Берта, с которой хоть и треснула однажды дружба, но почти наладилась вновь, потому что было к тому основание самое прочное — родство душ. И тот, и другая могли быть признаны неограниченно годными для коммунальной жизни: один — по простоте отношения к житейским невзгодам, другая — в силу генетической кагальности. И Шнобель не задумывался походя прихватить ее мусорное ведро вместе со своим — на вынос. А Берта, когда делала цимес, говорила: «Гриша, цимес — это же диетическое блюдо, это же сто процентов чистого витамина А. Кушайте, Гриша, ваша мама очень любила мой цимес». И Григорий Иванович всегда кушал и хорошо кушал; и, поскольку Берта знала, что вообще он ест мало, ей это льстило, ее это радовало.

Так что, думая: соседи, Голобородько имел в виду: Валентина.

Двое гостей регулярно посещали Валентину и ее уже взрослую дочь Риту. Эти гости умели жить, умели приняться с толком и за крашеное увядание бульдожьелицей блондинки Валентины, и за увенчанную «бабеттой» большеротую молодость семнадцатилетней Риты.

Было, разумеется, и тисканье по углам и у вешалки, и комнату освобождали по очереди, уходя в кино. Мать дочку не стеснялась и дочку воспитала в своей вере. Так что было все это; но чаще шла обычная игра двое на двое. То, что можно назвать общением. Ибо всякий человек, какая молва ни ходи о нем, на самом деле предпочитает какое ни на есть пиршество душ занятиям козлиным, отводя первому время, а второму только час, хотя бы потому, что первое способно отвлечь человека от пустоты жизни на большее количество времени.

В моду входил черный кофе; могучий запах его, смешавшись с запахами кухни, сделался очередным кошмаром жизни Голобородько. Да и Ритуля пошла в мать: чаще других песен Высоцкого специально врубала ту, где пелось: «Рядом психи тихие, неизлечимые». Григорий Иванович зла не имел на Высоцкого, как некогда не злился на Толяна; и этот, похоже, не столько помучить хотел других, сколько мучился сам. Но Ритка — скажи, какая дрянь. Известно, яблоко от яблони недалеко падает.

А те двое мужиков его зазывали: им нравилось злить женщин, и, кроме того, забавляло побаловаться с городской знаменитостью. К тому же один из них был давний его знакомец Мостовой, барышник, начинавший пацаном в сороковых, с которым водиться еще в пятидесятых приличные люди считали для себя невозможным, а теперь уже многие считали иначе... Никто не знал в с е х дел Мостового, да и я их не знаю; но все знали, что дела эти — крупные, значительные дела, а человеку свойственно уважение ко всему значительному.

Этот человек знал, зачем занимается делом: чтобы жить хорошо. И так он даже внешне и жил — хорошо и аккуратно, можно сказать, системно: пиджаку соответствовал галстук, галстуку — зажим для галстука; зажигалка его, хотя и отечественная, никогда не давала осечки, своевременно заправляемая бензином и снабжаемая новыми кремнями. В кармане его нагрудном помещался носовой платок, в брючном правом — нож с открывающими все виды бутылок и банок приборами и брелок с ключами от машины и квартиры; в брючном же левом всегда находился бумажник, и бумажник этот, судя по его толщине, содержал как раз то, что положено: деньги. Он знал, что коньяку сопутствует лимон, лимону — сахарная пудра; он использовал для освежения щек после бритья польскую туалетную воду и не ругался матом при женщинах.

В противоположность ему дружок его Зуев только начинал дело, торговал пока по трояку новомодными шариковыми ручками, импортными пластинками типа «Поет Джордже Марьянович» или «Поет Эмил Димитров». Собою он являл вид блуждающего человечка с блуждающим по сторонам взглядом, разнонаправленными, блуждающими по голове волосами, ходил в чем-то рогожеобразном, драном, с отвисающим воротом, загребая по-пингвиньи руками и пытаясь обогнать следующим нервно-быстрым словом предыдущее, как бы устраивая словесные скачки, перемежая заумь с матерком — короче, принадлежал к пародийно-эксцентричному меньшинству поколения, родившегося, по слову его поэта Вознесенского, «в свитерах».

Внешне один жил хорошо, а другой кое-как, но дышали оба — одним. Это и роднило их, перекрывая разницу в возрасте, размахе дела и проч., это и роднило: даже не душевное родство, а нечто большее — родство судеб во времени. Шеи барышников, еще недавно привычно втянутые в плечи, потихоньку выпрямлялись; время и люди, ранее презиравшие их, теперь едва ли не признавали; идея л и ч н о й и н и ц и а т и в ы, ранее отделявшая их от других, теперь понималась и утверждалась повсеместно. Они уже могли самих себя уважать, но общество, перестав презирать, все-таки не признало их до конца. Идея личной инициативы еще не могла стать в умах и сердцах миллионов идеей л и ч н о й и н и ц и а т и в ы д л я д о с т и ж е н и я л и ч н ы х ж е ц е л е й.

Спекулянта уже не называли барышником, но еще не величали деловым человеком. К нему с почти уже чистой совестью обращался за помощью иной порядочный и хорошо воспитанный человек, но обращался как к нужному, а не как к равному. Его не выгоняли из дома, но и не приглашали в дом. И находясь в этом нелепом, межеумочном положении, они не могли не видеть себе подобного за версту и не тянуться к нему, несмотря на разъединяющую силу свободной конкуренции.

Но все-таки им было мало уважения собратьев по ремеслу. Они искали общественного признания, как ищет его всякий, опередивший время и знающий себе цену. А они знали цену себе и все остальные цены тоже; они первые нащупали единственно возможный для миллионов простых советских материалистов путь выживания в условиях единственной в своем роде, чрезвычайно хитроумной, к тому же год от года все более усложняющейся экономической игры. Они искали признания, и чутье вело их туда, где всякое признание берет свое начало: к женщинам.

И уже можно было слышать, как вещает Зуев: «Зажимают у нас стимуляцию индивидуального динамического потенциала». Загадочная эта фраза прочно засела в восприимчивом уме десятиклассницы Риты, с тем чтобы рано или поздно выпорхнуть в большой мир...

Но пока что до покорения всех людей доброй воли было еще далеко; пока что красивые фразы и первые манифесты поборников скверноприбытчества впечатляли разве лишь Ритулю, аккумулируясь у нее где-то в районе среднего уха, пока что Мостовой и Зуев отводили душу в беседах с Голобородько. То есть хотели душу отвести — да не тут-то было. Хотели раздухариться, разговорив его баловства приятного ради; а он возьми и дай им отпор.

Но — по-людски. Вместо чтобы: «Так и так вашу разздак», он им издалека про то и это. Про трудовой энтузиазм, про голод в войну, и как девушка за пайку невинность свою ломать была согласна; вот он им вкручивает про личное и общественное, дошел уже и до Человека, что выше сытости, и до Ужа и Сокола. Совсем разошелся.

А они на дурака не обижаются. Да, они говорят, сытость ниже человека. Но свобода человека не ниже, она ему как раз впору.

А свободен по-настоящему только сытый человек. Так-то. Он им — Горьким, выученным по кухонному радио; они ему — Марксом, никогда не читанным, но угаданным. Ибо тот, как известно, постиг умом истории законы, а они по этим законам жили и потому, не заглядывая в «Капитал», знали: бытие определяет сознание.

Так он их стыдил; так они за его счет веселились, и тикали ходики, а с комода Валентининой прабабки, с места, где раньше стояли слоники количеством семь, на них глядели из рамок русокудрый Есенин с трубкой, словно вываливающейся изо рта, и итальянская актриса Софи Лорен... Да, все вроде бы мирно. Все вроде при своих.

Но — люто возненавидел. Их — за хитрость.

За то, что хитрые — хоть некоторые притворялись, что в драном свитере,— жили хорошо и все им сходило с рук. Они редко попадали в переплет. А поскольку кто-то же по статистике должен попадать в переплет, то наверняка вместо хитрых в него попадали нехитрые. Простые советские люди.

Простые люди — ну как вот он — не всегда могли себе позволить купить, что хотели. Например, ему позарез нужна была электродрель. Конечно, он мог одолжить ее или попросить принести с собой заинтересованного в том клиента. Но она, во-первых, была нужна ему постоянно; во-вторых же, и это главное, он просто хотел ее купить. Без нее в его коллекции инструментов явно не хватало чего-то главного. Между тем дрель стоила — страшно сказать — пятьдесят рублей. Пятьсот старыми! Отсутствие дрели все время неприятно бередило его душу. Она начала сниться ему по ночам: дымчато-серая, цвета Надиных глаз, она кружилась словно бы в медленном вальсе среди расставленных по углам и освободивших ей место стамесок, долот и паяльников.

Не в силах вытащить из сердца новую эту занозу, Григорий Иванович поделился своей печалью с Ниной. Нина долго его слушала, потому что не могла даже сразу понять, в чем проблема. Поняв, наконец, она сказала, что, конечно, могла бы дать ему взаймы на любой срок, но ведь он от этого не перестанет хлюпать ртом; а она терпеть не может, когда взрослый мужик и тем более с золотыми руками хлюпает ртом, не зная, где взять какие-то паршивые полсотни. На то человеку и даны руки, чтобы деньги зарабатывать; так или не так? А ему, Григорию Ивановичу, заработка и искать не надо, потому что он и так занимается честным делом, которое стоит денег. Просто деньги эти нужно — брать. По праву и даже обязанности. Потому что если тот, кто работает, не будет есть, тогда за него есть будет тот, кто на еду не заработал. А это неправильно. Так или не так?

И тут в мозгу Григория Ивановича произошло неожиданное движение. А вслед за тем еще более неожиданное движение совершилось в его душе. И он спросил, и Нина ответила, что он все правильно понял. А если клиент, паче чаяния, не поймет его, пусть Григорий Иванович просто скажет, что овес подорожал.

«Овес подорожал»,— сказал он скороговоркой, неуверенно (овес-то, он знал, ни хрена не подорожал) очередному клиенту. «То есть?» — опешил клиент с помятым кузовом 408-го, пораженный поведением человека, которого, как считалось в городе, от обезьяны отличало только великолепное умение пользоваться орудиями труда. «Ну, то есть десять рублей!» — рявкнул для быстроты окончания Голобородько, весь красный от стыда. Странно: клиент ничего не сказал, а вынул червонец и протянул Шнобелю.

Несомненно, Шнобель трусил, почти как в дурдоме перед санитарами; но первый страх прошел; начавшись, движение в уме его и сердце продолжилось. «Двадцать»,— сказал он следующему, у которого были нелады с коробкой скоростей. И получил два червонца.

Понятно, что человек, берущий за ремонт коробки скоростей двадцать рублей, за движок целиком должен взять хотя бы рублей пятьдесят. Шнобель запросил тридцать пять, меньше — даже он понимал — было и запрашивать неудобно. Или вообще не бери, или бери больше. И однако он по-прежнему не понимал: почему никто не скандалит, не шумит, мол, вчера же еще все было задарма,— нет, все молча вынимают деньги... и даже чуть ли уже не уважать его собрались. Это же не жизнь, а сплошная тетя Мотя!

Дрожащими руками прижал он к груди железную свою зазнобу, девушку своей мечты — электродрель. Но денег оставалось еще целых пятнадцать рублей; и тогда мысль Шнобеля сделала отчаянный рывок: разорвавши кольцо привычного существования, устремилась она по спирали материалистического познания жизни. Он впервые прочувствовал всю непреложность того факта, что человек, не имеющий лишних денег, это один человек, а тот же самый человек, но имеющий деньги в излишке — это уже совсем другой человек. С тою же внешностью, но с другою душой. Потому что когда у тебя в кармане пусто, то тебе и желать нечего от жизни, кроме того, что положено бесплатно. А когда у тебя в кармане целых пятнадцать свободных рублей, то начинает хотеться всякое такое: купить, например, к дрели целый набор победитовых сверл. Раз — и они твои, за здорово живешь. Но ведь это уже чересчур; так чего можно захотеть в конце концов? А? Делай вывод!

Но он почему-то вывода не делал, а продолжал чинить автомобили не совсем бескорыстно. Вот же ты, египетская сила: уважительная причина отпала, а продолжал. Григорий Иванович понимал, что оправданий не имеет, да и к чести своей не искал оправданий, а с ужасом осознавал, что проявляет ту самую частную инициативу, за уничтожение которой уважаемые им герои клали головы в семнадцатом году; ту самую, из-за которой вконец озверел мир насилья; ту самую, из-за которой он возненавидел Мостового и Зуева.

Григорий Иванович видел порочность круга, и сердце его исходило презрением к себе. Но сильнее была охота плюнуть на позорную пенсию по неполноценности, делать дело и тут же видеть его плоды, добывать своими руками эти бумажки, которые могут все... наверное, даже то, что ему нужно. А что ему нужно? Этого он не знал.

А и вкусно же было в правильном интервале получать и сортировать желто-серенькие, красненькие и голубенькие, иногда даже светло-сиреневые, пусть надорванные, ладно — стертые до мягкости, но лучше — новые, упругие, как фольга звенящие деньги!

Но и страшно же: закроют лавочку. Узнают, что деньги берет — и привет: частная деятельность. Да плюс его вторая группа — нерабочая. Закроют лавочку — это будь спок.

Так приобрел он разом целые три дурные привычки: презирать себя; бояться противозаконности своих действий; не брать все это в голову, а брать деньги, аккуратно раскладывая их потом по отделениям самодельной кассы.

Начала уже посещать его — пока еще изредка — такая увлекательная мысль: накопить и машину купить. Или еще более увлекательная мысль: купить что-нибудь всегда можно придумать, если сначала — накопить.

Все же он то ли из страха, что лишнего запросит, то ли уступку делая прежней хорошей привычке к чистой совести, границу двадцати пяти — тридцати пяти рублей за самую даже канительную работу не переходил. Нет, не переходил. И была у него постоянная

работа, чтобы уважать себя, и постоянный страх стыда, чтобы держать себя в узде, и маленькие радости, чтобы любить жизнь; было ему отпущено многое из того, что может быть даровано человеку, и казалось наконец налажена жизнь, и ей, такой, какова она сейчас, не будет конца...

Берта умерла. Поехала в Ташкент к сестре, да обратного пути и не выдержала. Сидеть бы ей дома в ее семьдесят. Двое суток с половиной по такой-то жаре, а духота азиатская, сердце старое, слабое, вот тебе и приступ, а что там найдешь в поезде, кроме валидола, где там «скорая», какие там кислородные подушки в степи под Бузулуком? Так и везли часов пять — уже мертвую. Пассажирам, да и бригаде, эх, весело было эти пять часиков, надо полагать.

И кричала, и плакала молча родня, и кто-то утешал привычно: «Все мы там будем»,— и дали Шопена, и доставили Берту в 6-й тупик на еврейское кладбище — между русским и татарским, где в густом бурьяне тонули могилы и только виднелись вразброс шести- и пятиконечные звезды, и некоторые из них сильно облупились, так что голые прутья каркаса торчали из бетона, как пальцы из рваной перчатки. На душе у Шнобеля было пусто и безоблачно, и потому смотрел он по сторонам, не зная, чем заняться, и думал: кто бы это мог быть такой — «Ицхок Давид Исроэл Кривошеев. 1866 — 1965», и что делал он на свете целых 99 лет? Какая болезнь доконала Кривошеева: инфаркт миокарда, или грудная жаба, или рак прямой кишки? Или же умер Ицхок Давид Исроэл просто от старости? А если все-таки по болезни, то, не будь этой болезни, сколько бы еще, интересно, прожил на свете Кривошеев?

Так размышлял он, пока совершался обычный, давно уже одинаковый на всех трех кладбищах обряд; и кладбищенское небо, безоблачное, как Шнобелева душа, стояло над ним и глядело единственным, желтым, испепеляющим глазом.

И вдруг словно отворилась дверь, и в пустую комнату души Григория Ивановича вошли тяжесть и страх. Смерть Берты вдруг открылась ему во всей ее действительной правде. Григорий Иванович раньше видел смерть, на войне, много раз, но простая правда военной смерти состояла в том, что гибель одного человека автоматически означала спасение другого. Ужасная правда смерти в мирное время состояла в обратном: так, точно так же и ты умрешь. Точно так же опустят и тебя в землю и забросают землей, а кто-то будет глядеть по сторонам и развлечения ради читать надписи на могилах. Смерть другого указывает на твою собственную неизбежную смерть. Все мы там будем. Где нас нет.

Нет.

А кого — нас? Кто такое — «я»?

Он в мягкой своей комнате впал в телесное рассеяние и напряжение мысли: лежал, шевелил пальцами ног и, углубившись в это шевеление, часами наблюдал сумбурное движение частиц, странную игру неизвестных сил, называемую почему-то всем известным словом «я», а на деле представляющую просто калейдоскоп неких натяжений и ослаблений. Правда, такой чудесный калейдоскоп, который сам себя разглядывать способен, а все равно — только калейдоскоп, неведомо чьими руками поворачиваемый по оси.

Назвали: «я», «личность» — и отделались от объяснения. Так всегда: стоит непонятную вещь назвать непонятным словом, как уже и думать зачем? — все, глядишь, понятным стало. Вот, скажем, он, Голобородько, путем сигналов мозга управляет пальцами ног — как это понять? На каком основании данный мозг командует данной ногой, и почему вся эта система называется именно «Г. И. Голобородько», а не... Почему вообще «я» — это я... нет, на этот вопрос решительно не то что ответить, его сформулировать даже невозможно, потому что как обозначить мысли, которые базируются на ослепительно-мгновенных, по сверхскоротечности неуловимых в слове ощущениях?

Ладно. Что такое «я», ему никогда не понять. Но хотя бы — *зачем* «я»?

Понятно, зачем. Чтобы дело делать, так?

Так то-то и оно, что не так. Делу-то его цена — копейка!

Вот теперь: он чинит машины. Он чинил их, как хотел; он мог бы, наверное, если сильно постараться, отремонтировать целиком «шевроле» или «плимут», используя только отечественные запчасти да городскую свалку. Но — кому? На кого он работает? Кто такой может купить себе автомобиль честным путем строжайшей экономии? Генерал, ну, полковник, если очень поднатужится. Ну, народный артист, на худой конец профессор. Сколько таких в городе? Десятка три-четыре! Хорошо, прибавим еще двоих-троих, выигравших в лотерею. Округлим. Все равно больше пятидесяти не получается.

Приплюсовать получестных: зубных врачей и техников, да скорняков, портных с именем, да... еще сотни полторы. Две сотни на миллионный город, елки зеленые! А машин? Тысячи! Чьи? Он, в частности, Голобородько, кого обслуживает?

На 90% — вредителей. Внутренних диверсантов!

Так. Приехали. И что теперь, бросать? Не чинить? А машину не жалко? За ее больное тело не больно? Она в чем виновата? Руки его, которые чешутся: сваривать, рихтовать, шпаклевать, красить — что с ними делать?..

Ба, подумалось ему вдруг, да что ж это он себя-то? Забыл? Забыл. А ведь он теперь и сам шпион непойманный! Он теперь и права не имеет ругать этих. С кого деньги ворованные получать не стесняется. Он с ними теперь в одной компании. Да. То-то и оно, что оно— так.

Стоп, машина! Берта померла, и он помрет, помрет как пить дать; что же получается? Так гадом и помрешь, частником, мелким буржуем, на радость Стасу Мостовому и всей его братии?!

Вот она где у него, эта братия! Клиенты, понимаешь... Живут. И хорошо живут, в свое удовольствие. Ему бы радоваться, что старая его мыслишка насчет Абсолютного Удовольствия пущена была наконец в ход, в мир, на всю катушку; ан нет. Что-то не тем оно боком вышло. Вот тебе урок: за что боролись, на то и напоролись. Что же это делается вообще, на белом нашем, на современном, данном свете? Куда ни глянь, куда ни плюнь, куда ни кинь — всюду пошла хорошая жизнь. Машин развелось, мясо жрут чуть не каждый день, сердца хмурые, а морды довольные (а у него все из рук вон, все его труды против него же оборачиваются!). Уже, говорят, и телевизоры не простые, а цветные изобрели, а что толку? Кому это поможет? Все равно все лопнут с жиру, если допрежь того с жиру не взбесятся. Разве для смерти или сумасбродства всеобщего коммунизм строят? Для этого и капитализма достаточно: при нем все профессионально вредительски так именно устроено, чтобы работающие могли лопнуть от сытости, а безработные умереть с голода. Чтобы всем было плохо. А как же иначе коммунизм строить, подумалось тут ему вдруг, если не при помощи сытости; путем недоедания, что ли? Нет, конечно. От недоедания мы ослабеем и все соревнование проиграем; а сытость, видать по всему, людей почему-то не улучшает, как учили, а только портит. Как быть-то? С недоеду — сил нет; от сытости в тупой сон клонит; как же строить-то при таком раскладе? Как попасть в коммунизм второй ногой?

Стоп, машина! Пусть другие в дерьме купаются, коли охота, а он завязал. Завязал... Легко сказать — завязал, когда втянулся. У-у же ты, живые эти деньги разноцветные, на ладони лежат легкие-невесомые, а так утянут — не выберешься. Екорный бабай, а ведь и вправду не выбраться, подумал он, вдруг представив себе себя, как он сейчас есть, лежащего со зловонной «прибоиной» во рту, небритого, не стриженного слишком давно, чтобы походить хотя отчасти на человека; одетого так, что самому неудобно глядеть на себя; потому, видно, и смотришь в потолок. А ведь отложено аккуратнейшим образом рублей уже около пятисот, точнее, четыреста девяносто один рубль, и очень, очень можно бы на эти рубли подновить себя, и язву злокурящимся «Прибоем» не бередить. Так нет же, он, да, он как бы машинально запрещает себе помнить о тех деньгах, он как бы сам по себе — голью перекатной, а денежки — как бы сами по себе, отдельной жизнью живут-размножаются. Вот они какую власть над ним взяли... Страшно думать, не надо думать; Гриша, Гриша, куда ты смотришь, кончай балду валять, беги, уноси ноги...

Очередной клиент, войдя во двор по Самарской, 100, немало был удивлен запертой на висячий замок дверью сарая-мастерской и надписью во всю дверь мелом: «Закрыто. Не откроется. Г. И. Голобородько». Немедленно же отправлялся огорошенный клиент за объяснениями к самому Голобородько, который встречал гостя в новом, сэвовского импорта, более того, модном костюме цвета маренго с широченными лацканами. Седеющие, поредевшие волосы и черные усы его были аккуратно подстрижены, крепко пахло мужским одеколоном «В полет». Перед Григорием Ивановичем стояла миска, синяя, как его выбритый подбородок, миска, полная овсяной каши, заправленной рыночным медом и изюмом, королевской каши, которую ел он большой ложкой, не сняв даже пиджака. Взгляд его едва обращался на гостя, чтобы тут же отправиться опять в угол, где с удобствами, на самом устойчивом табурете, разместился и приступил уже к работе телевизор марки «Рекорд». Удовольствие от жизни в свое удовольствие — вот и все, что выражал спокойный этот взгляд. На все расспросы, на все мольбы, проклятия, обещания, на все протянутые червонцы Григорий Иванович, не переставая жевать, отвечал коротко: «Раздача кончилась».

Доев кашу, открывал он подарочную, пятирублевую, на двести пятьдесят штук, коробку папирос с изображением на крышке запорожцев, пишущих письмо турецкому султану, не предлагая гостю, брал длинную папиросу, постукивал-приминал-закуривал, затягивался-выпускал дым-кряхтел, и тогда только, как бы удивляясь, что пришедший еще здесь, что ему что-то еще может быть неясно, и в то же время снисходя к человеческой слабости — доискиваться до объяснений каждого предмета, объяснений если не исчерпывающих, то, по крайней мере, удовлетворительных,— только тогда пояснял: «По техническим причинам».

* * *

Витя Токарев еще только появился в дверях ресторана «Парус», что по Красноармейскому спуску, а музыканты уже заработали по системе «бекицер», то есть скорейшим образом свернули популярную в массах «Девочку Надю», чтобы исполнить любимую Витину «Simpathy» из репертуара старой голландской группы «Rare Earth».

Ребята знали свое дело, играли и пели в ту меру грубой, но посвоему тонкой «душевности», которая одна сообщает музыке ресторанную прелесть. Пустячок, а приятно: оповестили они и публику, что песня исполняется ими «для нашего друга Виктора». Он им кивнул благодарно и проделал затем следующие две вещи, по которым можно было здесь отличить двух-трех избранных среди множества званых: а) развернув принесенный с собою сверток, вытащил копченого подлещика и на глазах у всех начал старательно, не таясь, его очищать; б) заказал два графина пива без закуски. Пиво отпускалось только внизу, в пивбаре, заведении как бы отдельном; бегать за ним не входило в обязанности официантов, да и для всех вверх-вниз не набегаешься. Равно и свою закуску приносить — хотя писаного указа такого не было — строго запрещалось, и официанты зорко следили, чтобы все было чин чинарем и фирма не потерпела убытка.

Витя с трудом отделался от многочисленных знакомых, в большинстве своем представительниц прекрасного пола, любивших его за щедрость натуры и врожденную простоту понимания загадочной женской души; и, оставшись, наконец, в особом, необременительно-многолюдном кабацком одиночестве, задумался.

Витя Токарев принадлежал к молодому племени рыцарей частного предпринимательства, сумевших в малый срок добиться того, чего не могли ранее, как ни пытались, сделать Мостовой, Зуев и подобная им братия: дать частной торговле и вообще всему тому, что без обиняков назовем хорошей жизнью,— дать всему этому статус вещей не просто молчаливо попускаемых, а уже и вслух утверждаемых, достойных самого громкого восхищения. Племени новых людей, полных молодых желаний, и сил, и смекалки, свободных от пережитков социализма. Если к тому же такой человек не имел патологической склонности писать слова в строчку или столбик, или лазать по горам, покоряя их неизвестно зачем, или методично и степенно, словно тебе сорок пять, а не двадцать два, проживать годы, отделяющие молодого специалиста ценою в 120 руб. от старшего инженера, сто́ящего на целую сотню дороже,— он устремлялся к жизни активной, наполненной и безбедной. Он становился джентльменом удачи, вознаграждаемым ею за преданное служение.

Витя по молодости лет сделать много вроде бы не успел, но уже город начинал его узнавать. А город такой: ничего нет. А ничего нет — значит, все нужно.

Были у Вити уже свои люди в дальних поездах, можно было везти дыни из Чарджоу, копченую колбасу из Москвы, рыбу и икру из Гурьева. Но что — съестное? Возни много, толку — чуть. Один только раз по случаю обернул кутаисские мандарины фарфором, не очень старым, но вполне китайским, китайский фарфор — американской жвачкой, жвачку же, пустив через школьников всего города в розницу, обернул прибылью еще не подсчитанной.

Витя любил вещи; из вещей же предпочитал джинсы. Он радовался тому, что не без его участия мальчики-девочки из закрытого волжского города носят тот же синий коттон и желтый вельвет, слушают тот же клевый мьюзик, курят те же сигареты, исповедуют тот же стиль жизни, что и далекие бойз-энд-герлз с берегов Темзы и озера Мичиган. Это был особый мир — мир воображаемого межконтинентального братства и оживших вещей, мир джинсов, о которых говорилось любовно, что вот «Суперрайфл» при долгом пользовании «голубеют» лучше других; джинсов, о которых все знали, что американские «Рэнглер» отличаются от мальтийских, а мальтийские от бельгийских, и знали, чем именно, и сколько эта разница стоит; джинсов, которые надо было стирать не порошком и руками, а мылом и щеточкой, крайне осторожно, чтобы не причинить им вреда; и если о каких-то особенных, совсем уже недостижимых штанах говорилось «стоят», то скольким в эту минуту так и воображалось: сами стоят, стоят без помощи ног, ими обтянутых, стоят на полу и не гнутся...

Двадцатилетний Витя копилки не имел и пока иметь не собирался; но не исповедовал он и известный принцип бизнеса по-русски: украсть ящик водки, продать и пропить. Не накопительством и не мотовством жил он, но — интересом интересного дела.

Однако все, чему положили начало, обречено тем самым иметь продолжение. И хотя Витя еще диктовал делу законы чистого интереса, оно все больше начинало диктовать интересу свои собственные законы. Естественно, Витя ничего такого не видел и видеть не мог, а видел только то, что не портило в его глазах его же светлого облика. Он всего-навсего чувствовал: пора размахнуться.

Романтические мечтания одолевали его все более. Молодым духом дерзал уже он воспарять иногда и в высшее небо. Воображение его разжигали: доски XVIII, а то и XVII века, восточные ковры ручной работы, старое серебро... Чего хотел он? Разбогатеть? Пожалуй. Но главное — не это. Главное — стать главным. А тогда... Слушал он умных людей и заглядывал даже в книги о новгородской и московской школах, а пробовал — и дело не шло.

Преграда какая-то вставала на его пути, стоило только выйти за пределы мелких операций с тряпьем; и преграда, он чувствовал это, одушевленная, сознательно ему противостоящая. Сильная сила заграждала дорогу к продавцам, уводила покупателей, угрожая многими опасностями при доставании и сбыте, сильная сила ни с кем не желала делиться, когда речь шла о с е р ь е з н о м. Витя знал одно из имен этой многоликой силы, может быть, главное: Мостовой.

Витя Токарев не любил Станислава Павловича Мостового по многим причинам. Первое: с детства помнил, как клял Мостового на все корки Григорий Иванович Голобородько. Еще: физическая неприязнь. Все не нравилось Вите в Мостовом: температура ладони, глаза, крылья ноздрей, как бы с силой завернутые в самые ноздри, непререкаемость суждений, почти всегда оправданная, пуще всего же — манера корчить из себя большого барина, что как-то глупо со стороны человека, ходящего под топором, даже если он уверен в собственной безнаказанности. Т е м б о л е е, если он в ней уверен.

Но самое главное: Станислав Палыч явно знал, что есть социалистический бог, а есть частнособственническая мамона, и что он, Мостовой, служит не богу, а мамоне. Он всей кровью своей сознавал, быв научен в послевоенной молодости: то, что он делает, есть грех. И, сознавая грех, продолжал ему предаваться; это-то накладывало отпечаток и на самого Мостового, и на все, что было с ним связано, особый отпечаток демонстративной гордыни, выдающей скрытое неуважение к себе, запашок, характерный для спекулянта старого образца. Витя же принадлежал уже к поколению людей, как бы в ы п а в ш и х и з, как бы просто понятия не имеющих о шестидесяти без малого годах новейшей нравственности да, пожалуй, заодно и о перечеркнутых этими годами двух тысячах лет нравственности предшествующей, христианской. Людей, словно бы вернувшихся на две тысячи лет назад, в язычество. Витя служил не Христу и не мамоне; служил он старому доброму Меркурию, богу торговли и дальних странствий, богу людей, легких на подъем. Ничего греховного, ничего дурного не видел и не собирался видеть он в купле-продаже, комплексами с детства не хворал, уважал себя и свое дело вполне; и потому на Мостового смотрел, как на родимое пятно прошлого, как на что-то мешающее, марающее репутацию достойного дела, отжившее свое и долженствующее уступить место.

Мостовой тебе уступит. Жди. Никому ничего Мостовой уступать не собирался. И чтобы спихнуть его с места, которое он занимал, или даже слегка подвинуть, нужно было поднаалечь как следует. Это надо признать: тридцатилетний опыт работы, связи и клиентура всесоюзные, и все кто нужен и где нужно,— всё схвачено. И дружки ему под стать, разве что Зуев до сих пор, как мальчик, книжками торгует, а самому уже под сорок. Как же с коллективом этим спаянным бороться за свое место под солнцем человеку, ничего не имеющему еще, кроме молодых сил и небольшого оборотного капитала?

В таком-то раздумье мы и застали молодого Токарева в ресторане.

Отпущенные третьим стаканом пива на свободу мысли поступили правильно: оставили соблазны миражные и перешли к разработке осуществимого. Прежде всего отметалось: победа в прямой конкуренции. Покамест речь могла идти только о — заинтересовать и стать нужным серьезным людям. «Симпатия — вот все, что нужно нам»,— тем временем уверял на русском солист, переходя в следующем куплете на английский.— «A simpathy it's what you need, my friend». Верно замечено.

...Стало быть, нужно предложить серьезным людям такое, в чем они нуждались бы и чего предложить Мостовой и К° — не могли. Что же это могло быть такое? Не дыни же, в самом деле, и не трусики «Неделька». Разве что...

...Дядя Гриша! Чем больше Витя думал, тем больше убеждался в том, что мысль его не совсем глупа. Более того, даже и совсем не глупа; а по простоте своей — почти гениальна. И в руках его, кажется, и вправду та шестерка, что бьет туза.

Мысль, надо сказать, взялась не с потолка. Не раз уже подкатывались к нему: сведи да сведи с Голобородько. Вот память русская: слава о каких-то починках какого-то Шнобеля не угасла, считай, за десяток лет; время натуральных отношений пришло к разбогатевшим людям, живущим на обнищавшей земле, и — как встарь, но совсем иначе — поднялось в цене понятие «ремесло». Вспомнили мастеров, захотели иметь «своих» мастеров; передавали легенды о мастерах. Дядя Гриша, смешной человек, попал в число героев этих легенд; да еще подтверждал репутацию свою тем, что одну машину и до сих пор брал в работу: автомобиль Токаревых. Носились эти «Жигули» по городу и за город всем на зависть, снаружи — словно сейчас с конвейера, изнутри — лучше, чем с конвейера. И хоть бы что забарахлило. Хоть бы колесо смеха ради, наконец, спустило; но нет, и колесо не спускало даже, словно заколдованное; даже и стартер не подвел ни разу!

Вот это бы очень и очень: фирма со 100% гарантии качества плюс имя. Смит-и-Вессон. Токарев-и-Голобородько!

Да вот беда: Голобородько, отказав наотрез давным-давно всему обавтомобиленному городу, с тех пор на том и стоял; дружба дружбой, а поди повлияй на него. Тем более, что Витя дядю Гришу почти уважал, может быть, даже немного побаивался. Витя не слушал родителей и не боялся властей. Он не думал, правы ли первые, сильны ли вторые; он только знал всем существом своим: жизнь вступила в новую фазу, и он — человек этой сегодняшней фазы жизни, ее воплощение; они же, сами того не зная, необратимо уходят в прошлое, и все их запреты или угрозы не властны перекрыть дорогу жизни, которая сама знает, что ей делать, чтобы продолжаться. А продолжение жизни не нуждается в оправданиях. Но вот дядя Гриша... Не то, чтобы тот стал его бороть-перевоспитывать, нет, конечно; но сам он как-то слишком наглядно жил по другим законам, нежели законы изменения времени. Причем по законам столь фантастическим, что уже то, что кто-то, пусть даже со справкой, по ним жил вчера, живет сегодня и будет жить, если не умрет, завтра, заставляло... ну, для начала — не соваться в чужой монастырь со своим уставом.

Не хвастать своими успехами. Заставляло, пусть смутно, ощутить, что есть и иная правда, кроме той, которую он, Витя, знал.

Вот почему Витя и стеснялся сейчас того, что ему предстояло. Того, что план, как уговорить дядю Гришу, уже начерно сложился в его уме. И в плане этом, что неприятно, фигурировали деньги. Витя ради умасливания позарез необходимого ему Голобородько вполне мог бы пока отказаться от них; но — он никак не видел возможности создать при существующих условиях фирму, которая работала бы задарма. В самом деле, кто же всерьез отнесется к такой фирме? Нет, файду брать, брать непременно, притом приличную монету, но — чуть меньше, чем обычно берут. Притом с добавочной скидкой для постоянных клиентов. Хотя тем тоже бабки считать не приходится, но важен факт условного рефлекса: обращаться к такому-то. Для постоянных клиентов — с постоянной скидкой.

А Шнобель, известное дело, стоит ему услышать о деньгах, считай — его нет. Ему само слово «деньги», что рвотный порошок.

Значит, дядю Гришу придется обмануть.

Эта вот простая мысль и смущала Витю. Он не любил подводить друзей, а тем более обманывать инвалидов.

Но после второго графина пива сам собой сочинился третий, зашумело в голове и вдруг — зажглось. Словно бы влепилось в специально для него отведенное пустое место пространства, и оставалось только прочесть «Tockareff & Goloborodko,— читал Витя,— Workshop». И дальше: «World Famous. Superior Quality. Lowest Price». И многое еще читал он, уже на неведомо чьем языке; и невыразимо-прекрасно было горящее это видение, и понял Витя: что решать? Нечего решать, когда все уже решено. Да и чего стыдиться? Нет, в самом деле? Я что, худого ему хочу? Ничего я старику не хочу, кроме хорошего. А если вдруг он придет в здравый рассудок, я ему — пожалуйста. Сколько угодно. Заработает — дай Бог. Симпатия — вот все, что нужно нам. И покинув гостеприимный «Парус», Витя зашагал к Шнобелю.

Григорий же наш Иванович к тому времени давно уже жил почти отшельником, то есть, вмонтировав в дверь смотровой глазок, открывал ее разве что одному-двоим знакомым, по старой памяти.

Давно еще, когда хоронили Берту, Голобородько понял: все попытки его вмешательства в жизнь — сплошная чепуха, одна только истерика жизни. И не то чтобы — плохо он поступает; нет, он попросту людей смешит. Известное дело: зачем козе гармонь, когда она и без того смешная? Конечно, обидно себя той козой осознавать; но что делать, факт есть факт. Бывают, наверное, судьбы словно бы лицевые; ему досталась изнаночная. Досталась — значит, досталась. Так хотя бы от стыда подальше, носа не высовывать.

Он решил: жить для себя. Как живется. Пока не умирается. Грех жаловаться, для жизни он был вполне укомплектован. Угол свой был, с центральным отоплением, и потолок не протекал. Телевизор «Рекорд» работал что надо, отвлекал от бесполезных мыслей; и еще проработает лет двадцать, при хорошем-то хозяине. Пенсию, скажи,— увеличили. Что хорошо — у нас о людях заботятся. Понятно, благородные папиросы каждый день все равно не покуришь, и правильно. Это если каждый социальный иждивенец начнет папиросы курить по полтиннику пачка — что будет? До чего докатимся? А вот на «Беломор» он теперь спокойно мог перейти, при таких-то деньгах. Спасибо. Все путем; жила бы страна родная. Хорошая страна — только люди плохие пошли. Но это же не значит, что в жизни ничего хорошего не осталось.

Да тьма хороших вещей на свете: глядеть, например, как папиросин розовый огонь становится пеплом, а серебряный пепел — перечного цвета золой. Колоть щипчиками крепкий серый сахар. Ходить в кино на дневной, по 25 коп., сеанс, пока телевидение еще бездействует.

Тут-то его и попутали. Седина в голову, бес в ребро. Он в картине «Фантомас разбушевался» увидел автомобиль-самолет и совсем потерял голову.

Пока очухался он и понял, что сказка — ложь, глядь — а руки его уже что-то такое собирают, проводок к проводку, железочка к железочке, винтик к гаечке. Неизвестно, что, но что-то такое ладно-единое, что-то законченно-округлое, словно игра в «козла», завершенная «рыбой». Тогда он понял, что сказка — ложь, да в ней намек. И понял, что время дня его прошло быстро и удовлетворительно.

Так для прохождения времени дней он и занялся делом, которое само, в свою очередь, заняло его время и мысли без остатка.

Будучи человеком, в технике съевшим собаку, Голобородько от идеи машины-самолета довольно скоро отказался. Манила его идея, но ведь вприглядку, без понятия крыло слепишь — самолет не полетит; а в книжку залез он в библиотеке, не кого-нибудь, самого Н. Е. Жуковского — он все с начала привык постигать,— залез и понял: тут такое наворочено, чего с кондачка не поймешь, а учиться поздно. Мозги усохли. А главное, он понимал: он вылеченный, но элемент психованности в нем присутствует. Этот-то элемент и подбивает, как всем известно, на изобретение машин-самолетов и других вечных двигателей. Спокуха, Григорий. Кино — это кино, тем более если французское, жанмарэ-симонасиньорэ, а в жизни надо мыслить реально. Остановимся на — просто машине. А так как собирал он, наученный опытом, автомобиль не в сарае, а, чтобы никто над душой не стоял, у себя в комнате 8,44 м^2 (благо первый этаж, выкатить машину ничего не стоит), то автомобиль, естественно, сократил свои размеры, и Шнобель скорехонько удостоверился в том, что машина у него выходит не иначе как двухместная.

Что можно сказать? Собирать машину, даже и двухместную, совсем не то, что чинить уже готовую. Дело это сложное. Сочинял Голобородько машину, повторяю, по железочке, как бы приставляя одну к другой и скрепляя их затем положенным способом. А железочки и прочее добывал он в основном на известной нам уже свалке путем прицельного поиска.

Разумеется, кое-что Григорию Ивановичу вполне по карману было найти и в магазине, но он в магазин — ни ногой, даже за последним болтом или гаечкой. Он пошел на принцип; он уперся рогом; он хотел доказать — кому? неизвестно...— вот этому-то неизвестно-кому он и хотел доказать, что если у нормального... ну, пусть даже и не совсем нормального, но советского человека — налажена элементарная связь головы с руками, то он может и должен кататься на своей собственной машине, не затратив на ее приобретение ни копейки и тем избавив себя от обязательности всего того гадкого и чуждого, что некогда Кирилл, атеист-безумец, именовал сквернoприбытчеством и лихоимством.

Понятно, когда человек ставит перед собой такие задачи, решение их порой затягивается не на две недели и даже не на год.

Уже мягкая комната Григория Ивановича стала не только не мягкой, а вообще пес его разберет, во что она превратилась! Все, что раньше обивало стены, торчало теперь со стен неподобными клочьями, било в глаза безобразными обрывками войлока, рогожи и бумаги. То Голобородько начал было преобразование комнаты в об-

разцовую мастерскую по типу сарая — но на середине пути отвлекся вдруг вещами более насущными, и, пооборвавши, что ухватили руки, и повесив для технической красоты на одну стенку лист железа, так все и оставил. Зато передвинулся к противоположной стене стол и, закованный в железную броню, превратился в верстак, держа на себе тиски большие, да малые тиски, да подставку для паяльника вместе с самим паяльником, припоем и канифолью, да прочий инструмент. Опять же телевизор вместе с табуретом и еще одним табуретом и старым шкафом был отправлен за недостатком места в сарай, где и почивал в углу, укутанный ветошью, до лучших времен. Кроме же этого стола, кровати, собираемого предмета и самого Григория Ивановича, в комнате ничего больше не находилось существенного; да и негде было ему найтись, разве что редкий гость посетит и, добравшись насилу до кровати, плюхнется, да так бесцеремонно, что воздух придет в движение, и сразу сделается заметно, что воздух этот — только наполовину воздух, а на вторую половину это мельчайшие опилки, рыжая пудра металлическая. Ржавчина это, очищаемая килограммами с продуктов свалки.

Ночами Шнобель остерегался греметь, все больше паял или что другое тихое, но иногда приходилось-таки тем-другим звякнуть-грохнуть-стукнуть. Работа такая, куда денешься; а Валентина тут как тут — и ушки топориком.

У этой Валентины уже внук Владик на трехколесном велосипеде по коридору разъезжает, и дочке с семьей Бертину комнату отдали; изо всех ее соседей остался один Григорий Иванович — Соколова Клавдия переехала к родственникам в Алма-Ату, как-то незаметно и дух ее испарился из квартиры (да и до того не был он здесь сильно стойким и обязательным), так что и глаз проходил мимо опломбированной комнаты, не замечая,— а Валентина все недовольна. Зверь-баба.

Но мир не без добрых людей. Вся свалка — от и до — за него переживала. Скучали, если случалось ему заболеть и не появиться ровно в девять, как штык. Уяснив принципиальное направление поиска, мужики развлечения ради, сами шарили, искали и откладывали для Шнобеля все идущее к делу. И такие ему подносились дары, отламывались ломти, что слюнки текли. Но ломтем ломтей и венцом всего стал, конечно, великолепный сварочный аппарат, почти целый, выброшенный каким-то олухом,— сажать таких за бесхозяйственность,— а Григорию Ивановичу необходимый позарез: как раз подоспел черед варить раму. Нелегкая это была работа. Но Григорий Иванович справлялся и не с таким. И уже почти готов был кузов.

Вот тут-то приходит из «Паруса» Витя и говорит. Он так говорит: «Дядь Гриш, я плохой, я знаю, и ты знаешь». И держит долгую паузу; Голобородько ждет. «Но я тебе друг, а ты мне». «Да»,— говорит Голобородько. И Витя опять держит паузу.

«А может, я и не самый плохой! — возвысил он вдруг голос.— И вообще не очень плохой».

Голобородько ждет. А Витя, разогрев, наконец, голос и разогнав его так, что тот уже управлялся сам собой и мог воспарять и понижаться по потребности,— Витя перешел к делу, обнажая его смысл постепенно, чтобы не спугнуть Шнобеля. Он начал с того, что было знакомо Григорию Ивановичу, что было понятно тому, с чем тот должен был быть согласен.

Голобородько любил Витю, почти как родного. Тем более, что Витя — Шнобель чувствовал это — тоже любил его. Во всяком случае, все время проявлял заботу: то тулупчик подарит, видя, что Григорию Ивановичу не в чем по зиме ходить, то десять пачек «Геркулеса»

подкинул давеча, когда начались перебои с овсом. Да, хороший парень. Голобородько его любил. Но что-то такое он слышал, что Витя чем-то приторговывает, и это ему не нравилось.

И вдруг оказалось, что Витя — хороший ли, плохой — не простой Витя, а идейный. Именно — сейчас он развил довольно четко одну интересную, а главное — близкую Голобородько идею. Это была идея справедливости. Почему, говорил Витя, у порядочных, честных людей нет денег, чтобы купить нужную... хоть бы там дрель, а всякая сволочь не знает, куда вагоны денег девать, знай, жрут коньяк и хрусталем закусывают? И вот, совершенно искренне исповедовался Витя Григорию Ивановичу (интересно — до того он как-то не додумывал свою мысль до полной ясности, а теперь, выговорив ее спонтанно, даже залюбовался ею и собой в ее свете), вот почему ему всю конкуренцию хочется превзойти, мерзавцев вроде Стаса Мостового изжить и стать в городе первым, чтобы тогда уже — установить самостоятельную справедливость и честное перераспределение ценностей. Раз уж на всех не хватает, пускай достается достойным.

Голобородько все не перебивал, все слушал. А ведь и вправду, думал он, должна же быть справедливость? Должна. Кто-то же гада Мостового должен укоротить? Должен. И если действительно пошла такая пьянка и в мире воцарился окончательный бардак, то, может, справедливость и должна восстанавливаться как раз таким шиворотнавыворотным способом?

Да, хотелось верить, хотелось друга обеленным видеть, и как не хотеться, замечу при сем, если все мы, даже принципиальные, не более как люди. И прибавьте к этому: не всё — как ни крути — на свалке раздобудешь. Автомобильных стекол, например, там не найти. А без них — стало быть, без Вити — какая же машина?

Витя же, почувствовав, что главное сделано, что Шнобель уже барахтается в его тенетах, повел, не давая опомниться, к делу. Дело состояло, в его изложении, вот в чем; в городе есть еще десяток его единомышленников, людей доброй воли, и все они — против Мостового и его банды (как и ты, дядь Гриш); все они честные ребята и Витины друзья. А он им по пьяни (ну, сволочь, сволочь, да; а кто по пьяни не сволочь?), он им по пьяни обещал автомобильный сервис и техосмотр у Голобородько (ты же, всем известно, лучший в городе мастер). И если не сделает обещанного, то получается он последний динамист и трепло.

Витя гнул и гнул свое, ковал железо, пока горячо, и на лесть-то дядь-Гришу ловил, и честь-совестью обрабатывал, и донял-таки старого.

«Выдохся я,— сказал Григорий Иванович,— стар я с тобой силой мериться. Ты ведь сядешь — не слезешь»,— «Что значит сядешь? — возмутился Витя.— Что значит слезешь, когда я хорошим людям серьезно обещал?.. Не спорю, не спорю, конечно, я должен был сначала тебя спросить». Голобородько молча моргал; да, нужно было сначала его спросить. И вдруг Витя: «Прав ты, дядь Гриша, прав! А я последняя сука. Что, в самом деле, маленький, что ли, я? Так им и скажу: все. Все, скажу, наколол я вас. Виноват, ребята, наколол. Все!» И поднялся с табурета.

«Постой,— сказал тогда Григорий Иванович дрогнувшим голосом,— стой, дурень. Ладно. Я тебя выручу. Только вот что, Витек, чтобы мне этого...» — Григорий Иванович потер друг о друга два замасленных пальца, а затем одним из этих пальцев помотал отрицательно. «Обижаешь, дядь Гришь,— скороговоркой сказал Витя,— гадом буду».— «Нет, погоди. Погоди, Виктор. Ты мне честное слово

даешь?» — «Даю,— сказал Витя, проклиная все на свете, а себя больше всего на свете. Да, не любил он врать, не любил. Но близка уже была желанная цель, уже дыхание ее опалило душу...— Гадом буду!»

Все устроилось лучшим образом. Раз в две недели Витя сам подкатывал на чьем-то очередном «Жигуленке», а то и «Волге», которую Григорий Иванович даже мысленно именовал «ГАЗ-24». Автомобиль своевременно доводился до высшего градуса внутреннего и внешнего здоровья, после чего исчезал тем же путем, каким появлялся. Не было случая, чтобы клиент — а клиенты из числа сильных города сего, как и полагал Витя в промыслительном своем плане, объявились мгновенно— пожаловался на хотя бы малейшую недоделку. На правой задней дверце отремонтированного автомобиля красовалось обязательное небольшое аккуратное клеймо: год ремонта (скажем, 76), включенный в малое «г», включенное в «Г» большое, в свою очередь, включенное в квадрат.

Этот знак Витя изобрел, зайдя как-то к одному из своих умных знакомых и увидев у того репродукцию старинного портрета какого-то мужика с неприятной физиономией. «Это что?» — ткнул Витя в угол портрета, где внутри большого латинского «А» стояло маленькое латинское «Д». «Это называется — монограмма. Попросту же говоря,— первые буквы имени и фамилии художника». Как это свойственно истинным талантам, Витя полученную информацию, даже самую мизерную, умел использовать в интересах дела.

«Что это?» — ткнув в изображенный Витей знак, спросил уже Шнобель. «Григорий Голобородько-76»,— чуть было не сорвалось с Витиного языка. Но он удержался: мало ли как отреагирует психический старик. «Так, монограмма для понта,— бросил он важно,— ты ставь на каждой, не боись».

Григорий Иванович не боялся. Ему что; он вырезал печатку. А Витина остроумная затея оправдалась на все сто: клиенты, привыкшие в своей практике к тому, что хорошая вещь становится вдвое лучше, когда имеет при себе фирменный ярлык, как-то прикипели сердцем к дяди-Гришиному знаку. Не сменил на машине клеймо с «76» на такое же с «77» — и как-то даже неймется. Вон Иван Петрович, и Рашид Рахимыч, и Арон Абрамыч отметились вовремя, а ты будто еще в прошлом году живешь.

Григорий же Иванович неплохо отдыхал на ремонте знакомых механизмов и кузовов от того, до конца не ведомого ему самому, что он сооружал. Страшная пропасть между замыслом и воплощением перекрывалась им уже из последних сил. Но работал он все больше, боясь остановки, боясь нарушить инерцию работы. Он вовсю работал и по ночам, хотя боялся Валентины.

И другие страхи стали являться ночами, особенно под утро, когда засыпал он измученный, не в силах пойти умыться, весь в ржавой копоти, в штанах, а то и ботинках, в металлически-масляном чаду бывшей мягкой комнаты, ныне мастерской. Его пугало, что оштрафуют за вынос мусора во двор, в кучу, куда все бесстрашно сваливали мусор днем, а он свои обрезки-стружки воровски — темной ночью. Но выбрасывать отходы было совершенно необходимо: остов машины, обрастая плотью, пожирал квадратные сантиметры площади.

И луны боялся, луны; тихой, как свист, ее улыбки.

Но пуще всего — звуков. Звуки, звуки он слышал явно, идущие из пустой, запечатанной, бывшей Клавдиной комнаты. В ту сторону стенка толстая, капитальная, и потому особенно сильны должны были быть эти звуки, чтобы оттуда донестись. Были звуки тонкозвенящие, стрекозиные; а еще мягкие и осторожные, будто бы кто босиком ходил по полу.

А был еще самый страшный беззвучный звук, как когда кто-нибудь неслышно дышит.

Измученный, он засыпал в страхе и видел во сне в лунном белом свете черные тени каких-то перемещающихся предметов и отблескивающие горы искромсанного металла. И, чтобы меньше бояться, зарядил пистолет-пульверизатор не раствором аммиака, а соляной кислотой.

Тем временем главное его дело вышло на финишную кривую: доведение до ума плюс последняя полировка. Верблюжье терпение Шнобеля, холод души пожилого человека, педантизм душевнобольного все перетерли. Фактически все было завершено. Но то ли страшась окончания многолетнего дела, страшась расстаться с привычным, то ли просто не в силах затормозить, Григорий Иванович все дотошничал, доводил уже не до ума — до зауми, протирал, протирал... Оттягивал и не знал, как бы еще доказать себе, что детище требует доработки.

О ту пору женился Витя на красивой блондинке; Григорий Иванович зван был на свадьбу, куда явился по рассеянности с пустыми руками, но это что еще: он и саму свадьбу (а пышна была та свадьба, могу вам сказать с полной ответственностью, ибо я и сам там был, в том кафе «Горизонт», на седьмом этаже здания, сначала называвшегося «Дом быта», а позже еще красивее — «Универбыт», и пил отнюдь не мед-пиво, а кое-что получше) по рассеянности не запомнил совершенно.

Удивительное дело. А еще более удивительно... язык не поворачивается сказать дурное о Григории Ивановиче, к которому привязан я всей душой, но из песни слова не выкинешь: он и похорон Макаровны, домработницы Токаревых, не запомнил, умершей от инсульта, и того, как плакали Борис и Нина, и нечувствительный Витя, и сам Шнобель плакал ведь, помогая опустить в землю гроб,— ничего этого не удержала его голова, занятая вся одним-единственным.

Наконец настал день... июля 1978 года, когда сделалось бы ясным и ежу: шабаш. Стоп-машина! Он тщательно убрал все, разобрал ненужный отныне рабочий стол, отправился в баню, где не был, почитай, полгода. Он вымылся и выпарился до сухого изнутри тела. Он надел чистое исподнее, а дома сменил и рубашку; сел. Был вечер, прохлада пришла, наконец, в город; завтра можно телевизор вернуть на прежнее место. Можно поставить его и сейчас, но лень. Лень, да и отвык от него, честное слово. Странно.

Странно; а всего странней, что делу конец, и вот она, голубка, ровного серо-стального цвета с голубоватым отливом, вот она стоит на четырех своих колесах-лапушках. Григорий Иванович открыл дверцу, сел в свою собственную машину. Вставил ключ. Фурычит. Фурычит, честное слово!.. Что за дела, отец родной; а ты чего хотел?

Голобородько в который раз вынул тряпочку-бархоточку — стереть пыль, которой хоть и не было заметно, но не быть не могло, покуда все пространство между телами в мире заполняет воздух, из которого пыль выделяется и оседает на телах непрерывно.

В дверь постучали. Шнобель вздрогнул, подошел к двери, посмотрел в глазок: участковый Гуняев. А за ним высунулось злорадное лицо Валентины.

Как выражу происшедшее тут с Григорием Ивановичем? Разве так: будто сами собою расстегнулись и упали с него одежды верхняя и исподняя, и с ними купно одежды кожи, мяса, костей и последующей требухи; обнажилась до полного срама душа, пошедшая от озноба гусиными пупырышками, и голая та душа ежилась и дрожала от страха под взглядом невысокого человека в милицейской форме.

Он так и знал! Он чувствовал все последнее время как бы уплотнение атмосферы, словно бы сжатие ее вокруг себя. И он чувствовал, что сила, уплотняющая атмосферу, что сила эта — враждебна ему, Голобородько, именно ему одному. Имеющая сознательную цель: его з а л о в и т ь. Во всем, во всем проявлялась эта враждебная ему и страшная в своей сознательной направленности сила: в том, что раньше на свалке отыскивалось все, а теперь нельзя найти паршивого куска резины, копеечной прокладки, ерундового винтика, во взглядах и словах знакомых и незнакомых, в звуках, доносившихся и не-доносившихся из пустой комнаты, в том, как валилась из рук и билась последняя посуда, в том, что за ним следили — он замечал такие вещи, не глядя,— следили, когда он шел по улице. Из-за угла. Его окружали, его залавливали. Ему не давали жить и работать. Но он, вопреки всему, довел до конца задуманное, и тогда... тогда послали в о т э т о г о! Ох, злой. Они и вообще добрые только в кино «Дело № 306», а у этого еще персонально на него зуб. За — что почти тридцать лет назад был у Гуняева бледный вид на его глазах.

Взгляд Гуняева выдавал человека смотрящего, но в упор ничего не видящего. Вероятно, когда-то все-таки уяснив, что именно этой своей особенности он не в последнюю очередь обязан тем, что к серьезному возрасту дослужился только до капитанского чина и так и не пошел дальше участкового, Гуняев усердно маскировал неумение видеть и подмечать повышенной пристальностью самого взгляда: хмурил брови, щурил глаза, собирал складки на лбу. И теперь эти нажитые им умные складки, эти лучистые морщинки около глаз — вся эта пристальная, пронизывающая слепота его взгляда гипнотизировала людей, и они, не слишком уважая маленького человечка в фуражке, тем не менее ужасались непроницаемой твердыне власти, стоящей за спиной этого человечка и просвечивающей сквозь него.

Не снимая фуражки, только и успел войти в комнату Гуняев (оттеснив при этом Валентину: дескать, проходите, гражданка), только и сказал: «Здорово, Григорий»,— как уже понял, что по комнате не походишь с милым сердцу скрипом сапог и не походишь потому, что ходьбе мешает предмет, занявший 90% Голобородькиной жилплощади. Предмет этот был — вроде бы автомобиль, но автомобиль странной формы. Мало того, что автомобиль был подозрительно двухместным, внешне он напоминал то ли тупоносый башмак, то ли, наоборот, слегка заостренный с одного конца булыжник. Покрашен этот булыжник был стального цвета нитрокраской.

На правом же боку металлического булыжника красовалось квадратное клеймо с числом «78» в центре. «Это что?» — спросил Гуняев. «Так, монограмма для понта»,— небрежно отвечал Голобородько. Зачем поставил клеймо, он и сам не знал. «На тебя, Григорий, сигнал поступил. Громко гремишь по ночам, людям спать мешаешь».— «Гремел. Да отгремел уже, построил».— «Да,— согласился Гуняев,— чего-то ты у меня построил. Неймется тебе, старому?» — «Неймется, Павел Афанасьевич. Может, чайку поставить? Оно, конечно, с уютом у нас не того, но вы не стесняйтесь».— «Чайку — это дело. с устатку».

Они уселись на койку рядом. Руки у Голобородько продолжали трястись, когда ставил он стаканы на пол, на газетку, и банку с сахаром, и еще баночку крабов, сунутую ему все же как-то чуть не силком одним из клиентов, которую берег до окончания дела. «А ты, я гляжу, живешь не тужишь. Очень даже не тужишь, как я погляжу! И где это такое люди нынче достают?» — «Да... Праздник у меня сегодня, вот жаль, магазины закрыты».— «А ты вроде не пьешь?» — «Раз в году и грабли стреляют».— «Ну давай постреляем, коль такое дело. Значит, праздник, говоришь? А то я, понимаешь, изъял тут у одного, положено на месте выливать, но гляжу, он уже не то что там чего, а совсем засыпает, елки-палки. Засыпает он, и бутылку эту в упор не видит. Ну его, думаю, к лешему, тащить еще в отделение. Иной раз поливаешь так землю водочкой, а жа-алость! Жалость берет проводить это мероприятие... И гляди, яичко-то ко Христову дню».— Тут Гуняев вынул на три четверти полную бутылку «Русской», заткнутую газетным жгутиком.— «М...м, и вкусны эти крабы,— промычал он,— помнишь, стояли банки штабелями, никто не брал».— «Было дело»,— сказал Григорий Иванович. Он помнил те времена, и крабов, и семгу, и Надю в белом колпаке и с серыми глазами. «Да, было дело»,— повторил Григорий Иванович. «Денег у народа стало,— сказал Гуняев,— это будь здоров!» — «Не то слово»,— поддакнул Голобородько задумчиво. Страх не отпускал его; он не верил, что визит Гуняева может закончиться ничем; страх не отпускал, но водка делала свое обязательное дело, и хотя руки еще тряслись, но голос отсвободнел. «Не то слово»,— повторил Григорий Иванович.

Чай славный, заварилось круто. Хороший чай, и сахар колотый плотный, одно удовольствие с ним зубами бороться; не сравнить с крошливым рафинадом. «А чего это она у тебя такая... ну?» — показал на машину Гуняев. «Да так уж получилось,— отвечал Голобородько.— Так уж получилось,— осмелел он.— Я ж не спрашиваю, почему у вас, Павел Афанасьевич, водка теплая».— «Х-м. А где вот ты, лич-но ты, где собираешься деньги брать на бензин, с пенсией твоей-то?» Тут Григорий Иванович покраснел от удовольствия ответить: «А я ее, Павел Афанасьевич, по уму делал. Я двигатель-то дизельный поставил, он на солярке работает. А солярка — она даже мне по карману».— «Ишь ты, задрыга старая. И далеко ты на солярке уедешь?» — «Далеко, Павел Афанасьевич,— нахохлился Голобородько, уязвленный тем, что Гуняев не оценил остроумия его технической мысли,— далеко можно даже на своих двоих уехать. Да мне и не обязательно далеко-то».— «Да, правду говорят, голь на выдумки хитра. И силен же ты, брат, мать твою, вечно ты этого-того...» — «Ну, этого-то я, Павел Афанасьевич, не совсем чтоб уж так того...» — «Не спорь, Григорий; силен ты того!» — «Кто спорит? Я спорю? Силен — значит, силен».

«А я вот, браток, оказался не силен»,— сказал после третьей Гуняев. Морщины его разгладились, брови разошлись, зато красные треугольники алкогольной аллергии обозначились на скулах. «Не силен»,— повторил он и прикурил папироску от Голобородькиной. «Майором из капитанов, как Высоцкий Володька поет, чего-то никак не стать, и хотя, заметь, честно тружусь, кроме квартиры и двухсот с рублями, ничего не вижу, а сыновья меня на улице стесняются и гостей не приглашают. А Томка, как тогда простила, терпит, да есть у меня подозрение — просто ей деваться некуда». И он положил руку на плечо Григория Ивановича. «Ладно, Павел Афанасьевич,— сказал растроганно Шнобель,— не переживай. Квартира — это тоже вещь.— И, осмелившись, в свою очередь хлопнул по плечу Гуняева.— И двести колов — деньги». — «Тебе, сивому,— усмехнулся горько Гуняев,— все деньги. Тебе бы пацана хоть одного, живо бы понял, какие нынче деньги — деньги...»

Григорий Иванович вырубил лампу, включил в машине ближний свет, и при свете том тихом сиделось, как у Христа за пазухой. И текло время, как ему и положено течь, в пожилой-нестарой, во хмельной-непьяной мужской беседе. Когда же оно истекло, то и беседа с ним купно; Гуняев насадил, как на крючок, на голову фураж-

ку, подошел к двери и сказал: «Да, забыл совсем. Главное. Ты, Григорий, сегодня автомобиль, а завтра, глядишь, самолет построишь, ты эдак далеко пойдешь, если милиция не остановит. Так что машину эту, если не хочешь, чтоб мы ее у тебя отобрали, поставь в сарай. Хочешь, прими с ней участие в телепередаче «Это вы можете» — и в сарай, понял?» — «Как в сарай?» — «А так в сарай. Ты знаешь, что вашему брату права не положены? Елки-палки! Ты октябренка переедешь или старушку, или на столб наткнешься, а кто ответит? Я отвечу! За недоработки. Как твой участковый и как коммунист».

И тут вдруг Голобородько, к его собственному удивлению, как будто включили, подобно репродуктору,— он открыл рот и произнес голосом уверенным и сумрачно-строгим: «У коммуниста есть только одна привилегия — умереть первым».— «Что-о? — побагровел Гуняев.— Воон как ты заговорил... Эт-та кто же тебя подучил? Встать! — яростно рявкнул он вдруг.— Ма-алчать! стоять смирнаа!»

Григорий Иванович вскочил, вытянув руки по швам, оцепенев от панического ужаса. Прошло, может быть, целых полминуты. Он секретно дышал, ожидая самого худшего, и клял себя на все корки. «Гы! — хмыкнул Гуняев незлобиво,— ладно, живи. Жалко мне тебя, дурака старого потому и повторяю еще раз: или ты, так-эдак, ставишь свою игрушку на вечный прикол и в том даешь подписку, или я завтра же, в законном порядке, с понятыми, ее конфискую как представляющую общественную опасность».— «Какую опасность? — залопотал Голобородько.— Я столько лет...» — «Разговорчики!.. Смотри мне! Небось, и ремня безопасности нет. Нет? Нет у тебя даже ремня, и мысли о нем нет, а тоже туда же! Вот что. Ты учти: дружба дружбой, а служба службой. Я немногого достиг, но взысканий по службе у меня всего одно — первое и последнее». И хлопнул дверью...

...Что же это? За что? Чего хотят от него? Почему не оставят в покое? Сказали не лезть — он не лезет. Сказали не вмешиваться — сто лет как носа не высовывает.

Он не брал чужого. Не бил женщин и детей. Не нарушал законов; в труде находил коммунистическую радость. Чего им еще от него надо? Пусть его оставят в покое!

Но нет, Гуняева он знал. Гуняев не соврет, он этого не умеет. Да будто он и сам не знал, что права психу не положены. Знал, да нарочно забыл. А они не забудут. Вот оно как. Но надо же иметь... как это... индивидуальный подход в конце концов! Такая-то уж пустяковина. Кого он задавит? С какой стати? Где тот столб, на который он будто бы должен наскочить? Где октябренок, которого он зачем-то переедет? Он, фронтовой шофер второго класса?! Оставьте в по-ко-е. Поймите вы, наконец, что не у всякого психа в глазах двоится. Братцы, ребятушки, орлы, оглоеды, режьте, сажайте, отберите пенсию, только оставьте в покое! Дайте покататься!!!

Стоп. Еще поборемся. Спокуха. Не в Америке живем, не в джунглях. Больно жирно будет, соколики, все вам вынь да положь; ан нет. Так тому и быть; идти к Борису, его город знает, ему на самом Жигулевском пивзаводе пиво отпускают дрожжевое — непроцеженное. А тут пустяк. В порядке личного исключения. Идти, идти, бить головой об пол, кулаком по столу, просить, обещать. Скажут — он один, сам, даром — дачный дом поставит, с камином и финской баней. В жизни не строил он домов, не выкладывал каминов, но с детства знал: нет такого слова: «Не могу» — есть слово: «Не хочу». Если нужно — значит, нужно. Будет тянуть камин, будет баня как баня.

Так до утра барахтался он в своем несчастье, прокручивая все по сотому разу. Но не может человек вообще не спать; засыпает

иной раз и под просып, на час-полтора. И снится тогда ему такое, что ни один леший не разберет, как вот снилось в то раннее утро Григорию Ивановичу: следит он за шпионом, идущим по левой стороне Самарской улицы; следит за ним, крадучись, то ли на цыпочках, то ли тихой невидимкой летя по воздуху,— непонятно, как во сне бывает. И тут вдруг шпион оборачивается, глядит прямо на него и смеется, и подлетает к нему тоже по воздуху, и говорит: «Будешь?» И протягивает бутылку, на которой по-немецки написано как бы русскими буквами: «Иоганнисбергер». Но Григорий Иванович почему-то точно знает, что в бутылке жигулевское пиво, и он говорит откуда-то снаружи сна: «Буду». И тогда шпион, взяв бутылку за горлышко, облупливает ее о забор, как копченую воблешку, затем счищает с содержимого стеклянную чешую, а само пиво, оставаясь жидким, в то же время сохраняет каким-то образом форму счищенной с него бутылки, и он берет...

Что произошло дальше, Шнобель узнать не успел. Видимо, сама изменническая перспектива сна: раздавить на пару с немецким шпионом бутылочку — ужаснула его настолько, что заставила проснуться во избежание дальнейшего. Вскочив, однако, он сразу забыл содержание сна, храня только впечатление чего-то невероятного и в своей невероятности крайне дурного; и так, с недосыпу, натощак, в помутнении головы и помрачении сердца отправился по утречку к Токаревым, близко расположенным. Следует отметить, что, будучи в состоянии духа не самом лучшем, Григорий Иванович смог все же заставить себя провести расческой по волосам, а щеткой по брюкам и башмакам своим, из чего все должны были сделать правильный вывод: перед ними в высшей степени приличный, разумный и достойный всяческих, в том числе и водительских, прав человек. Он шел и повторял про себя все доводы, чтобы не забыть их.

На Красноармейской — не добром будь она помянута — догнал его апельсиновый «Жигуленок», и высунулась из него голова на сильной шее, показалась физиономия в зеркальных японских очках системы «Джоконда». Знакомая физиономия Стаса Мостового. «Иванычу привет. Куда путь держим?»— «На Кудыкину гору».— «Подбросить?» — «Не по пути».— И Григорий Иванович прибавил ходу, пустив ноги восьмерками. «Как знать»,— и Мостовой, включив первую скорость, поехал рядышком в темпе пешего скорого хода; его не волновало то, что так ездить запрещено. «Слышал я, Грегуар, сработал ты клевый драндулет».— «А больше т-ты н-ничего не слышал?» — Григорий Иванович от злости начал заикаться. «Больше ничего. Только ума большого не надо, чтобы додуматься — не дадут тебе твоей штучкой попользоваться. Верно? Или уже не дают, а, Грегуар?» — «С-слушай, пошел ты... к тете М-моте».— «За что же ты меня так не любишь? Так плохо думаешь обо мне? По-твоему, я получше тетеньку не могу найти?» — «Можешь — найди, а мне с тобой детей не крестить».— «А это как знать,— ласково повторил Мостовой,—я-то тебя люблю. Люблю, заметь, не надеясь, что это взаимно. И по старой памяти помочь хочу».

Значит, верно: и шумы из пустой комнаты, и Гуняев, и сейчас, да, да. Окружают. Залавливают.

«Ты куда идешь, старик? Ты ведь к Борису идешь, умница, я тебя насквозь вижу.— Григорий Иванович, не отвечая, еще надбавил шагу.— А ведь зря ты к нему идешь. Не тот он человек, чтобы мог тут тебе помочь. Знаю я все его связи наперечет. Не тот он человек, Иваныч, послушай меня, не валяй дурака».

Не буду его слушать. Пускай окружают, я за рупь двадцать не дамся. Нет, не дамся. Вот ремень безопасности надо срочно раздо-

быть, это да. Срочно надо придумать, где раздобыть; это да. Это да.

Они миновали Ленинскую, Братьев Коростелевых и пересекли Арцибушевскую. Было еще свежо, еще пыль не поднялась столбом; дворники не кончили еще свою утреннюю работу; еще цистерны с квасом не отворили свои краны.

«Нет, скажи, умный я, умный, да? Так он не в счет. Не будет он по ГАИ, по милициям ходить, не его это садик. Нет у него там никого. Е-мое, ты же понимаешь, Гри, что мне в этих делах можно верить! Не в счет он, твой Боря, не в счет».— «А кто в счет?» — не удержался Голобородько; тут же он проклял себя, что подыграл вражине Стасу, но было поздно. «Вот это уже разговор. Я тебе скажу, кто в счет. Я в счет. Понял? По-нял. Ты это давно понял. Но не любишь меня. А я тебя люблю. Если ты захочешь,—а ты хочешь,—у тебя будут законные права и номер спереди и сзади — много через неделю. Это я тебе говорю, а ты меня знаешь».

Он Мостового знал. Не хуже, чем Гуняева. Он знал, что Мостовой будет посильнее не только что Гуняева, он много кого будет сильнее. Как быть-то, еще думал он, а уже крутобокая его любимая стального цвета брала верх надо всей силой его жалкой воли, над его бессильной ненавистью... Не надо, мсье Грегуар, Григорий Иванович... не раскрывайте рта... Поздно, поздно!

«А если я захочу, то — что? Ты-то от меня чего хочешь?» — «Малой малости. Хочу, чтоб твои золотые руки и моя золотая голова нашли, наконец, друг друга. Короче говоря, бросай Витька своего — и ко мне, а уж я тебя обеспечу универсальной работой по гроб жизни, будь спок. Захочешь самолет — построишь самолет. И будь уверен: атомный соберешься строить самолет — я тебе урановую руду достану».

Что они пристали с самолетом, соб-баки?

«Нет, брат Станислав, это уж ты извини, ты это, катись-ка ты, не хочешь к тете Моте, так к дяде Мите, а меня тебе слабо купить. Плохо ты, брат, видишь м-меня насквозь. Понял? Чем старик старуху д-донял». И он векторно плюнул; но Стасу когда было что нужно — это-то и х и отличало от обыкновенных мира сего — когда было что нужно, ему и не такое влетало в одно ухо, чтобы прямиком вылететь из другого. Он как бы видел дорогу к цели ясно-светлой, не закрытой человеческими телами и душами, и потому цели достигал — всегда. «Старик,— догнал он опять Голобородько,— хрен с тобой, я тебе пока бескорыстно помогу, а ты пока только вот что: ты только машинки, которые тебе Витюшка пригоняет, ты их откажись смотреть. Скажи там, мол, обострение язвы. Я тебя не прошу делать, а прошу — не делать. А не делать — это всего только и есть ничего не делать, верно?»

«А,— забыв про все на свете, даже про голубушку свою четырехколесную, ликующе выкрикнул Шнобель,— достал тебя Витек, достал! Погоди, он тебя еще обойдет и свергнет, буржуй недорезанный!» — «Ах, во-он как,— протянул Мостовой,— значит, тут задумка, не простое недоразумение. Тут план кампании. Тут идейная борьба! Ну что ж, я так и думал, что у Витюшки в голове идейки водятся. Ну, да в нашем деле идейки вещь хорошая, а толстая кишка — лучше. А против меня тонковата у него кишка, сопли. Лет на несколько меня еще хватит. А ты, старый, без машины останешься, отберут, а ведь сколько лет отдал, а? Или заржавеет в сарае, это уж совсем грустно, а?» — «Не заржавеет. Виктору отдам (тем более я ему на свадьбу ничего не подарил, мелькнуло в голове Голобородько), пусть катается».

Тихий свист, змеиный свист раздался тут. «Виктору? Верному другу, да? Идейному борцу, а? Остановись-ка»,— сказал он вдруг, не понизив голоса, но так сказал, что Шнобель мало что остановился, он оцепенел. Стас снял очки, обнажив свои глаза, потемневшие от долгих трудов, гульбы и нервных потрясений. Он долго смотрел в лицо Шнобеля; затем губы его медленно отлипли одна от другой и зашевелились: «Гриш, этого я уже не стерплю. Я не за себя обижен. Я не гордый, я и так сильный. Это раз. Я не люблю хаять людей за глаза. Это два. Поэтому ты пойми то, что я тебе сейчас скажу, правильно. Я — обижен — за — тебя. А главное, я люблю справедливость. Не скажу, что я такой уж хороший, но по крайней мере у меня есть то достоинство, что я этого не говорю. Слушай... Скажи мне, пожалуйста, сколько тебе перепадает от Виктора за работу?» — «Ты чё, офонарел? Что значит, перепадает? У нас договор: денег с клиента не брать. А ты всех на свой...» — «Что? — не понял Мостовой.— Не брать? Как не брать — совсем?» И вдруг до него дошло, и он засмеялся. Засмеялся как-то... Единственное, что безусловно верным будет в определении этого смеха: он был долгим. «Ну, ловок пацан! Ну... нет, я думал, он тебе червончик-другой все же отстегивает. На мороженое. Да-а... Придется-таки тебе ознакомиться с моей записной книжкой. Прежде всего, ты знаешь, что все, решительно все прикосновения рук частного мастера к автомобилю стоят денег? Знаешь? А каких, ты осведомлен? Скажем, рихтовка вшивенького какого-нибудь крыла — это тридцать — пятьдесят рублей. Понял, как ты говоришь, чем старик старуху донял? Правка дверцы — шестьдесят — восемьдесят рублей. Переборка коробки скоростей — от шестидесяти до ста. Сечешь? А застучал мотор, тут дела крутые: выкладывай минимум сто пятьдесят. Ми-ни-мум. И так далее. А вот теперь и поглядим,— раскрыл он книжечку, и какие-то фамилии и имена замелькали перед глазами Голобородько, а против имен цифры,— теперь поглядим. У меня, видишь, пофамильно, на том стою, что надо знать обо всех прежде всего — все, а потом уже и все остальное. И крепко стою, хотя, как твой Витек думает, звезд с неба не хватаю. Так что об этом не будем. А поглядим-ка лучше, сколько он на тебе сделал... Так вот, сделал он на тебе, поросенок этакий, за два года по совокупности работ... два в уме... что-то около девяти тысяч. Каков пострел, а? Девять кусков, конечно, мелочь, поделить на двадцать четыре — выходит что-то вроде четырехсот пятидесяти в месяц. Но — даром: пригнал, угнал, получил. Нормалек! А, нормалек? Ты видел когда-нибудь девять ты... Старик, что с тобой? Окстись. Эй, стари-ик?!»

Голобородько ничего не понимал, он только чувствовал: все, сказанное Мостовым, правда; этого не могло быть, но это было.

«Не веришь, да? Эй, старик, очнись, закрой рот. Не веришь? Шно... Грегуар, откуда ты такой взялся? Почему, скажи мне, если ты свалился с Луны, почему, елки-палки, у тебя руки к любому земному делу приспособлены? А если ты земной человек, то...»

Голобородько ощутил затор крови в голове, сильный шум и пульсацию в висках.

«Не веришь? Веришь своему пятнадцатилетнему капитану, да? А вот мы с тобой сейчас прокатимся по всем этим адресам».

Григорий Иванович даже не слышал последних слов Стаса, его приглашения.

А только: лопнуло. Вот и все. Прорвало. Вышибло последние подпорки, на которых держался мир. Все в его жизни — все подряд — было сплошной проигрыш; но что-то всегда оставалось: что-то всегда можно было делать руками — и во что-то, пусть небольшое, можно было верить. И вот теперь не осталось ничего.

Шум крови и пульсация ее усилились, и организм его стал — только сильный жар и слабость, и произошло превращение сознания:

все увиделось маревом, так, как бывает во время болезни или с черного похмелья; только теперь... Ба!

Он посмотрел на Стаса и увидел ясно, что под одеждой тот гол, а тело и лицо его — скорлупка для облечения пустоты. Как у таракана. Пустой... а живой. Вот он, секрет ихний. Полые, а живые!

Но ведь здесь, у нас — так не бывает. Значит... о н и — о т т у д а. Где нас нет. Где нас нет — там ничего нет. А они есть, и они — оттуда!

Огоньки, смутно тревожившие его когда-то, прорвались вдруг с той стороны Волги сюда и, вспыхнув, залили все невыносимым светом...

Но тут произошло как бы натяжение световоздушной ткани, из которой состоял мир, и ткань эта распустилась, сделалась дырчатой, ноздреватой, и во все вдруг образовавшиеся ноздри, дыры хлынуло что-то мутное, бесформенное, многосоставное — поганое. Не вызывающее страх, но само — воплощенный страх.

Григорий Иванович увидел, как о н о выдавилось из дыр тканевидного мира и потекло, и окружило его и Мостового, и сузило кольцо. Заловили, понял он, содрогнувшись.

И тут же увидел, как о н о з а л а з и т. Увидел Мостового уже не пустым, а наполняющимся быстро всей этой серой поганью. Заловили! — опять мелькнуло в голове и, сунув руку в карман, Голобородько нащупал единственное свое средство защиты. Он ошибался, всю жизнь ошибался. Они не правосторонние, они...

Мостовой, не ведающий, что в этот момент происходило, открывал дверцу, приглашая Голобородько сесть в машину. Он снял очки, и Григорий Иванович увидел, как из глаз его высовываются и пляшут...

«Всесторонний, сука!» — взвизгнул инвалид зарезанным голосом и выхватил из кармана пистолет-пульверизатор. «Живым не дамся»,— решил он и послал облако соляной кислоты прямо в морду хотящей пожрать его серой погани. Машина с парализованным водителем чиркнула о бровку тротуара и остановилась.

Григорий Иванович равнодушно посмотрел на нее, машинально повторил: «Шпион всесторонний». Потом подумал и добавил сурово: «Вот то-то и оно, что оно так». Он опустил глаза, увидел в руке пистолет, стал что-то соображать, но, как видно, не сообразив, в сердцах швырнул оружие на землю; затем вместо того, чтобы идти к Токаревым, до которых оставалось два шага, повернулся почему-то, побрел было назад, домой, и вот тут уже — лучше поздно, чем никогда,— был задержан успевшими, наконец, опомниться немногочисленными свидетелями происшествия. Сделать это оказалось проще простого: задержанный не сопротивлялся вовсе.

ЭПИЛОГ

Григорий Иванович Голобородько по-прежнему находится в Томашеве. С момента помещения в дурдом он ни разу не повысил голоса, не сделал резкого движения, не исказил лица своего в какой-нибудь непотребной гримасе. Он аккуратно выполняет все врачебные предписания и с готовностью подчиняется установленному режиму. Учитывая вышеизложенное, его, несмотря на чрезвычайную акцию, проведенную им в отношении гражданина Мостового, перевели по истечении некоторого времени в отделение для тихих.

Григория Ивановича за его покладистость и золотые руки уважают и больные, и врачи, и даже санитары. Уважению этому не мешает странная, тихая, почти радостная улыбка, не сходящая с лица Голобородько и во сне.

Витя Токарев все более укрепляется на позициях коммерческого стиля жизни и мышления. Он квалифицированно использовал сначала фирму «Токарев и Голобородько», а затем отсутствие Мостового, долго валявшегося по больницам и обивавшего пороги косметологических лечебниц после памятного всему городу происшествия. Теперь Виктор мыслит только крупномасштабно и, по мнению специалистов, пойдет, если поумерит фантазию и оставит склонность к филантропии, весьма далеко.

Не то Валентина. Голобородько ошибся в отношении этой во всех отношениях достойной женщины. Она не воспользовалась освобожденной им жилплощадью. Дело в том, что двухэтажный дом по Самарской улице попал в список домов, назначенных на слом, и Валентину с дочерью ее Маргаритой, внуком Владиком и зятем Шуриком вселили в новую трехкомнатную квартиру в новом же, близко к центру построенном, 4-м микрорайоне.

А пустой дом № 100 все ждет своей участи, все стоит по улице Самарской и будет стоять еще долго, потому что одно дело — назначить дом на слом, а другое — сломать его; мыши хозяйничают в нем, прогрызли они уже все, что можно было прогрызть; но никакая мышь не в состоянии причинить вреда находящемуся в одной из комнат металлическому предмету, имеющему форму то ли тупоносого башмака, то ли слегка заостренного с одного конца булыжника. Так и стоит эта крепость на колесах, маленькая крепость на двоих, так и стоит, до сих пор покрытая пылью, не знающая, доведется ли ей когда-нибудь в жизни стронуться с места. Стоит, не ведая ни причин появления своего на свет, ни куда подевался хозяин ее и создатель, ни кто он, этот создатель, ни — был ли он когда-нибудь вообще....

1981 г.

Олег Хлебников

СТИХИ

●

Чуть отъедешь от Москвы —
и леса стоят ночные,
трубы трудятся печные
и — ни водки, ни жратвы.

Что нам водка и жратва,
если ширь кругом такая!
И столица дорогая
доверяет нам права —

на вождение авто,
на прочтение «Лолиты»,
на крещенье без лимита,
на вхождение в метро,

на кружение в кругах,
на бесснежные метели...
И дремуче дремлют ели —
От Барвихи в двух шагах.

Абстиненция

Не троньте мужичонку маленького, —
хлебнувшего чуток свободы, —
хоть там в деревне на завалинке,
где просидел он сиднем годы,

хоть тут в престольном Летнем садике,
где лист шуршит, до срока падший.
Он вам не враг,
в фуражках всадники,
он брат вам, брат
по званью младший.

Петрушка он или Иванушка —
всех насмешит или за пояс
заткнет спроста, —
покажет вам еще,
что вправе выйти из запоя,

что может — глянь-ка, братец старшенький! —
и по единой половице
пройти туда, где даже стражники
дают просящему напиться.

●

Осень. Голая осень.
Темень с дождем косым.
Что ж мы чуда не просим,
не ропщем, не голосим?

Или во тьме пустынной
лишь притерпелись сердца

к жертве Отца и Сына,
к жертвам «вождя и отца»?

Или от бездны этой
нас отвлекают пока
капли белого света
с низкого потолка?

●

Первый мир открывался весомым лучом золотым,
в нем крутились пылинки, вздымались глубины зеркал,
расцветали снега и кулич с украшеньем святым
(но во тьме кто-то брезжил и пеплом кулич посыпал).

Мир второй получался из мглы и конструкций стальных,
из гудков безрассудных и блудных визгов в ночи,
из пустых ожиданий и глаз многолюдных твоих
(но во тьме кто-то брезжил — лампады светлей и свечи).

Третий был самым плотным — душе не хватало угла,
то родня на поминки друг к другу ходила пить,
то случайные спутницы ниц простирали тела
(но чужая тщета не давала себя позабыть).

Десять жизней, не кончив одной, умудрился прожить,
десять мест обживал и родными звать начинал,
их бы ватой и хвоей, лапшой и кутьей проложить
(даже лица забыл, комнатенки, где спал-ночевал).

Никуда не вернусь — и сколько еще проживу
этих жизней несхожих, и каждая для того,
чтоб один только раз, всею грудью черпнув синеву,
вознестись налегке, не привесив к душе ничего.

●

Чуждаясь дурных вестей,
путей неисповедимых,
вбивая себя в детей,
вдалбливая в любимых,

хотим удержать свое
в пределах соприкасанья —
хотя бы на жизнь с ее
склонностью к угасанью.

Хотя бы на девять дней
после утраты дара:
плотью смягчать своей
силу удара.

●

Переживал и. я когда-то
болезнь двоюродного брата —
все думал о его судьбе.
И немощь тетки престарелой —
я молодел, она дряхлела —
ночами не прощал себе.

Я вечным был, а стал обычным,
к непримиримому привычным —
что мне за дело до других!
И до себя, пожалуй, — тоже.
Вот этим обретеньем, Боже,
горжусь в расцвете лет своих.

●

Чем себя обнаружу сейчас,
не имеет значения даже
для меня. Потому и для вас.
В непрописанном темном пейзаже,
где ветвистая чаща людей
вековым растревожена ветром,
мне себя различать все трудней.
И страшней. И спасение в этом.
Ты, душа, никому не родня!
Покрывайся корой без опаски.
Не ищите, не знайте меня
ближе этой пожизненной маски.

Предтеча

— Не выдохся еще?.. Рвани!.. Ну ты даешь!..
Перебродил — не скис, сухой и длинноногий,
но вместе-то с тобой мы вечно молодежь,
а вместе с нами, ты, дай Бог, не одинокий.

Для тех, кто духом нищ, но все-таки блажен,
от юных злых когтей — до зрелости венозной
ты гений и кумир, свой переживший тлен,
всеобщих мест пророк, понятный и негрозный.

Когда так много дел — где думать о душе? —
но если в передел, так уж с тобою вместе!
Был сверх-, стал человек в натуре — и вообще
пускай погиб поэт, но жив невольник чести.

И снова счастлив ты — почти на склоне дней —
на площади торчать, где лица, пальцы, крики
копеечку хотят и зрелищ посмешней,
а ты им шут и князь достаточно великий.

Валяй! Ты подоспел ко времени опять,
крепи своим мослом прогнившую основу.
Я сам тебя готов заране проклинать,
поскольку от других не потерплю ни слова.

И пусть не сын я твой, но младший твой близнец,
в родительской печи пересидевший сроки, —
и на твоих плечах я ростом молодец.
Да не собьются длинные глиняные ноги!

●

Никто меня не убивал,
не втискивал мой овал
в пятый угол страны —
что же вы мне должны?

Спрашивается, почему
все, о чем промычу,
скоромным предам словам,
скармливаю вам.

На родине недород?
Нечего сладко есть?..
И дело мое — не мед,
о ненасущном весть.

Не закрывайте вежд,
наставники-учителя!
Опасливых ваших надежд
не оправдаю я.

Пусть до бессильных седин
мой вид утешает вас:
вот и еще один
ни душу, ни мир не спас.

Николай Оцуп

(1894—1958)

ОКЕАН ВРЕМЕНИ

Николай Авдеевич Оцуп — один из самых интересных «забытых» на родине русских зарубежных поэтов нашего века. Удивительна и одновременно трагична судьба талантливого поэта-акмеиста, мемуариста и литературоведа, с которым автор этих строк довольно близко познакомился в Париже в 50-е годы. В то время Николай Оцуп был моим учителем по русской литературе в Высшей школе в Париже — «Эколь Нормаль».

Эмигрировав в конце 1922 года в Берлин, Н. Оцуп с 1924 года поселяется в Париже. Как и многие из русских писателей его поколения — Г. Иванов, Г. Адамович, Вл. Ходасевич и др., Оцуп с начала 20-х годов до конца своих дней жил и творил в эмиграции. Он автор известных и неоднократно издававшихся за рубежом поэтических сборников, многочисленных поэтических публикаций в периодической печати, обширной философско-автобиографической поэмы «Дневник в стихах», ряда интересных литературоведческих исследований о русских писателях конца XIX — начала XX века. В 1951 году в Сорбонне Оцуп защищает докторскую диссертацию о творчестве Н. Гумилева, оказавшего немалое влияние на поэтическую индивидуальность самого Оцупа. Начиная с конца 20-х вплоть до середины 50-х годов в парижских журналах появляются его «петербургские воспоминания» — мемуарные эссе о писателях-современниках, которых он близко и хорошо знал,— А. Белом, А. Блоке, Н. Гумилеве, С. Есенине, Е. Замятине, Ф. Сологубе, В. Шкловском, П. Потемкине. Однако в истории русской литературы XX века Н. Оцуп по праву останется не только как один из самобытных поэтов «серебряного века» русской поэзии, талантливый мемуарист и эссеист, но и как один из вдохновителей (вместе с Н. Гумилевым) и продолжателей литературного объединения акмеистов «Цех поэтов».

«Год восемнадцатый и дальше три,
Последних в жизни Гумилева

сблизили меня с ним в общей работе»,— вспоминал об этом времени сам Оцуп. Памяти Н. Гумилева посвящено стихотворение «Теплое сердце брата укусили свинцовые осы...», включенное в настоящую подборку. Второй «Цех поэтов», основанный в 1919 году, имел мало общего с первым, возникшим в 1911 году в противовес символистам. Новым «Цехом» были изданы три альманаха в Советской России. Кроме акмеистов (Н. Гумилев, М. Зенкевич, О. Мандельштам, Н. Оцуп, Г. Иванов и др.), в них публиковались также А. Блок, М. Кузмин, Ф. Сологуб, А. Белый.

Заботами и усилиями Н. Оцупа в 30-е годы в Париже был организован один из крупнейших журналов русской эмиграции — журнал «Числа», объединивший вокруг себя лучшие литературные силы русского Парижа. На страницах «Чисел» увидели свет многие произведения Г. Адамовича, З. Гиппиус, Б. Зайцева, Г. Иванова, Д. Мережковского, И. Одоевцевой, А. Ремизова, Н. Тэффи, М. Цветаевой, Л. Шестова и др.

В настоящую подборку включены лишь избранные стихотворения Николая Оцупа из сборников «Град» (1922), «В дыму» (1926), «Жизнь и смерть» (1961).

Более полное знакомство советских читателей с творчеством поэта впереди. В 1991 году в Ленинградском отделении издательства «Художественная литература» выйдет в свет издание избранных произведений Н. Оцупа «Океан времени».

Луи АЛЛЕН

●

Где снегом занесенная Нева,
И голод, и мечты о Ницце,
И узкими шпалерами дрова,
Последние в столице.

Год восемнадцатый и дальше три,
Последних в жизни Гумилева...
Не жалуйся, на прошлое смотри
Не говоря ни слова.

О, разве не милее этих роз
У южных волн для сердца было
То, что оттуда в ледяной мороз
Сюда тебя манило.

●

Теплое сердце брата укусили свинцовые осы,
Волжские нивы побиты желтым палящим дождем,
В нищей корзине жизни — яблоки и папиросы,
Трижды чудесна осень в бедном величьи своем.

Медленный листопад на самом краю небосклона,
Желтизна проступила на теле стенных газет,
Кровью листьев сочится рубашка осеннего клена,
В матовом небе зданий желто-багряный цвет.

Желто-багряный цвет всемирного листопада,
Запах милого тленья от руки восковой,
С низким поклоном листьям в воздухе Летнего сада,
Медленно прохожу по золотой мостовой.

Тверже по мертвым листьям, по савану первого снега,
Солоноватый привкус поздних осенних дней,
С гиком по звонким камням летит шальная телега,
Трижды прекрасна жизнь в жестокой правде своей.

30 августа 1921

●

Да жил ли ты? Поэты, и семья,
И книги, и свиданья — слишком мало!
Вглядись: и это жизнь твоя —
Мне в тормозах проскрежетало.

По склону человека на расстрел
Вели без шапки. Зеленели горы.
И полустанок подоспел
И желтой засухи просторы.

Я выучил у ржавых буферов,
Когда они Урал пересекали,
Такую музыку без слов,
Которая сильней печали.

●

Счет давно уже потерян.
Всюду кровь и дальний путь.
Уцелевший не уверен —
Надо руку ущипнуть.
Все тревожно. Шорох сада.
Дома спят неверным сном.
«Отворите!» Стук приклада,
Ветер, люди с фонарем.
Я не проклинаю эти
Сумасшедшие года.
Все явилось в новом свете
Для меня, и навсегда.
Мирных лет и не бывало,
Это благодушный бред.
Но бывает слишком мало
Тех — обыкновенных бед.
И они, скопившись, лавой
Ринутся из всех щелей,
Озаряя грозной славой
Тех же маленьких людей.

●

Я много проиграл. В прихожей стынут шубы.
Досадно и темно. Мороз и тишина.
Но что за нежные застенчивые губы,
Какая милая неверная жена.

Покатое плечо совсем похолодело,
Не тканью дымчатой прохладу обмануть.
Упорный шелк скрипит. Угадываю тело,
Едва прикрытую, вздыхающую грудь.

Пустая комната. Зеленая лампадка.
Из зала голоса — кому-то повезло:
К семерке два туза, четвертая девятка!
И снова тишина. Метелью замело

Блаженный поцелуй. Глубокий снег синеет,
С винтовкой человек зевает у костра.
Люблю трагедию: беда глухая зреет
И тяжко падает ударом топора.

А в жизни легкая комедия пленяет —
Любовь бесслезная, развязка у ворот.
Фонарь еще горит и тени удлиняет.
И солнце мутное в безмолвии растет.

●

Вот барина оставили без шубы.
«Жив, слава Богу», и побрел шажком,
Глаза слезятся, посинели губы.
Арбат и пули свист за фонарем.

Опять Монмартр кичится кабачками:
Мы победили, подивитесь нам —
И нищий немец на Курфюрстендаме
Юнцов и девок сводит по ночам.

Уже зевота заменяет вздохи,
Забыты все убитые в бою,
Но поздний яд сомнительной эпохи
Еще не тронул молодость твою.

Твой стан печальной музыки нежнее,
Темны глаза, как уходящий день,
Лежит, как сумрак, на высокой шее
Рассеянных кудрей двойная тень.

Я полюбил, как я любить умею.
Пусть вдохновение поможет мне
Сквозь этот мрак твое лицо и шею
На будущего белом полотне

Отбросить светом удесятеренным,
Чтоб ты живой осталась навсегда,
Как Джиоконда. Чтобы только фоном
Казались наши мертвые года.

●

Себя от общества я отлучил
Не потому, что я на всех в обиде,
А потому что сам себе не мил
В эпохе, тонущей подобно Атлантиде.

Но есть другая жизнь под боком у меня:
Вся жертва, и сознание, и смелость,
И сколько раз от этого огня
В ничтожество мне спрятаться хотелось.

И, чувствуя союзника во мне,
Возненавидели дурные люди
Не то, что им тождественно вполне,
А ту, которая меня от смерти будит.

И в тонущей эпохе все ко дну
Меня влекут, но я благословляю,
Моя безумная, тебя одну,
И первородный грех тобою искупаю.

●

Я поражаюсь уродливой цельности
В людях, и светлых, и темных умом,
Как мне хотелось бы с каждым в отдельности
Долго беседовать только о нем.

Хочется слушать бесчестность, безволие —
Все, что раскроется, если не лгать;
Хочется горя поглубже, поболее —
О, не учить, не казнить — сострадать.

Слушаю я человека и наново
Вижу без злобы, что нитью одной
Образы вечного и постоянного
Спутаны с мукой моей и чужой.

●

Есть свобода — умирать
С голоду, свобода
В неизвестности сгорать
И дряхлеть из года в год.
Мало ли еще свобод
Все того же рода.
Здесь неволя
Наша доля.
Но воистину блаженна,
Вдохновенна, несомненна,
Как ни трудно, как ни больно,
Вера, эта форма плена,
Выбранного добровольно.

Н. Работнов,
доктор физико-математических наук

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»?

Среди написанных в XX веке на английском языке книг одна из самых прославленных в западном мире — десятитомный монумент, воздвигнутый Арнольдом Тойнби. «Этюды по истории» — так можно перевести название оригинала «A Study of Hystory». Этой суперклассики на русском языке еще нет, хотя публикация труда началась около шестидесяти и закончилась свыше тридцати лет назад. Отечественная — и тоже до недавнего времени почти подпольная — слава трудов Карамзина и Ключевского имеет заметно другую природу. Это труды по национальной истории, позволяющие русскому человеку утолить острую естественную жажду «из реки по имени факт». А в книге Тойнби, во-первых, анализируется и систематизируется **вся** история человечества, о которой позволяют сколько-нибудь надежно судить письменные и материальные памятники. Во-вторых, история именно **анализируется** и **систематизируется**. Успех книги в значительной мере объясняется как раз тем, что автор, по его собственным словам, полностью отказался от популярного у скрупулезных историков подхода — «одна проклятая подробность за другой в хронологическом порядке». Каждое из основных положений своей философии истории Тойнби постоянно доказывает и иллюстрирует фактами из жизни разных цивилизаций в разные эпохи, и неожиданность сопоставлений в сочетании с убедительностью способна заворожить любого.

Тому, что книга Тойнби стала не только научной, но и литературной сенсацией, бестселлером, выдержавшим десятки изданий, способствовало счастливое обстоятельство. Английский историк Д. Соммервелл — фигура гораздо более скромная, чем Тойнби — в течение десяти с лишним лет «для собственного удовольствия», как поясняет он сам, без ведома автора и поначалу без мыслей о возможной публикации, создавал сокращенный вариант текста первых шести томов, выходивших с 1933 по 1939 год. Результатом была рукопись однотомника, поразившая даже самого Тойнби, прочитавшего ее в 1946 году. На следующий же год она была издана. После завершения всех десяти томов последние четыре были тем же редактором-добровольцем сконденсированы во второй том сокращенного издания.

Два варианта книги адресованы разным читателям и достигают разных целей. Двухтомник обеспечил идеям Тойнби необычайно широкую популярность. Процитируем одного из обозревателей, К. Бринтона: «Хорошо, если бы другим плодовитым авторам — и прежде всего Марксу — кто-нибудь сослужил такую же добрую службу, какую м-р Соммервелл сослужил м-ру Тойнби». Мысль интересная...

«Юридическим лицом» в истории для Тойнби является не нация, не страна, а «общество» или «цивилизация». Поскольку историк избегает законченных определений в один абзац, двумя словами не скажешь, что именно называется «цивилизацией по Тойнби», но итог таков: в истории человечества он их выделяет двадцать одну, начиная с древнейших, давно погибших египетской и шумерской и кончая дожившими до наших дней Западной христианской, Восточной христианской, индуистской, исламской, китайской и японско-корейской. Уже по назва-

ниям видно, что в формировании цивилизаций главная роль отводится двум факторам: религии и географии.

Зададимся вопросом: укладывается ли в универсальную схему Тойнби страна и общественная система, в которой мы живем? Велико искушение ответить: не укладывается. Слишком многое в нашей жизни — результат длительного сознательного противопоставления себя всему остальному миру и мировому опыту, и сегодняшнему, и прошлому, в том числе собственному прошлому. С другой стороны, очевидная ныне противоестественность этой самоизоляции и ничем не оправданного высокомерия к тем достижениям человеческой культуры, коих мы являемся наследниками или современниками, вызвала неодолимую тягу к восстановлению разрушенных связей. Это естественное «движение души» нашего общества начинает отражаться и в политических решениях и действиях. Поднимаются затворы в высотной плотине, за которой разлилось глубокое озеро, питавшееся теми родниками национальной культуры в прошлом и настоящем, от которых мы были надежно отгорожены. Раздвигается и частично рушится железный занавес, отделявший нас от Запада. Но «особой статьей» в истории двадцатого века мы быть не перестали и не перестанем.

А что думает по этому поводу Тойнби? Олимпийскую остраненность, естественную при работе с материалом далеких веков и тысячелетий, он пытается сохранить и при нечастых своих обращениях к пылавшей и сочившейся кровью истории двадцатого века. Мелкая, но характерная деталь: Октябрьскую революцию он датирует «1917 годом от Р. Х.». И к коммунизму, и к фашизму, представлявшим разные, но весьма реальные угрозы его собственной, дорогой ему цивилизации, он относится с удивительным, несколько небрежным хладнокровием и даже как будто не считает их чем-то выпадающим из общей картины, хотя и признает: «Единственным подобием эффективного внешнего вызова нашему обществу со времен неудачной второй попытки Османской империи захватить Вену стал вызов, с которым столкнулся западный мир, когда Ленин и его товарищи завладели Российской империей в 1917 году от Р. Х.». А далее: «Однако большевизм еще не представляет серьезной угрозы влиянию нашей Западной цивилизации вдали от границ СССР». И, наконец: «Даже если бы когда-нибудь усилия коммунистов привели к осуществлению надежд русского коммунизма распространиться по всей земле, всемирный триумф коммунизма над капитализмом не означал бы триумфа чуждой культуры, поскольку коммунизм, в отличие от ислама, сам произошел от западного источника». В первых пятилетках Тойнби увидел «войну идеалов Ленина с методами Форда».

Этот пример показывает, что отчетливую укоризну, содержащуюся в известном выражении «Поучительно в истории лишь то, что она никого и ничему не учит», следует адресовать не только неспособным ученикам — нам с вами, но и «учителю» — истории.

Тойнби недооценил не только коммунизм как историческую силу. Он весьма скептически судил о перспективах большинства живых цивилизаций, считая, что они в самое ближайшее время будут поглощены Западной христианской. Ему суждено было дожить до наглядного опровержения историей этого пророчества.

Называть коммунизм новой религией на Западе стали давно. Вот из того же Тойнби: «Мы видим, как марксизм превращается в эмоциональную и интеллектуальную замену православного христианства с Марксом вместо Моисея, Лениным вместо Мессии и собраниями их сочинений вместо священного писания этой новой воинствующей атеистической церкви».

Мы всегда очень обижались на такое уподобление, забывая, что слово «религия» было ругательным только для нас самих. Ирония в нем, разумеется, присутствует, но не только ирония.

Марксизм, конечно, предпочитает считать себя наукой, старался быть таковой, и поначалу это удавалось. Но в конце концов получилось, как в анекдоте военных времен: Гегель, Смит с Рикардо и Дарвин вытачивали детали, считая, что делают детскую кроватку, Маркс, Энгельс и Ленин попробовали собрать — не получилось, доделали многое сами, а несун-Сталин тайком вытащил все это из родного НИИ-КБ и быстро собрал крупнокалиберный пулемет.

Лучше А. Камю, наверное, не скажешь: «Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукой». Эта потеря самообладания, вызванная отсутствием важнейшего для ученых качества — смирения перед фактами,— как мы теперь знаем и признаем, доходила у людей, называвших себя марксистами, до полной моральной невменяемости (термин Бердяева). С религиями это тоже бывало и бывает, так что не будем обижаться. Основоположники учений в этих трагедиях не виноваты. Спрашивать с Маркса за Колыму примерно то же самое, что с Христа за костры инквизиции, или с Ницше за Освенцим,— об этом порой забывают.

Но другие забывают о другом. От массы забракованных или поставленных под сомнение историей политических теорий, оставшихся умозрительными конструкциями, марксизм отличается тем, что его очень и очень многие пытались реализовать на практике в десятках стран на четырех континентах. Результаты **всегда** были прямо противоположны идеалам Маркса,— всегда насилие, кровь и разорение.

Каждой массовой идеологии для успеха помимо идейной основы необходима опора эмоциональная, ключевое чувство, к которому она апеллирует. У всех великих монотеистических религий эта опора чрезвычайно надежна — страх смерти. Придумать что-то притягательнее вечной жизни, а тем более вечного блаженства за гробом, казалось бы, невозможно. Но Сталин и Гитлер придумали. Самые низменные из человеческих чувств — ненависть и зависть — оказались непревзойденными сплачивающими, мобилизующими факторами. Ни хоры ангельские христианского рая, ни семьдесят две гурии, положенные правоверному в раю магометанском, серьезно соперничать с этой комбинацией не могут.

Но вчитываясь в Тойнби, тем не менее трудно отделаться от ощущения, что приведенные цитаты все-таки попытка отмахнуться от неприятного ему, но очень значительного явления, которое он как объект исследования предпочитает игнорировать, будучи историком, а не летописцем — это разные ремесла. По масштабу это явление, пожалуй, тянет на новую, двадцать вторую цивилизацию, которую в тойнбианских традициях лучше всего, видимо, назвать атеистической. Продолжать объединять ее с материнской Западной христианской значит пытаться сидеть на двух стульях, стоящих в разных углах комнаты (или в противоположных углах ринга, до последнего времени это сравнение было точнее).

Коммунистическая революция в России была не первой попыткой начать построение атеистического общества. Первой, и весьма радикальной, была Великая французская революция. Горюя по храму Христа Спасителя, не забудем, что якобинцы превратили в каменоломню и разрушили до основания, возможно, самый знаменитый и обширный храмово-монастырский комплекс в Европе — аббатство Клюни (XI век!), одно из несомненных архитектурных чудес христианского света, и планировали снести Шартрский собор, но не успели. И священников ставили к стенке и гильотинировали. И летосчисление сменили, начав новое, и месяцы переименовали.

Призванное ознаменовать начало новой, постхристианской эры летосчисление продержалось двенадцать лет; государственный атеизм во Франции не пережил Первой республики. Страна благополучно вернулась в лоно католической церкви и в общее русло развития Западной христианской цивилизации, которую многие и привыкли называть просто «цивилизацией», победно распространявшейся по земному шару со времен Колумба и Васко да Гама.

У нас этого не произошло, и атеизм как государственная религия оказался чрезвычайно живучим и чрезвычайно жестоким. В давние времена переход от многобожия к единобожию странным образом привел к усилению религиозной нетерпимости. Странным — потому что в общем-то это был шаг вперед. Менее странным и столь же реальным было усиление нетерпимости при переходе от единобожия к безбожию. Менее странным, потому что не всегда и не везде это был шаг вперед.

Но в нашей стране семьдесят лет целенаправленных усилий не только загнали религию в угол или в подполье. Они привели к сильному росту числа реальных, искренних атеистов, сформированных уже не прямым насилием, а семейным и школьным воспитанием. К ним, в частности, относится и автор этих

строк, отчетливо осознающий, что спокойную полноту убежденности, с которой он сейчас не верит в Бога, можно изменить, лишь приделав ему другую голову. Не будет преувеличением сказать, что большинство самой деятельной, активной части населения, занимающей ключевые позиции практически во всех сферах нашей жизни, составляют сейчас именно атеисты, хотя далеко не факт, что они составляют большинство в обществе. Отбор, приведший к такому результату, никак нельзя признать естественным. Но его итоги — реальность. Как к ним относиться сейчас, когда мы начинаем не на словах, а на деле вспоминать о свободе совести?

И это проблема не только наша. Страны, направленные ходом исторического процесса в ту же глубокую колею, что и мы,— а процесс чаще всего заключался в том, что мы их «буксировали за задний бампер»,— примерно в таком же положении. Их суммарное население — полтора миллиарда человек, и наш случай еще не крайний. Некоторым из них до недавнего времени, например, реально грозил расстрел за крещение ребенка — и священнику, и родителям.

Территориально атеистическая цивилизация — будем в дальнейшем для краткости без оговорок употреблять этот, несомненно, условный термин — понесла в течение первых месяцев 1990 года тяжелые потери. По крайней мере пять стран довольно решительно с ней порвали: ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия и Никарагуа. Потери тем более чувствительны и знаменательны, что они, по существу, первые, и еще несколько лет назад никто не взялся бы их предсказать, поскольку развитие атеистической цивилизации до сих пор было почти необратимой экспансией, если не считать скоротечных эпизодов типа Чили и Гренады. Означает ли это начало столь же монотонного процесса размывания и распада, необратимого заката мира атеистической идеологии? Представляется, что все-таки нет.

Вспомним своего долгоживущего предшественника с тотально-глобальными претензиями — Западную христианскую цивилизацию. Крушение колониальных империй было, конечно, ее великим отступлением, но в границы своей европейской колыбели она отнюдь не вернулась. Оба американских континента и Австралия остались практически стопроцентно христианскими, устоялась или почти устоялась сложная исламско-христианская мозаика молодых африканских государств. И хотя религиозная экспансия в Азию оказалась почти полной неудачей (крупное исключение — Филиппины), западные политические институты совсем неплохо прижились и во многих азиатских странах.

Сегодня наше политическое и идеологическое руководство задавлено тактикой, почти непосильным грузом национальных, экономических, экологических проблем, при решении которых все чаще приходится плыть по течению. Куда нас вынесет? Мы волоком выбрались к истокам незнакомой реки и пустились в плавание, уворачиваясь от мелей, порогов и перекатов. Но куда впадает река? Не поджидает ли нас за ближайшим плесом Ниагара? Необходимо думать и об этом.

Нашу идеологию можно уже сегодня перестать называть коммунистической. Теперь за умершего человека несколько суток может дышать машина. Так и идеологический «аппарат сердце — легкие» еще поддерживает терминологическую инерцию, но душа этой фразеологии давно отлетела. Какое уж там «по потребностям», когда мы три четверти века не можем получить по труду. Нет никакого сомнения в том, что большинство исповедовавших и проповедовавших официальную идеологию в нашей и «братских» странах инстинктивно действовало в соответствии с хорошо сформулированной американской поговоркой: «Взаправду или понарошке, но будь искренним». Очень немногие простодушные верили в неотвратимое приближение сияющего будущего в виде «перманентного фойе с буфетом» (формулировка О. Мандельштама).

А с самим атеизмом положение заметно иное. В нелицемерности безбожия подавляющего большинства коммунистов нет ни малейших сомнений. Из всех компонентов нашей идеологии именно атеизм был самым устойчивым. Пожалуй, единственно устойчивым. Если не по существу, то по конкретным формам всех остальных положений возникали жестокие разногласия и борьба, то явная, то подспудная. Да и после видимого завершения всех споров, утопленных в море крови, генеральная линия продолжала колебаться и в ретроспективе напоминает известную в математике, но труднопредставимую кривую, которая пересекает сама себя под прямым углом в каждой своей точке.

Причина устойчивости, конечно, в предельной простоте атеистического кредо «Бога нет», не оставляющего места для нюансов и дискуссий. Но это не помешало «атеистическому богословию» стать профессией и нескудеющей кормушкой для десятков тысяч людей на сравнительно безопасном, хоть и не слишком престижном, тыловом участке идеологического фронта.

Но, повторю, пожалуй, единственное, в чем не упрекают коммунистов их идейные противники,— в неискренности безбожия. Это чего-то стоит. Если дать выкипеть бурлящему сейчас котлу плюрализма мнений по религиозным вопросам, то на дне останется всего лишь одна четкая дилемма: вы либо верите в Бога, либо нет. Отказывать атеистам в праве на чувство собственной правоты ничуть не больше оснований, чем отказывать в этом верующим.

Я неоднократно спрашивал верующих людей, в том числе образованных, эрудированных, было ли в их личном психическом опыте нечто, воспринятое ими как откровение, как прямое доказательство бытия Божия, вмешательства Провидения в их земную жизнь. Все, иногда подумав и поколебавшись, отвечали утвердительно. Таким образом, сам термин «верующие» представляется не совсем точным. Большинство «верующих» людей просто знает, что Бог есть,— это можно знать. А вот знать, что Бога нет,— нельзя, в это можно только верить. Никаких аргументов, способных доказать наличие или отсутствие потустороннего мира, полностью изолированного от посюстороннего, равно не существует. Именно поэтому смехотворны попытки официальных атеистов «аргументированно разоблачать» Библию и другие священные книги, бессмысленны диспуты с верующими и т. п.

«Религия обманывает угнетенных и обездоленных обещаниями загробного блаженства и тем увековечивает неравенство». «Безбожие — основа аморальности. Раз живем однажды, нужно брать от жизни все, после нас хоть потоп,— вот кредо безбожника». Эти симметричные обвинения стоят одинаково дешево. Представления верующих о неискоренимой аморальности атеизма основаны на опыте цивилизаций, где безбожие было исключением и действительно сочеталось со всеми другими видами вызова обществу, в том числе и с преступностью, пока рассматривалось именно как вызов обществу и делало человека изгоем. Рост в западных странах числа атеистов или людей, равнодушных к религии, признаваемый всеми церковными лидерами, сам по себе отнюдь не ведет к падению морали так же, как принадлежность к преобладающему или официальному вероисповеданию отнюдь не мешает свернуть на кривую дорожку. Что действительно и несомненно при прочих равных условиях снижает преступность,— это просвещение, образование. В одном из редчайших в застойные годы информативных сообщений о характере и размерах преступности в нашей стране промелькнуло: в 1972 году среди лиц, осужденных за убийства, не было ни одного человека с высшим образованием. Какую-то скидку, видимо, нужно дать на то, что грамотный убийца лучше заметает следы, но сути факта это не изменит. Среди образованных людей атеистов больше, хотя считать атеистическое и научное мировоззрения синонимами, как это принято у нас, никак нельзя. Вполне можно быть законченным атеистом и при этом полным невеждой, или же — великим естествоиспытателем и глубоко верующим человеком. И весь спектр между этими двумя крайностями заполнен. Вот для иллюстрации небольшое отступление.

Словосочетание «советское богословие» звучит странно. Не исключено, что оно еще вообще никем не употреблялось. Но его пора вводить в оборот. Не все знают, что эта наука у нас существует, и в ней присуждаются ученые степени, хотя, понятное дело, и не ВАКом. А в окружающем нас мире теология — довольно массовое занятие, по числу специалистов в некоторых странах вполне сравнимое с нашими общественными науками. Духовные академии и богословские факультеты светских университетов, как правило, одновременно и центры теологических исследований. Понятно, что об этой стороне духовной жизни Запада мы

знаем меньше, чем о какой-либо другой, а о современных отечественных религиозных философах и теологах не знаем просто ничего. Имена Бердяева, С. Булгакова, Лосева, мученика Флоренского и других извлечены наконец из насильственного забвения, но о сегодняшнем состоянии православно-христианской мысли в нашей стране доступная массовому читателю информация практически отсутствует. Тем неординарнее недавняя публикация в «Новом мире» небольшой, но яркой статьи «Научна ли «научная картина мира»?» доцента математики, кандидата философских наук В. Тростникова, специализирующегося в научной апологетике.

Эту теологическую дисциплину можно назвать зеркальным двойником научного атеизма. Для нее некоторые результаты естественных и точных наук служат доказательствами существования Творца. Подозреваю, что с точки зрения церковных ортодоксов это занятие отдает ересью, будучи по существу поиском прорех или проколов «в маске Великого Лика» (выражение, если не ошибаюсь, Томаса Харди), каковой является для безоглядно верующего человека природа с ее законами.

Я уже высказал свое отношение к полемике между последовательными атеистами и глубоко верующими людьми как к совершенно бесплодному занятию, и потому отмечу здесь прежде всего то, что в работе В. Тростникова мне импонирует: нескрываемое восхищение достижениями науки как проявлением величия человеческого духа. Изобретательно проанализированные примеры выбраны безукоризненно: теоремы Геделя и Тарского в математике, основной постулат квантовой механики о волновой функции как носителе максимально полной информации о физической системе и открытие ДНК как носителя информации наследственной, обеспечивающей устойчивость видов и равновесие в геобиоценозе. Перед результатами такого класса, исполненными высокой красоты и гармонии, и ученые-атеисты вполне могут испытывать благоговение почти религиозное. То, что современная наука способна вдохновлять богословов, говорит, мне кажется, в ее пользу.

Нельзя, правда, не заметить, что полемический темперамент автора сообщает статье заметную задиристость, временами излишнюю. Когда речь заходит о дарвинизме, В. Тростников просто срывается: «...На фоне сегодняшних данных биологической науки он выглядит просто-таки неприлично... ...Чем меньше человек разбирается в биологии, тем тверже он верит в дарвинизм. Самыми же убежденными его сторонниками являются те, кто вообще в ней не разбирается... ...Сегодня ее (теории естественного отбора.— Н. Р.) абсурдность достигла уровня, не допустимого не только для науки, но и для бытовых разговоров... ...Рассуждение безграмотно, а аналогия незаконна (рассуждение Дарвина об аналогии между естественным и искусственным отбором.— Н. Р.)... ...Если бы дарвинизм и вправду был научной теорией, то он давно должен был... добровольно уйти со сцены... ...Учение о естественном отборе стало более несуразным, чем утверждение, будто земля плоская и стоит на трех китах». О чем-то эти обличения напоминают, а о чем именно, можно понять, подставив в них вместо дарвинизма, например, вейсманизм-морганизм. Впрочем, в человека, которому всю жизнь затыкали рот, не следует бросать камни за этот срыв.

Невоинствующему атеисту — именно так могу я назвать свое кредо — пристало относиться к религиозной философии так же, как к религиозному искусству,— а искусство до девятнадцатого века можно считать практически целиком религиозным. И в философии, и в искусстве «как» гораздо важнее, чем «что».

Основоположникам и сравнительно немногочисленным на протяжении всей истории апологетам и пропагандистам атеизма трудно предъявить обоснованные претензии морального плана. Ни первый из известных нам атеистов античности Ксенофан (565—473 до Р. Х.), писавший: «Если бы волы и львы, обладая руками, могли подобно людям изображать своих богов и создавать произведения искусства, они изображали бы их по своему образу и подобию», ни Л. Фейербах, через две с половиной тысячи лет повторивший ту же мысль в чуть более вежливой форме, ни софист Антифон, развивший ее: «Люди придали богам не только свой образ, но и свой характер», ни К. Маркс, назвавший религию «опиумом

народа», аморальными не были. Так же, как Демокрит, Эпикур, Лукреций, Дидро, Бейль, Гельвеций и многие другие. А то, что зверями были Сталин и Гитлер, к атеизму имеет столь же мало отношения, сколь к религиозному образованию, полученному одним из них.

Внешне парадоксальное, но тем не менее убедительное положение теории Тойнби состоит в следующем: новая цивилизация крепнет, развивается и расширяется не в результате возникновения каких-то специфически благоприятных обстоятельств, а наоборот, как реакция на вызов и угрозу — со стороны внешних или внутренних врагов или суровых природных условий. Поэтому в области культуры в широком смысле, как полной суммы знаний и умений, развивающаяся цивилизация обычно прежде всего заявляет о себе в военном искусстве. Один из самых ярких тому примеров следующий: татаро-монгольское нашествие, которое мы традиционно склонны считать тормозом нашего развития, Тойнби считает именно тем историческим вызовом, который возбудил отпор и быстрый прогресс. Военным инструментом мобилизовавшейся восточно-христианской цивилизации стало казачество, сумевшее опереться на факторы, бывшие для монголов помехой. Реки, бывшие для конницы Чингисхана серьезным препятствием, казаки сделали главными путями сообщения, а покоренные просторы они в отличие от кочевников осваивали — распахивали, заселяли, превращали в надежный тыл — и быстро вышли к Тихому океану. Разумеется, это полностью отвечает известному диалектическому положению о развитии как борьбе противоположностей, которое у нас громко провозглашалось, но на практике игнорировалось абсолютно.

Бурное рождение атеистической цивилизации не выпадает из общей закономерности. Враждебное окружение и быстро поверженные, но продолжавшие существовать и крепнуть в умело накаляемом воображении общества внутренние враги вызвали расцвет именно военного могущества — единственный реальный расцвет, которым мы сегодня можем похвастаться. У всех остальных цивилизаций за периодом «бури и натиска» следовал период подъема искусств и ремесел,— хотелось бы надеяться, что мы приближаемся к его порогу.

У религии как политической идеологии есть огромное преимущество перед атеизмом: она не может прийти в противоречие с действительностью. В ней, строго говоря, просто отсутствует понятие противоречия, как и все остальные логические категории. В этом одна из главных причин практической вечности всех великих религий и опирающихся на них государственных институтов. Тойнби справедливо пишет: «Папа Григорий Великий и другие основатели западного христианства... строили на скале религии, а не на песке экономики». В чей огород это камешек, понятно,— известно, кто считает экономику гранитным базисом, а все остальное — надстройкой. Сейчас, когда зыбучие пески экономики расступаются под нашими ногами, не грех вернуться к вопросу, что первично, а что вторично. Именно духовное начало в жизни общества — главное, религия доказала это неопровержимо, и атеизму совершенно необходимо опереться на эту высокую истину. Для многих атеизм и материализм — синонимы. Но это не совсем так. Разумеется, все атеисты верят в материальность окружающего мира. «В мире нет ничего, кроме движущейся материи»,— да, согласен. «Материя первична, сознание вторично» — да, но не с точки зрения сознания. Как для меня может хоть что-нибудь быть важнее, первичнее моего сознания — единственного, что у меня по-настоящему есть?

Все это отнюдь не означает, что я идеализирую религию как духовную основу общества. Парадоксов хватает. До самого последнего времени именно одна из чисто религиозных и самых малоприятных черт нашей идеологии — непререкаемость — делала общество устойчивым. Способность «держать удар» у нас была фантастическая. Она оказалась потерянной в одночасье, как только мы спохватились и попробовали поставить на место все, что было поднято над логикой и здравым смыслом. Но это отнюдь не означает, что к непререкаемости нужно возвращаться. Найти, а точнее, создать ей замену в рамках научного мировоззрения — непростая, но неотложная задача.

Религиозная вера доказала свою способность делать людей счастливее. Способен ли на это в принципе атеизм, неизвестно. В борьбе за человеческие души

он еще и не начинал искать своих аналогов тем ключевым словам, идеям и понятиям, которые религия вырабатывала тысячелетиями. Наша атеистическая пропаганда, как, впрочем, и любая другая, была формальностью, камуфляжем права сильного. Попробуйте во всех призывах и лозунгах последних десятилетий заменить семисложную «руководящую роль» на односложную «власть», и послушайте, как они зазвучат. Угнетенное положение верующих в нашей стране не просто вызывало естественное сочувствие и солидарность за рубежом, но и подрывало атеистическую идеологию. Записанное Далем: «Не та вера правее, которая мучит, а которую мучат» — справедливо и в том случае, когда мучителем выступает безверие. Один из основоположников европейского атеизма нового времени Гольбах в своем главном труде «Система природы» писал: «Спросят, может быть, возможно ли вытравить когда-нибудь у целого народа его религиозные представления? Я отвечу на это, что подобная вещь кажется совершенно невозможной и что ее не следует ставить себе целью». К несчастью, именно такой цели, не всегда провозглашая ее открыто, добивались некоторые идеологи коммунистического атеизма. Будем надеяться, что это в прошлом.

Наши официальные атеисты могли проповедовать только атеистам же, журналы типа «Наука и религия», брошюры, методические разработки и т. д. были обращены отнюдь не к верующим, а к своим же пропагандистам, которые главным образом варились в собственном соку и проводили миллионы мероприятий для «галочки». А атеисты благополучно формировались детским садом, школой и семьей — если формировались.

Верующие и неверующие люди до недавнего времени у нас жили как бы в разных обществах. Я не скрою, что слабо представляю себе мир верующих людей России. Единственным извинением служит то, что в этом неведении я, мягко говоря, не одинок. На глянцевой поверхности нашего общества верующих с их проблемами просто не было, как не было бедных, бездомных, инвалидов. Многие из нас поэтому невольно и не всегда осознанно относили религию либо к теневым сторонам жизни, либо к уходящим, успешно изживаемым пережиткам. И религия действительно почти не была уделом благополучных людей.

Разобщение верующих и неверующих имеет глубокие корни и близко к абсолютному, но лишь в довольно узком кругу духовных проблем, являющихся в нормальной общественной обстановке сугубо личным делом каждого и не приводящих к конфликтам.

Я не знаю за собой греха конкретной личной причастности к угнетению веры, но от чувства — или комплекса? — коллективной вины избавиться не могу. Думаю, это чувство знакомо сейчас многим. Проявляется оно по-разному. Как пишет В. Войнович, «Бывшие марксисты и атеисты теперь пришли кто к православию, кто к буддизму, кто к сионизму, а кто к парапсихологии или бегу трусцой». А многие православие, парапсихологию и бег трусцой прекрасно сочетают. Трудно испытывать симпатию к этим новообращенным, для которых религия — очередная мода. Было мини, стало макси.

Христианство — до настоящего времени единственная великая религия, оказавшаяся способной на идеологическую революцию — Реформацию, имевшую решающее значение для развития Европы и Северной Америки. Большинство внутрирелигиозных конфликтов относится к одному из двух знакомых по отечественной истории типов: раскол или ересь. Раскол вызывается различием в обрядах, ересь — различием в догматах. Реформация была в основном расколом, и даже отрицаемые ею догматы — непогрешимость папы прежде всего — были из числа ритуальных, «земных», основы веры не задевали.

Этой христианской классификации конфликтов коммунистический атеизм не придерживался. Главным проклятием было и осталось слово «раскольник», а «единство» — несомненный догмат по происхождению — превратилось в обряд, ритуал. Атеистической идеологии остро не хватало и не хватает настоящих еретиков, для выживания она отчаянно нуждается в новых идеях, а не только в новых формах. И начинать нужно с извлечения уроков из собственного недавнего прошлого. Материал для обучения на собственных ошибках у нас такой, какого,

наверное, никто в мире не имел. Наши литература и публицистика принялись за него очень серьезно, а обществоведы и политики все раскачиваются.

По Тойнби, успех римско-католической церкви в распространении ее влияния объясняется тем, что она не требовала слишком многого от признававших ее гегемонию мирских владык. Коммунистическая идеология в сталинском исполнении требовала беспрекословного слепого подчинения идеологическому и политическому центру — Москве. Плоды мы сейчас пожинаем. Главный урок — высокое давление за прочными стенками лишь кажется стабильной ситуацией, на самом деле она взрывоопасна. И как показали последние события в Восточной Европе, успеть сбросить давление удается не всегда.

Согласно Бергсону, которого Тойнби сочувственно цитирует, для нормального развития цивилизации необходимы два элемента: «Усилия некоторых людей создать новое и усилия остальных принять это новое и приспособиться к нему». В новшествах, спускаемых сверху,— от разумных до безумных,— у нас недостатка не было. Но почти никого почти никогда не заботило, понятны ли, приемлемы ли новшества для народа. Забота об этом начинает проявляться — в значительной степени поневоле — только сейчас, и надежды на позитивное развитие связаны именно с ней.

СССР страна не просто многонациональная, а, с тойнбианской точки зрения, «многоцивилизационная». Сам Тойнби слово «христианство» довольно систематически употребляет во множественном числе, и, пожалуй, есть полное основание поступать так с термином «ислам» (не говоря уже о терминах «социализм» и «коммунизм», заметим в скобках). Христианство у нас свое почти в каждой европейской республике (православие, католичество, протестантство, униатство и т. д.), и огромными этническими группами представлены оба главных течения ислама — шиитское и суннитское. Верующие в разных богов и неверующие есть везде, важно, чтобы не было разделения на правоверных и неверных. Кровавый опыт религиозной вражды, увы, копится во всем мире и по сей день, нет нужды перечислять известные всем горячие точки, которые, к несчастью, географически отнюдь не точки, а густонаселенные регионы. Но параллельно копится и более скромный, но растущий все-таки быстрее опыт межрелигиозного мира и сотрудничества. Пример в этом подает Запад. Если бы не Северная Ирландия, можно было бы сказать, что сошли на нет кровавые распри католиков и протестантов, начавшиеся с Варфоломеевской ночи. Все реже акты антисемитского вандализма. Все шире и надежнее ниши, создаваемые мусульманским меньшинством, выходцами из Африки и Азии, в Европе и Америке.

Во время визита в США в июне 1990 года на встрече с представителями американской интеллигенции М. С. Горбачев сказал: «Итак, мы — одна цивилизация, при всех различиях...» Репортаж в «Правде» об этом дне визита был озаглавлен «К новой, мирной цивилизации». И у нас, и на Западе некоторые, а может быть, и многие склонны трактовать нашу эволюцию последнего пятилетия и особенно ее нынешние этапы, как признак готовности блудного сына вернуться под отчий кров не без надежды на упитанного тельца, зажаренного по этому случаю. Но все сложнее. Мы очень не похожи сегодня ни на Запад, ни на новый индустриальный Восток. Нас с ними разделяют не только повергаемые один за другим искусственные барьеры. Реальность и глубину внедренных в наше сознание представлений нельзя недооценивать. И поэтому способность возрождающейся религии сыграть решающую роль в укреплении морали и общественной стабильности представляется проблематичной даже в далекой перспективе, не говоря уже об опасной динамике переходного периода. И религий, напомним, у нас не одна и не две.

Призывы к деидеологизации понятны и оправданны, пока под идеологией понимается тот жалкий суррогат, который нам преподносили как непогрешимое и всепобеждающее учение авторы «Краткого курса» и иже с ними. Но идеология — в значительной мере «идеалология». Понятие идеала обесценилось у нас чрезвычайно, как обесценились почти все высокие слова. Но «общечеловеческие ценности», вспомнить о которых нас сейчас призывают, не синоним религиозных ценностей, и те, в чьей душе призывы религии уже не находят отклика, не долж-

ны поэтому унывать. Навязанную нам роль «царей природы» следует сменить на более скромную, но вполне достойную роль детей природы, чтящих ее законы и стремящихся к гармонии с ней и друг с другом. Эта цель не ниже и не хуже других. Но чтобы чтить законы природы, их надо знать. Правда, хорошо известное положение юриспруденции «незнание законов не избавляет от ответственности за их нарушение» в применении к законам природы нужно несколько изменить. Нарушить их, разумеется, никто не в состоянии. Но законов у природы много, и они чрезвычайно детальны — буквально на все случаи жизни. Мы можем лишь выбирать, сознательно или по неведению, какие из них будут запущены в ход нашим «действием или бездействием» (формула Уголовного кодекса). Последствия наступают неукоснительно. Человек сейчас может и старается использовать для удовлетворения своих потребностей и прихотей чрезвычайно глубокие, тонкие и трудно реализуемые возможности, заложенные в законах природы. Но столь же сложны, труднообнаружимы — и мощны! — мины, расставленные ею на путях, которые мы выбираем. На протяжении почти всей истории главной опасностью для человека были не силы природы, а другие люди, их злая воля. Сейчас эти опасности объединились и, многократно усилив друг друга, приобрели глобальный характер. Для того чтобы они реализовались, не всегда необходим чей-то дьявольский замысел, достаточно нашего собственного незнания, неумения, нежелания действовать. В этих условиях жизненно важно использовать любую возможность для объединения людей против смерти и разрушения. Уже имеющийся опыт показывает, что при наличии доброй воли непреодолимых духовных, идейных разногласий нет — всегда можно сделать так, чтобы они не мешали сосуществовать и сотрудничать. Различия между верой в Бога и атеизмом — разногласия, вполне улаживаемые взаимной терпимостью; мои заметки — об этом. Их нельзя считать даже попыткой ответить на вопрос, вынесенный в заголовок. Но поставить его стоит.

Анатолий Стреляный

ДВЕ КОРКИ КАРАВАЯ

(В АМЕРИКАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КИНЗИ

Сначала в небе возникает слово «Кинзи», потом рядом с этим словом вырисовывается неведомой силой поднятый над степью ковш. Подъехав ближе, обнаруживаете, что это тракторный самосвал, насаженный на острие стальной вышки.

Так Джон Кинзи обозначил местонахождение своего завода.

Сам завод — это голубой ящик метров до ста в длину и метров десять в высоту, без крыши и чего-либо, что обычно делает ящики похожими на более или менее архитектурные произведения. Перед заводом пруд, рядом три серебряные зерновые башни. Прямо к асфальту заводского двора сзади подступает кукурузное поле. Как всюду в Америке, никакой ограды.

Не увидели мы, естественно, и проходной. Обыкновенная дверь в торце здания вводит в большой светлый зал. Справа, как в гостинице, место секретаря, одетого с иголочки джентльмена средних лет. В центре зала стояла машина, которой я никогда не видел: немыслимой ширины сеялка на мощных колесах. От нее куда-то змеились толстые жгуты проводов. Джентльмен за конторкой нажал кнопку — сеялка вздрогнула, заскрипела, переломилась пополам и стала складываться.

— Она складывается в транспортное положение! — закричал я, чрезвычайно довольный своей сообразительностью, и сразу представил себе, что́ сделается здесь с Никоновым, если удастся его сюда вытащить и если в нем заговорит не член Политбюро, а живой, неиспорченный колхозный механик; ведь был же и он когда-то кем-то вроде...

Возле сеялки нас поджидал высокий, с заметным животом мужчина лет за сорок с круглым сельским лицом, сильно загорелым, на нем впервые в Америке мы увидели костюм, который гладили не в день, когда он был надет. Перед нами был сам хозяин, Джон Кинзи. Ничего не сказав о сеялке, которая тем временем стала опять раскладываться (у кого глаза есть, тот и так все видит), он повел нас на антресоль, козырьком нависавшую над залом. У него там, оказывается, уже устроен стараниями жены-учительницы музей, представлена история предприятия и кое-что из истории здешнего сельского хозяйства.

Джон Кинзи местный, узнали мы здесь, его отец и деды-прадеды с обеих сторон были фермеры, выращивали пшеницу, кукурузу и сою, откармливали свиней.

В 1965 году Джон окончил среднюю школу. Отметки были неплохие, но учиться дальше не захотел. В кармане у него было 35 долларов. С ними он пошел в банк и под поручительство отца взял в долг еще 3655. Две тысячи были отданы за развалюху с землею под ней. Продавал уходивший на пенсию фермер. 500 долларов он взял наличными, на полторы тысячи дал рассрочку. На остаток Джон купил сварочный аппарат, установил его в развалюхе и написал объявление, что выполняет сварочные работы для всех желающих.

Ему было двадцать лет.

Окончание. Начало см. «Знамя» № 11 за 1990 год.

Самый ценный экспонат музея — первый счет, который он выписал первому заказчику. Этим заказчиком оказался его сосед фермер Джим Рут. Кинзи сварил ему тракторную лопату и взял с него одиннадцать долларов и двадцать центов. Эта сумма составилась из расхода на металл — 30 футов металла по 14 центов фут, всего четыре двадцать, и семи долларов за работу.

— Почему именно семь, а не шесть или восемь? — спросил я.

— Я сам себя потом спрашивал,— сказал Кинзи.— Видимо, потому, что потратил на работу два часа.

Три с полтиной — гарантированный почасовой минимум в стране. Никто никому ни за какую работу не имеет права платить меньше. Сейчас, кажется, три семьдесят пять.

По минимуму Кинзи ценил себя пять лет. Главное для него было — создать о себе добрую славу. Округа должна была узнать и многократно удостовериться, что все, за что Джон берется, он делает хорошо и дешево.

Первого рабочего он нанял через год, им был Джим Форман, платил ему Кинзи, как и себе, три-четыре доллара в час.

Когда число заказчиков достигло пяти человек, он их сфотографировал на память. На них клетчатые ковбойки и высокие фермерские картузы с длинными козырьками. Этот снимок в его музее занимает место рядом с первым счетом.

В конце второго года к нему заскочил один фермер из соседнего графства. «Хэлло, парень! Не сделаешь ли ты мне тракторную лопату?» — «Попробую». Кинзи взял дифференциалы от двух тракторов, сделал два ведущих привода. Фермер остался доволен изделием и сфотографировался рядом с ним. Когда-то любили сниматься со своими лошадьми, теперь снимаются с тракторами. Эта фотография тоже в музее.

Вскоре поступил еще один такой же заказ. Готовое изделие опять было сфотографировано, на сей раз не без рекламного шика: трактор висит на лопате, и она ничего, выдерживает... Американец любит, чтобы все было большое, мощное и броское. Броскость чаще всего безобидная, даже детская, мощь и размеры бывают страшными. В 1968 году к нему забежала, возвращаясь из магазина, одна фермерша. «Хэлло, Кинзи! Мой муж спрашивает, можешь ли ты сделать машину для внесения удобрений?» Кинзи сделал. Всякий раз он использовал подручные узлы и материалы, себя, не будем забывать, ценил по минимуму, поэтому все, что люди ему заказывали, они получали от него за полцены.

Когда человек пригонял к нему трактор, прося увеличить мощность, для обоих само собой разумелось, что это обойдется вполовину дешевле, чем покупать новый. Кинзи снимал с «Джондиров» их родные стопятидесятисильные моторы и ставил на их место трехсотсильные. Рама и ходовая часть выдерживали. Снятые моторы тоже шли в дело. Всего с 1969 по 1974 год он проделал эту перестановку триста раз.

К этому времени он понял психологию фермеров, что им нужно от машин и оборудования. Они ждут трех вещей: мощности, дешевизны и долговечности.

В семьдесят первом году начался новый этап в его бизнесе — этап настоящего изобретательства. Его потянуло соорудить сверхплуг, на двенадцать лемехов. Ни один из выпускаемых в Америке тракторов тянуть это страшилище не мог. Пришлось сделать трактор с двумя двигателями, суммарная мощность — 600 лошадиных сил. Но даже и такой мастодонт просил иногда пощады. Тогда Кинзи изменил конструкцию лемеха. Испокон века лемех закреплялся неподвижно. Земледельческие орудия вообще самые отсталые из всех используемых нами механических приспособлений. Они несут на себе печать времен, когда человечество еще не знало колеса. Лопата, кирка, лемех воплощают в себе идеологию тупой силы. Кинзи сделал подвижный лемех. Это заметно снизило сопротивление почвы, а значит, и расходы на вспашку. Увеличилась скорость трактора. Чертеж своего лемеха Джон продал одной большой компании за пять процентов прибыли. Через некоторое время большая компания перепродала чертеж другой, очень большой компании, ему было гарантировано 1,2 процента прибыли в течение семнадцати лет. Заработал он на этом чертеже уже свыше полумиллиона.

Этот народ неукротим. В середине семидесятых годов Кинзи стал делать тракторные телеги-самосвалы. Разумеется, сверхвместительные, хотя, если заказывали небольшие, клепал и небольшие. На одном из снимков, хранящихся в музее, запечатлен исторический момент подъема той самой Кинзиевой вышки, которая теперь скребет небо телегой на верхушке. Была мысль заказать вышку на стороне. Компания рекламного оборудования запросила бешеные деньги. Тогда Кинзи сделал ее сам. На это он потратил две недели своего отпуска и неплохо у себя же заработал. Ему помогали два человека. Что такое эта вышка? Вывеска. «Две недели отпуска на изготовление вывески — это что, блажь?» — спросил я его.

— Необходимость,— ответил он.

Он много раз видел платформу компании Джон Дир для перевозки ее самой большой, двенадцатирядной сеялки. В 1976 году он посмотрел на эту платформу новыми глазами. Зачем она, к шуту, нужна? Надо сделать сеялку складывающейся, как перочинный нож. Тогда она может быть в два раза шире и в сложенном виде ее можно будет тащить по любой дороге.

Первые же сверхсеялки обратили на него внимание нескольких компаний-гигантов того же профиля. Никто не любит конкурентов. Джону Кинзи была объявлена война. О нем стали говорить, что он самоучка и мошенник. Что самоучка, была правда — из сарая-развалюхи Кинзи уже перебрался в построенный им заводской корпус, где был конвейер и станки, но у него по-прежнему не было ни одного инженера, даже техника — ни одного, тем не менее заказы ему продолжали поступать. Тогда компания Джон Дир перестала продавать ему высевающие аппараты, которыми он комплектовал свою сеялку. Кинзи стал делать эти аппараты сам, пользуясь тем, что джондировский патент на них давно утратил силу.

Все равно это был большой риск. У Джон Дира одних адвокатов больше, чем у Кинзи рабочих. Рисковал не только сам Джон, но и банк, дававший ему кредиты на производство этих штук. Кинзи с самого начала все честно рассказал своим кредиторам, те проверили и решили, что риск оправдан.

Компания Джон Дир подала на него в суд.

За тяжбой следила вся Айова. Многие предсказывали выскочке крах. На суде была пресса, жена Кинзи глотала таблетки. Суд отказал Диру в иске и тем самым сделал Джона Кинзи знаменитым. В трехстах милях от его графства, в Купрэпидсе, стоило нам сказать в кафе, что мы были у Кинзи, как фермеры оживились: «А, это тот парень, что выиграл тяжбу с Джон Диром!»

Я спросил его, сколько заплатил ему проигравший великан.

— Суд постановил держать это в тайне.

Сейчас на него работают сто человек. Они делают от шестисот до тысячи шестисот сеялок и до десяти тысяч высевающих аппаратов в год. На сборке-сварке и у станков — 75 человек, остальные — сбытовики и снабженцы, счетоводы. Когда заказов много, Кинзи нанимает на временную работу в основной цех еще человек пятьдесят — шестьдесят.

Выпускает он и машины для внесения удобрений и, конечно, свои излюбленные кузова-самосвалы. Их у него шесть или семь размеров, от обыкновенного до такого, в котором можно жить семьей. На предстоящей штатной осенней сельхозвыставке он водрузит их друг на друга, внизу самый большой, вверху самый маленький. Пусть мужики глазеют.

Люди у него получают почасовую зарплату, он оплачивает им страховку жизни и больничные, двухнедельный, а после восьми лет работы — трехнедельный отпуск. Накапливает фонд выходных пособий. За прогулы и прочие нарушения увольняет. Это самое тяжелое дело, морщится Кинзи. Сначала объяви первое предупреждение — устное, потом второе — письменное, строго держись правил, в которых расписано, что́ за что причитается. Только когда накопится целая папка предупреждений, порицаний, выговоров, лодыря можно гнать, известив его за месяц. В общем, пока у хозяина есть заказы, работника уволить почти невозможно. Другое дело, если хозяин прогорает или вынужден сворачивать производство.

Джону Кинзи это пока не грозит. Каждые три-четыре года он достраивает свой завод, удлиняет конвейер. В главном цеху показывал нам следы снесенных

торцовых стен: тут была стена 77-го года, тут — 80-го. Кругом грохотало, скрежетало, шипели электроды. Недавно Кинзи устроил здесь шведский конвейер. Это не одна линия сборки, а две параллельные. Две бригады рабочих, каждая на своей линии, одновременно начинают и заканчивают трудовой день. Поглядывая друг на друга, они невольно начинают соревноваться. Производительность труда выросла на четверть.

Кинзи хотел бы (он выразился сильнее: мечтал бы!), чтобы его называли не капиталистом, а предпринимателем. Предприниматель — это творец, игрок, человек, который что-то предпринимает на свой страх и риск. Я спросил его, что бы он делал, если бы вдруг открылось какое-нибудь более выгодное дело.

— Я займусь этим делом, но завода не брошу: люблю делать машины,— сказал он.

В первые годы, это когда платил себе меньше, чем получает уборщица, Джон работал по четырнадцать часов шесть дней в неделю, сейчас — по восемь — десять, иногда — до двенадцати. Обычно он ходит в таком же комбинезоне, как и его рабочие, костюм сегодня надел ради нас. Жена говорила: «Повяжи галстук»,— оно и следовало бы, да не было времени.

Все эти годы он, повторяю, обходился без инженеров. Виктор Федорович предлагает это отнести на счет не только способностей хозяина, но и американской системы образования, американской жизни в целом.

Это, конечно, фантастика: завод для выпуска нескольких типов сложных машин был спроектирован, построен, пущен и который год действует силами фермеров, ни один из которых не кончал даже техникума. Между прочим, большинство из них не бросают своих ферм, это для них приработок, они то, что называется «частичные фермеры».

Но чудес не бывает или не бывает бесконечно длящихся чудес. Недавно у Кинзи появились инженеры, сразу три бородатых молодых человека, мы их видели в закутке в дальнем углу цеха, там у него КБ. Доводят до рабочих чертежей очередную выдумку. Что за выдумка,— промышленный секрет, в закуток посторонние не допускаются. Для нас с Виктором Федоровичем было сделано исключение.

— Не боитесь, что сфотографируем ваш секрет глазами? — спросил я.

— Пожалуйста,— сказал Кинзи, чуть заметно ухмыльнувшись.— Я был у вас со своими сеялками еще в семьдесят восьмом году. Они испытывались в Крыму.

На том дело и кончилось — хотел он этим сказать. Мы поняли и согласились.

Секрет Кинзи представлял собою огромную резиновую гусеницу, она жирно блестела в закутке.

Мы погуляли с ним по заводскому двору, видели котельную, которую он топит кукурузной кочерыжкой. Это вчетверо дешевле, чем газом.

Через дорогу голубел пруд, обсаженный молодыми деревьями.

— Как уместен здесь этот пруд! — сказал я.— Рабочие могут видеть его из цеха, отдых для глаз.

— Да,— сказал Кинзи.— Если рядом с предприятием водоем, дается скидка с пожарной страховки.

Мы сошли с асфальта в кукурузу.

— Чье это поле? — спросил я.

— Мое.

— И те башни с зерном?

— Мои.

— А кто обрабатывает это поле?

— Я сам.

Он, стало быть, тоже частичный фермер!

— Что же вы за человек, Джон! — сказал я.— Работаете на своем заводе по восемь — десять часов. Когда же вы успеваете фермерствовать?

— На горячее время — сев, уборка — беру отпуск, в остальное время — по вечерам и выходным.

— Да зачем вам это?

— Для основного бизнеса. Чтобы знать, что нужно фермеру, я не должен отрываться от земли.

В кукурузе мы договорились с ним, что он не откажется принять, если его официально попросят, Никонова, нашего главного по сельскому хозяйству.

— Только не говорите ему этой обычной американской чуши, что главное, что России требуется,— это хорошие инженеры и технологии. Он и без вас убежден, что техника и кадры решают все.

Рабочие смотрели на своего хозяина точно так, как наши — на директора, когда он идет по заводу с обкомовским или министерским начальством.

— Сколько у вас денег — это секрет, Джон?

— Для жены и моего банкира не секрет.

— Рабочие хотели бы это знать? Гадают, небось, и, как водится, преувеличивают и ваши деньги, и свою роль?

— Есть такое,— сказал он.

— Неприятно? Обида иногда накатывает? Хотелось бы, чтобы стены между вами не было?

— Это невозможно. Тогда ничего не будет: у меня не будет бизнеса, у них не будет работы.

Работают, между прочим, все хуже. Лучше стали жить, школа и родители плохо воспитывают. На своих ему вообще-то жаловаться грех, а вот с людьми с восточного побережья он не хотел бы иметь дела: совсем испорченные люди.

Первые десять лет трудно, рассказывал он, было брать деньги в долг. Сейчас ему в банке говорят: что-то мало берете, и не он туда ездит, а к нему оттуда приезжают. Мне было интересно, так ли расчетливо он тратит каждый цент сейчас, как сразу после школы. Что мало долларов, что много,— подход неизменный: чтобы зарабатывать, надо тратить, сказал Кинзи. Риск и тогда, и теперь.

— Уняться, выключиться не хочется?

— Зачем? — ответил мне за него Виктор Федорович по-русски.— Профсоюза у него на заводе нет.

— Когда что-то не ладится, когда все плохо и в поле, и на заводе... ферма почти ничего не дает, кукурузу вон пришлось продавать за копейки, меньше двух долларов за бушель, думаешь: подвернись сейчас покупатель, продал бы все к чертовой матери!

— Продать-то можно?

— Продается все. Кроме репутации, жены и детей.

Уезжая, мы все оглядывались на вышку с насаженной на ее острие телегой.

— Хорошо, что он поезда не выпускает,— сказал Виктор Федорович,— а то и поезд взгромоздил бы под облака.

ФЕРМЕР ТОМ И ЕГО МАДАМ

В воскресенье, в семь утра, прямо к крыльцу подкатывает, пропахав последние метры мелкого гравия, полугрузовой «форд». Из него, сопя, выбирается большой тучный фермер с седым ежиком. Во рту торчит полено сигары. Это Том Кристалл, живущий километрах в семи от дома, в котором мы гостили.

— Хэлло, братцы! Рад опять тебя видеть, Виктор!

С Виктором Федоровичем они встречаются здесь каждый год.

— Хэлло, Том! Как дела?

— Кукуруза медленно сохнет. Удобрения сильно подешевели. Прошу пожаловать сегодня на обед. Моя мадам сейчас поехала кататься на водных лыжах, к двенадцати вернется, я за вами приеду. О'кэй?

— О'кэй, Том, спасибо, будем ждать.

Он плюхнулся на сиденье, «форд» колыхнулся и рванул с места, выстрелив в нас гравийной крошкой.

В час дня мы подкатываем к ферме Тома одновременно: с одной стороны мы

с Томом на его «форде», роющем землю, с другой стороны — на сверкающей «тойоте» мадам. Пока Том выбирается из-за руля, она уже подлетает к нам. На ней джинсы и майка, фигура школьницы. Зовут ее Ангелиной, до выхода на пенсию была учительницей.

В гостиной мадам забралась с ногами на диван и разрешила нам снять пиджаки. Том приготовил всем по стакану джина с тоником и пошел накрывать на стол.

— А мы только что китайца проводили,— сообщила она.— Мао его шесть лет в деревне перевоспитывал, и мы тут — больше года. Мы его в Китае приглядели, когда в отпуск ездили. Был у нас переводчиком. Ну, ты знаешь, Виктор, какая я стерва: только сели все вместе за стол, я начала с Томом ссориться...

— Зачем человек женится? — подает Том голос из столовой.— Чтобы не ссориться с чужими людьми.

— Китаец убежал из-за стола к себе наверх. С лестницы кричит: «Перестаньте ссориться, перестаньте ссориться!»

На обед была индейка. Том четвертовал ее с помощью кухонной электропилы.

За столом присутствовал — незримо — и китаец.

— Полгода его сюда оформляли,— рассказывала Ангелина.— Наша сучья бюрократия уходит кого хочешь. Докажите, что вы берете человека не как дешевую рабочую силу! Идиоты, вы бы видели этого китайца. Какая из него рабсила?

— С людьми здоровался так: «Здравствуйте, сколько вам лет?» — вспоминал Том.— Китайцы затрудняются определять возраст по нашим лицам.

— Я там выступала с лекциями о фермерской жизни. После каждой был обязательный вопрос, сколько мне лет. Тогда я решила прямо с этого начинать. Все равно после лекции спросили!

— У меня не сложилось впечатления, что этот вопрос был ей приятен,— сказал Том, чуть-чуть отодвигаясь от нее.

После обеда он показывает нам свой дом. В кабинете у него есть черная классная доска, на ней супруга оставляет разноцветными мелками свои указания ему. На сей раз их четыре. Где-то он должен за что-то расписаться, куда-то послать машину в среду к девяти тридцати, что-то иметь в виду насчет мотора «доджа». Том смотрит на доску, будто впервые видит этот административно-командный почерк, и чешет в затылке.

В коридоре под лестницей он толкает маленькую дверь в чулан. Там стоит его компьютер.

— Вот где единственное мое место в доме. Отсюда я слежу за тобой, Виктор.

Он включает экран. Бегут зеленые строки. Германия, Япония, ага, вот и Россия. «Продолжается непогода, затрудняет уборку яровой пшеницы в восточных районах. Холодно и влажно на большей части территории страны».

Том откидывается на вертящемся стуле.

— Каждый день провожу здесь полтора часа. Попомни мое слово, Виктор! С насыщением рынка этими штуками в США упадет число женатиков. Понимает с полуслова! Чего не хочешь, чтобы понимал, он и не понимает.— Том оглядывается на дверь.— Посуду не бьет...

Прощаясь, уговариваемся с Томом, что он выберет время и повозит нас по обычным своим делам. Мы хотим провести с ним день неотлучно, нитка за иголкой. Благо в кабине его «форда» можно разместить роту красных кхмеров.

— За день я выпиваю двадцать чашек кофе,— говорит он.— Не выдержите.

— Том! — говорю я.— Я выдерживал целые дни с колхозными бригадирами. А настоящий колхозный бригадир (таких уж нет!) — это, чтобы вы знали, двадцать стаканов самогона в день.

— Это труднее? — с живостью спрашивает Том.

Берет он нас уже на следующий день, выезжаем, надо признаться, не очень рано, около девяти.

Первым делом Том едет на кукурузу, ее как раз начинают косить на силос. Если бы не мы, косил бы он сам, но тогда мы ничего не увидели бы, кроме поля и комбайна. Сегодня там будет его сын, Эрик. Огибая городок, проезжаем мимо школы. Перед нею, как перед вокзалом, множество машин, в основном — большие. Которые поменьше, объясняет Том,— учителей, громадные — учеников.

— Прямо беда с ними. Как шестнадцать лет исполнилось, подавай, отец, машину. Соревнуются, у кого больше. И чтобы музыка в ней гремела. Не допускайте этого у себя. Или я уже опоздал со своим советом?

Картина уборки была знакомая. Был даже полевой стан, как у нас, им служит выморочная фермерская усадьба. Кто-то разорился, съехал, остался дом. Вблизи, в откосе овражка, вырезана щель — это силосная траншея. Картина была знакомая, но сильная. Очень быстро шел комбайн, у нас таких нет — небольшой, двухрядный, в сцепке с лущильником, с хрустом вгрызался в желто-зеленую стену. Толстые высокие стебли, тяжелые спелые початки — все иссекал в крошку. Том дал сыну чек на обед в кафе. Измельченную массу от комбайна отвозил молодой человек в комбинезоне и картузе с длинным козырьком.

— Ты как настоящий фермер,— сказал ему Том.

Молодой человек торговал в городке цветами, не стало спроса — наиялся на уборку к Тому.

В одиннадцать Том заскочил в контору Заготзерно — помещеньице наподобие почты. За барьером сидела перед компьютером женщина. На стене был экран, по нему бежали цифры — что почем в данную минуту на бирже: почем пшеница, кукуруза, почем соя. Том бросил взгляд на эту текучую, манящую и пугающую картину мирового рынка, что-то сказал женщине, та нажала несколько клавиш, черкнула на бумажке и подала ее ему.

— Готово! —сказал Том, засовывая бумажку в нагрудный карман.— Половину своей сои я уже продал. Две тысячи бушелей.

— Но ведь сою вы еще не убирали,— удивился я.

— Соя еще на корню, а я ее уже продал. В данную минуту кто-то продает ее дальше — в Японию, я думаю.

В дверях Том столкнулся со знакомым фермером. Тот входил с кукурузным початком наперевес. Здесь делают анализы зерна.

— Продал сою по четыре семьдесят,— сообщил ему Том.

Наш путь лежит в райцентр. Сколько-то времени стоим у железнодорожного переезда. У меня первый случай в жизни посчитать вагоны американского поезда. Считать вагоны советских в детстве было интересно, специально бегал на чугунку. А сейчас? Оказывается, вагоны американских товарняков не поддаются счету. Составы растягиваются на полторы-две мили.

За переездом в тишине, наступившей после прохода поезда, Том включает радио. Оно у него всегда настроено на одну волну: цены, проценты, ставки. Что может сказать уху советского человека этот стрекот цифр? Их почти не различаешь. Но вот — что за чудо мозг даже советского человека! — на слове «соя» в голове что-то щелкает, и ты вскидываешься. Она все еще стоит сколько и час назад: четыре семьдесят.

В райцентре Том обходит с нами все конторы, с которыми обычно имеет дело.

Это, во-первых, самая важная, с нею фермер связывает многие надежды и ее проклинает, когда они рушатся,— контора министерства сельского хозяйства. Она раздает казенные деньги. Деньги за то, что не будешь сеять,— и даже скот пасти на залежи не моги, чтоб не росло производство мяса, которого некуда девать, деньги за то, что не будешь доить, деньги за то, деньги на се, эти — на таких условиях, те — на таких...

— Черт ногу сломит,— ворчит Том,— я их не читаю, этих условий. Ставлю подпись, где скажут, и забываю, где поставил. Все равно ничего не поймешь и не докажешь, они всегда правы.

Он продолжает воркотню и в кабинете начальника этой конторы. Тот, естественно, не может допустить, чтобы у иностранцев сложилось превратное представление о его ведомстве.

— Программы, конечно, сложные,— говорит он солидно,— но мы нашим фермерам стараемся их объяснить, и они понимают.

В любую контору Том входит уверенно, по тому, как скрипят его сапоги,

всякому должно быть ясно, что у него не меньше двух тысяч акров. В каждом кабинете первым делом направляется в кофейный угол, потом садится с чашкой в самое большое из имеющихся кресел и закидывает ногу на ногу, союзку сапога устраивает на колене, беседу ведет, прихлебывая из чашки и поглаживая голенище. И каждому знакомому, важный то человек или не важный, обязательно скажет, кивнув на нас с Виктором Федоровичем: «А это со мной пара русских». Пусть после этого человек ломает себе голову, что́ означает их появление в этом графстве, какие у Тома с ними дела.

Виктор Федорович уверен, что за сегодняшний день мы сильно поднимем Томов кредит. Америка — страна, где прямой и переносный смысл слова «кредит» очень тесно связан.

В двенадцать часов Том доложил по радио куда следует (домой!), что мы отправляемся обедать в такой-то ресторан на таком-то километре такой-то дороги. Они с Виктором Федоровичем еще продолжают что-то обсуждать, а я отключаюсь. Я предвкушаю овощной стол: как возьму большую тарелку, подойду с нею к этому столу и стану нагружать... Эх, выбрать бы время да перечислить, чем можно нагрузить тарелку и притом за гроши в американской глубинке! Сейчас скажу только: помимо всех известных нам овощей и неизвестных, помимо всяких фасолей, бобов, салатов, соусов, там есть еще очищенные и слегка подсушенные подсолнечные семечки и побеги люцерны, клубки бледно-зеленых свивающихся нитей, полезнейшая вещь, не зря люцерна в переводе с арабского значит «лучший корм». У нас за горстку люцерновых семян хороший председатель колхоза дочку отдает, а тут их хватает не только скоту, но и людям на холодную закуску...

Я уж не говорю о пиве.

Обед заметно меняет отношение Тома к своему министерству сельского хозяйства.

— Самое большое министерство в стране. У него сто двадцать тысяч служащих от моря до моря. Такой огромный аппарат — не пойму, почему он хорошо работает,— рассуждает Том перед десертом.— Прижимают нашего брата стандартами! Все, что попадает людям на стол,— высшего качества. Вот это масло,— он берет десятиграммовый брусочек в цветной обертке,— самое лучшее, какое только бывает, можем быть спокойны.

— А худшее куда девают? — интересуюсь я.

— Куда? На переработку. Никто ничего не выбрасывает, не думайте.

За этим обедом тоже присутствует китаец.

— Всё говорил: у вас слишком много свободы,— посмеивается Том.— Мадам иногда просила его съездить в магазин. Как наши деньги тратит — возвращается быстро, привозит много. Как свои — долго его ист и привезет — того немножко, того немножко.

После такого обеда уважающий себя колхозный бригадир ищет лесополосу, а в той лесополосе — сухую и, однако же, затемненную полянку. Том — нет.

— Это в Европе, Мексике, Китае дневной сон — религия. Они спят, а мы в это время деньги делаем! — смеется он.

Он везет нас на свое пастбище — глянуть, не в соседской ли кукурузе его коровы. Из-за потрвв тут не ругаются — зовут страхового агента. В стаде у Тома 230 коров, полсотни ремонтных телок. Очень интенсивное здесь скотоводство, замечает Виктор Федорович. Среди коров по-хозяйски прохаживался бык, сытый, как кот, если позволительно одно животное сравнивать с другим. Том не признает искусственного осеменения. Глаз быка лучше, чем глаз техника-осеменатора. Того же мнения и серьезные люди в моем селе.

От коров едем к бычкам — четырехмесячные бочонки, в каждом всего понемногу: и Санта-Гертруды, и Симментала, и Абердина с Герефордом. Эту смесь вывел покойный Росуэл Гарст, друг Хрущева, неутомимый был человек, бесценные мозги. До него здешний скотовод ценил «рубашку», то есть чистоту породы, как некоторые наши патриоты, об одном из них знакомый профессор-голландец мне как-то рассказывал ошеломленно: «Приехал, и первое, что спрашивает, есть ли чистые голландцы. Я ему отвечаю: дак, господин такой-то, насколько мне известно, чистых русских тоже на свете нет». Гарст вгляделся однажды в стадо:

«А попробую-ка я взорвать этот расизм! Плевать на «рубашку», были бы привесы!» Высшие привесы оказались у самой пестрой смеси. Это сделало революцию в местном скотоводстве. «По всем статьям преимущество за ублюдками, по всем»,— раскатисто смеялся Том.— И телятся легко, прямо на пастбище, можно особенно не присматривать — как в природе.

В три часа, проезжая Кун-Рэпидс, Том еще раз заскочил в Заготзерно — бросить взгляд на сводку. За четыре часа соя подорожала на пять центов.

— Зачем же вы продали свою до обеда? — сказал я.

— О, этого не угадаешь! Если бы я никогда не проигрывал, у меня уже давно был бы большой-большой дом на Черном море.

По пути домой Том заехал на сыновью ферму. Он собрался забить одну яловую телку (результат того, что наведался сегодня к стаду!), а его домашний морозильник заполнен под завязку. Не найдется ли место у молодых? Невестка подстригала газоновой косилкой лужайку. К большому белому дому от дороги вели два ряда молодых елей. Их морозильник тоже под завязку, сказала она.

Домой мы возвращаемся не поздно, до восьми. На лужайке нас встречает хозяйка. Том непроизвольно вытягивается, вынув сигарету изо рта, докладывает, где мы были, что делали, что узнал. Волновалась биржа, рынок сои очень неустойчивый, Индия стала выбрасывать пальмовое масло, это сбивает цену...

После ужина Том садится в свое кресло со стаканом разбавленного виски. Надавил на рычажок под креслом — приступка поднимается, чтобы наработавшемуся за день человеку не трудиться самому задирать ноги. Мадам пристраивается на полу, на ковре. Том продолжает свой отчет. Решил забить яловую телку, забегал к молодым, дома была одна невестка...

— Я всегда знала, что делают мои сыновья,— говорит Ангелина нам.— Но иногда приходилось делать вид, что не знаю, иначе надо было бы что-то делать, а что?

Раз идет общий разговор, появляется и тень китайца.

— У меня давно была мысль взять детей из Вьетнама или из Африки. Несчастных детей в этом паскудном мире хватает, поверь мис, Виктор, я видела, мы много путешествуем. Люди кругом берут, дай, думаю, и я возьму, свои давно выросли. Джон говорит: мадам, ты сумасшедшая, с твоим характером чужих детей в доме иметь — преступление. Ладно, говорю, тогда возьму взрослого китайца.

Сидим допоздна, рассуждаем, как накормить голодных в этом действительно, видимо, не лучшем из миров, возможно ли это. Американцы все пробовали. И бесплатно раздавали продовольствие, и под разными условиями — трудно идет дело.

— Если вы накормите руританцев...

(Я называю выдуманную нацию, чтобы не обидеть названную Томом — ее черно-красных вождей.)

— ...вы добьетесь только одного: будет больше руританцев.

— А если не накормить, их совсем не будет! — резко замечает мадам, и худая загорелая спина ее выпрямляется.

— Нет, руританцы будут,— отхлебывает Том свой виски.— Но они будут немного тоньше.

— Ты расист! — вскакивает мадам, сжимая кулачки.— Я знаю, почему ты был против детей из Юго-Восточной Азии. Они желтые.

— Позвольте, Ангелинв,— решаюсь я защитить Тома.— Но ведь и китаец был желтый.

— Китайца мы опять пригласим,— говорит она с вызовом Тому.— Слетаем, поглядим, и, если то, что в него здесь было вложено, работает, пусть приезжает.

Том не имеет ничего против, и она усаживается у его ног.

— Всех накормим,— попыхивает сигарой Том.— И вас накормим,— и что нам с Виктором Федоровичем остается, как не опустить головы с признательностью! — и китайцев накормим, и руританцев. Еще и по двести долларов дадим. Только живите вы спокойно!

ДВЕ КОРКИ КАРАВАЯ

Двое суток, а кажется, долго-долго жили мы с Виктором Федоровичем одни в американской глубинке — в старом фермерском доме посреди айовской степи. Кругом были посевы кукурузы и сои, за домом зеленело пастбище с ветряком, качавшим воду для скота, перед домом, через дорогу, стояла соседская ферма. Оттуда днем и ночью слышалось тысячеголосое хрюканье свиней и перезвон кормушек, а при дуновении ветра с той стороны доносился и запашок.

Привез нас сюда Джон Кристалл. Джон родился в этом доме, стал его владельцем после смерти отца, провел в нем молодость, разбогател. Сейчас деньги требуют его присутствия в столице штата, но дом в порядке, всегда готов принять хозяина и его гостей.

Про нашего соседа нам несколько человек говорили, что он хороший фермер, но странный человек. Если судить по его посевам, двух мнений быть не может: землю понимает, работать любит. В то же время живет с семьей почти натуральным хозяйством: держат большой огород, едят собственную свинину, это верный признак бедности, зарежут пару свиней — их у него около тысячи — и везут за две с половиной мили в городок мяснику, тот делает им колбасы и окорока.

Мы решили разгадать эту загадку и напросились, через третьих лиц, к нему на экскурсию. Нам было назначено на семь тридцать утра. Возле дома, очень большого, самой простой постройки: двухэтажный куб с крылечком — нас встретила собака, не умеющая лаять. В Америке трудно со злыми собаками. Кому нужна злая, должен потратить время на поиски. Вышедшая к нам хозяйка сказала, что Дэвид, хозяин, пьет кофе, просит подождать. Через четверть часа он вышел. Высокий, худой сорокалетний человек с черной шкиперской бородкой, на поясе, в кобуре, как пистолет,— гаечный ключ. Показывая хозяйство, был немногословен и как-то застарело невесел. Земли у него 120 акров плюс 30 — пастбища, свиней продает шестимесячными, живой вес — центнер, так что быть бы ему у нас героем соцтруда. Держит десяток мясных коров, два десятка овец, утки живут сами по себе — это не считается, это — чтобы было весело во дворе. Напряженно следил за нашим настроением. Мы похвалили свиноматок (и было за что: как откормленные коровы!) — он тут же выпустил их из загона на площадку, чтобы могли лучше рассмотреть. Они не дают ему спать спокойно, зато получает он от каждой больше двадцати поросят в год. Да, быть бы ему у нас Героем!..

— Нам говорили, что вы хороший фермер,— сказал я.

Он ничего не ответил, но через несколько минут улыбнулся:

— Жена вам неправду сказала. Я не пил кофе. Проспал.

В его необъятном железном сарае я с азартом считал, сколько чего из механизации у этого бедняка. Четыре трактора, комбайн, сеялка, три тракторные телеги, большой грузовик, длинный открытый фургон для перевозки свиней и так далее...

— Это все мусор,— сказал Дэвид с сильнейшей досадой.

Два из его тракторов, оказывается, еще отцовские, один пятьдесят первого, другой пятьдесят третьего года выпуска.

Кое-что мы поняли. От своей земли и скота он берет все, что можно взять, но концы сводит с величайшим трудом. Хозяйство слишком маленькое по нынешним временам. Чтобы выстоять в конкуренции и более-менее свободно себя чувствовать, не резать себе в пищу собственных свиней, а хоть раз в неделю баловаться настоящим бифштексом от мясника, надо прикупить земли и машин. Но почему он не берет кредит на расширение, не поняли.

Потом нас стал возить по району один страшный человек — молодой служащий местного фермерского банка Эд. Страшный потому, что всё про всех знает. Любой наш районный чекист, нередко тайный пьяница и всегда явный лодырь, что, по-моему, не так уж плохо, ему и в подметки не годится. Эд сидит в отличие от чекиста на реальном деле — на кредитах. Чтобы знать, кому дать, кому не давать, надо знать, кто будет в состоянии вернуть. Не вернет — стреляться придется вместе с ним. А может и так случиться, что он сначала застрелит тебя, потом себя. Было тут такое несколько лет назад.

Вообще по внешнему виду гибнущее хозяйство трудно отличить от процветающего. Такая же кукуруза и соя в поле — ни былинки бурьяна, так же важно высятся зерновые башни возле дома, так же подстрижена лужайка, выбрит хозяин и причесана хозяйка, иногда тем тщательнее, чем хуже дела.

Эд судит по банковским счетам своих клиентов, но этого источника бывает недостаточно.

Что же еще надо знать?

Отправляясь с ним на одну ферму, мы условились, что он ничего о ней не будет рассказывать. Сами все посмотрим и скажем ему свое заключение. Ферму эту, естественно, выбрал для нашего опыта он. Ничто не настораживало нас! Хозяин с хозяйкой выглядели здоровыми, уверенными и рассудительными, при них три взрослых сына, два женатых, кровь с молоком — невестки, во дворе полно детей, в машинном сарае — неизношенной техники... Да, сказал нам Эд, у него тоже нет оснований отказывать им в новых кредитах, а вот тянет, берет грех на душу, боится, что эта ферма может скоро рухнуть. Мы даже не стали гадать, из-за чего это может случиться,— бесполезно. Там, оказывается, идет страшная война: покупать ли новую машинешку для стрижки лужаек. Копеечный расход, а семейство разделилось на две партии, до драки доходит.

— Сумасшедшие? — сказал я.

— Ну, если считать сумасшествием борьбу за власть...

Рассказывая о своих клиентах, Эд часто улыбается в рыжую бородку — то печально, когда говорит о нелепых и невезучих, то беззлобно-насмешливо, когда о легкомысленных или самоуверенных.

Один молодой фермер арендовал тысячу акров земли, чистого дохода брал сорок тысяч в год, было у него и маленькое дельце с компьютерами. Одна беда: ферма его стояла страшно далеко от города, в двух с половиной милях. В том городе полторы тысячи домов, из них треть пустые, но жена фермера вскоре после рождения ребенка стала требовать: давай переедем к людям, надоело в глуши. Сначала заводила эту песню раз в неделю, потом три раза на дню. Он сказал: «Послушай, девушка! В день, когда ты скажешь это десять раз, я напьюсь». Долго ждать этого дня ему не пришлось. В ответ он не только напился, но и сел за руль. Это обошлось ему в семь тысяч долларов. Ремонт пикапа и ребер, уплата штрафа... Зато мечта жены сбылась. Теперь они живут в городе. Она устроилась затейником в богадельню, шесть двадцать в час. Где-то служит и он — за 25 тысяч в год.

Фермы своих клиентов Эд показывал нам так, чтобы отрадные и тяжелые впечатления чередовались. У каравая две корки, светлая и темная...

После фермы, которую вот-вот взорвет борьба за власть, мы едем в колхоз братьев Брайенов. Тридцать лет назад они объединили свои хозяйства, с тех пор все расходы и доходы делят пополам, и никто не слышал, чтобы они сва́рились.

Братья принимают нас на веранде дома, в котором живет со своей семьей младший, Джон, ему пятьдесят четыре года. Старший тоже семейный, живет в таком же доме через дорогу, ему семьдесят лет. Оба рослые широкоплечие ирландцы. Дом у Джона двухэтажный, старый — обыкновенный фермерский дом, в нем шесть или семь комнат, просторные полуподвальные помещения, а веранда по-старинному крошечная. Почти половину ее занимает новый, по-американски необъятный холодильник. Перед домом широкая лужайка, на ней три высоких клена, их кроны накрывают ее всю. Недавно был сильный град, после него под этими кронами насчитали сто сорок побитых воробьев. За домом, на кратчайшем, понятно, расстоянии — свинарник на две тысячи голов, вонь стоит такая, что нам с Виктором Федоровичем приходится делать героические усилия,

чтобы не зажимать с непривычки носы. У братьев двести гектаров земли, сеют кукурузу, сою и люцерну. Вся земля дренирована, то есть покрыта сетью труб и канав для отвода воды. Дренажная система, устроенная их отцом, прослужила 60 лет, недавно они ее обновили, выложив больше сорока тысяч долларов.

Поговорив о погоде, старший, Билл, извиняется и уходит. Ему надо собираться в дорогу. Он уезжает в Канаду на рыбалку, это 650 миль отсюда, проведет там 8 дней. Их одиннадцать человек, постоянная компания, ездят ежегодно. Среди них есть старик, для которого это будет 62-я рыбалка. Есть и джентльмен, который, как выяснили они случайно, сорок раз там побывав, не знал ни как называется озеро, ни как городок вблизи того озера. Билл уходит, и все, кто остается на веранде,— Эд, мы с Виктором Федоровичем, наша Лиза-миллионерша, замолкаем и провожаем его глазами; так значительна и красива фигура чуть замедленно, но все еще широко шагающего старика на зеленой траве под кленами.

Голосуют братья всегда за демократов. Долгов у них нет. Мы спросили оставшегося младшего, не обидно ли им, что не так уж много нажили, несмотря на усердную и дружную работу.

— Нет,— сказал он.— Богатство — такое дело. Сегодня ты богач, а завтра нищий. Богачи быстро разоряются, я много таких видел.

Как ни крепились мы с Виктором Федоровичем, а все-таки нет-нет да и опустишь голову — украдкой поморщиться от запаха двух тысяч свиней. А вот Лиза-миллионерша — что значит фермерское дитя! — хоть бы что. Угнездилась, загорелая, в большом старом кресле Брайенов, полчасика сладко поспала... Проснулась, подтянулась — на лице опять улыбка, опять готова девка к жизни, к борьбе, чтобы не лишиться своих миллионов.

Мы с Виктором Федоровичем все время с большим удовольствием говорили о фермерских домах, которые встречаются нам в нашем путешествии, то и дело дергаем друг друга за рукав: смотрите, какой дом! А вон, а вон... Я никак не привыкну, что вокруг них нет заборов, это так занятно и чуждо: бескрайняя степь, а в ней ничем не огороженное гнездо человека, и такое могучее, так влечет к себе! Непривычность вот в чем: все вокруг вроде деревенское — посевы, скот, а житель, хозяин всего этого — не деревенский, и все у него городское — постройки, машины, дороги.

— Вам, наверное, странно, что мы о домах ваших людей говорим не меньше, чем о самих людях? — спрашиваю я Эда.— У наших нет таких. Похожие можно встретить в нескольких местах; например, в районе Гагр и Пицунды, если представляете, где это.

Эд отвечает, что ничего странного в нашем поведении не видит. Это очень американское удовольствие — говорить о доме. В культуре фермера дом занимает важнейшее место, это старший член рода, он связывает поколения — и Эд везет нас на ферму Коултера, которой сто двенадцать лет, где мы должны убедиться в справедливости его слов.

Джеймс Коултер был врачом, которому однажды надоело, живя в городе, покупать цыплят и картошку к своему столу. Он отправился на айовскую целину, где основал ферму и построил дом. «Джеймс и Мария Коултеры были необыкновенные люди — люди замечательной подвижности и энергии, люди, которые планировали свою жизнь и выполняли свои замыслы». Так написано в книге, которую выпустила в двухстах экземплярах их праправнучка Катерина Хэмингуэй к столетию фермы. Книга называется «Дом у Старомостной дороги». Катерина называет его не иначе как с прибавлением слова «благородный» — такой он и есть. Белый, в два этажа, с высокой крышей, окна во всю высоту стен, шесть балконов, обнесен галереей с изящными колоннами, в нем шесть спален. По нашим понятиям, это небольшой роскошный санаторий для начальства в бывшей княжеской усадьбе где-нибудь на юге.

О благородном доме его обитатели действительно говорят, как о живом существе, о нем и в книге написано больше, чем о поколениях домочадцев. «Вот мои самые ранние воспоминания о нашем доме,— пишет один из немолодых уже

потомков Джеймса.— На кухне мама разжигает печь кукурузными кочерыжками... Из окна вижу отца, который идет через заснеженный двор к двери в подвал... Ладп, мой пес, ждет у крыльца, когда школьный автобус привезет меня и брата после занятий...»

Катерине пятьдесят лет, это шумная краснощекая янки в белом широком платье. В две минуты она умудряется сообщить нам столько, что не хватит часа все пересказать, в том числе — что страшно любит борщ, специально позаботилась, чтобы в огороде у нее был полный набор всего, что нужно для борща и еще для винегрета, это с ума сойти — сколько всего нужно: и красная свекла, и лук репчатый, и капуста, и морковь, а борщ она любит потому, что обожает свою невестку, которая и принесла в их семью культуру борща, она, оназывается, русская — еврейка из Москвы, училась здесь в университете, там ее и углядел сын Катерины, они теперь в Эквадоре.

— Тяжело хозяйствовать, Катерина? Долги есть?

— Есть, конечно!

— Выдерживаете пока?

— Ничего. Жизнь на ферме — это как мытье посуды.

— Такое же неприятное дело?

— Такое же бесконечное. Вот кукурузу начали убирать...

В доме они стараются ничего не менять без крайней нужды. До сих пор сохраняется первоначальная система отопления: кочегарка в подвале, тепло идет снизу через особые отверстия в полу, закрытые решетками.

В гостиной мы постояли возле большого шкафа, набитого крошечными керамическими масками бесчисленных героев Диккенса — коллекция матери Катерины, она была учительницей английской литературы. Мистер Пиквик наблюдал за нами с важным любопытством...

На конец нашего галопа по айовским фермам Эд оставляет самую темную корку каравая. Он везет нас на ферму, которая накануне краха. Хозяева не то что не знают этого, а боятся думать об этом. Нам не по себе: едем смотреть чью-то гибель, да еще в сопровождении палача. Именно палача — не прокурора, не судьи. Он добрый человек, наш Эд, но в нем сильна научная жилка, он не пропагандист, а специалист, и как таковой считает себя обязанным показать нам все стороны известной ему действительности.

Хозяину этой фермы, предваряет Эд, 52 года, уже перенес два инфаркта. У него жена и два женатых сына, поденщиков не нанимают. Хозяйство большое и сложное, приперто к стене долгами. Без этих сведений не только мы — никто, никакой американец, не догадался бы, повторяю, об истинном положении вещей, увидев то, что увидели мы.

Уже то, как была расположена ферма, захватывало дух. От районной дороги по пологому скату зеленой ложбины к ней вел строй дубов. Строй расступается, и перед вами в низине — белая сказка дома. За ним — две высочайшие фиолетовые башни, одна для зерна, другая для сенажа, на обеих, во всю полуокружность, нарисовано по звездно-полосатому флагу. Третий флаг развевался перед домом. Возле башен стояли четыре грузовика, похожий на «кировца» трактор. Паслись три лошади, носился жеребенок. За машинным сараем виднелся угол свинарника, на сколько тысяч голов — не помню, но никак не на одну... Нигде никакого хлама, все сверкает, блестит, в каждой выпуклости отражается солнце.

На стуле у порога дремал хозяин. Горячая слабая рука, тяжелые мешки под глазами. На нем были джинсы, даже запачканы в песке, свежее пятно машинного масла темнело на колене — что-то пытается работать, но видно было: не работник и не жилец. Поехал с нами смотреть кукурузу. Показывал его сын, крупный человек тридцати лет, не спавший ночь. В десять вечера вернулся с поля, а к семи утра должен был везти партию свиней на мясокомбинат Хаммера — к семи и ни минутой позже, выезжать следует с запасом. Кукуруза была — лес, початки неподъемные, с крепкими зубьями, сидящими плотно — не расшатать, жесткая блестящая кожица. С часу на час начинать уборку. Заго-

ворил об этом сын, и мы невольно поглядели, тут же и отведя глаза, на отца — он стоял с тихой, виноватой улыбкой.

А хозяйка — с нею разговор был по возвращении на усадьбу — полна сил, собранна, тщательно причесана, приветливый, но твердый взгляд. Сегодня ночью, сообщает нам, у них родилась внучка, пятая. А у меня в голове: пятый ребенок в доме, из которого скоро придется уйти — куда? Как это будет? Уже год, с тех пор как все стало ясно с мужем, она, кроме фермы, работает в ближнем городке в школьном кафетерии, пять семьдесят в час и страховка... Разговаривали мы в гостиной, под потолком вращался бесшумный вентилятор размером с пропеллер самолета. На стол была поставлена ваза с виноградом — к нему тут же кинулись дети. Вся ее жизнь прошла на ферме, из пятидесяти штатов видела два. Говорила об ущербности правительственной сельскохозяйственной политики, о том, что они, фермеры, не могут влиять на вопросы экспорта-импорта, надо что-то делать, чтобы Япония больше покупала американского мяса.

Когда мы ехали назад, я спросил Эда, что тут с чем все-таки связано. Крах надвинулся из-за двух ранних инфарктов или два ранних инфаркта случились из-за надвигающегося краха?

— Во всяком случае, его болезнь не могла бы быть такой разорительной,— сказал Эд.— Он получает страховку, в поле его можно заменить поденщиком. Но в свое время он нерасчетливо набрал кредитов.

А жена куда смотрела — такая сильная, здравая?

— Чересчур щепетильная оказалась. Может быть, она и видела, что муж зарывается, но уважала его желание подняться в ее глазах. Тут много психологии. Чувствуя свое превосходство, щадила его — и вовремя не отстранила...

— Жалко вам гибнущих, Эд?

— Жалко.

— Спасти или помочь можете хоть иногда?

— Деньгами — нет, деньги не мои. Только советом. Ходил ко мне один свиновод. Ничего у него не получается. Я присмотрелся к его хозяйству и однажды говорю: «Деньги тебя не спасут. Ты не любишь свиней. Брось это дело, займись чем-нибудь другим».

Эд помог нам решить загадку нашего соседа Дэвида. С Дэвидом живет его отец, выходец из Баварии, а баварцы — это крестьяне до мозга костей во всех смыслах — и лучшем, и худшем. Первобытная любовь к земле и упертая приверженность к старому. А этого человека всю жизнь преследовал панический страх. Боялся разориться. Он не дает сыну залезать в долги. И сын слушается, чтобы не убить беднягу. А что чувствует в глубине души, никто не знает.

— Иногда я ненавижу этого старого баварца,— говорил добрый Эд.— Так жалко мне Дэвида. Заедает чужой век, убивает замечательный фермерский талант.

Из всех неудачников мы тоже особенно жалели Дэвида, много о нем говорили, так что Эд в конце концов начал нас успокаивать: умрет отец — все переменится.

— Да ведь сорок лет уже парню, сорок лет!

— Что ж поделаешь. Годы, принесенные в жертву ближнему, можно ли считать потерянными?

Эд — католик. Католик с чувством юмора, которое, по его словам, ежедневно подвергается серьезным испытаниям.

РАДИАЦИОННАЯ РАЗВЕДКА

Я смотрю свою записную книжку и поражаюсь собственным словам в ней: «Проехали умерший город — пронизали его». Все. Может, и не надо ничего добавлять? Американец, знаю, скажет: конечно, не надо — что тут добавлять? Ему

все ясно, все видно, даже то, как мы ехали по этому городу. Пронизали — значит неслись сломя голову, словно от чумы. Из одной этой строки американец поймет и отношение автора к виду покинутого людьми города. Сентиментальное отношение, скажет он, особенно если это молодой фермер, а именно к такому мы и ехали через этот город.

Да, верно, если бы пустой город не вызвал у меня жалости, я, наверное, не назвал бы его умершим, а как-нибудь иначе — безлюдным, необитаемым. Необитаемый — это слово скорее всего и было бы в отчете какой-нибудь научной экспедиции или в донесении группы радиационной разведки, пронизавшей данный населенный пункт вскоре после взрыва над ним нейтронной бомбы. Я так и вижу офицера в скафандре, оглушенного реом гейгеровского счетчика: «Полный вперед, сержант! Не сбавлять на поворотах!»

А нашему человеку одной строчки мало. Этот город — не из его жизни. Он настоящий, хоть и маленький, где-то тысяча домов, в основном односемейных, двухэтажные, с целыми стеклами окон, с гаражами, в нем исправные чистые тротуары, у которых кое-где приткнуты легковые машины, не запыленные, с ключами зажигания в замках и не совсем, наверное, пустыми баками, садись в любую и езжай, никто не будет тебя преследовать...

Вертя головами, мы увидели две церкви и две богадельни, большую, из красного кирпича, трехэтажную школу — к ней был пристроен спортзал с плавательным бассейном, а перед ее входом, на вечном железном шесте развевалось широчайшее полотнище невыцветающего звездно-полосатого флага. Над городом нависал тяжкой белой массой гигантский — и тоже пустой, но без каких-либо следов запустения — элеватор, от него уходило в степь полотно железной дороги.

Был девятый час вечера, теплый был вечер, стоит ли повторять, что — тихий, как после бомбежки?

Не стало людям работы — они и ушли, как звери из леса, где не стало корма, как рыба из обмелевшей реки. А делать городу стало нечего потому, что не стало людей вокруг города, заказчиков-фермеров. Поразорялись. Один прибрал землю другого, потом третий прибрал эту сдвоенную землю, потом четвертый — строенную... Все в порядке только с землей, она какой была, такой и осталась: где положено, засеяна, где не положено, не засеяна, это залежь, на которой запрещена пастьба — мяса и молока и так некуда девать, я не могу забыть этого ни на минуту, а вместе с этим и о тайной цели нашего пребывания здесь: никем не посланные, мы хотим как-то повлиять — Виктор Федорович хочет, а я при сем — на предстоящий визит Никонова в Америку... (Никонов — для тех, кто уже забыл этого товарища — был членом горбачевского Политбюро по сельскому хозяйству, так недолго был, что, употребляя его слово, навроде его и не было; но мы этого еще не знаем, мы стараемся, потому что, какой бы он ни был, этот Никонов, а другого у нас в ближайшие годы не будет, говорит Виктор Федорович, и ошибается, очень скоро Бог дает нам другого агрария... «Ну, как он?» — спросил я Виктора Федоровича перед Новым 1990 годом. «Навроде не лучше»,— вздохнул он.)

С землей все в порядке — с людьми не так, у человека есть сердце — оно может рваться в клочья, есть голова, к которой можно поднести пистолет. Виктор Федорович два года назад был в этом городе в час его агонии и видел людей, от которых этого можно было ждать. Обычное место, где их можно встретить,— банк, я тоже в этом убедился, единственное учреждение, где попадаются люди с нашими лицами, с советскими — замученными, хотя и не такими злыми. Злее наших лиц, злее своего лица я еще на Западе не видел. Глянешь иногда на себя в зеркало в гостинице — нет, других таких замученных и злых нет. В банке люди ждут своей участи — правда, не стоят, дыша друг другу в затылки, сидят, как в поликлинике, на табуретках вдоль стены, но те же взгляды.

Пронизав этот городок (по мнению многих бывших его обитателей, не заслуживающий, чтобы на него тратить столько слов, да-да, в нем еще не треснула ни одна зеркальная витрина, а он уже вычеркнут из памяти многих; в чело-

века не влезешь, но если учесть, что американцы вообще не сидят на месте, ежегодно жительство меняет каждый четвертый, то можно и поверить) — пронизав этот городок, мы через несколько минут оказываемся на ферме, которую я называю молодежной, вспоминая, честно говоря с отвращением, свою газетную юность с ее статейками о молодежных фермах да бригадах. Хозяин этой фермы недавно женился, а я еще в Москве запланировал вопрос, как у них это делается, какие, например, бывают свадьбы. Этот пункт моей программы назывался «Гименей». Хозяин фермы точен, как большой бизнесмен: мы подкатываем к крыльцу его дома, а он подходит от свинарника, от своей тысячи свиней, и его спецовка, должен вам сказать, источает... а в общем, тут все пронизано этим — американским! — запахом. Зовут хозяина Билл. Он оставляет нас на веранде и уходит переодеваться. Веранда маленькая, это как во всех фермерских домах старой постройки. Просторная веранда вообще, видимо, затея барская, плантаторская. Барам требовалось много места для долгих вечерних чаепитий с гостями, а для фермерской семьи, весь световой день проводящей в поле и на скотном дворе, это было без надобности.

Возвращается Билл быстро, на нем джинсы и ковбойка. Он большой, рыжий, я бы сказал, степенный, если бы это был не американец, американец все-таки не степенный, а уверенный в себе. Степенность не подразумевает быстроты, а если американец не будет быстрым, то его вообще не будет.

Биллу 27 лет, он окончил колледж, этим летом женился на дочке фермера, она будет вести дом и хозяйственные книги. Дом они снимают у его отца, платят 275 долларов в месяц. Оба католики, венчались, в костеле было около четырехсот гостей, одних родственников 160. Для свадебного угощения было снято особое помещение, обед был подан на 350 персон, из напитков были только пиво и пепси, ничего крепкого не подавали, потому что это дорого и трудоемко — приготовлять виски с содовой для такой массы людей. Многое для стола делали сами, сэкономили и на том, что не нанимали официантов, свадьба была на самообслуживании. Правда, барана на жаркое покупали, хотя у Биллова тестя свои овцы. Черный фрак для Билла был взят напрокат, купить сразу на него в магазине трудно, надо заказывать,— такой он крупный парень.

В костел молодые ходят каждое воскресенье.

— Религия в нашей повседневной жизни очень важна,— говорит Билл.

Всему, что приходится каждый день делать руками в поле и на свинарнике, он научился с детства от отца, остальному — финансам, агрономии-зоотехнии — в колледже. Колледж — это хорошо, но знания быстро стареют, надо все время обновлять, каждые две недели он звонит начальнику районной службы агроинформации, бывает на выставках. Мне было интересно, что Билл знает помимо своего дела. Тысячу раз извинившись (войдите в положение — профессия), задал свой первый вопрос: что он знает о второй мировой войне.

— О'кэй,— сказал Билл и оглянулся на дверь. В двери стояла его толстенькая супруга с подносом. На подносе, как обычно, чай со льдом.

— О' кэй,— сказала и она. Если угодно, они могут рассказать нам кучу полезных вещей, в том числе и о жизни в наших колхозах, где они, правда, не были, но надеются побывать.

Билл сжато, четко рассказал о войне и о Сталине, потом вдвоем они принялись за колхозы. Там мало платят (с этого начали), все делается по команде властей, там плохая техника и людям на нее наплевать, поэтому она постоянно ломается, хуже всего, что люди не переживают потерь и не стремятся к прибыли.

— Возьмите меня,— говорила толстенькая.— Я знаю: если сдохнет поросенок, это доллары из моего кармана.

Я спросила Билла, как он провел вчерашний день. Встал в шесть утра, до семи вечера работал, потом поехал на собрание свиноводов, обсуждали предстоящую выставку, это до десяти вечера. После собрания заехал в бар выпить пива. Супруга при этом чуть-чуть поджала губы.

— По моему мнению, ваши люди могут быть неплохими фермерами,— сказал он.

Мы ответили, что многие у нас в этом сильно сомневаются.

— Сомневаться могут две категории,— сказал Билл.— Бюрократия и часть интеллигенции. Эти и у нас стремятся деморализовать общество. Ты помнишь,— обратился он к жене,— мы читали про маленькие участки земли советских сельских жителей? Статистика показывает очень высокую производительность. Следовательно, у людей имеется культура.

— Есть же народы, которые и в колхозы не загнаны, а у них все равно ничего не растет,— сказала она.

— Согласно имеющейся у нас статистике, у русских на участках, не контролируемых властями, растет все. Я не знаю, как у народов Средней Азии,— сказал Билл.

У наших земледельческих народов, сообщили мы им, у всех все хорошо растет, да и как не будет расти, к примеру, у таджиков, если их земля — самый древний очаг земледелия на планете! Хозяйка сбегала в дом за тетрадью, в которую быстро вписала это новое для них сведение.

...Что сказать о молодых фермерах в целом, если набраться такой смелости, видев из них не больше пятнадцати? Так уж человек устроен: ему обязательно надо обобщать...

Если говорить не по порядку, а сразу то, что больше всего хочется сказать,— они до мозга костей преданы системе частного хозяйства. То, что наши люди преданы не так, американцы считают чем-то вроде болезни. Один молодой кукурузовод, когда зашло об этом, сказал:

— Я вам сейчас специально покажу, что такое частные деловые отношения.

Он привез нас на убранное поле. Сто гектаров, к середине чуть заметное понижение. Вот там, объяснил он, стала в последние годы задерживаться вода. Пришлось нанять мелиоратора, вот он перед нами. Перед нами с грохотом полз, оставляя за собой ров, большой трактор. В ров ложилась черная гофрированная кишка. В отдалении стояло лазерное устройство. По его лучу выдерживаются наклон и глубина канавы. С трактора к нам спрыгнул крупный человек с лицом киношного разбойника, подал два пальца правой руки,— все, что у него было, остальные три потерял на прежней работе. Он был автогонщиком. Выйдя из больницы, купил вот этот трактор и вон тот небольшой, что заравнивает ров, и вон тот грузовик с платформой, взял в компанию сына, дал объявление в газете.

— Я ему позвонил,— рассказывал фермер,— он приехал. Полтора дня мы с ним ползали по этому полю, искали без карты старую дренажную сеть, делалась 50 лет назад, карты не осталось.

Я решил свалять дурака.

— У вас есть министерство мелиорации?

— Чего? — прохрипел гонщик.

— А ПМК номер надцатый? А РАПО? А ГИПРОВОДХОЗ? — включился в допрос Виктор Федорович.

Этот же фермер обратил наше внимание на будку у себя во дворе, вроде курятника. Это оказалась его временная компьютерная. Перед экраном сидела девушка лет двадцати, с распущенными рыжими волосами и в купальном костюме, если эти ленточки можно так назвать.

— Моя сестра, разбирается здесь с моими счетами,— представил ее фермер.

Жены его мы не видели, отвез рожать.

С гордостью сообщил, что программу для компьютера составил сам, заложил туда всю племенную книгу на своих коров. Компьютеров у него два, с одним ведет хозяйство — именно так: с ним — хозяйство, это уже как член семьи, другой подключен к общегосударственной информационной системе. Сестра сегодня допрашивала эту систему, что делать с каким-то жучком, которого обнаружила на капусте. Она студентка, уже четыре года учится журналистике, сейчас у нее каникулы. Я стал ее спрашивать о хозяйстве брата и был потрясен:

ни черта не знает! Ни сколько земли, ни сколько скота, знает только, что у него две собаки и нет долгов. И никакого смущения.

— Ну, вы даете, коллега,— сказал я.

— Ничего,— сказал брат.— Она знает главное: как узнавать. Это будет ее профессия.

Тогда я спросил ее, чему она научилась за четыре года.

— Хорошо,— сказала она.— Кроме программы, я брала летние курсы по следующим специальностям. Авторское право и законодательство о печати. По микроэкономике. По экономике спроса и предложения. Много курсов по разным видам бизнеса: общественное питание, верхняя одежда...

Потом она спросила меня, что мне бросилось в глаза у них в Штатах.

В США особенно заметно, сказал я, что человек не отдаляется от техники, а приближается к ней. Связи между человеком и машиной становятся все короче, живее, а значит, как и должно быть у человека, и нелепее. В этих ящиках видят уже душу живу, а помещают их во всякие закутки и каморки. Так когда-то челядь, белая — у нас, черная — у американцев обреталась на сундуках в сенях.

— С вашего позволения,— сказала голая девушка,— я использую ваше наблюдение в своей статье о вашем визите к нам.

Только тут я заметил включенный магнитофончик рядом с компьютером.

К зерноскладу колхозных размеров, скрипя и взревывая, пристраивался грузовик с кукурузой, махина тонн на двадцать.

Меня такие картины временами подавляли, хотя сколько их видел в колхозах — и громадных складов, и таких махин, даже и компьютеры встречал у знатных председателей в кабинетах, конечно, бездействующие, купленные для форсу, но там смотришь и помнишь, что за этим стоит масса людей, государство, начальство... А здесь видишь все такое же громадное, но людей за ним — раз-два и обчелся. Вон по двору прошел какой-то человек с бруском рации в кармане джинсов...

В Кун-Рэпидсе, в зальце Сельхозхимии у нас была встреча с группой молодых фермеров. Все крупные холеные шотландцы, в джинсах и кожаных сапогах — кожа в палец толщиной. Представлялся каждый так: имя, возраст, что за хозяйство, образование — у большинства высшее. Все, естественно, женаты. Разговор о женщине на ферме — особый. Жены тоже с образованием, не хотят быть только домохозяйками, крестьянские отношения в этих семьях невозможны, мужчины принимают это как должное. Присутствие женщины на ферме очень важно. Мужчина вынужден как следует следить за техникой. Установлено: когда ломается трактор, у женщины сильнее портится настроение, а это мешает сексу. Отвечая на вопрос (каюсь, задавал) о ценностях жизни, на первое место ставят здоровье, на второе семью, на третье — бизнес.

Очень хладнокровно говорили о тех, кто разоряется.

В Де-Мойне мы побывали в одной крошечной общественной организации, цель которой — защита семейной фермы как высшей национальной ценности. У них несколько комнат с телефонами и компьютерами, залец для заседаний, контора как контора. Начальник — молодой католический поп, их содержит католическая церковь. Поп страшно речистый, они все страшно речистые. Из вежливости я сказал что-то насчет конкуренции — не совсем отрицательное. Боже, как они были счастливы, как взвились! «Конкуренция — зло. Человеку должно быть хорошо!» А в общем, добрые жизнерадостные ребята, устроили горячую линию связи, любой терпящий бедствие фермер может им позвонить — утешат, что-то посоветуют, иногда и денег дадут, бывает так, говорят, что человеку и пообедать не на что. Засыпают своими проектами конгресс, газеты, прохожих — листовками. «Конкуренция — зло, человеку должно быть хорошо!»

В разговоре с молодыми фермерами мы спросили, как они относятся к этим защитникам обездоленных. Все почему-то рассмеялись нехорошим смехом: «Радикалы». Радикал — значит, маньяк.

— Конкуренция — зло! — выкрикнул один голосом того попа и продолжил своим: — Вы знаете лучший способ отбора эффективных решений? Он проверен?

Спокойно рассказывали, отчего и как погибают фермеры. Недостаток образования. Усталость. Невезение. Слепая жадность. Нахватало дурачье в долг, когда давали, потом спрос упал, а рассчитываться надо. Никаких жалоб на жизнь, на правительство. От фермеров средних лет и пожилых только это и слышишь, от молодых с высшим образованием — нет. От них другое. Люди разоряются потому, что кто-то должен разоряться. Можно сделать, чтобы никто не разорялся, устроить социализм, но тогда их Америку кто-то должен будет кормить, а кто? Не Советский же Союз. И в один голос: они сами выбрали свою судьбу, каждый из них — человек, принимающий решения. Рабочий может получать больше босса, но рабочий не принимает решений.

Говорили мы с ними и о брошенных фермерских городках — как нам жалко было на них смотреть.

— Эмоции,— пожал один плечами.

Искусственно, что ли, поддерживать там жизнь? Но зачем Америке человек, выросший под тепличным колпаком? Второе — чисто практическое — соображение. Да, эти города, элеваторы при них, дороги вокруг — это все сейчас пустое. Но это все не лишнее. Это избыточная инфраструктура, которой нет только в социализме, но там и хлеба нет. Избыточные мощности всего, всюду и везде. Поднялся спрос на зерно, на мясо — и мы тут как тут, те 35 процентов земли, которые сейчас отдыхают, нагружаем пшеницей, кукурузой, люд возвращается в этот город, на эти дороги, зашумит элеватор, застучат товарняки. Кончится подъем — и нас опять как корова языком слизала.

Глядя на них, здоровых, спокойных, все-таки трудно было совсем не помнить о тех, кто, может быть, в эту самую минуту подносит пистолет к виску.

— Пройдут годы, и кто-то из вас, любящих принимать решения, тоже поднесет? Не исключено? — сказал я, зараженный их хладнокровием.

— Все может быть,— ответили они.— Только нас же никто не заставлял делаться фермерами.

— Вам не хочется изменить этот мир, ребята?

— А зачем? Он сам меняется. Человек должен только поспевать за переменами.

Почти до утра мы размышляем с Виктором Федоровичем, стараться ли насчет того, чтобы нашего первого агрария провезли через необитаемый город или не стараться. То согласимся, что надо,— пусть увидит, что значит избыточная инфраструктура, специалист ведь настоящий, лучший в стране. То решим: не надо. Увидит, что значит капитализм, будет пугать коллег рассказами: был, своими глазами видел. Он ведь и коммунист настоящий.

ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В АЙОВЕ

Целый день мы провели с одной пожилой парой, Вирджинией и Биллом, в их фермерском доме близ Кун-Рэпидса. В этом доме прошло детство Вирджинии. Живут они в городе, а тут их земля, сдают в аренду. Они везли нас показывать нам свою землю, но пошел сильный дождь — пришлось искать крышу.

Вирджинии шестьдесят два года, всю жизнь работала в разных конторах по делопроизводству, недавно вышла на пенсию. Четыре года и четыре месяца служила в морской авиации, это было во вторую мировую войну. Школьный историк в ее микрорайоне посылает к ней своих учеников, чтобы она делилась с ними воспоминаниями.

— Да,— рассказывает она.— Я выполняла очень опасную работу на военно-морской базе. Выдавала рядовым и офицерам жалованье.

В ее ведомостях расписывалось пять тысяч человек. Морские летчики, ко-

нечно, тоже все были герои, только некоторые боялись сажать самолеты на палубу авианосца, это было как болезнь. Вирджиния и сама немного летала, поэтому и сейчас, когда приходится куда-нибудь лететь, она вся с пилотом. «Сижу в своем кресле и непроизвольно руками-ногами двигаю».

Выйдя на пенсию, она взяла в свои руки детский театр в ее городе. Театр прогорал, за год еле наскребал тридцать тысяч долларов. За два года она подняла доход до пятисот тысяч.

У меня все время шла голова кругом от этих американских цифр. Детский любительский театрик в безвестном городе в степи — это не просто театрик, а бизнес на полмиллиона в год.

— Экономлю каждый цент,— рассказывала Вирджиния,— всюду шныряю, свет выключаю.

За ее финансовый гений ей предлагали членство в совете этого театра, она отказалась, потому что решила пойти опять служить, на пенсии невозможно — только прибавилось работы.

У нее постоянно живут иностранные студенты местного колледжа, два-три человека. Был француз, женатый на вьетнамке, был грек, которому так понравилось в Америке, что хотел остаться навсегда. Это и хлопотно, и недешево — держать такой пансионат, но она привыкла, так делает вся Америка.

Ее муж Билл — худой длинноногий джентльмен шестидесяти пяти лет, до последнего времени был вице-президентом крупнейшей железнодорожной компании, получал кучу денег. Он, по словам жены, талантливый администратор, компания приглядела его, еще когда он был студентом, и сорвала его с учебы, поэтому он, чтобы не считаться недоучкой, брал время от времени кратковременные курсы по разным предметам, набирая требующиеся для самоуважения и служебного роста 120 баллов. Всякое повышение связано с прохождением какого-нибудь курса, иногда неважно какого, лишь бы было видно, что человек способен учиться, то есть не стоять на месте. Последний курс Билл взял за семь лет до пенсии, это был курс истории английского языка.

Перед самым оформлением пенсии он получил в свое распоряжение персональный мягкий вагон и объехал все станции своей дороги, прощаясь с персоналом.

Уютно сидеть на большой кухне старого фермерского дома — и разговоры уютные. В воде тут много железа, картошка после варки темнеет. Телефон у каждого отдельный, а до войны, когда телефоны только появились, аппараты были спаренные, строенные. Если кто хотел, чтобы его разговора никто не слышал, ехал в город, звонил оттуда.

— Крестьянство было в Айове с семнадцатого года по девятьсот пятидесятый,— говорит Билл.— Потом, с настоящей механизацией, пришло время фермерства. Что было первым результатом механизации сельского хозяйства? Мужик перестал производить людей.

«Американцы легко, даже охотно, соглашаются быть рабами, но упорно никогда не желали признать себя крестьянами»,— писал их Фицджеральд.

У Билла с Вирджинией две дочери, одна посвятила себя детям, а другая зоолог, работает в организации «зеленых». Они езят по четырем западным штатам и скупают ценные угодья. Вот, скажем, обнаруживают место гнездовья утки, любящей соленую воду. Фермеру нет особого дела до утки, соленая вода на его земле тем более не нужна. Они покупают у него это болото, устраивают заповедничек. Покупают леса с дичью. Деньги на это поступают от благотворительных организаций и частных лиц — большие деньги.

Вирджиния либералка, голосует всегда за демократов, очень пристрастна к политическим деятелям, потому что ее покойный отец был одно время сенатором. Человек честный и прямой, терпел от этого много неприятностей, так что в конце концов бросил политику и вернулся в степь, на свою ферму. Одна знакомая Вирджинии, когда некоего сенатора, захотевшего двигаться в президенты, накрыли тут с девицей, сказала: «Если он попался в такую простую ловушку, зачем нам такой президент!» Вирджиния ценит остроумие этой дамы, но не разделяет такого циничного подхода. Политик должен быть честным человеком. Никсон был умный человек, но совершенно бесчестный, поэтому она его не уважает.

Вирджиния выдающийся организатор, но у нее, по ее словам, всю жизнь не хватало честолюбия для крупных дел, растрачивала свой талант по мелочам, но это были такие мелочи, которые доставляли удовольствие ее друзьям и близким. Недавно она организовала встречу своих одноклассников.

— Это была шумная ночь,— качал головой Билл.

Он помогал Вирджинии. Вдвоем они нашли всех оставшихся в живых — 35 из 45. Пировали под открытым небом. Была гитара и губная гармошка, пели песни своей юности — конца тридцатых годов. Еда была из ресторана, был и бар — по два стаканчика на человека. Все дамы были выкрашены, какая была брюнеткой, стала блондинкой, и наоборот, поэтому никто никого не узнавал. Мы поинтересовались, кто из них чего достиг за пятьдесят лет. В разговоре об этом и прошла большая часть дня. Школу они кончали в плохое время — страна как раз выходила из страшного кризиса. Только трое пошли сразу в колледж, потом еще шестеро получили дипломы. Итого девять из сорока пяти.

— Это двадцать пять процентов. Выше среднего национального показателя для того поколения,— сообщил все знающий Билл.

Так сложилось или проявилась некая непознанная закономерность, но самые удачливые уже поумирали. Наибольшего добилась, по меркам Вирджинии, слабейшая из учениц. Ее и выпустили со справкой, что недоразвитая. И что же? Вскоре она нашла себе такого же мужа, со справкой. Его отец оставил им 80 акров земли. Они занялись свиноводством и прозанимались им всю жизнь, так что после их смерти в банке на их счету был не минус, а плюс — двадцать тысяч. Это большое дело, поинтересуйтесь, говорит Вирджиния, много ли тут вокруг фермеров без долгов. Справка, конечно, не приуменьшала умственных способностей этой женщины, но в своем деле она была исключительно умна. Если кто, введенный в заблуждение справкой, пытался ее надуть, становился вечным ее врагом, а кто вел себя хорошо — вечным другом, середины она не знала. Умерла эта пара почти одновременно, с интервалом в три месяца.

— Ее обделила природа, ей не улыбалась жизнь, но из того, что у нее было, она извлекла максимум, поэтому ее судьбу я считаю самой удачной,— говорит Вирджиния.

К расспросам нас располагал дождь, еще больше, может быть, очень спокойный, прокуренный, с улыбкой голос Вирджинии и то, что они оба оказались людьми, неспособными, кажется, к злословию. За весь день насмешливо отозвались только об одном человеке — об их свойственнике Сэме — всю жизнь вкладывает свои немалые деньги в какие-нибудь фантазии: холм сровнять, долину засыпать — и прогорает. Сначала близким было за него стыдно, потом махнули рукой. Он убежден — и об этом уже лет тридцать говорит за столом, когда собирается вся родня,— что одна из величайших ошибок человечества — та, что буква М в алфавите идет впереди Н: два горба не должны быть впереди, настаивает этот реформатор, надо сначала ставить одногорбую букву!

Одна из соучениц Вирджинии стала бизнес-женщиной — открыла магазин женского платья, богатой была. Один парень 21 год служил в военном флоте, там оглох. Один, сын поденщика, только в 46 лет получил университетский диплом. Образование в Америке стоит денег, поэтому он учился так: год поучится, пару лет поработает. Он в своем роду первый с высшим образованием. Одна прожила только 52 года, но умерла почетным гражданином города с полумиллионным населением. Она много возилась с молодежью, была общественницей, у самой было пятеро детей. Удивительно мягкая была женщина, а отец — страшный грубиян, дикарь из дикарей.

Интересовались мы и самыми несчастливыми. Самой несчастливой оказалась самая богатая, шестидесяти лет умерла от алкоголизма, пила четверть века. У нее не было семьи. Никогда не могла удержаться, чтобы не объявлять каждому встречному-поперечному о своем богатстве, и это отталкивало людей.

— Будь я богатой, я бы знала, куда девать свои деньги, пропивать бы не стала,— объявляет нам Вирджиния, и Билл улыбается.— Во-первых, я бы хорошо отремонтировала свой театр, потом учредила бы свои именные стипендии в четырех университетах.

И так — с такими и другими комментариями — Вирджиния рассказала нам обо всех сорока пяти своих одноклассниках. Про каждого я что-то записал — хоть несколько слов, и теперь мне нравится вспоминать время от времени, что у меня есть эти записи.

К своему пятидесятилетию Вирджиния сделала себе подарок:

— Решила не делать ничего, что не люблю. До конца жизни! Например, играть в гольф. Кроме курения. Не люблю, а бросить не могу. Но вы не думайте, я себя постоянно корю за это, беседую с собой!

Живут они в городе, но остаются людьми сельского хозяйства — тут у них земля, они сдают ее в аренду, обязаны по закону сдавать, а за сданную землю владелец не только получает половину урожая, но и берет на себя половину издержек, платит земельный налог, тратится на мелиорацию. Они люди не города и не села.

Мы говорим об этом. Это разговор о судьбе семейной фермы. Многие в Америке переживают, что настоящих семейных ферм становится все меньше, хотят, чтобы общество впало в панику от того, что исчезает главная американская ценность. Семейная ферма была хранительницей устоев нации, относиться к ней с точки зрения экономической эффективности преступно, мол. Печатаются кровью сердца написанные сочинения об этом, воспеваются прелести простой сельской жизни, ставятся душераздирающие фильмы о банкротствах. Мы с Виктором Федоровичем были на съемках одного такого фильма, снимали его прямо на выморочной ферме, в пустом зерновом сарае мы еще обнаружили в мусоре полуобъеденные мышами початки. В фильме снималась такая звезда, что встреча с нею, как нам объяснили, для обыкновенной американки была бы счастливейшим событием жизни,— видели мы эту звезду, немного даже поговорили с нею, хрупкая, в чем душа держится, девушка, милая, то ли страшно усталая, то ли настроенная на съемки очередной сцены в доме, где ей предстояло играть юную жену разорившегося фермера.

Узнав, что мы были на съемках этого фильма, который потрясет Америку, Вирджиния говорит:

— Пусть потрясет. Это хорошо, потому что бесполезно. Земля не может начать вращаться в обратную сторону.

Детство Вирджинии — это двадцатые — тридцатые годы. У отца было 160 акров земли, нанимали одного батрака, он был как член семьи. Держали всего понемногу: коров, овец, кур и уток. Работали с утра до вечера. После уроков она сразу бежала в сарай собирать яйца, потом в огород, потом садилась за пианино. Холодильников тогда еще не было, а были ледники. В подвале была камера, ее охлаждали льдом. Льдом торговала особая компания, развозила его по фермам — большая была работа. Потом в городке, в двух милях, появился электрический морозильник коллективного пользования.

— Я должна вам рассказать историю про мою тетю,— решила Вирджиния.— Она была из очень бедной семьи, поэтому в ней развилось скопидомство. Рваного шнурка не выбросит. Вышла удачно замуж, стала жить богато. В подвале у нее было два морозильника, набиты всякой всячиной. Лежало годами. Овощи превращались в пыль, мясо в труху. Никого к этому добру она не подпускала. Тогда муж говорит детям: я увезу ее в путешествие, а вы очистите от мусора эти емкости. Сейчас ей за 80 лет. Что-то вспоминая, она говорит: это было в тот год, когда мои дети уничтожили мои запасы. Хотите ее расстроить — напомните об этом.

Был большой огород, выращивали спаржу, разные салаты, квасили капусту, это была все работа, работа. В двадцать пятом году отец купил движок с электрогенератором, появился у них свет. Первую электролинию к ним протянули в двадцать девятом. В этой стороне еще две фермы стояло, долго обсуждалось, кому сколько платить за столбы, считали, замеряли. Возле дома был сарай, всегда набитый кукурузной кочерыжкой, ею топили печи.

На сороковые годы приходится начало массового домашнего консервирования — у нас на семидесятые, отмечаю я. Консервировали все: ягоды, овощи, мясо, фрукты, закручивали по 800 банок (примерно по стольку и в моем селе в некоторых семьях... сейчас), пастеризовали в кипятке, по звуку определяли готовность.

— Какая большая это была работа! — восклицает Вирджиния.

Работа, работа, работа — главное американское слово. Ну, устроили себе жизнь! Мы обедали у управляющего банком. Не бедняк, земельный собственник. Жена его показала свой бизнес. Покупает пластмассовые кукольные заготовки и дорисовывает им глаза, у нее очень хорошо получаются глаза. Продает свою продукцию друзьям и знакомым, о ее бизнесе люди знают из объявления в газете. Заработала себе за полгода на летнюю поездку в Европу.

— У реформаторов на все есть ответы, на то они и сумасшедшие,— рассуждает Билл.— Но надо говорить конкретно. Скажите: вернем духовные ценности! Кто будет против? Все за. А теперь скажите им конкретно: вернемся в двадцать пятый год! Много будет желающих?

Когда наш разговор на время иссякает, мы углубляемся в газеты, тут тоже своя прелесть — гадать, у кого первого выпадет газета из рук, у меня или у Виктора Федоровича,— для Билла с Вирджинией в их газетах кажется нет ничего, что заставило бы выронить их. А с нами бывает. Вот читаешь заметочку в несколько строк: в столице штата будет выставка свиноводства, продлится три дня, приедет 75 тысяч человек...

— Виктор Федорович! Ну что же это за страна? Представляете себе, что значит для города принять 75 тысяч человек? Вообразите: в Полтаву или Одессу на три дня — 75 тысяч...

— Дадут заработать городу,— пожимает он плечами.

Когда надоедает читать, опять находим тему для разговора. Далеко за нею ходить не надо — например, об ихней и нашей бюрократии. Считаем, сколько чиновников у них в графстве и сколько — в нашем районе. Графство — это сто — сто двадцать тысяч гектаров земли и две-три тысячи фермеров. Государство представлено прежде всего учреждением по стабилизации посевов. Оно знает все про каждую ферму — у кого что где посеяно, сколько чего на скотных дворах. Несколько лет назад в этой конторе было пять-шесть человек, сейчас десять-двенадцать, и каждому платят тысяч по 35 в год. В общем, скоро мы обнаружили, что число всякого рода чиновников в среднем айовском графстве и сопоставимом по размерам нашем районе почти одинаково. Есть, что ли, некий закон, по которому в обществах, достигших определенной сложности, как бы они ни назывались, доля дармоедов будет одинакова? Но тут сходство и кончается. Все дело в том, для чего существуют эти конторы, в чем смысл их работы. В США — сдерживать производство и радеть крупным крепким хозяйствам. У нас — способствоввть росту и радеть слабым хозяйствам. И то, что у них, и то, что у нас,— это не что иное, как государственное планирование, то есть вмешательство в хозяйственную жизнь. А для того чтобы это вмешательство было достаточно ощутимым, на гектар пашни должно приходиться столько-то килограммов чиновничьей задницы, говорит Билл. А что касается противоположных целей, то на деле никакой противоположности нет. Просто американский бюрократ мешает росту урожаев, удоев и привесов, но не скрывает этого, наоборот, подчеркивает, что за это он и ест свой хлеб, а наш тоже мешает, но при этом не только другим говорит, но и сам уверен, что помогает...

Дождь шел весь день и вечер, так что мы и переночевали в этом доме. Утро было солнечное, все блестело. Когда собрались уезжать, кому-то пришло в голову спросить: «Господа, а что нас вообще-то тут задержало на целые сутки?» — «Дождь ведь шел»,— ответили ему.— «Ну, и что? Машина-то у нас крытая, дорога твердая!..» Дальше — больше. Дошли до того, что спросили себя — зачем мы вообще прятались от дождя? — «Ну, это я объясню,— сказал

Билл.— Чтобы было приятно, что успели укрыться». Так мы неожиданно и ко всеобщему удовольствию убедились, что люди мы в самой своей глубине из домашинной цивилизации.

МЕРТВЫЕ ПЧЕЛЫ

Во все дни нашего путешествия Виктор Федорович ни на минуту не забывал про визит Никонова. На все и на всех смотрел с одной мыслью: как это может послужить удаче визита. Чем меньше оставалось до отлета, нашего — отсюда, а никоновского — сюда, тем яснее вырисовывалось главное. Надо, чтобы он увидел здесь не просто поля, скот и машины, а отношения...

Для меня все яснее вырисовывался и облик самого Виктора Федоровича. Честно говоря, в удачу визита я не верил ни одной секунды в отличие от него. Но он без такой веры просто не мог бы делать своего дела. На что я чуть-чуть надеялся,— что удастся начать обмен людьми. В гулком необъятном предбаннике Айовского университета при нас появились китайцы, очередная из множества групп, человек десять, прямо с самолета, с чемоданами. Я смотрел на их серые (советские!) замученные лица, на серо-синие хлопчатые костюмчики, которые так и подмывало назвать лагерными, и думал: почему рядом с ними не стоят у стойки регистрации студентов-иностранцев наши? Почему сразу после них, вот сию минуту, не распахнется входная дверь, впуская десяток наших?

И это при том, что никакой я в отличие от Виктора Федоровича не патриот.

Виктор Федорович напомнил мне еще в детстве, из чтения толстовского «Петра Первого» составившийся романтический образ ученого-дьяка. Лучшее, что взрастил в своих приказах отец российской бюрократии, был тип незаметного, преданного отечеству государственного человека с его трудолюбием и скромностью — скромностью прежде всего, иначе как мог бы он, имея важную мысль, терпеливо ждать повода отдать ее сиятельству, чтобы потом, с упорством и ловкостью разгребая препятствия, шаг за шагом продвигать эту мысль в жизнь. Какое большое дело ни возьми, в истоке его обязательно обнаружишь такого человека. От него почти не остается следов, потому что он ни у кого не стоял на пути, единственное, что ему было нужно,— быть в тени и неважно ради чьих звезд кропотливо делать дело.

Готовился к визиту и наш хозяин — пригласивший нас в Америку давний приятель Виктора Федоровича Джон Кристалл. В его высказываниях звучало все больше практического, явно предназначавшегося для передачи на советский верх.

Окончательный деловой разговор должен состояться, решает Джон, за день до нашего расставания, подальше от людей, для этого он везет нас в свой фермерский дом, там и заночуем. Джон не берет шофера, а садиться за руль в темноте запрещает правление банка.

До сорок девятого года Джон фермерствовал с отцом, был молодой фермер-холостяк, белая ворона: фермер не может не быть семейным. К 50 годам он стал очень богатым, и ему надоело делать деньги дальше — надоело работать, говорит он. Захотелось политики, влияния на людей. Свой нынешний возраст — 62 года — он понимает как возраст, в котором надо отдавать людям накопленное — знания и, конечно, деньги. Так это понимают очень многие в Америке. Четыре года назад его попросили принять ослабевший банк, Джон не мог отказать друзьям. Банк под его президентством расцвел. Я расспрашивал, как он этого добился. Большая удача складывается из множества мелких правильных решений, которые не запоминаются — туда разумно вложил десяток тысяч, туда — глядишь, и набежало. Ошибки запоминаются, их мало, но все крупные. Одна стоила его банку пятьсот тысяч — поверил в человека с его делом, дал кредит, а тот не оправдал, прогорел. Джон добр, как настоящий богач. Одна из

служащих его банка украла десять тысяч долларов. Он не отдал ее под суд, но она не осталась ненаказанной — от нее отвернулись окружающие.

Очень любознательный, угадывает, когда у нас заходит значительный разговор по-русски. Стоило коснуться будущего партии, Джон тут как тут:

— О чем вы говорите?

— О том, что партия должна уйти из экономики.

— Это кто из вас говорит?

— Это говорит Виктор. Он хочет, чтобы она занялась своим прямым делом. Воспитанием народа.

— А ты что говоришь?

— А я спрашиваю: что она будет воспитывать?

— Естественно, коллективизм,— говорит Джон.

— То есть то, что и довело нас до развала,— говорю я.

— А Виктор что говорит?

— Что он за гражданский мир.

Через час мы опять незаметно для самих себя отключаемся от Джона.

— А это вы о чем заговорили? — сразу интересуется он.

— О том, как бы показать Никонову американское планирование.

— Наше планирование никуда не годнтся,— заявляет он.

— Подождите,— говорю я.— Вас послушать, так в Штатах ничто никуда не годится. Вот пусть посмотрит и подумает: как так получается, что при одном никуда не годящемся планировании страна кормит себя и может кормить весь мир, будь у него чем платить, а при другом никуда не годящемся планировании страна как следует кормит только два десятка малограмотных и злых старперов, при жизни раскатывающих в бронированных гробах.

Джон считает меня то ли радикалом, то ли анархистом.

— Вы думаете, сильное правительство вам не нужно?

— Что нам,— говорю,— действительно нужно, так это сильное правительство. Особенно — в умственном отношении.

— Такое и нам бы не помешало,— улыбается Джон.

Он капиталист до мозга костей, то есть здравый человек, для которого свобода и конкуренция — ценности незаменимые. Поэтому он против больших военных расходов. Большие военные деньги портят систему свободного предпринимательства, говорит он. Ведь они — дурные деньги, не заработанные теми, кто их тратит. Ими не дорожат, покупают на них политиков, сами продаются. Солдатские рукавицы стоят, допустим, пять долларов. Присобачили к ним застежку — уже пятьдесят.

— Если с этим не покончить, представляете себе, до чего это может довести? — говорит Джон.

Еще бы нам не представлять! У нас все заводы и конторы не зарабатывают свои деньги, а получают из казны.

Естественно, что, все время ведя такие разговоры, не избежать в конце концов и вопроса о патриотических приличиях: пристало ли в чужой стране ругать правительство своей?

После ужина мы садимся у камина, Джон кладет на колени тетрадь, и начинается разговор, ради которого тащился за океан Виктор Федорович. Обсудили, что показывать высокому гостю, как показывать, на что напирать в беседах, потом Джон сказал:

— Надо будет, видимо, устроить прием в Де-Мойне. Кого пригласить?

Перечисление он начал с губернатора, вторым назвал ректора университета...

Затем он перешел к тому, что надо, чтобы после этого визита хоть несколько серьезных людей захотели иметь с СССР дело.

— Деловые люди терпеть не могут бюрократию. Она убивает бизнес. Про вашу бюрократию в Америке наслышаны еще от моего дяди.

Это он о покойном Росуэле Гарсте. Гарст хотел ни мало ни много — преобразовать советское сельское хозяйство — и страшно злился, когда понял, что это безнадежно: бюрократия мешает нормально совершить любую самую обы-

кновенную сделку на миллион-другой. Он писал Хрущеву, что не ожидал от его правительства, во-первых, такой нерешительности в простых неполитических делах, а во-вторых, такой беспомощности перед собственной бюрократией. Несколько раз объявлял в бешенстве: все, больше он с этой страной дела не имеет. «Я сказал господину Микояну, что больше никогда не буду любезно развлекать советских посетителей, которые приезжают послушать советы и посмотреть, но не работать». Выражений своего возмущения не выбирал. «Меня раздражает тот факт, что ваше правительство решило взять из моих предложений десятую часть, вместо того чтобы вдесятеро их перевыполнить».

В одном разговоре с американским издателем Хрущев вслух размечтался поездить по США, побывать у Гарста без сопровождающих, обыкновенным человеком, «приклеить бы усы или бороду, чтобы быть не Хрущевым, а каким-нибудь Ивановым». Гарст отнесся к этому желанию серьезно. Перед отъездом Хрущева в Америку послал ему секретнейшее письмо с планом: вы встаете на заре, как обычный фермер, я подкатываю к гостинице — и так далее. Хрущев так далеко в своих шутках заходить не мог. «Получилось бы, что меня украли, как невесту на Кавказе или в Средней Азии»,— писал в своих воспоминаниях.

— Первое, что должен заявить Никонов нашим бизнесменам,— говорит Джон,— о своем желании стать для них пробивной силой в Москве.

— Держи карман шире,— сказал я тихонько по-русски.

— Он должен им дать слово: если вы приехали в Москву по делу и у вас проблемы с бюрократией, обращайтесь прямо ко мне — я всегда выручу.

Это невозможно, решили мы с Виктором Федоровичем. Он никогда этого не скажет. А если и скажет, то это будут пустые слова.

— Это плохо,— сказал Джон.

— Хуже некуда. Никонов сам часть бюрократической машины.

Ко второму важному и первому секретному моменту Джон зашел издалека. В Америке знают про антисемитизм в России, сказал он. Погромы при царе, преследования при Сталине, всякие притеснения евреев вплоть до сегодняшнего дня.

— Антисемитизм есть и у нас. Есть и расизм. Но за мою жизнь произошли большие перемены в лучшую сторону, сейчас прежнего напряжения нет. Я понимаю: лучшее лекарство от этих болезней — время. Но американцев это мало утешает, когда они видят, что есть большая страна, которая относится к евреям в известной мере как в средние века. Страна, которая не выпускает своих граждан в мир. Это естественно, что человек, которого держат в клетке, делается сумасшедшим. Ваш Никонов, перед тем как сесть в самолет, должен понять: для Америки это очень болезненный вопрос. Мы страна эмигрантов...

— Никонов никогда этого не поймет,— сказал я.— Я собственными ушами слышал, в каком тоне он говорил о Средней Азии... Великодержавие в крови, в спинном мозгу.

— Мы страна эмигрантов, поэтому страшно чувствительны к запретам на эмиграцию. Кроме того, ваши должны понять: евреи — очень хорошие граждане Америки: образованные, любознательные, доброжелательные. Смею думать, такие же они и как граждане СССР. Здесь, в Америке, мы понимаем их переживания.

— Кремль никогда этого не поймет, Джон,— сказал я.— Он никогда не поверит, что вы это искренне, что вас не подкупили, не запугали, что вы сами не еврей...

— Подкупить всю Америку? Запугать такую страну? — Он мягко улыбнулся и отхлебнул из стакана, удобнее устроив длинные ноги на стульчике.

— Евреи все могут, Кремль в этом убежден.

— О'кэй,— сказал Джон.— Тогда пусть остается при своем убеждении, но нас принимает такими, какие мы есть. А мы такие, что со страной, которая держит своих людей взаперти, дела иметь не желаем. Так и передайте Никонову и его коллегам. Если они хотят, чтобы от этого визита был толк, пусть сделают какой-то жест. Здесь заметят.

Третье, что он хотел бы внушить Никонову,— новое отношение к институту консультантов.

Джон настоящий американец, то есть человек здравого смысла. Он раз двадцать был в Советском Союзе, и все равно для него как гром с ясного неба прозвучало, когда мы сказали ему, сколько выращенной продукции у нас пропадает — самое малое треть зерна, больше половины овощей и фруктов, от картошки если треть остается — хорошо.

— Если это правда, этого нельзя терпеть,— сказал он решительно.— Мой рассудок этого не воспринимает. Как это возможно? Страна может послать человека в космос и не может доводить до ума свою картошку! Картошка — она везде картошка, там ничего особенного нет. Я не могу этого переварить!

— А что из того, что у нас делается, вы можете переварить? — спрашиваю я.— Что не выходит за пределы здравого смысла? Кадры партии с ломами в руках в конце XX века крушат теплички сельских жителей... У нас никому не нужна картошка, Джон, это вам объяснит каждый ребенок. Нужен социализм — то есть равенство в нищете, беззаботности, безответственности.

Мою речь он понимает как несдержанность чувств. Это для них характерно — для многих хороших западных людей. Ты ему говоришь, что живешь в тюрьме, а он не слышит — он человек непредвзятый, добрый, культурный, он привык видеть во всем плюсы и минусы. Есть, говоришь ему, плюсы, конечно, есть,— но это плюсы жизни в тюрьме, тюрьма остается при всех плюсах. Не слышит!

— Как можно терпеть правительство, которое теряет столько картошки? — Джон швыряет в камин начатую сигару.

— Да любое правительство потеряет столько же, если будет заниматься картошкой, Джон! Разве ваше правительство занимается картошкой?

— Да-да, я понимаю.

Судя по тому, каким печальным становится его лицо, действительно понимает. Но он человек деятельный, он должен вмешиваться в жизнь, помогать людям, целым странам, для этого он в пятьдесят лет и бросил наживать деньги...

— Почему не нанять человека, который разбирается в картошке? У вас недооценивают институт консультантов. Я очень верю в институт консультантов. Надо договориться с Никоновым. Мы можем конкретно помочь вам консультантами по всем вопросам сельского хозяйства. Но им вы должны доверять. Не жмитесь, хорошо заплатите, выслушайте нескольких по одному вопросу...

За окном уже серело, когда Джон захлопнул свою тетрадь и пошел спать. Мы с Виктором Федоровичем вышли погулять вокруг дома. Он вспомнил, как жил когда-то в своем Котовске, учился в веттехникуме и думать не думал, что будет когда-нибудь в его жизни Америка, да еще с этими, не знаешь как лучше сказать,— то ли заботами, то ли тяготами, то ли унижениями — со всем вместе. Ничего нельзя продвинуть в жизнь нормальным путем, все время надо как-то исхитряться. Вот то, что говорил сегодня Джон,— как донести все это до Никонова? Чтобы дошло, чтобы не рявкнул: не в свое дело лезете, вы наш советник по сельскому хозяйству, и только по сельскому! Какое хорошее время было тогда, в Котовске! На третьем курсе он долго лечил коня. Преподаватель сказал: безнадежен, отправить на мясо, а он взялся, сделал операцию, не отходил от коня целыми днями. У лошади слабый иммунитет, такая красивая и сильная, она может погибнуть от царапины, как и слон, у него тоже плохо с иммунитетом, поэтому он и боится мыши. За время лечения конь к нему привязался. Больно делал ему человек, а животное, значит, понимало, чтó — добро. По истории этой болезни делал курсовую работу. Лучшее время жизни — техникум, годы в ветакадемии при Хрущеве тоже не худшие. Вел там студенческую научную работу, лежал под коровой — ставил фистулы — и думать не думал о политике, даже сельскохозяйственной. Правда, долбил английский язык..

Через две недели я мог следить за почти историческим визитом по мо-

сковским газетам. Несколько раз что-то мелькало и по телевизору. Было интересно узнавать знакомые места. Сообщения газет были кратки до неприличия, трудно было догадаться, дошло ли что-то из наших советов. Если что и дошло, то вид приобретало теперь или дикий, или стертый. Читая эти заметульки, непосвященный человек не мог себе представить, сколько важности в той реальности, которую они, так сказать, отражают, сколько там сопровождающих лиц, какая охрана, сколько настрочено справок до и сколько будет настрочено после, сколько самолюбий и расчетов бесшумно сталкиваются на каждом изгибе дороги. Признаюсь и каюсь: смотрел на эту скупость освещения не без злорадства. Помнил, как этот Никонов упивался властью, собирая нашего брата у себя на Старой площади, каким большим другом отечества выставлял себя и какими врагами — нас, щелкоперов: «Кончайте этот скулеж про закупки зерна в Америке! Только победы объединяют народ». Да и этого его детища, этой глупости восьмидесятых годов — Агропрома не мог, грешный, ему простить, и с удовлетворением думал, что и о н и не остаются ненаказанными. При их жесточайших честолюбствах каково им читать эти куцые заметочки про свои визиты, каково терпеть эту недооценку своей роли в истории!

Сразу после возвращения в Москву Виктора Федоровича погнали во главе его отдела на капусту в совхоз «Туровский». Только когда он вернулся и отмылся, я услышал, как же все было. Хотели показать американцы Никонову фондовую биржу. Отказался, там, мол, вши спекулянты, нам это без надобности. Хватит, сказал я Виктору Федоровичу, дальше можете не рассказывать. Если он хочет что-то изменить в сельском хозяйстве и не понимает, что такое биржа, нет, мертвые пчелы не гудут, надеяться не на что. Была ему устроена встреча в университете. Собралась профессура, цвет ученого мира, повесили диаграммы, стали объяснять: в ближайшее время следует ожидать падения производства... «Это когда столько голодных?!» — возмутился он. Потом вообще отказался тратить на этих дармоедов время: к земле хочу, там, мол, все решается. Понимающие из наших были в шоке, как в худшие хамские минуты Хрущева. Американцы, к счастью, н е п о н я л и нашего товарища, им не могло прийти в голову, что кто-то может не допирать, что такое университет, что значит наука для фермера. Если лозунг фермера: трудолюбие и вера в науку,— то как этого может не понимать первый советский аграрий?! Я вспомнил, как Джон Кристалл составлял список участников приема в честь высокого советского гостя. На первое место поставил губернатора (государство, положено), на второе — ректора университета.

— А вы знаете, некоторым газетчикам понравилось, как он обошелся с этими профессорами кислых щей! — сказал Виктор Федорович.

И все-таки, надо отдать ему должное, свою советскую гордость Никонов не переносил на скот и растения. Когда видел, что кукуруза вокруг него такая, в какой он никогда в жизни не стоял (ее как раз косила тринадцатилетняя дочка фермера), то восхищался не через губу, а открыто, честно, и призывал из толпы не кого-нибудь разделить с ним чувства, а незаметнейшего Виктора Федоровича. Это дорогого стоит, сказал я Виктору Федоровичу, вы же человек науки, так что он, может быть, чувствовал свою вину. Добрый Виктор Федорович стал охотно продолжать тему: не надо судить его строго, человек своего времени, круга, своей идеологии. Строго судить, может быть, вообще никого не надо, соглашался я, но когда ты член высшего руководства сверхдержавы, никуда не ходишь без охраны, когда ты не жертва системы, а сам — система, ведь никто тебя не тянул на верхотуру, сам поднимался,— тогда отвечай не как маленький человек.

Неделя в Америке была страшно утомительной, рассказывал Виктор Федорович, спать почти не пришлось никому. В самолете глава делегации отдохнул, часа через три вышел из своего апартамента в тренировочном костюме, с разглаженным лицом, прошелся, по-дружески кивая товарищам, между кресел, остановился возле Виктора Федоровича. «Ну, как у меня прошло — не сплоховал?» Виктор Федорович точных слов не запомнил, а смысл был такой. «Все было хорошо, Виктор Петрович»,— сказал он.

Мы вспомнили наше общее самое памятное из американских впечатлений. Это — как Джон Кристалл проезжает мимо луга, на котором пасется его скот.

Рядом с фермерским домом Джона днем и ночью пасутся его мясные коровы. Проезжая мимо, он каждый раз замедлял машину и смотрел на них. Однажды мы отъехали с полкилометра, когда он обнаружил, что забыл дома папку. Ехали от дома — замедлялся, возвращались за папкой — тоже замедлял, ехали опять от дома — и опять замедлялся. Три раза меньше чем за десять минут. Я сказал ему об этом: «Похоже, вы просто не можете на них наглядеться». Он удивился: «Разве? На коров я действительно смотрю, но что делает нога на акселераторе — теперь буду знать». Когда мы возвращались в Де-Мойн, то на околице Кун-Рэпидса, в холмах, увидели быков Мэри Гарст, она его свояченица. Что это ее быки, нам сказал он, но его нога на акселераторе не дрогнула.

Интересно мне было глядеть на быков Мэри. Было очень рано, она еще, может быть, спала, а быки и не ложились, продолжали пастись. Интересно было думать: она спала себе под боком у своего Стива, а они нагуливали ей доллары...

ЧТО ТАКОЕ АМЕРИКА?

С первого часа на американской земле я стал подыскивать те несколько слов, которыми буду отвечать на вопросы друзей в Москве, что такое Америка.

В Вашингтоне перед монументом Отцу-основателю расстилается обширный луг. Когда Виктор Федорович ступил на траву, чтобы сократить путь к монументу, я сказал:

— Вы что делаете? Нам же нечем платить штраф!

Тридцать долларов, которые вручила мне Родина перед путешествием за океан, действовали самым благотворным образом: взывали к осмотрительности и скромности.

— Идите за мной,— сказал он.— В Америке по газонам ходят.

Я подчинился, но земля под ногами горела. Виктор Федорович остановился.

— Послушайте! Американские газоны невозможно вытоптать. Их все время подсевают и подстригают. Чувствуете, какая тугая земля и густая трава? Вековая культура дерна!

Ничто так не успокаивает мнительного законопослушного человека, как рациональные объяснения таких вопиющих отступлений от порядка.

После этого я решил, что об Америке буду рассказывать так: это страна, где разрешается ходить по газонам.

Но от монумента Вашингтону, все через тот же самый большой в мире газон, мы пошли в американский Исторический музей. Этот музей — нечто забавное. Посудите сами: какой может быть исторический музей в стране, которой двести лет? Отрубите от нашего исторического все, что было до Петра,— что это будет? Показано освоение ихней целины, показаны войны: с индейцами, за независимость, гражданская и две мировые. Все остальное — этапы капиталистического строительства. На каждый этап — два-три зала, все более обширных, и в каждом зале вас встречает доносящийся из прошлого (чуть не сказалось: из глубины времен, да какая там глубина!) шум работ. Грохот молотов и звон наковален, стук станков, визг пил, все быстрее и тяжче. С каждым залом все крупнее делаются машины, замысловатее — всякие приспособления, все больше признаков растущего благосостояния. В одном зале выставлен в натуральном виде нужник из армейской казармы двадцатых годов с фаянсовыми толчками и рукомойниками, сортир, конечно, не такой, как во Дворце съездов, но лучше, чем сегодня в Московском государственном университете имени Ломоносова.

После этого я решил рассказывать об Америке так: страна, где в Истори-

ческом музее выставлена самая нужная часть армейской казармы двадцатых годов.

Потом мы стали ездить по Айовской степи, смотреть фермы. Американская ферма — это я уже рассказывал что такое. Стоит посреди поля, у большой или малой дороги, белый двухэтажный дом. Перед ним лужайка, на ней может лежать чаша телевизионной антенны, может развеваться на шесте веселый американский флаг. Странно и приятно видеть нарядные звездно-полосатые флаги то на лужайке возле фермерского дома, то перед проходной какого-нибудь заводика, то во дворе школы. Ведь установлены они людьми по своей воле, не из послушания и не для того, чтобы выслужиться.

Возле дома или за домом две-три серебристые башни для зерна, гараж на десяток машин разного назначения, от сеялки до комбайна, коровник или свинарник. Рядом с двором может быть навес или площадка для скота, она будет обнесена сеткой, а двор — нет. Кладбища — и те не огорожены и не разгорожены внутри. Луг — и на нем могильные камни, между ними дубы.

После этого я решил, что буду рассказывать так: Америка — это страна, где хлеборобы живут без заборов и часто, в глубине степи, без запоров.

В каждый свой приезд в Америку Виктор Федорович старается встретиться с давней своей приятельницей, скотоводом Мэри Гарст. Так что у них уже много лет длится лучший из деловых человеческих разговоров с Адама и Евы — разговор о скоте. Для обозначения этого удовольствия в английском языке есть особое слово: кэтлток, скоторазговор.

Этой Мэри под шестьдесят, невысокая, худенькая женщина с очень ухоженным лицом. В Америке я впервые узнал о существовании таких людей: человек тощий, а лицо не изможденное, чистое, бело-розовое. Это люди, которые относятся к своему организму, как к машине, которая требует, чтобы с ней обращались грамотно, давали отборное горючее и смазку. Мы встречались с Мэри за ужином в ресторане, поэтому она была соответствующе одета: высокие каблучки, атласная короткая кофточка с острыми плечиками, под ней белая блузка с отложным воротником. Рабочая ее форма — штаны, сапоги, ковбойская шляпа, в руке хлыстик. По крайней мере часть дня она проводит верхом — на своих пастбищах. В последнее время, правда, стала сиживать и за компьютером. Заменила им двух учетчиков. Теперь на нее работают два пастуха-поденщика и три постоянных скотника. Еще недавно у нее было четыре тысячи быков, потом упали цены на мясо, и пришлось сократить поголовье до тысячи. Это я уже перехожу к разговору о скоте, который слушал с неизъяснимым удовольствием. Вообще-то изъяснимым, только за изъяснением надо обращаться в скотоводческую предысторию человечества.

Мэри знает вся страна, о ней была статья с фотографиями в большом журнале, писали, что она лучший скотовод среди американских женщин. Публикация вызвала у нее недовольство.

— При чем тут то, что я женщина? В Америке еще много дикарей.

В последнее время, рассказывала она Виктору Федоровичу, подорожали телята. Это связано с тем, что подешевели корма. Как это связано, я не очень понял. Много лет занимаясь племенным делом, Мэри в конце концов остановилась на двух породах: галовеях и европейских симменталах. Обе были подробно обсуждены за нашим обедом. Обед состоял из салата, свиных ребер, запеченных с початками молодой кукурузы, и бутылки калифорнийского вина. Осталась недопитой. Быки за нашим столом присутствовали не только в разговоре. Они смотрели на нас с акварелей, которыми были украшены стены ресторана. В глубине зала шумно ужинала компания человек в пятьдесят мужчин в мятых костюмах, с загорелыми лицами. Сегодня было районное совещание скотоводов.

— Вас здесь знают? — спросил я Мэри.

Кроме скота и пастбищ, у нее есть и пахотная земля. Эта дама состоит также в советах директоров нескольких очень больших компаний, одна из них машиностроительная.

Мэри пожала плечами, а сидевший за соседним столом скотовод сказал:

— Обанкротишься — станешь еще известнее.

— В этой стране женщина никогда не будет банкротом. Она всегда будет женщиной,— ответила Мэри.

В то же время, когда я попросил ее рассказать какую-нибудь забавную историю из женского бизнеса,— отказалась:

— Слишком много видела банкротств.

Наученная опытом с журналом, изобразившим ее ковбоем чуть ли не с кольтом на бедре, сказала:

— Считаю своим долгом к обеду быть всегда дома и покормить мужа. Если занята — обязательно позвоню: обедай сам.

В связи с наплывом женщин в бизнес в Америке появилась шутка. Что на обед у женщины-бизнесмена? На обед у нее очередной деловой обед.

Деловые встречи здесь часто совмещают с завтраком, обедом или ужином.

После встречи со скотоводом Мэри я решил, что об Америке буду рассказывать так: это страна, где женщина никогда не будет банкротом.

Под Эймсом мы познакомились с Доном Грингером, хозяином комбикормового завода. Этот завод выглядит как небольшой элеватор с подсобными помещениями. Там дробят кукурузу и смешивают ее с белковыми, минеральными и прочими добавками. Все вокруг в сероватой мучной пыли, пахнет доброй мельницей. В конторке бросается в глаза шуточный лозунг: «Благословен идущий по кругу, ибо изведает, как велико колесо есть». Хозяина не отличить от его рабочих — он в такой же ковбойке, джинсах и запорошенных башмаках. Ему пятьдесят с небольшим, крепкий, с брюшком, мужчина. Его делу около двадцати лет. Сейчас у него пятнадцать рабочих, самый малый стаж работы — десять лет. В профсоюзе не состоят, договариваются со своим хозяином по-свойски.

Есть люди, которые ничего так не хотят, как перейти в высшую весовую категорию. Дон не из таких. Можно прыгнуть очень высоко, но ведь и падать будет больно, говорит он. Его цель — стать лучшим в своем весе.

У него один сын, заводом заниматься не будет, подался в интеллектуалы — учится на филолога. Дон по этому поводу не страдает, как замшелый сентиментальный купчина позапрошлого века.

— Потяну,— говорит,— еще лет пять, потом найму хорошего управляющего и стану жить для себя: буду охотиться, может быть, съезжу в Россию...

Были мы у Дона Грингера в воскресенье. В этот день, как обычно, он встал в четыре тридцать утра. Сорок пять минут гулял. В пять тридцать у него был завтрак с друзьями в ресторане. Его друзья — зубной врач и два строительных подрядчика. На эти воскресные завтраки в полшестого утра они собираются уже десять лет. Завтрак состоит из яичницы с беконом и кофе и продолжается ровно час. В шесть тридцать Дон уже был на заводе... Обычно он шабашит в семнадцать тридцать, по воскресеньям — в шестнадцать. Сегодня после работы у него будет воскресный семейный обед в ресторане. Они сядут за свой всегдашний стол и истребят восемь неподъемных американских бифштексов — по числу членов семьи. После обеда поедут в гости к его матери, ей 82 года, там будет и ее брат, ему 92. Не обедать к матери, а пообедав,— к матери.

Когда мы уезжали, я спросила Дона, что он считает своим главным достижением за двадцать лет бизнеса.

— Главным успехом я считаю то,— сказал он очень взвешенно,— что мне удалось создать хороший коллектив.

— Где мы находимся? — закричал я, повернувшись к Виктору Федоровичу.— На Ахтырском комбикормовом заводе Сумской области или в штате Айова?

Стало быть, так. Америка — это страна, где хозяин завода может заговорить с вами языком нашего даже не директора, а парторга, дай Бог ему здоровья в эти трудные времена. Правда, рабочих на таком нашем заводе раз в десять больше, а колхозные быки от его продукции могут не набирать вес, а терять его, но это уж как водится.

Когда я впервые в жизни попал в американский продмаг, то включил магнитофон и стал в него рассказывать, что было перед моими глазами. В Мо-

скве отдал пленку машинистке. Возвращая мне ее вместе с напечатанным текстом, она призналась, что была удивлена, как мало у меня печатных слов для выражения сильнейших чувств. Оказывается, на пленке только и было: «Йо-о-мое!» да мать-перемать. Насчитал тридцать видов фруктов — «Йо-о-мое!», а оставалось еще девять. 35 видов овощей. «Йо...» Ассорти из бобов, большущая банка. Один доллар пятнадцать центов. «Даром, йо-мое, даром!» Арбуз. Без натуги не поднять. Девять центов фунт... Сливы, которые крупнее наших яблок. Картошка. В больших мешках и малых. Мытая и немытая. Штучная — трехсотграммовые клубни. В корытах живые раки-лобстеры, слышится сырое шуршание со связанными клешнями, каждая в ладонь молотобойца. Куры и цыплята. Отдельно — гора лапок, гора потрохов, гусиная печенка. Мороженого — «йо-мое!» — около тридцати видов. Десятка полтора готовых мясных и овощных блюд... Люди в этом раю гуляют с телегами, у кого маленькая, у кого большая, кому какая нужна, у кого очень большая: вон сидит в ней рослый, лет десяти, негритенок, обложенный ананасами, тыквами, грушами, мамаша — толстая, красногубая, толкает эту телегу и все швыряет в нее и швыряет... А вон белая, в голубых полосатых штанах до колен — та троих посадила, верещат, как скворцы, я подмигнул — как будто ждала, рот сразу до ушей... А вин, слушайте, сколько, а пив, а печений-варений! Маринадов видов сорок, а может, это и не маринады, черт их разберет, а жратва для кошек, для собак в таких аппетитных банках, что... ну да ладно. Причем, что творят фабриканты собачьей еды — они добавляют в нее вещества, которые делают ее такой вкусной, что пса за уши не оттянешь, жрет, как слепая лошадь..

Вот что мы должны сделать, говорю я Виктору Федоровичу: стать на уши, но добиться, чтобы в программу визита нашего сельскохозяйственного вождя включили посещение обыкновенного американского продмага. Если и после этого он будет за колхозы-совхозы да за свой дурацкий Агропром, я не поверю. Я буду совершенно убежден, что ему нужна власть и больше ничего,— что думает он не о народе, не о сельском хозяйстве, а о себе в сельском хозяйстве.

(Затея выгорела. Повели его с его людьми в продмаг, повели, а он пошел, смелый человек, кажется, первый из наших вождей такого ранга, кто видел буржуазный продмаг. Покупателей, естественно, не выгоняли. Виктор Федорович был в свите, потом мне рассказывал. Впереди шел сам — быстро, почти не глядя по сторонам, с хмурым лицом, сзади — члены делегации, знатные председатели среди них, то ли один, то ли два. Никто не разрыдался, не стал рвать на себе рубаху, никто не закричал, какие же мы преступники перед своим народом. «Неужели никто себя не выдал?» — спрашивал я Виктора Федоровича. Он подумал: «Знаете — зрачки. Только зрачки. Как пятаки».)

После того как мы один раз побывали в продмаге, Лиза-миллионерша, бывшая нашим шофером, нет-нет да и скажет где-нибудь по дороге: «Не хотите ли посмотреть продмаг?» — «Да видели же!» — «Но мне интересно наблюдать, как вы реагируете». Плохо я реагировал, никакого патриотизма не проявлял.

Ну вот. Америка — это страна, где продмаг ничем не может поразить настоящего советского патриота. Или лучше так: настоящий советский патриот — это человек, которого не может поразить американский продмаг.

...Фермерский банк устраивал нам поездку в районную Сельхозтехнику: это предприятие по продаже и обслуживанию тракторов и сельхозмашин. Главная фигура там дилер, продавец-наладчик. Этот дилер должен был нас ждать в двенадцать часов, но встречены мы были кассиром. Оказывается, к ним приехал покупатель, фермер с женой, вон стоит их машина («фордище»!), а вон они сами. В некотором отдалении возле 180-сильного трактора с колесами в рост человека задумчиво стояла эта пара, мужчина в неприметном пиджаке и полная женщина, как-то влезшая в красные штаны, а вокруг них мелким бесом вился дилер, в костюме с иголочки, наверняка пахнущий лучшим одеколоном.

— Понимаете,— объяснил нам кассир,— мы долго ждали этого покупателя, приедет и уедет, приедет и уедет, а сегодня, кажется, решился *брать*. Это большая удача, трактор стоит сорок шесть тысяч, с деньгами у фермеров сейчас туго.

Пока мы осматривали заведение, дело продвинулось. Последняя картина была такая. Мы уезжаем, а фермерша уже в кабине, подпрыгивает на сиденье, испытывает его своим весом.

— Вы можете себе представить,— сказал я Виктору Федоровичу в машине,— чтобы к управляющему Кириковской Сельхозтехникой секретарь райкома привез двух американцев, а тот в это время — мелким бесом вокруг председателя, собравшегося наконец брать «Кировца»?..

В Кун-Рэпидсе мы искали Ральфа Виллера, инженера-самоучку, который вместе с фермером Гарстом построил в этом городке первый в мире калибровочный завод: сами, вдвоем, его придумали, нарисовали и на свои деньги построили. Нашли Ральфа в местной богадельне. Это был случай посмотреть, что такое богадельня в американской глубинке. Это санаторий среди сосен на шестьдесят человек, ухаживают за этими шестью десятками стариков почти полсотни человек, молодые женщины, многие с высшим образованием. Для заметного места в таком заведении — наподобие воспитательницы надо специально учиться. Про чистоту, про цветы, про еду не буду рассказывать. Скажу только, что поразило больше всего. У них есть парикмахерская, оборудованная так... так, как надо, штатная парикмахерша. Мы заглянули — в кресле (не сразу заметили!) — сидел божий одуванчик и над горсточкой ее волос колдовала девушка-мастер, да, все старушки прибранные, как в церковь,— церковь здесь же, это большая комната, по-нашему красный уголок, можно и в город выйти в одну из пяти церквей,— на полторы тысячи семей пять церквей, потому что люди разных религий, в одной — священником молодая женщина из немцев Поволжья, училась на искусствоведа, она художница, на предпоследнем курсе университета углубилась в религию. «Как вы их моете, как?» — спросил я, когда увидел, сколько среди этих людей совсем беспомощных, сидят безучастно, растительно в креслах, но чистые, кожа светится, одежка благоухает... Мне показали ванное заведение. Возле ванны кресло. Дюжая служительница сажает в это кресло человека, поворачивает, опускает — и вот он уже вместе с креслом в воде... Богаделен в Америке, наверное, не меньше, чем школ, это целая отрасль народного хозяйства, со своей наукой, системой подготовки кадров. Ральфа Виллера, уже старика под девяносто, мы нашли в уютной комнате метров на пятнадцать, широкое окно выходило в сад...

— Как вы тут,— спросил Виктор Федорович, встречавшийся с Ральфом, когда тот был в силе.

— Как дома,— спокойно ответил старик. Он мог бы сказать и без *как*. Просто: дома. Дело в том, что богадельня построена на его деньги. Он, еще когда был в силе и славе, решил: построю богадельню и забронирую себе в ней комнатку...

Другого похожего старика мы встречали в Де-Мойне. Это был Тим Розенфилд, человек, который давно не то что не знает, а не интересуется, сколько у него денег,— у него сотни магазинов и... чего только нет. Авторитет непререкаемый. В дело, которое он решает поддержать, деньги текут рекой. Когда Никсон решил рваться в президенты, Тим, ненавидящий этого жулика всеми фибрами души честного еврея из Одессы, составил список богачей, которых приглашал участвовать деньгами в борьбе против него. Этот список стали называть списком порядочных людей Айовы. Он забыл включить туда своего друга Джона Кристалла, тот до сих пор обижается. Тим оправдывается: ну, бывает, забыл... Когда Джон сделался президентом банка в Де-Мойне (были мы там у него, могу сказать одно: тридцать четыре этажа, на последнем ресторан для персонала), ему пришлось переезжать из глубинки, где жил до этого. Квартиру он нанимать не стал, поселился у Тима, тот холостяк и этот холостяк, Тим — старый холостяк, ему за восемьдесят, Джон — молодой холостяк, ему шестьдесят два... Вот мы и были в их берлоге. В зеленом тихом районе города Тим выстроил десятиэтажный дом, все квартиры раздал старым людям — не комнаты, а обыкновенные квартиры. Одну оставил за собой. Дом это вот какой. Кто из вас был в доме у Никитских ворот в Москве, где жили некоторые члены

Политбюро... Не были? А я один раз был... Ну, ковры, цветы, размеры, лифт такой, что в нем можно жить, у лифта — стол с газетами, бери читай, не лезь в карман за монеткой. Вот такой дом выстроил для одиноких бедных стариков Тим Розенфилд.

В просторных сенях этого дома (очень культурные русские люди в свое время, стесняясь этого слова, заменили его словом «холл») — как в гостинице: большие кресла вокруг журнальных столов, напольные светильники (те же люди наименовали их торшерами и довольны...), цветы и деревья в кадках. Квартира у мистера Розенфилда, по американским понятиям, обыкновенная: кабинет, гостиная, спальня, большая кухня. Принимал нас в кабинете, сидел, свесив руки, в глубоком кресле, в больших очках, говорил о своих ногах — побаливают, о приятелях — одному недавно оттяпали левую из-за диабета, другой помер. По дороге сюда Джон нам сказал, что на днях старик дал полтора миллиона одной школе, перед тем — сорок с лишним миллионов университету. В лифте предупредил: не заговаривать об этом с Тимом. Это неприлично — то, что Джон назвал нам точные суммы. Можно сказать: много денег пожертвовал, довольно много — и только... В кабинете у Тима был включен, несмотря на жару, обогреватель, какой-то допотопный, копеечный, гудел, как наш. Джон объяснил: это неважно, пусть гудит, его друг глухой, а это у него причуда: не любит тратиться на себя, миллионы раздает направо-налево, а сам в одном костюме годами... Раздавать миллионы, если хочешь делать это с толком, очень непросто, это работа, ею старина Розенфилд и занят последние десять лет, тут много тонкостей и забот: не дать себя надуть, втянуть в сомнительное дело.

Виктор Федорович спросил Джона, что привезти его другу в подарок в следующий раз.

— Привезите ему маленькую баночку икры — побалуйте старика,— сказал Джон.

Во всех присутственных местах в айовской глубинке — от почты до банка — мы видели один и тот же снимок. Два мужика трех-четырех лет от роду в фермерских картузах понуро стоят у изгороди. «Ты долго был фермером?» — спрашивает один неудачник другого. Везде кто-нибудь сообщал нам, что этот снимок сделал такой-то человек из такого-то штата и на деньги, которые принесла ему эта творческая удача, он выучил детей. Ни в ком не заметили мы и тени возмущения этой вопиющей несправедливости: один удачный щелчок фотоаппарата — и вон сколько денег, тогда как шахтер всю жизнь сгибается в три погибели в лаве, а доярка — под коровой, а сталевар у мартена, а хлебороб...

Америка — это страна, в душе которой есть все, но вот этой мути нет. Вообще-то есть, но у единиц, которых не пускают к власти.

А вот зарезать свою свинью и привезти ее в райцентр на базар человек тут не может, для этого надо быть мясным торговцем: сдать экзамен, получить разрешение открыть дело... Мы с моим племянником в селе Старая Рябина закололи свинью, кинули ее в багажник «Москвича» и, никого не спрашивая, повезли на станцию в буфет. Не ценим мы своей свободы. Отвезли свинью, получили пятьсот рублей, положили в чулок, будет время — обклеим стены.

На любой улице любого американского города, даже Вашингтона, можно увидеть машину, с которой на ходу осыпается ржавчина, нам попадались чаще огромные фермерские полугрузовые «форды». Боже, как я завидовал гражданам этой страны! Государству нужно только одно: чтобы твой драндулет был исправен. А когда ты его мыл, сколько дырок в крыле, как ты его раскрасил... никого не касается. Я 15 лет вожу машину. В первые годы, когда остановит, бывало, государство в лице гаишника: «Почему немытая?» — я отвечал: «Потому что я покупал ее не мыть, а ездить». Сейчас говорю просто: «Виноват». Себе дешевле...

Вот: Америка — это страна, где никому ни до кого нет дела, государству безразлично даже то, мыл Джон Смит свою машину или нет.

Наконец, Америка — это страна, где можно почувствовать, чтó такое трудности жизни, чтó такое это напряжение человеческого существования, когда знаешь, что можешь все приобрести и все потерять, чтó значит — самому отвечать за себя, надеяться только на себя. Американцы хотят сделать и уже начинают делать нечто более грандиозное, чем полет на Марс: такое сельское хозяйство, которое включалось бы и выключалось, как насос. Есть спрос — включил; нет спроса — выключил. Это сказка. Тут две трудности: как быть с техникой, когда оно выключено, и как быть с людьми — чем их занимать, на что содержать... Америка — это страна самых больших, но и самых достойных человека трудностей. То, что у нас,— не трудности, а мучения, нескончаемые и бессмысленные. Мы не знаем еще, что такое настоящие трудности. Только мучения, только мучения...

Карен Степанян

НУЖНА ЛИ НАМ ЛИТЕРАТУРА?

(ЗАМЕТКИ О ПРОЗЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА)

Несколько месяцев назад критик Татьяна Иванова в статье «Игра закончена» («Книжное обозрение», № 35) рискнула высказать то, о чем — про себя — поневоле приходилось задумываться все чаще. В тех жарких баталиях и спорах, которые составляли в последние годы весьма заметную часть литературного процесса, утверждала она, всего-навсего сублимировались, находили выход наши невостребованные или прямо запрещенные государственной системой страсти и чаяния. «Мы все притворялись, когда спорили о литературе. Мы были лишены возможности говорить о свободе — и притворялись, что для нас просто жизненно важны художественные свойства какого-то произведения». К примеру, не о «Детях Арбата» был спор — о сталинщине, не об «Игре» — а о том, допустимо ли «смеяться» над литературными генералами «и над другими генералами, не только литературными». Теперь же, когда необходимость в таком заменителе отпала, литература перестанет занимать главенствующее место в нашем общественном бытии. «Литература... была дрожжами». Ныне «тесто забродило... Когда же до пирогов дойдет, о дрожжах никто, кроме хозяйки, и не вспомнит».

«Или я не права?» — задает в конце вопрос Т. Иванова, однако в контексте всей статьи это уже вопрос риторический. Но неужели все-таки — права, и в скором времени, да и сейчас уже, литература не понадобится никому, кроме профессиональных литераторов и весьма малочисленного круга читателей?

* * *

В застойные годы порой приходилось отвечать на вопрос (заданный кем-то или — самому себе, в минуты отчаяния): не бросить ли все и не уехать ли в иные края? Но на подобный вопрос многие мои друзья-литераторы (и я сам) отвечали: да разве можно, занимаясь литературой, уезжать отсюда, пока хоть что-нибудь из написанного удается здесь пробить в печать и пока ты чувствуешь: кому-то, пусть немногим, это нужно?! Ведь литература — конечно, далеко не всегда включавшая в своей «печатной» части лучшее из того, что писалось, ограбленная, лишенная многих шедевров,— это единственное, что оставалось миллионам соотечественников, отрезанных не только от какой-либо иной духовной пищи, но нередко и от самого что ни на есть хлеба насущного. Ну где вы еще найдете страну, в которой сугубо профессиональные проблемы изучения древних летописных памятников могут страстно занимать сотни тысяч людей (вспомните бум «самодеятельных» исследований, буквально хлынувших в адрес юбилейного комитета по «Слову о полку Игореве»,— об этом писала тогда «ЛГ», а еще раньше — «государственный» скандал вокруг книжки О. Сулейменова «Азъ и я», после чего она передавалась на ночь почитать, почти как самиздат, да и изымали же ее из библиотек), в которой имена иных критиков даже более известны, чем имена писателей (в студенческие годы, далеко от Москвы, узнавал жизнь и готовился к будущему по Л. Аннинскому, И. Дедкову, И. Золотусскому, В. Камянову, а потом, уже работая в «ЛГ», читал такие отклики на наиболее удачные выступления газеты откуда-нибудь с Сахалина или из Саратова, что тысячу раз благодарил Бога за счастье — заниматься литературой здесь)?

Но все это, конечно, следствие. Главное же в том, что точно сформулировал в одном из недавних выступлений по ТВ ленинградский литературовед А. Панченко: когда с восемнадцатого века резко сократилась на Руси канонизация новых святых, их место для миллионов мирян заняли писатели. Руководителями всего нашего бытия были они — и до 1917 года, и после. Горе тем, кто не соответствовал этому званию или вел не туда, но было немало истинных духовных наставников, они и спасали. Публикация «Мастера и Маргариты» — чудо! — на десятилетия потрясла страну, определив мышление нескольких поколений. Самиздат расходился не так широко, как сейчас кажется, но для тысяч и тысяч людей пробуждение к сознательной жизни начиналось с того дня, когда они впервые прочли «Архипелаг ГУЛАГ», «Собачье сердце», «Чевенгур», «Доктор Живаго», «Дар». Было совершенно понятно, что власти запрещают это — ведь если завтра это прочитают все, то послезавтра окружающая нас лживая система рухнет сама собой, ибо исчезнет заклятие...

У каждого из нас накопилось за время перестройки немало шоковых впечатлений. Мне одно из самых сильных потрясений испытать довелось тогда, когда я увидел в киоске «Союзпечати» два дня подряд набоковский «Дар», спокойно лежащий рядом с какими-то пособиями по домоводству. Помню, в семидесятые годы брал эту книгу почитать у своего родственника — а у того она запиралась дома в сейфе. И читать ее следовало в одиночестве, ибо на вопрос «где взял?» ответить что-либо вразумительное было невозможно. Глотал страницу за страницей, замирая от счастья, от того, что *такое* можно извлечь из языка, что так можно увидеть мир и историю.

И вот теперь оказывается, что тысячам людей, проходящих в день мимо киоска, книга эта не нужна?! И «Вехи» не нужны (тоже лежали, правда, недолго, уж и вовсе в центре города, в киоске на площади Революции)? И «Стихотворения» Мандельштама (по шесть рублей! уже месяц лежат; да выставили бы сборник Мандельштама впятеро дороже лет десять назад — через пятнадцать минут не только всего тиража, но, пожалуй, и самого киоска не было бы)?

Может быть, просто рынок, наконец, насыщен? Но, во-первых, чтобы насытить такими книгами рынок, еще недавно нужны были по меньшей мере десятимиллионные тиражи. Во-вторых, не только же на визуальных наблюдениях я основываюсь. Еще летом довелось услышать от выпускника Литературного института (!) такое, теперь и неоригинальное мнение: «А я Солженицына не читаю. Во-первых, это уже история, неинтересно, во-вторых, устал от идеологической литературы, хочется настоящую почитать... Вот рядом с Солженицыным в «Новом мире» повесть Сола Беллоу — это то, чем должна заниматься настоящая литература».

Конечно же, такие наблюдения есть не у меня одного. И выходит, Т. Иванова права; более того: издáли Платонова, Пастернака, Булгакова, Мандельштама, Солженицына, наконец,— даже они оказались нужны немногим; когда началась подлинная, не *обманная* жизнь, одни занялись прямой политикой, другие бизнесом (вернее — обустройством своих дел), а третьи отвергают книги названных авторов по той же причине, по которой ранее отвергали советский официоз: литературу идеологизированную они таковой не считают, предпочитая ей — **настоящую**, дающую лишь эстетическое наслаждение; остальной же читатель целиком перешел на щедро поставляемые кооператорами детективы, скандальные «хроники» и сексуальный ликбез?

Все это необходимо осмыслить, ибо речь идет, безо всякого преувеличения, о нашем будущем.

Прежде чем перейти к ответу на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, необходимо разобраться с одним распространенным ныне представлением, вернее, очередным мифом. Миф этот с легкой руки его явных (литературных), а может быть, и скрытых (внелитературных) авторов успешно принимается на веру многими, вследствие нашей долголетней отвычки от самостоятельного критического анализа. Речь о том, что возвращаемая ныне литература есть будто бы двойник литературы социалистического реализма, а обе они — закономерное порождение русской классики, с таким набором основных родовых черт: примат идеи над художественностью, неприкрытая тенденциозность, учительство, стремление охватить все сферы человеческого бытия — объяснить читателю, как надо работать, любить, о чем надо думать, во имя чего, наконец, надо жить; от замены же «плюса» на «минус», коммунизма на антикоммунизм ничего, в сущности, не меняется. Мы же настолько-де устали от всех тех, кто десятилетиями учил нас жить, что предпочитаем обойтись ныне вовсе без учителей, тем более без учителей с подобными глобальными претензиями.

В первые годы перестройки часто доводилось слышать о тех, кого надо было на деле лишить власти над нами, такие жалобы: ну так же нельзя, товарищи,— вы опять единогласно голосуете «против» (против ставленников партаппарата у власти, против 6-й статьи, против «Памяти» и т. п.). Вы же за плюрализм, товарищи, а сами прежнее тоталитарное единомыслие повторяете, нехорошо. Сейчас уже научились распознавать подобную демагогию [1], но в свое время она кое на кого действовала. Такое же уподобление понятий — вне зависимости от их идейного содержания — мы совершаем в том случае, когда, одурев от социалистического реализма, отвергаем всякую литературу, которая объясняет мир, чему-то учит и к чему-то призывает. Литература в принципе не должна и не может воспитывать, учить и призывать — утверждаем мы теперь.

Эта точка зрения, казалось бы, может быть поддержана мнением такого авторитета, как В. Шаламов, чье слово обеспечено опытом тягчайшнх даже для XX столетия мучений: «Я не верю в литературу. Не верю в ее возможность по исправлению человека. Опыт гуманисти-

---

[1] Что, впрочем, не мешает использовать ее при отсутствии иных аргументов и ныне: к примеру, действия тех печатных органов, которые освобождаются от диктата властей и аппаратчиков из СП СССР, именуются (секретариатом СП, газетами «Литературная Россия» и «Московсиий литератор»)... волюнтаризмом «застойиого типа».

ческой русской литературы привел к кровавым казням перед моими глазами» («Новый мир», 1989, № 12).

О Шаламове и его прозе я бы хотел поразмышлять ниже, пока же скажу, что мы должны сделать ныне то, что не довелось за все долгие десятилетия Советской власти: разоблачить миф о русской классике как идейном вдохновителе и организаторе русских революций — миф, созданный самими революционными «бесами», которым очень хотелось сочинить себе благородную генеалогию. И здесь надо прежде всего задуматься вот над чем: кого мы относим к русским классикам — исходя из основополагающих мировоззренческих ценностей, из того, каким виделся писателю путь к народному благу, что позволял он человеку на этом пути. С данной точки зрения — допускаю, что многие не согласятся здесь со мной,— не считаю возможным отнести, скажем, Чернышевского, Добролюбова, Писарева и других писателей и критиков подобной социально-философской ориентации к русской классике. К истории русской литературы и русской общественной мысли — безусловно [1]. К русской же классике — и, соответственно, к ее продолжению в веке нынешнем — я отношу только те произведения высокого художественного уровня, авторы которых стояли на позициях безусловной ценности каждой человеческой личности как создания Божьего и недопустимости любого насилия по отношению к этой личности, физического либо духовного, с любой, самой благородной целью. Русская классика призывала помогать любому страждущему, находящемуся в бедах, печалях и скорбях человеку, независимо от его социальной принадлежности, русская классика учила и убеждала, что единственно верный путь изменения дурных общественных отношений — личное самосовершенствование, что всякое изменение общества через насилие губительно, в том числе и для самих насильников, что в духовном смирении и служении людям — высочайшая доблесть и подлинное мужество человека. На этом же основаны и произведения Пастернака, Булгакова, Платонова, Солженицына. Будем ли мы утверждать, что это то же самое, чему учила нас советская пропаганда и ее верный рупор — официозная советская литература? Или что тот и другой ряды ценностей одинаково нужны и важны для человека?

Пусть так, ответят мне, но нам сейчас не нужен ни тот, ни другой ряд ценностей. Воспитанием тех, кто стремится к нравственному совершенству, займется Церковь — благо, теперь здесь нет препятствий, литературе же отведено будет то отнюдь не главное место, которое ей положено занимать в культуре. Литература должна доставлять эстетическое наслаждение или развлекать. Да и способна ли она на большее? Вот уже пять с лишним лет печатается все что угодно,— а стала ли жизнь лучше? Вывод, кажется, ясен?

Да, с бытовой точки зрения жизнь стала хуже. Но уверены ли мы в том, что она не станет еще хуже — и намного? Не повышение цен и не новые дефициты страшней всего для нас, а неконтролируемый выброс злой, отрицательной энергии, все более накапливающейся ныне в людях. Выброс, обычно приводящий к соответствующим социальным изменениям.

Самым главным результатом пяти лет гласности я считаю утверждающееся (только-только) понимание того, что источники всех зол и бед находятся в глубине души человеческой, а не в социально-экономических системах, что не один лишь Сталин — и не Гитлер, и не Ленин, и даже не Маркс — повинен в тех бедах, которые обрушились на нашу страну в XX веке. Отчего вдруг в христианском народе с древней и богатой культурой появляются, как из-под земли, сотни тысяч изощреннейших садистов и палачей, отчего веками жившие бок о бок люди вдруг яростно начинают делиться по национальному признаку и доказывать, что соседний народ — ошибка природы, отчего огромный народ десятилетиями терпит власть кучки бандитов, отчего любящий отец семейства одним мановением руки обрекает на муки радиоактивного заражения тысячи детей, отчего родители убивают детей, а дети — родителей, отчего люди, зная, как надо жить, и видя, как надо жить (ведь праведники на Земле не перевелись же!), так не живут? Не хотят или не могут?

Если мы на все эти вопросы не ответим — нам не выжить. Для тех, кто не любит говорить о человечестве, продолжу о нашей стране. Мы все за эти годы начитались и насмотрелись ужасов лагерной жизни, истязаний и надругательств сильных над слабыми, еще и еще раз доказывающих, «как далеко ушел человек от зверя» (В. Шаламов). Наверно, не одного меня мучил при этом вопрос: неужели такое количество потенциальных садистов может содержаться в народе, вернее, так: неужели столько зла может находиться в человеке — и ждать только санкции свыше?

«Зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты»,—

[1] Не буду занимать читателя подробной аргументацией: основной аргумент точно сформулировала Н. Морозова в мудрой книге «Мое пристрастие к Диккенсу»: «...в последней четверти XX века, когда торжество насилия стало буднями нашего мира, нелишне вспомнить, что все имеет свое начало. И с людей, провозвестивших (еще в XIX веке — Бакунин, Нечаев, Ткачев и другие [в литературе им соответствуют названные выше авторы.— К. С.]) осознанную необходимость насилия для воцарения всеобщего счастья и тем освободивших от угрызений совести по этому поводу,— с ведающих, что творят,— спросится за жизнь жертв, за искалеченные души поверивших им». Письмо В. Шаламова к И. Сиротинской («Новый мир», 1989, № 12) позволяет сделать вывод, что, говоря об исторической вине «русской гуманистической литературы», он имел в виду именно это ее направление.

писал более века назад Достоевский. Когда мир ужасался зверствам турецких янычар, сдиравших живьем кожу с пленников-болгар на глазах их детей, он предостерегал: не надо думать, что это лишь где-то там, на краю Европы, в дикой стране: «...Если б чуть-чуть «доказал» кто-нибудь из людей «компетентных», что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно и... «цель оправдывает средства»» — то, предупреждал Достоевский, «за нами, может быть, дело бы и не стало... тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых», и неизвестно еще, избегли бы этой участи дети, мирно гуляющие сейчас по Невскому. «Бог знает чем чреват еще мир и что может дальше случиться, даже и в ближайшем будущем». Над этими предупреждениями тогда смеялись, а между тем детям того времени к началу колымского периода русской истории было 45—50 лет...

Можем ли мы утверждать, что с этим таящимся в глубине душ людских злом покончено? Не думаю. Но для того, чтобы распознавать зло, видеть пути его и противостоять ему, нужен свет. А свет несет литература.

В нынешних условиях чрезвычайно важным становится одно из основных качеств подлинной русской литературы: она учит и призывает человека обустраиваться не только внутри себя, не только в маленьком мирке своего дома, своей семьи и своих близких, и (что очень важно) не только в рамках своей нации и государства — но в рамках всего человечества, всего мироздания, помня о ближних и дальних.

И еще одно. Недавно, участвуя в обсуждении книги Ю. Карякина «Достоевский и канун XXI века», А. Адамович сказал: перенесенные нашими народами в XX веке невероятные муки сделали нас — по глубине постижения человеческой природы даже рядовыми гражданами — народом «маленьких Достоевских». Адамович считает, что это несчастье для людей. Безусловно, так; но если хоть чем-то возможно искупить муки миллионов невинных жертв (и если не кощунственно так говорить и думать) — то только постижением той правды о человеческой природе, глубинных источниках добра и зла в ней, которые открылись при этом. Правду эту концентрирует в себе именно литература, являющаяся в нынешних условиях высшим выражением духовной жизни нации.

Посмотрим, насколько оправдывает мои рассуждения проза последнего года.

* * *

В конце прошлого года многие считали, что нынешний, 1990-й, станет у нас «годом Солженицына» — его проза готовилась к выходу сразу в нескольких журналах. Год на исходе, и хотя из-за безобразного состояния нашей полиграфии к моменту написания статьи еще и «В круге первом» не был кончен печатанием, все же количество номеров различных журналов с текстами Солженицына приближается к полсотне, четыре всесоюзных журнала печатают различные «узлы» эпопеи «Красное колесо», отдельными изданиями вышли «Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом». Стал ли, однако, 1990-й «годом Солженицына»?

Иные ответят — нет, исходя из того, что проявляющееся все заметней отречение людей от литературы не остановлено и не повернуто вспять публикациями Солженицына; может быть, даже напротив: именно эти публикации послужили для кого-нибудь из тех, кто начал читать и бросил, или перелистнул,— последним и самым веским доказательством того, что не от литературы все-таки придет спасение. Да и откликов в печати на роман «В круге первом», на «Красное колесо», на «Архипелаг...» пока очень мало.

Конечно, чтобы осмыслить столь масштабные произведения, нужно время, да и не завершены еще журнальные публикации. Но какие-то наблюдения и выводы — для ответа на интересующий нас в данной статье вопрос — мне кажется, можно сделать уже сейчас.

В нашей стране, конечно, немало тех, кто уже прочел все публикуемое ныне — но большинство все же читает художественную прозу Солженицына впервые («Один день Ивана Денисовича» тоже ведь очень недолгое время и не всем был доступен). Будь это все напечатано лет пять-шесть назад — советский читатель задохнулся бы от обилия нового знания, рушащего многие прежние представления о мире, о нашей истории. Но как раз с данной стороны произведения Солженицына претерпели наибольший урон от столь долгой задержки с публикацией. Многие факты и сведения (а подчас и их трактовка), разоблачение мифов советской пропаганды, подлинная, а не «легендарная» история тех или иных событий — за годы перестройки стали уже известны здесь из документальных источников.

Чем же важна эта проза для нас сейчас?

Тут я позволю себе небольшое отступление.

В повести Л. Бородина «Расставание» («Юность», 1990, №№ 7—9) есть такой второстепенный, а на мой взгляд, один из самых удавшихся автору персонажей — отец главного героя, циник и преподаватель марксизма-ленинизма в вузе. В минуту откровенности он поучает сына, претендующего на роль интеллектуального оппозиционера: «Социализм победил хотя бы уже тем, что выработал безобидную для себя форму оппозиции. Вот ты, к примеру, разве ты опасен социализму?.. Власть — продукт целой эпохи, итог тысячелетнего инстинкта, и десяток интеллигентов, не согласных друг с другом, ей не опасен...» В романе В. Кормера «Наследство» («Октябрь», 1990, №№ 5—8) — одном из безусловных от-

крытий нынешнего года, о нем речь впереди,— карьерист и приспособленец Понсов издевательски кричит диссиденту Мелику: «Как же, разрушишь ее (систему.— К. С.)! Ее многие вроде тебя хотели разрушить, да ничего не выходит!» Читая все это, задумываешься: действительно, что же разрушило в конечном итоге эту, казавшуюся многим незыблемой систему? Диссидентское движение? Едва ли оно было решающим фактором, система могла еще и не один десяток лет содержать его в своих недрах, да и шло оно к восьмидесятым годам на убыль. Экономический развал? Но из богатейшей нашей страны можно было еще какое-то время выжимать последние соки, да и трудящихся можно было бы поэксплуатировать — резерв закручивания гаек был. Мне кажется, что система сломалась на... рядовой личности. Личность человека — то, что никогда реально не учитывалось в социалистических теориях, несмотря на всю демагогическую мишуру. Личности здесь, проницательно указывал еще в начале века русский философ С. Булгаков, «погашаются в социальные категории, подобно тому, как личность солдата погашается полком и ротой, в которой он служит». Но когда воинский пыл иссякает, выясняется, что каждый солдат — это целый мир, нужно или централизованно учесть интересы и заботы каждого из трехсот миллионов, или дать каждому свободу. Ни того, ни другого система сделать не в состоянии, личности для нее могут существовать только в виде послушных элементов, «винтиков», обратное обретение ими человеческого лика (со всеми человеческими достоинствами и пороками) приводит к проседанию и обвалу всей системы.

И вот что — возвращаясь к Солженицыну — интересно и важно. С самого начала своей *эпопеи* «Красное колесо», посвященной решающим в новейшей истории России, да и всего мира годам — 1914—1917, он заявляет о принципиальном неприятии толстовской теории, согласно которой личная воля индивидуума ничего не значит и ход истории творится фатально предопределенным движением людских масс (цепляясь за эту теорию, соцреалисты долго пытались «заявить» Толстого в качестве своего предшественника). По убеждению автора «Красного колеса», ведущую роль в истории играют именно личности. Сочетание же художественных особенностей эпопеи и особенностей текущего момента приводит к тому, что главным героем этой прозы становится... читатель!

Попробую пояснить свою мысль.

Здесь есть вымышленные герои и романические связи между ними, но судьбы их отнюдь не представляют для автора и для читателей главного интереса. Притом образы выписаны сильно и глубоко, их жизнью проникаешься и порой досадуешь на то, что, едва возникнув, некоторые из них исчезают надолго, пока не догадываешься, что все эти герои нужны, чтобы вовлечь тебя по-настоящему в судьбу основного героя — России, не исчезающей из нашего сознания и поля зрения автора ни на минуту. Боль за судьбу России, за гибель лучших ее сил в бессмысленной войне (первой мировой), оттеснение на задний план, в вакуум бездействия всех умных, сильных, честных, преданных стране и народу людей и возвышение одержимых жаждой власти безответственных горлопанов — боль эта по мере чтения нарастает, становится нестерпимой, определяет главный эмоциональный фон произведения. Но при этом читательское сострадание Родине и народу не становится абстрактным, ибо постоянно совмещается с состраданием отдельному частному человеку — благодаря выбранному автором ракурсу. Вот артналет перед атакой: «Гигантские цепы обходили их (русских солдат.— К. С.) ряды и вымолачивали зернышки душ для употребления, им неизвестного,— а жертвам солдатским оставалось только ждать своей очереди. И недобитому, и раненому — только ждать своей второй очереди». А вот русский заградительный полк, оставленный на верную гибель на далекой прусской земле: «Отрезано: такие ж как мы, другие — уходят, уйдут, вернутся домой, а мы не должники их, не родственники, не кровные братья, останемся умереть, чтобы они жили после нас.

Что в тот день передумали обреченные, взглядывая в небо голубое, а чужое, на чужие озера и чужие леса? — то там осталось, погребено в русских братских могилах, которые при немцах и до второй войны еще сохранялись под Деретеном» («Август Четырнадцатого»).

Тайну художественного воздействия невозможно представить умозрительно, но те, кто читал (или читает это произведение сейчас), наверняка почувствовали то, о чем я говорю: автор по мере чтения буквально насыщает нас любовью к России, которой сочувствуешь и сострадаешь больше, чем сострадал бы вымышленному или реальному герою традиционного романа, больше — потому что тут речь идет о судьбе сотен тысяч, переживаемой въяве. Патриотический настрой этого произведения разительно отличается от того болезненно-взвинченного и недоверчиво-агрессивного эмоционального состояния, которым — именно под видом патриотизма — пытаются заразить читателя иные наши литераторы и печатные издания. Патриотизм «Красного колеса», во-первых, основан на любви к своим и уважении к другим, а не на ненависти, во-вторых, исполнен веры в духовное величие России и лишен поэтому мелочной подозрительности и стремления всюду искать внутренний заговор, а в-третьих, зиждется на принципе свободы. Права каждой личности на свободу мысли, на свободный выбор пути.

Писатель разворачивает гигантскую

историческую панораму, снабжает нас невиданным для художественного произведения обилием документального материала, который, коль скоро речь идет о судьбе главного героя эпопеи — России, читается с таким же интересом и соучастием, как личная переписка или дневники персонажей в каком-нибудь романическом сюжете. Все это отнюдь не для того, чтобы раз и навсегда научить нас, как следует понимать этот период истории России и отделить правых от виноватых.

Читая обо всех этих бесчисленных потерях — «убитыми, ранеными, измученными... отвращенными... Ничем это не возместится. Никогда»,— происходивших по причине бездарности и эгоизма военного и гражданского руководства и шаг за шагом, неумолимо, буквально на наших глазах приближающих страну к катастрофе, жертвы которой будут уже вовсе неисчислимы, постоянно испытываешь мучительную боль при мысли о том, что ведь все (если бы Россия хотя бы вовремя вышла из войны) могло, могло пойти иным путем и скольких ужасов мы избегли бы, скольких мук и какой крови, и детских страданий...

Но «о том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души,— сказано на первых же страницах первого романа эпопеи — «Август Четырнадцатого».— Душа же верующая утверждается на том, что есть, на том растет — и в этом ее сила». Поэтому основная задача, стоящая перед читателем эпопеи и крайне важная именно сейчас,— осмыслить все происшедшее, определить главные причины беды и найти в соответствии с этим свою линию поведения в настоящем. При этом прочувствовав как бы на самом себе — и в этом преимущество подлинно художественного произведения перед любым трактатом или статьей — многообразие «правд», их *живую* убедительность, ощутить всю тяжесть личного выбора.

В статье «Сквозь звезды к терниям» («Новый мир», № 4) М. Чудакова проанализировала такое непременное качество советского официозного литературного процесса, как инфантилизация читателя и — одновременно — обращающегося к нему автора. Советского читателя старались особо не обременять размышлениями, все интеллектуальное содержание предварительно «разжевывалось» и предлагалось в виде готовых истин. Начало конца этого процесса критик относит к выходу в свет «Одного дня Ивана Денисовича». Но «взросление» было недолгим — размышлять над различными вариантами исторического развития страны, судеб народа еще долго не дозволялось: максимум — над парадоксами поведения «амбивалентного» героя или участью покидаемых сел. «Красное колесо» задает нам совсем иные требования. В колоссальной исторической панораме предреволюционной России нам надо разобраться, отделить истинные пути от ложных и извлечь уроки на сегодня.

Скажем, Солженицын убедительно показывает, что одной из причин трагедии России в ту эпоху, ее неспособности свернуть с гибельного пути была постоянная конфронтация, противоборство большинства прогрессивных и честных людей с властями, их недоверие друг к другу, презрительный отказ (со стороны прогрессистов) от сотрудничества. Читаешь — и соглашаешься, и кажется: это ж так очевидно, как можно с двух сторон разрушать страну? А потом задумаешься: а сейчас? Мог бы кто-либо из нас проникнуться доверием к власти и увидеть в ней не оппонента, а союзника в деле спасения страны? И что бы про него подумали друзья и соратники?

Или такой эпизод. Инженер Дмитриев призывает петроградских рабочих, делающих новую пушку для армии, не бастовать — ведь ваши же братья, солдаты, гибнут в окопах, не имея такой пушки! А большевистский агитатор товарищ Вадим твердит рабочим: война эта не нужна народу, «до каких же пор будем поддаваться, что русский народ — наш брат, ему нужно пушку скорей, а немецкий солдат, немецкий рабочий — что ж, нам не брат?» Можем ли мы утверждать, что **тогда** безоговорочно смогли бы определить, кто из них прав?

Давая читателю свободу активного соразмышления, Солженицын, конечно, в то же время стремится убедить его в правоте именно своей точки зрения — авторская позиция в его произведениях ярко выражена. Это и дает, видимо, повод иным читателям зачислять его по ведомству все того же социалистического реализма — «наизнанку». Однако это было бы хоть отчасти верно лишь в том случае, если бы позиция Солженицына признана была в государственном масштабе единственно верной и все возражения и иные точки зрения запрещались бы (сам Солженицын в первую очередь был бы возмущен подобным). Но мы видим, что буквально рядом с ним, на страницах тех же номеров «Нашего современника» соседствует А. Проханов, который считает, что все наши беды произошли от забвения идеалов коммунизма и не только двенадцать республик нельзя «отпускать», но и выход из Союза Литвы рассматривается им как преступный «угон» — следствие нашей халатности; соседствует и А. Фоменко, который пишет буквально так: «Мы сами, конечно, можем избавиться (!) от тех областей, чье пребывание в составе нашей державы по каким-либо причинам (геополитическим, военно-стратегическим, демографическим или экономическим) нецелесообразно»; в остальном же надо помнить, что «наши (??) прибалтийские, западноукраинские, молдавские, грузинские и другие сепаратисты имеют столько же прав на существование (!) и выражение собственного мне-

ния, как и сепаратисты Страны Басков, поделенной между Испанией и Францией, канадской провинции Квебек, британской Северной Ирландии, французского острова Корсика, итальянского — Сицилия или индийского штата Пенджаб» (№ 8, стр. 163). Коль скоро мы видим это, можно, я думаю, сделать вывод, что опасности превращения Солженицына в нового духовного диктатора нет.

Роман «В круге первом» мне кажется для сегодняшнего читателя не столь жизненно важным, как эпопея. Дело в том, что сталинская эпоха уже во многом осмыслена нами (хотя автор такого масштаба, как Солженицын, показывает, что, конечно, осмыслена не до конца). Главное же в том, что «В круге первом» мастерски выстроен именно по законам романного жанра, но в результате интерес к судьбам героев зачастую заслоняет и подавляет внимание к историческим судьбам страны, соразмышление вытесняется сопереживанием (подчеркиваю — сегодня: не так, конечно, обстояло дело с этим романом четверть века назад). Кто-то, возможно, сочтет это, напротив, преимуществом, я же ловил себя порой на ощущении, что некоторые главы читать скучновато, а на протяжении обширнейших «узлов» «Красного колеса» такого ощущения не возникло ни разу. Но есть в романе главы — к примеру, сцены подготовки к свиданию супружеских пар в тюрьме и сами сцены свиданий, — которые пронзают сердце, и приходится с огромным трудом подавлять в себе ненависть к тем, кто так чудовищно коверкал судьбы людей. Подавлять, убеждая себя (и следуя общему духу прозы Солженицына), что на ненависти нельзя выстроить ни собственную душу, ни страну.

* * *

Крупным литературным явлением года следует, безусловно, признать роман В. Кормера «Наследство». Роман этот посвящен изображению самых ранних этапов того движения, которое потом стало известно во всем мире как инакомыслие, диссидентство и которое прославлено именами А. Сахарова, А. Марченко, В. Буковского и других. А Кормер пишет о тех, кто начинал, — и в его изображении они вовсе не выглядят героями. Напротив: и хлестаковщины в них с избытком, и моральными нормами они себя особенно не связывают, и боятся буквально собственной тени, подозревая в стукачестве всех и вся, а особенно друг друга, и знания их в философии и в религиозных заповедях поверхностны, и сами религиозные убеждения тех из них, кто считает себя верующим, не мешают им испытывать приступы яростной злобы, и на прямую подлость некоторые из них в конечном итоге способны. «Бесовщина» — так характеризует одна из героинь все это. Но неужели — неужели перед нами современный вариант «Бесов»? Неужели всякое противостояние, даже противостояние антинародному тоталитаризму, есть «бесовщина»?

Да и автор — а его голос постоянно звучит в романе — изображает своих персонажей, даже самых ему близких, Таню Манн и Николая Вирхова, с неизбывной иронией, подчас убийственно. Но странное дело, в «подкладке» иронии постепенно и все более явственно начинаешь ощущать жалость и сострадание, и будучи поначалу шокирован, — как же, те, кого всю жизнь числил героями, изображены так (а не шокированы ли были подобным же образом многие молодые современники Достоевского — читатели «Бесов»?) — понемногу начинаешь понимать, что и не могли они быть иными. «Смотрите, у наших ведь почти ни у кого нет отцов», — замечает однажды Вирхов в частном вроде бы разговоре. Но ведь это действительно так, ведь эти люди возникли на абсолютно пустом месте и в абсолютно чуждом им обществе, были лишены каких-либо традиций противостояния этому строю — их просто не было. Разве сравнишь положение их продолжателей в семидесятые годы — образованных, начитанных, располагающих богатой литературой, поддержкой из-за рубежа, и, что немаловажно, негласным сочувствием и нередко прямой помощью со стороны многих соотечественников, а кроме того, уже имеющих опыт и знающих пути? А те — действовавшие в одиночку и в абсолютном мраке, когда о рассвете никто и подумать не мог, не без основания подозревающие стукача в ближайшем друге? Они могли только метаться и биться отчаянно о стену. Но могли и влиться в систему и преуспевать, однако не влились же... В хорошем и в дурном — это наше наследство, без него не было бы нас. И еще: мы, сегодняшние, так ли уж далеко ушли от них? Так ли уж стойки и чисты наши побуждения, так ли уж тверды наши устои? И первоначальный шок сменяется другим: да ведь это автор, по старинному выражению, поворачивает нам глаза «зрачками в душу» — и дай Бог не увидеть там мрака похуже! Все это выражено не впрямую, а как бы телепатически передано нам, так что авторская позиция здесь — в двух измерениях. Но великолепный двоящийся финал, вроде бы оставляющий перед каждым героем два пути — к злу и к благу, кончается таким светлым апофеозом, что позиция автора уже не оставляет сомнений.

И ... крамольная мысль напоследок. Если бы в таком же ключе были написаны «Бесы» Достоевского, может быть, их воздействие на современников (почти единодушно отвергнувших роман) было бы иным?

* * *

Хотя прозу В. Шаламова (не печатавшуюся при его жизни) стали публиковать

с первых лет перестройки, подлинная ее значимость в нашей духовной жизни выявляется — и то еще не окончательно — теперь. Связано это не только со значительными публикациями в «Новом мире» (1989, № 12) и «Знамени» (1990, № 7), выходом в издательстве «Современник» сборника «Левый берег» (1989 г.), но главным образом с переключением нашего внимания от поиска социально-политических источников трагедии страны к глубинным составляющим человеческого духа.

Выше уже приводилось пессимистическое высказывание В. Шаламова относительно способности литературы нравственно перевоспитать человека. Подобных высказываний у него можно найти еще немало. Почему же сам Шаламов упорно писал и писал о своем лагерном опыте, преодолевая тяжелейшие болезни, усталость и отчаяние от того, что почти ничего из написанного им не проходит в печать? Продолжал писать — хотя сам же неоднократно подчеркивал, что лагерь — отрицательный опыт для человека: «человек не должен знать, не должен даже слышать о нем»?

Сам Шаламов отвечал на этот вопрос так: «Тут дело не в обыкновенной, а в нравственной ответственности. Этой ответственности у обыкновенного человека нет, а у поэта она обязательна. Не знаю, только ли для России это требование».

Простые, лишенные всяческих литературных красот рассказы Шаламова, спокойно повествующие о запредельных человеческих отношениях в аду лагерей, не учат и не воспитывают: учить и воспитывать можно на примерах из жизни, а перед нами — не жизнь. Они, эти рассказы, как бы заранее переносят человека в загробный мир, где после смерти он узнает о себе и о людях все. Оттуда не возвращаются, не возвращались и из лагерей — таких, в которых довелось быть Шаламову. Волею небес он вернулся. Не для того, чтобы поразить нас описанием лагерных ужасов или продемонстрировать победы человеческого духа над злом. Там, на Колыме, этих побед, видимо, не могло быть (хотя Шаламов и заметил в одном из писем к Солженицыну, что люди верующие не теряли человеческий облик до конца). Но, странным образом, рассказы эти не внушают отчаяния, наоборот, они рождают в душе какой-то тихий свет. Это свет высокого спокойствия. То зло, которое было извлечено из недр человеческого естества в XX веке в России, не имело аналогов в истории, — но кто знает, не будет ли иметь? и опять же — именно здесь? Знание, которое ценой собственной жизни добыли миллионы уничтоженных и ценой своей жизни донес до нас Шаламов, позволяет нам, однако, победить страх. Ибо страх внушает лишь неизвестность. «Донные элементы человеческой души», до которых добрался в результате своего адского опыта Шаламов, показывают: зло все-таки ограничено, не оно является источником человеческого духа и не ему принадлежит верховная власть над человеком. Такой итог приносит нам не радость — ибо какая уж радость после всего этого, и не надежду — нечто большее, чем надежда; знание правды, единственное воспитательное значение «Колымских рассказов» (мысль самого автора).

Трагическая ясность духа — бесценное оружие, которым одаривает Шаламов всех тех, кто, преодолев соблазны душевной лени и эстетского высокомерия, стал читателем его бесхитростной прозы.

* * *

Проза писателей, о которых шла речь, — наиболее значительное из того, что следует ныне прочесть человеку, не просто живущему от одного дня к другому, но стремящемуся осмыслить, понять жизнь и свое положение в ней. Однако журнальная проза уходящего года этими именами не исчерпывается, конечно. И вот что я бы хотел отметить напоследок. Буквально бросается в глаза удивительная на первый взгляд, а в общем-то закономерная общность писателей столь разных принципов и направлений, как В. Астафьев (рассказ «Не хватает сердца»), и самый, кажется, молодой из бывших «метропольцев» П. Кожевников (повесть «Личная предосторожность»), Л. Бородин (повесть «Расставание») и В. Пьецух (рассказ «Анамнез и Эпикриз»), М. Кураев (повесть «Маленькая семейная тайна»), и А. Сегень (рассказ «Петров и Топтыгин»), О. Николаева (повесть «Инвалид детства») и такие наши авангардисты, как В. Нарбикова («Около эколо») и В. Яницкий («Эпизоды одной давней войны») — общность эта в их обращении к философской, бытийной проблематике. Причем зачастую — в противоречии собственным прежним художественным установкам, порой в ущерб цельности произведения. В смысловом центре этих повестей и рассказов — практически одни и те же, даже без особых вариаций возникающие вопросы: в чем причина столь невиданно тяжкой судьбы нашего народа в XX веке? Случайность это или закономерность? Русские классики назвали народ богоносцем — а он через пятьдесят лет позволил развязать кровавую шестилетнюю оргию гражданской войны, а еще через десять лет разделился на узников ГУЛАГа, сотни тысяч палачей, стукачей и охранников, и безропотное молчаливое большинство, а еще через полвека, кажется, спился от мала до велика? Окончательно ли подорван корень народа, сохранилась ли его духовная основа — или его роль на исторической арене закончена? Вопросы эти встали не впервые — они горячо обсуждались на собраниях и в частных беседах сразу после XX съезда, но потом на многие десятилетия на них было наложено табу.

Большинство авторов — или их лирические герои — признаются: «Ответа я не знаю». Некоторые же дают ответ неутешительный: «Хорошо Марии Адольфовне, она старая и скоро умрет, а нам с вами жить...» (М. Кураев).

Но это, мне кажется, закономерная реакция на победные «реляции» прошлых лет. Уверен: восстановятся преемственные связи с культурой и историей духовного развития предшествующих поколений (оборванность связей и создает ощущение сиротства и потерянности), оживут людские души, вдыхая кислород свободы,— и на эти вопросы будут найдены ответы, ответы, возвращающие к жизни. Найдены будут писателями и читателями нашей страны, всеми нами — вместе.

* * *

Все это прекраснодушные мечтания — скажет мне в конце концов читатель. Тех романов и повестей, о которых вы пишете, все равно никто не прочтет, а уж думать над ними... Сами же признавали.

Сейчас, действительно, многие освободили себя от «нематериальных» размышлений. Одни — вынужденно: дефицит самого насущного не дает поднять головы, другие — вольной волей.

Но полная свобода — это бездомность. А бездомный человек беззащитен перед судьбой.

Покидая духовную пустыню фальшивых идеалов, можно вполне угодить в пустыню безверия, еще более страшную.

Но честно говоря, я не верю в эту печальную перспективу. Просто духовная жизнь развивается, видимо, по принципу пульсации: то захватывая большие массы людей, то концентрируясь в немногих.

Читатель в нашей стране не исчез. И год этот для него действительно знаменательный — год встречи с книгами Солженицына, Кормера, Шаламова. А результаты еще будут.

Выше я писал, что если литература не ответит на насущнейшие вопросы человечества, вряд ли у них, у литературы и у человечества, будет будущее. Но на самом деле никакого «если» нет: и человек, и литература бессмертны, поскольку порождены одним бессмертным Началом — Словом, которое было в начале всего. А сейчас — надо просто немного подождать.

В мире журналов и книг

Английские летописцы нашей беды

Представьте: вам звонят из редакции и просят взять интервью у автора... Библии. «У кого?» — спрашиваете вы, холодея от мистического ужаса...

Так и я несколько минут бессмысленно повторяла: «У кого? У кого?»—когда «Книжное обозрение» попросило встретиться с английским историком Робертом Конквестом («КО», № 58, 1989). Его книга «Большой террор», написанная в 1968 году, а в 1972 году впервые вышедшая на русском языке за рубежом, была для многих из нас заветом и хрестоматией, постоянным чтением и научным источником. Великая эпопея Солженицына тоже черпала из этого источника. Конквест — не первый исследователь сталинизма: его книга полна отсылок, и он никогда не останавливается в работе, учитывая каждую новую страницу в летописи кровавых лет. В предисловии к первому русскому изданию автор скромно замечает: «Было бы куда лучше, если бы история того периода была написана советским специалистом»; в предисловии ко второму ссылается на свидетельства Петра Якира и Леонида Петровского, на работы А. Д. Сахарова, Роя и Жореса Медведевых. После появления «ГУЛАГа» Конквест широко вводит в текст материалы А. Солженицына. (С отрывками из повести Гроссмана «Все течет» я впервые познакомилась тоже по Конквесту.)

И вот он — в Москве. Издательство «Книга» просит у него текст «Большого террора» — молнией пойдет! — но Р. Конквест не спешит: «Столько новых фактов за время гласности! Я должен переработать рукопись, исправить ошибки».

А тем временем «Нева» делает великое дело, печатая журнальный вариант «Большого террора». «Новый мир» и «Родина» еще раньше дали отрывки из «Жатвы скорби» — уникальной книги об искусственно вызванном голоде, сопровождавшем коллективизацию.

Болит сердце: читают ли люди Роберта Конквеста одновременно с «Архипелагом» и десятками прекрасных новых книг? Находят ли время в потоке газет и телепередач и для этого чтения? Надо найти: отношение Роберта Конквеста к нам, к нашей беде особенное.

Тайна власти текста над сознанием связана, может быть, и с этим. Профессиональный политолог (им написано несколько книг о советской истории и о международных отношениях), он не жертвует в угоду концепции ни одним фактом, ни одним чувством, ни одним настроением. Может быть, потому, что он еще и известный поэт? Мало кто, располагая такой уникальной библиографией террора, отказался бы от соблазна концептуализировать этот окровавленный, пульсирующий массив в ту или иную модель. Конквест отказался. В предисловии к русскому изданию есть такие полемические строки: «Каждого, кто любит русский народ, глубоко трогает его трагическая история. Страна, столь богатая талантами, столь многообещающая, столь щедро одарившая мировую культуру, перенесла тяжкие муки без всяких реальных причин. Если не верить ни в какие якобы «научные» теории исторического процесса (а я не верю ни в одну из них), то создается впечатление, что России много раз просто не везло, когда на поворотах истории события могли пойти иным, гораздо лучшим курсом». Здесь же он приоткрывает глубинный мотив своей работы — почему поэт и ученый-международник становится исследователем террора: «У меня есть ощущение, что предлагаемая летопись событий убедит тех, кто выжил после террора: их страдания не забыты, не вычеркнуты из памяти человечества (а ведь они могут думать и так»). Этот мотив глубоко понятен мне, читателю. Да, за то время, что уходит на чтение лагерных мемуаров (последнее ярчайшее впечатление—«Наскальная живопись» Е. Керсновской в «Знамени» (№№ 3—5, 1990), можно бы книгу написать, да не одну, а вот не пишешь — читаешь. Как будто зов из-под земли: «Если не будете вы о нас читать — значит, мы приговорены самым страшным, хуже всех «троек», приговором — мы приговорены к полному забвению. За что?»

Книга Конквеста, англичанина, не знавшего нашего горя, спасает от забвения

Роберт Конквест. «Большой террор». Главы из книги. «Нева», №№ 10—12, 1989, №№ 1—5, 1990. Николас Бетелл. Отрывок из книги «Последняя тайна». «ЛГ» — «Досье», март. 1990 г.

тысячи людей. В этом повествовании, по-своему жестко собранном, нашлось место и для командира Красной Армии, который, смывая кровь с лица после допроса, рыдал больше от унижения, чем от боли; и для дежурного охранника, который, глядя на него, по-бабьи подперши щеку ладонью, вдруг сказал: «Эх, товарищ, не сокрушайтесь! Всем несладко живется... Ну, избил он вас почем зря, а вы пренебрегите: его черной душе, теперь, может, еще хуже, чем вашему бедному телу. Кровь-то вот вы сейчас с себя смоете, а ему в какой воде свою черную душу отмыть?»; и для молодой женщины, вложившей в карман арестованного мужа простодушную молитву; и для судей, особенно изощренно измывавшихся над суевериями в семье видного коммуниста... Отводя одно из центральных мест в своей книге пыткам и признаниям, Конквест сострадает каждому в момент его боли и унижения (людоедские выкрики сегодняшних дней «так им и надо было» для него непредставимы), но это не значит, что все судьбы вызывают у него одинаковое сочувствие. Подробно рассказав историю уничтожения партии в ходе сменяющих друг друга процессов над действительными и выдуманными оппозициями, автор сосредоточивает все средства повествования на вакханалии террора против беспартийного населения, подчеркивая, что «на каждого пострадавшего члена партии приходилось 8—10 брошенных за решетку простых граждан». Стоит привести размышление, которым он комментирует эти цифры: «Партийные деятели, о которых шла речь выше, были сознательно вовлечены в большей или меньшей степени в политическую борьбу. «Правила игры» были им известны. Многие из них несли личную ответственность за аресты и смерть миллионов крестьян во время коллективизации». И как же к месту вспоминает тут английский автор нашего гения. «Пушкин сказал однажды, что русские бунтовщики—люди жестокосердные, которым и своя шейка — копейка, и чужая головушка — полушка».

Отсутствие всеобъемлющей концепции у Р. Конквеста сочетается с глубоко продуманной тематической организацией книги. Каждая глава (непременно сопровождаемая библиографией) несет свою тему: донос или каторга; центр или провинция; армия или иностранцы. Каждая тема имеет свой идейный лейтмотив, свою психологическую, историческую, социальную, но никогда не чисто идеологическую систему аргументов. Конквест не приемлет марксизма и ленинизма, но воссозданная им фантастическая картина нашей реальности (не случайно, наверное, он — автор научно-фантастических романов) не вмещается ни в марксизм, ни даже в ленинизм. Со свойственной независимой мысли парадоксальностью он заключает, что, «вопреки идеям Маркса, в Советском Союзе сталинской эпохи создалось положение, при котором экономические и общественные силы не определяли метода правления. Наоборот, центральным фактором были личные соображения правителя, которые выливались в действия, часто противоречащие естественным тенденциям этих сил. Идеалистическая концепция истории в этом смысле оказывалась неожиданно справедливой. Ибо Сталин создал механизм, способный справляться с общественными силами и побеждать их». В такой искусственной системе социологические объяснения должны уступить место психологическим. Среди них исключительное значение Конквест придает двум: растворению личности в партии—у идейного актива общества и накапливающейся усталости— у остального населения. Этическая установка, сформулированная Троцким в 1924 году: «...Никто из нас не хочет и не может быть правым против своей партии... Правым можно быть только с партией и через партию, ибо других путей для реализации правоты история не создала», — по мнению Конквеста, «объясняет восхождение Сталина к власти, а еще больше — полную неспособность коммунистов выступить против него, даже когда подлинный характер его методов и целей выявился полностью».

Второй фактор — усталость. Автор «Большого террора» не пренебрег этим простым объяснением. Ссылаясь на свидетельство участника первой мировой войны о том, что офицеры после двух окопных лет становились алкоголиками, а солдаты впадали в апатию и бесчувственность, он спрашивает: каково же было советским людям в 1936—1938 годах, когда их изматывал «этот бесконечно еженощный, бросающий в пот страх, страх в ожидании того, что арест наступит еще до рассвета».

Среди тем, прошивающих скорбное повествование Конквеста, одна сообщает книге особое благородство и чистоту — тема предательства Запада, того выбора в пользу наглой силы против ее жертв, который Запад сделал дважды — ради Сталина и ради Гитлера. Эта вина руководителей западной политики и основной массы интеллектуалов была лишь частично искуплена жертвами и военными подвигами союзников в годы второй мировой войны. В основе этого предательства, совершенного вовсе не только левыми (как утверждает в статье «Русофобия» И. Шафаревич), а всеми политиками, но в особенности — консерваторами (с сомнениями и колебаниями — Черчиллем, без колебаний — Иденом), лежит, на мой взгляд, общая этическая установка европейской культуры, отделяющей и противопоставляющей политику и мораль. Эта установка, обычно называемая макиавеллизмом, совершенно иррациональна: нет ни одного свидетельства, чтобы правление преступника, садиста вело к процветанию страны (после Ивана Грозного в России осталось чуть не половина населения, жуткая статистика жертв стали-

низма приведена в книге Конквеста). И тем не менее по сей день считается, что хороший политик — это непременно подонок. В своей статье «Не одним нам маяться!» я попыталась обосновать этот взгляд — и мне было радостно, что Конквест прочел эту статью в мало кому даже у нас тогда известном журнале «Родина» (№ 2, 1988), ведь все факты, там сообщенные, даны со ссылками на его книги. Конквест первым подробно рассказал о намеренной слепоте западных интеллектуалов, которым не столь уж трудно было увидеть правду: группа социал-демократов и либералов собрала Белую книгу о процессах (независимое расследование Дж. Дьюи), меньшевики-эмигранты Б. Далин и Б. Николаевский издали книгу о ГУЛАГе; выходили мемуары и узников ГУЛАГа. Но — победителей не судят! — а Сталин всех победил.

Нравственный и научный поиск Конквеста продолжен другим англичанином, издавшим свою работу через 6 лет после «Большого террора». Этому предшествовало важнейшее событие. В 1972 году в Англии были открыты архивы, связанные с некоторыми тщательно скрываемыми последствиями второй мировой войны. Свою книгу, построенную на солидном фундаменте архивных источников и оживленную свидетельствами участников событий, английский историк, известный общественный деятель лорд Николас Бетелл так и назвал: «Последняя тайна». Но будет ли она действительно последней? Или нас ждут еще и еще более страшные открытия? Как бы то ни было, тема, волновавшая Александра Солженицына и Роберта Конквеста, раскрыта глубоко и беспощадно и вместе с тем строго объективно. Предательство не перестает быть предательством оттого, что восстанавливается его политический и исторический контекст. Но восстановление контекста позволяет увидеть границу между пусть жестоким следованием людей законам своего времени и их склонностью рефлекторно, трусливо становиться на сторону сильного. Русские пленные были в руках союзников, английские и американские — в немецких лагерях, контролируемых советскими властями. Соотечественники англичан и американцев оказались заложниками советских властей: получалось, что придется отдать русских военнопленных в обмен на своих. Правда, тут была роковая разница: западные граждане рвались домой,— русские готовы были скорее умереть, нежели возвратиться в сталинскую Россию. Соглашение, подписанное в Ялте в феврале 1945 года, узаконило готовность союзников пожертвовать чужими ради своих. Но, как часто бывает при такого рода сделках, за первым шагом последовали и другие, диктуемые уже не необходимостью жестокого выбора, а стремлением к политической выгоде. И, как всегда, «реалисты», считающие себя умнее и трезвее всех, оказались в дураках. Ялта требовала выдачи советских граждан, сражавшихся с оружием в руках против своего государства,— это соответствовало нормам международного права. Но сотни тысяч русских, украинцев, калмыков, бежавших из страны после гражданской войны, не были советскими гражданами, не признавали СССР своей родиной, считали себя врагами коммунистического государства и Сталина. Да, они преступно ошиблись, поставив на Гитлера против Сталина, но под Ялтинские соглашения они никак не подпадали. Тем более невинны были их жены и дети, а также советские люди, которых угнали в Германию и под страхом смерти заставили работать на третий рейх. Но все они были выданы Сталину: усердие союзников обгоняло букву закона. Отдавая десятки тысяч людей на лютую смерть, благоговевший перед Сталиным министр иностранных дел, впоследствии английский премьер Энтони Иден надеялся, что за это Сталин не нарушит обещания о свободных выборах в Польше. «На самом деле,— пишет автор предисловия к изданию книги Николаса Бетелла на русском языке (Лондон, 1974) профессор Хью Тревор Ропер,— они нарушили бы его в любом случае: свободных выборов не могло быть ни в Польше, ни в любой части Восточной Европы».

Конечно, все мы задним умом крепки, и было бы дешевой демагогией требовать от тех, кто жил и умирал в этой жестокой войне, гуманного отношения к людям, одетым в немецкую форму. Выдача пленных, разумеется, не была выгодной хладнокровной операцией — это была трагедия, и многие участники этой трагедии страдают, терзаются муками совести до сих пор. Однако и тогда были люди, которые нравственной своей интуицией смогли проникнуть в суть страшной тайны. Одним из них был Джордж Оруэлл, печатно заявивший, что военнопленные и перемещенные лица «репатриируются против их воли» (его, конечно, осыпали упреками коллеги). Против насильственной репатриации взбунтовался и фельдмаршал лорд Александер, сознательно не выполнявший приказы своего МИДа; и тот неизвестный английский солдат на мосту между двумя зонами, который нацарапал на клочке бумаги липовую справку и спас от смерти семью казака. Член квакерской общины Этель Кристи, подняв на ноги несколько министерств, спасла пленного, его жену и новорожденного — они и сейчас живут в Англии. История их любви и страданий относится к лучшим страницам книги: это прекрасная новелла.

Зловещую окраску придает трагедии коварство союзников. Опасаясь бунтов и самоубийств, они внушали пленным, что их отвезут в Англию. Бывало, что люди доверчиво садились в грузовики, входили на трап кораблей, а потом... До

сих пор не могут забыть английские моряки грохота выстрелов в портовых складах: принимавшие «груз» в Одессе чекисты даже не соблаговолили отвезти людей в город. А ведь в каждый лагерь для перемещенных лиц приезжал советский офицер и уверял всех, что родина их простила и ждет не дождется.

Николасу Бетеллу хватило знаний и воображения, чтобы сделать нас, сегодняшних, очевидцами и как бы участниками тех событий. Против воли оказываешься в Австрии, в Лиенце, где уничтожение казачества походило уже на геноцид: в Лиенце было около 4000 женщин и 2500 детей. В то страшное утро над толпой возвышался деревянный помост с походным алтарем и большим крестом: служили литургию. Когда английские солдаты попытались дубинками и прикладами разогнать толпу, люди, спрятав женщин и детей в середину, скучились в плотную массу и опустились на колени, обхватив друг друга руками и распевая молитвы. Их били, вырывали из толпы, бросали в грузовики. При погрузке в вагоны люди пытались покончить с собой: на глазах нескольких очевидцев казаки стреляли сначала в жен и детей, а потом в себя. Бросались с моста, убегали в лес и вешались там.

Конечно, женщины и дети, по крайней мере, могли быть спасены, но тут мы сталкиваемся с распространенной человеческой жестокостью к обездоленным, со страхом, что из-за них возникнет много проблем. «Нам они здесь не нужны; мы не можем позволить себе сентиментальность в этом вопросе»,— цитирует автор книги Э. Идена. Этот утонченнейший аристократ до конца дней не раскаивался в совершенном. Но зато и другой англичанин — лейтенант Джон Григ — не раскаивается в том, что, нарушив приказ, предупредил о выдаче тысячи казаков, охраняемых его полком вНоймаркте. Половина из них бежала.

Виктор Некрасов в послесловии к тому же изданию «Последней тайны» пишет о таких людях, как лейтенант Григ: «Я крепко пожал бы им руки и сказал бы: «Нет, не Энтони Иден, лорд Эйвон, олицетворяет для меня Англию, а именно вы, нарушившие приказ и подчинившиеся своему сердцу». Вероятно, я плохой солдат».

Медленно, но неотвратимо время меняет даже военные законы. Когда в 1956 году была сформирована западногерманская армия (бундесвер), нюрнбергские уроки были учтены в ее уставе: солдат бундесвера не обязан подчиняться приказу, если тот требует совершения преступных, антизаконных действий. Англия и США тоже извлекли уроки из страшных последствий насильственной репатриации. Когда в 1952 году Северная Корея потребовала насильственного возвращения пленных, тот же Энтони Иден заявил в палате общин: «Я думаю, что принудительная отправка этих людей домой противоречила бы системе ценностей свободного мира».

Правда, тогда свободный мир уже находился в состоянии «холодной войны» с социалистическим лагерем, и гуманизм этого заявления несколько корректируется политической конъюнктурой. Позиция Бетелла, искреннего сторонника разрядки и перестройки, глубоко привязанного к нашей стране (как член Европейского парламента он работал над освобождением пленных афганцев), не зависит ни от какой конъюнктуры. Как и его великий современник и соотечественник Роберт Конквест, Николас Бетелл выступает свидетелем защиты в тяжбе человека, маленького человека, с вооруженными против него силами политики и идеологии.

В. Чаликова

Советуем прочитать

Наталья Думова. Кончилось ваше время... М., Политиздат, 1990.

На смену упрощенным, а зачастую и карикатурным представлениям о противостоянии двух крупных политических партий — кадетов и большевиков — в ходе подготовки русской революции приходит постижение трагических противоречий и социальных катаклизмов, потрясших Россию в 1917 году. В ряду этих постижений и книга Натальи Думовой.

Написанная доктором исторических наук, она интересна широким использованием любопытных архивных документов. Заметим, к слову, что протоколы заседаний кадетского ЦК оказываются здесь не менее захватывающим чтением, чем письма и мемуары кадетских лидеров.

Книга учит, к примеру, серьезно воспринимать и уважать политического противника, со всеми его слабыми и сильными сторонами. А это и есть школа политической борьбы и плюрализма, которая нам сегодня необходима.

И все же главное. Добросовестные, начитанные, от всего сердца преданные России кадеты, среди которых были люди очень неглупые, не справились со своей новой задачей, не сумели превратиться из оппозиции в правительство. Почему?

Книга отвечает на этот вопрос ясно и недвусмысленно.

Евг. Анисимов. Время петровских реформ. Лениздат, 1989.

Читатель, интересующийся временем петровских преобразований, найдет в этой книге подробное описание самых различных аспектов деятельности Петра I, ее нестандартный анализ. Автор особо подчеркивает «удивительную жизнеспособность многих институтов, созданных Петром», отмечая, что некоторые из них просуществовали два столетия, вплоть до 1917 года. По мнению Е. Анисимова, «очень многое из реалий петровского времени вошло в нашу жизнь, наше общество впитало из исторической почвы растворенные в ней соки петровских идей».

Но в книге показано и другое. Прогрессивные реформы Петра осуществлялись методами насилия, принуждения, «когда считалось нормальным, допустимым пожертвовать одной частью народа ради светлого будущего остальных». Автор отмечает, что в годы правления Петра верховный правитель в его лице стал отождествляться с государством, и это не раз проявлялось в нашей истории и впоследствии, в частности, в годы культа личности Сталина. В таких условиях малейшая попытка конфликта с верховным правителем трактовалась «как выступление против персонифицируемой в его личности государственности, России, народа». А потому не только жестоко каралась, но и «морально» осуждалась.

Исследование Е. Анисимова основывается исключительно на исторических источниках, каждое из положений автора подкреплено ссылками на них. Убедителен и подбор иллюстраций, к сожалению, не цветных, но это уже вина не автора, а нашей полиграфии.

А. В. Игнатьев. С. Ю. Витте — дипломат. М., Международные отношения, 1989.

Первая биография С. Ю. Витте, появившаяся в советское время, открыла новую серию — «Из истории дипломатии». Надеемся, что в скором времени появятся научные биографии других видных государственных деятелей России конца XIX — начала XX в., без которых немыслимо представить себе развитие российской государственности и фигуры которых постоянно явно или скрыто присутствуют в спорах о сегодняшних реформах. Еще известный историк М. Н. Покровский полагал, что, «не будучи морально выше своих современников-бюрократов, Витте несколькими головами превышал их по своему уму и организаторским способностям». Витте действительно был дипломат не только (и не столько) во внешней, но и во внутренней политике, великолепно овладевший искусством компромисса, согласно ленинским определениям, «великий акробат» и «министр-клоун». Но, делает вывод А. В. Игнатьев, «достигнув многого, иногда почти невозможного в решении менее масштабных задач, он оказался бессильным добиться главной цели. Нельзя было сделать Россию действительно могучей и изобильной, отстаивая выгодный дворянам-по-

мещикам и отчасти крупной буржуазии наиболее консервативный вариант капиталистического развития страны». В то же время идеи Витте о великой, экономически сильной и независимой России не утратили своей масштабности и созвучны настроениям сегодняшнего дня.

А. Плахов. Катрин Денев. Девять сюжетов из жизни актрисы. М., Искусство, 1989.

Героиня этой книги — одна из известнейших актрис мирового кино. Правда, знакомство с ней советских зрителей ограничивается двумя-тремя фильмами, в разные годы забредшими в наш прокат. Но ее лицо, глядящее с обложки, сразу узнаваемо: оно поражает классическим совершенством черт, особой магией и одухотворенностью.

Катрин Денев называют «первой звездой» Франции и одновременно «последней звездой». Своим творческим стилем она продолжает романтическую традицию французского искусства. Она является также общепризнанной представительницей французской моды, олицетворяет французский шарм и элегантность. При этих качествах Денев — что случается нечасто — выдающаяся актриса и незаурядная личность. Она стала героиней лучших фильмов таких классиков кинематографа, как Луис Бунюэль и Франсуа Трюффо, а также известных во всем мире режиссеров Жака Деми, Романа Полянского, Марко Феррери.

Книга А. Плахова, построенная в форме девяти сюжетов-новелл, прослеживает творческую и личную судьбу актрисы, эволюцию ее экранного «имиджа» в глазах миллионов зрителей. В книге использован большой документальный материал — интервью самой Денев, свидетельства коллег и современников актрисы, высказывания французских и советских кинокритиков. Подробный анализ фильмов сочетается с основной линией повествования, цель которого — разгадать «загадку Катрин Денев», интригующую воображение многих.

О ней писал Франсуа Трюффо: «С чем сравнить Катрин? Если ее вообще требуется с чем-то сравнивать, то уж, во всяком случае, не с каким-нибудь цветком. Ибо в ней ощущается некая неопределенность, нейтралитет, что побуждает приравнять ее к вазе, в которую можно вместить любые цветы — все цветы. Ее манера поведения, ее облик, ее сдержанность позволяют зрителям проецировать на ее лицо все чувства, которые они мечтают пережить...»

В. Адамчик. И скажет тот, кто родится. Роман. Перевод с белорусского Т. Зологухиной. М., Советский писатель, 1989.

Западная Белоруссия тридцать девятого года. Ожидание войны... Но вопреки прогнозам деревенских мудрецов она идет уже и называется освобождением. Откуда же им знать, жителям забытого Богом Верасова, что подписан пакт Риббентропа — Молотова и в очередной раз повернуто политиками колесо фортуны, набирает ход, отведя для них роль безгласной жертвы. «Темный потайной омут, вращая в мутном глинистом потоке осклизлые листья и черные гнилые обломки веток, неожиданно закрутил в своих ямах-воронках ягненка и повлек его в страшную бурлящую кипень. Уже с берега Митя увидел, как, крутанув глубоко вниз, водоворот снова вынес его, только уже брюхом вверх; захлебнувшись, он не подавал голоса...»

Незначительный, казалось бы, эпизод является как бы метафорой судеб и Западной Белоруссии, и главного героя Дмитрия Корсака. Не назовешь судьбу Мити типичной. Молодой деревенский поэт Корсак сумел «пробиться» в люди, стал сотрудничать, пусть в скромной редакции газеты. Любопытны его рассуждения, общие для немногочисленной в те годы «новой» интеллигенции, имеющей за плечами, как правило, опыт подпольной революционной борьбы. Но парадокс состоял в том, что опыт этот оказался ненужным пришедшей советской власти. «Таким, как ты, не очень-то доверяют»,— слышит Дмитрий, вернувшись из польской тюрьмы, где лишь чудом выживает.

Трудно, трагически складывается жизнь героев романа, лишь чувство любви к ближнему помогает сохранять им веру в будущее, не дает потерять себя в атмосфере тотального унижения.

Атаджан Таган. Ключ от рая. Роман. Повести. Перевод с туркменского. М., Известия, 1989.

Среди пятнадцати книг серии «Библиотека «Дружбы народов», вышедших в 1989 году, есть ряд произведений, знакомящих читателя с современной прозой народов СССР.

Вопрос национальных взаимоотношений сейчас один из самых острых и злободневных в стране. Помочь его разрешить в какой-то степени может и талантливо написанная книга, ведь язык литературы и искусства как никакой другой способствует возникновению взаимоуважения и взаимопонимания между разными людьми и народами.

Кто не слышал о знаменитых текинских коврах, прославившихся не только в Средней Азии и на Востоке, но и на таком далеком от небольшой Туркмении Западе! Но мало что знаем мы о жизни туркмен, их интересной и богатой истории, о вере, обычаях и традициях туркменского народа, многие из которых сохранились до сих пор. Об этом рассказывает последняя книга известного туркменского поэта и прозаика Атаджана Тагана «Ключ от рая», включающая произведения на историческую тему (роман «Крепость Серахс», повести «Чужой» и «Надколыбельная») и небольшую повесть о жизни и проблемах современного туркменского колхоза, давшую название всей книге.

Содержание журнала «Знамя» за 1990 год

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

Мемуары. Архивы. Свидетельства

КРИТИКА

Статьи

Рецензии

Адрес редакцин: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместнтели главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицнстики — 921-14-84, отдел крнтики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзни — 921-59-67, для справок — 924-13-48.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в иабор 08.10.90. Подписаио к печати 13.11.90. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—354 883 экз.). Заказ № 2908. Цена 90 коп.

Ордеиа Лениииа и ордена Октябрьской Революции типография имеии В. И. Леиина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.